

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

5

НОВЫЙ МИР

1992

5



1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5 (805)

Май, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИВАН ОГАНОВ — Опустел наш сад. Народный балаган	3
ВЯЧЕСЛАВ БАШИРОВ — Среди воспоминаний, стихи	73
МИХАИЛ ПРОБАТОВ — К небесам ледяным, стихи	76
БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ — Рассказы	77
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА — Вечером после работы (Мужское счастье)	98

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ГОЛУБЫЕ РОГИ. Поэзия грузинского символизма. Перевод и предисловие Михаила Синельникова	108
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АФАНАСИЙ ФЕТ — Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. Подготовка текста, послесловие и примечания Г. Аслановой. Предисловие Сергея Залыгина	113
П. СОРОКИН — Современное состояние России. Подготовка текста, примечания и послесловие В. В. Сапова. Окончание	161

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДРА СПАЛЬ — Гении и гулливеры. Природа нашего смешного	192
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ — Поэзия советская. Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого»	204

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Н. КОРЖАВИН — Преступление против духа	226
Ю. А. ШРЕЙДЕР — Двойственность шестидесятых	238
ЯКОВ КРОТОВ — Советский житель как религиозный тип	245

(См. на обороте)

КОРОТКО О КНИГАХ:

Григорий Кружков. — I. Сергей Гандлевский. Стихи. В сборнике стихов «Понедельник. Семь поэтов самиздата». Сергей Гандлевский. Стихи. В литературно-художественном альманахе «Личное дело №». II. Наталья Ванханен. Дневной месяц. Стихотворения. III. Аркадий Штейнберг. К верховьям	251
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	254
SUMMARY	256

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Потерянный рай. Фрагменты книги.

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Рассказы.

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ. Записи 20—30-х годов. Неизданные страницы. Публикация А. Кушнера. Комментарии А. Чудакова.

БОРИС ЗУБАКИН. Стихи и письма. Публикация А. Немировского.

АНАТОЛИЙ КИМ. Поселок кентавров. Роман.

АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО. Над изумрудным морем облака. Стихи. Вступительное слово В. Микушевича.

М. КОНИССКАЯ. Злые годы. Воспоминания.

А. КУРГАТНИКОВ. Альпинисты после восьми вечера. Очерк нравов. Обыкновенный жук. Рассказ.

ВИЙВИ ЛУЙК. Красота истории. Роман. Перевела с эстонского Е. Каллонен.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ. О католицизме. Перевел с польского Вл. Британишский.

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Есть ли литература на Западе?

АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Сквозь листву. Стихи.

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Утренник. Рассказ.

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КРУЖКА «ВОСКРЕСЕНИЕ» (20-е годы: М. Бахтин, Л. Пумпянский, А. Мейер).

ДОРА ШТУРМАН. «Человечества сон золотой...»

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag



A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany. Tel: 089/26 30 76, fax 26 30 77

ИВАН ОГАНОВ

*

ОПУСТЕЛ НАШ САД

Народный балаган

Под своды душные за тенью входит тень,
И неизбежной все толпа их нарастает...
Чу... ветер прошумел — и белая сирень
Над головой твоей, качаясь, облетает.

Иннокентий Анненский.

В СИЯНИИ РОЗОВЫХ СНЕГОВ

Солнце опохмелялось кахетинским.

Я и мой дядя валялись в автомобиле и катили бог весть куда. Холодный ветер бился о стекла. Мы неслись вдогонку за дядиной юностью. В яму для мамонтов, засыпанную папоротником.

— Старик! — хохотал я. — Старикашка.

Дядя скверно вел «самолетик». Ему чудилось, что летим мы на погибель, на могильные кипарисы или в овраг, но дорога нам выпала раздольная.

Мы с дядей прозябали в пыльном городе. Это была скучная и бездарная жизнь. По утрам дядя кашлял, стонал и брел в гараж, где заведовал мусорными автофургонами.

Дядя сидел в маленькой конторке среди сотрудниц в домашних вязаных кофтах, он сидел за столиком, а рука его лиловыми, выпцветшими чернилами с прахом умерших летних мух вдохновенно заполняла путевые листы.

Он сурово и мужественно относился к своим маленьким обязанностям, он был боевым генералом среди старых женщин районного треста по очистке вечного города от мусора и лент истлевших траурных венков.

Я любил его благородную голову с лысиной и сединами. После службы дядя, наевшись из котла лобио, немедленно падал на тахту с выпцветшим цветистым ковром. Он мял грузным несчастным телом восточные цветы, ворсистый рисунок кавказских мастеров.

— Ох! Ах! — жалобно стонал дядя. — Живот болит! Я наелся!

Жена дяди, тетя Тина, злилась за швейной машинкой.

— Кахетинский осел! — бормотала она злобно. — Кахетис вири!

Дядя обиженно молчал. Я разглядывал его безрадостное, голое, волосатое тело, ватные женские плечи.

— Эй, дядя Котик! — шептал я. — Поехали за вашей молодостью? В Кахетию, где вы ухаживали за девочками тридцатых годов и танцевали под хриплый патефон танго.

Дядя сопит мрачным носом картофелиной.

— Котэ был кавалером! — взвизгивает тетя. — Он просто обожал потрепаных, одиноких, брошенных любовниками женщин.

— Неправда! — обижается дядя. — Я изломаю все стулья в нашей комнате! — грозит он. Старые, давно не целованные губы дрожат от обиды.

— Кавалер! — задыхается тетя.

— Я мужественный! — отвечает дядя.

— Я тоже! — говорю я.

Над головой дяди блестит алым сердцем гитара тети.

— Что за дурное, позорное мясо ты приволок с базара? — рычит возмущенно тетя. — Это же кость!

— Ва! Ва! — сжимается дядя, боясь скандала. — Не приставай, генацвале!

Он застыл на тахте как связанный в мешке пленник.

— Это не мясо! — вскрикнула тетя и двинула по шаткому, ветхому стулу хромой ногой.

— Это не мясо? — удивился испуганно дядя.

— Болван! — объяснила женщина. — Ты болван!

Во рту дяди что-то, шамкая, заскулило обиженным бездомным щенком. Так плачут никому не нужные маленькие животные. Он мог скулить весь вечер, закрываясь подушками. Вдруг он вскочил, схватил графин с пожелтелой выдохшейся водой. Он стоял одиноко и держал графин высоко над головой, пытаясь разбить свою прошлую и настоящую жизнь.

— Мне страшно! — тихо сказал дядя. — Я одинок. Вы не видите, люди, как я одинок?!

Желтая вода обиды вздрагивала на донышке.

Дядя стоял в малиновых выцветших грязных кальсонах. Он не знал, что делать дальше с графином, разбить его или поставить назад, сдавшись поражению. Тетя поглядывала на него с еле усмирненной ненавистью.

— Попейте воды! — посоветовал я.

Дядя вздрогнул.

— Мы уедем! — отозвался он равнодушно.

Вот погасла тьма и краснеющие брызги солнца закапали в рассвет. Дядя разжмурил глаза. Тетя лежала в белой постели под горячим ватным одеялом. Дяде захотелось стать воробушкой и радостно чирикать всю жизнь. Дяде чудилось, что супруга неожиданно улыбнулась и протянула худую нежную руку.

— Котэ! — обещает она. — Хочешь, я буду вечно любить тебя? Хочешь, съешь в миске зеленый виноград. Один съешь, мне не оставляй ни зернышка!

Дядя обрадовался, но не забыл вчерашнюю обиду.

— В Кахетию! — закричал он.

— Чтоб треснула твоя башка! — вот как ругалась тетя. — И пусть обольют тебя керосином, как еретика! Подождут!

Тетя металась в постели. Она выдавила из тюбика груди застарелую пасту гнева.

А мы с дядей уже едем в красном вагоне трамвая. Солнечная вода счастья плескалась в вагоне на хмурых, невыспавшихся лицах пассажиров и кондуктора.

В гараже мусорных машин мы одолжили у завгара старенькую, смешную, ободранную автомашину. Первый послевоенный выпуск «Москвича». Из гаража мы выкатили синий автомобильчик в заплатках бедности и помчались вдогонку за дядиной молодостью.

Мы гнались за ней. Мы летели по пыльной Старой Кахетинской дороге с безумной, запрещенной скоростью в тысячу человеческих лет.

Ночью привал у торчащей, как сук, деревеньки. Я выпросил у дяди рубль и отправился на поиски плодоносящих людей. Я нашел там женщину с лицом, выдолбленным из коры. Я сажмурился. Голая комната, лавка, дубовый стол. Бутыль с вином. Виноградный дух столбом дымился в холодной комнате деревенской жительницы. Старуха повела меня в погреб. Там хранилось вино предков. И еще дала с собой влажный, кислый, пряный сыр. В мешочке.

— Вы гость виноградников?

— Я гость лозы! Со мной дядя. Беглец Алазанской долины.

Розоватая тьма блесгла на острых скулах молчаливой кахетинки.

— Возьми еще соленого бурака!

Я прижал к груди бурак.

— Что слышно в городе? Как там живут люди в городе?

Я молчал.

Дядя ждал меня с нетерпением. Он проголодался. Воспрещено на дорогах Кахетии пить за рулем. Но мы сами кахетинцы. Здесь ходят вечно пьяные автомашины и пьяные маленькие, почти игрушечные поезда, битком набитые осенними, горланящими прощальные песни крестьянами.

Мы отпили вина. Вино согрело нас.

— В этой стране я провел юность! — шептал дядя. — Я буду искать забытых людей. Я сдую с них пыль.

Когда черная вода тьмы посинела, мы включили мотор «самолетика» и полетели в какие-то невнятные тени, навстречу мгле. Я высунул пьяную голову наружу и неожиданно расслышал запах хлеба, что шел из крестьянских домов, дыхание сонной скотины, мычание коров, аромат умирающих яблок и утра.

С Главного Кавказского хребта несся льдистый ураган, и сумасшедший ветер растрепал мои жесткие волосы. Горели ледники над судьбой, и тысячи голубых орлов опускались на мою ладонь, рвались крыльями.

Воздух дрожал. Фонтаны огней над Кавкасиони ослепили нас. Горы летели нам навстречу угрюмыми быками с горящими спинами. Дорога наполнялась едким запахом паленой шерсти.

— Вай! — испугался дядя. — Вай мэ!

Бычья кровь кахетинского сентябрьского рассвета сверкала на стекле старенького автомобиля.

— Вай! — вскрикнул дядя, сжимая руль.

Я ловил блестящих мух осени. Горящий занавес утра ослепил и пожилого шофера и юного пассажира. Мы хохотали от радости.

— Наша Кахетия! — кричали мы, пьянея от родного воздуха.

Мы страшились синих снегов в вышине. Снег этот, тяжело умирая, неподвижно лежал под солнцем. Голос нашего детства сдувал розовый иней с ледника. В далеком небе раздевались догола бледные звезды. Дядя притворился летчиком. Мы летели на аэроплане в розовый пожар холода.

— Это пасторальная страна! — дядя вцепился в штурвал. — Мое светлое детство! — Он возбужденно вспоминал. — Был у нас сад хризантем!

— А сирень цвела?

— Павлин разгуливал по дворику!

Мы остановили дребезжащую автомашину на круглой деревенской площади, рядом с церковью. Я заглянул в щель двери. Пахло сеном и мокрыми опилками. Кто-то упорно боролся в полумгле. Двое колхозных парней, взмыленных и могучих, готовились к первенству Гурджаанского района. Они пытались подножкой свалить друг друга на опилки. Старик, подбадривая народных героев, бил в глухой барабан.

Орава детей вместе с полусмытым святым Георгием с ужасом наблюдала за поединком. В разбитый купол светило робкое солнце. Я взглянул на оставшиеся сырые овальные контуры от давно исчезнувших икон. Тень растаявшей богородицы с печалью глядела на физкультурный молебен могучих, как грузовые лошади, колхозников. Глаз фрески выбит камнем. Он ослеп. В храме Георгия Победоносца проливается на опилки вонючий пот его неблагодарных потомков.

Во дворе окрашенного голубой краской дома я отыскал дядю. Он, приподнявшись на цыпочки, глядел в чужие окна. Он сник. Голова его была головой аристократа перед неотвратимой казнью. Спиной он сгорбился как черная бесплодная смоковница у края пыльной дороги. Он вспоминал маленькие костры оплывающих свечей, сверкающих на черном надгробье фортепиано.

— СИ БЕМОЛЬ МАЖОР! — сказал дядя. — Моцарт!

— Ну что? — спросил я. — Это ваш бывший дом? Кто здесь жил? Прислуга? Это детская?!

Дядя вздрогнул, посмотрел на меня заплаканными глазами.

— Отвечай! — рассердился я. — Дядя Котик!

Мы увидели девочку в белых гетрах с синими полосками. Она сидела на полу, сжимая большой воздушный шар. Девочка мирно, как-то просветленно плакала.

— Это ваша мама, дядя? Кто этот ребенок?

— Оставь меня! — отмахнулся он.

Вдруг он оживился.

Лукавый старик с бритой головой ехал на осле.

— Я его давно знаю! — обрадовался дядя. — Его звали ИРАКЛИЕМ ВТОРЫМ. Он царь.

Старик нечаянно обронил терновый веночек. Детское личико сияло. На траве валялась маленькая ржавая корона. Он обронил ее. Корона старенького царя дышала одуванчиками

- Поздоровайся с ним! Скажи «ГАУМАРДЖОС!»
- Я уже говорил с ним. Он забыл свою тронную речь!
- Он смотрит на тебя напряженно!
- Ложь! — вскинулся дядя. — Вассал моего вассала не мой вассал!..

Дядя нажал на рычаг, и мы покатали дальше. Я оглянулся на забытый ангелами исчезающий в облаках храм, где когда-то давно сладко пахло ладаном, курились смолистые благовония, а жители долины с натруженными грубыми руками и наивными простыми лицами пели в синем, легком дыму «АЛЛИЛУИЯ».

Церковь пряталась от нас напуганной деревенской девочкой, забитой дикаркой и дурочкой. Может, она стыдилась голых, единоборствующих, обливающихся конским потом борцов из народа.

- Где же ваш сад? Где лиловая сирень?
- Гляди! Бывший театр! — вымолвил дядя Котик.
- Имени французской Великой революции?

Крыша сельского клуба чернела мертвыми лицами античных муз на карнизах. В дырявую крышу смотрела бледная угасающая луна и звезды.

- Это наш театр! — упрямылся дядя.
- Это наша жизнь! — настаивал я.

Бросившая дядю первая жена Лизико бенефисничала на грязной немой сцене, единственной на всю Кахетию с виноградниками. Она потрясала неграмотных, забытых виноделов в спектаклях Ростана и Генрика Ибсена на грузинском языке.

Среди чернеющих в набегающих ночах полей и лунных, серебристых виноградников сжавшиеся под плачущей свечой оборванные крестьяне замирали от восторга, восхищенные водянистой краской покрашенных глаз грузинской деревенской актрисы.

Дядя Котик ходил на премьеры в светлом модном костюме и в соломенном канотье с ленточкой. Он носил парижскую старенькую шляпу своего отца, привезенную с первой международной винной выставки в самом конце девятнадцатого века. Деревенский франт не боялся насмешек. Но вот его охмурила бездарная актриса. Неожиданно без родительского благословения он вдруг женился на провинциальной легкомысленной артистке.

Мы проезжаем мимо покосившегося театра, превращенного в амбар. В амбаре жили мыши. Подлеповатые, они еще помнили жену дяди в знаменитых на весь Гурджаанский район спектаклях.

- Это был классический театр! — заметил дядя обиженно.

Мы вкатили в Мирзаани. Мы носились в автомобильчике среди пожелтевших трав и смешно давили на клаксон.

Белый домик, бонбоньерка, оказался маленькой местной лечебницей. Толстый санитар с оголенным волосатым пузом дремал во дворике на стуле, утопая в крапиве. Шлепанцы, потерянные им, валялись среди умирающих помидоров и баклажан грядки.

— Гамарджоба, кацо! — приветствовал я сонного гражданина из мира кахетинских лекарей.

Толстячок подскочил, проснулся, испугался, замигал глазами.

— Кто вы?

— Мы путешественники! Где здесь живет акушерка Нина?

— Вы друзья или враги нашей долины?

— Мы родственники! — сказал дядя Котик.

— Вы враги! — убежденно вздохнул санитар. Он пожевал красный, переспелый, недоеденный помидор, сок тек по откормленным щекам. Он чавкал сладострастно. — Она смертельно больна! — прошамкал он. И отвернулся. Все расправлялся с помидором из большого огорода.

— Эй! — протянул я к нему руку.

— Не мешайте! — Санитар обливался помидорным соком.

Дядя Котик закрыл лицо побледневшими ладонями, а я стал равнодушно глядеть в зеленое свежее небо.

Выгоревшая трава блестела. Нагло дул в наши лица мертвый ветер. В подворотне рыдал осел. Мужчина с алым, раздавленным помидором на розовой жаркой ладони. Невыносимо блестит на ране позднего овоща белая соль. Босые ноги санитара поеживаются, мокрые от росы.

— Помидор кушаете без меня? — строго спросил я.

Лекарь молчал. Спина его вздрагивала. Но мы страшились долгожданной встречи с умирающей женщиной. Мы робко, замирая, кулачками постучали в разваливающиеся ворота. Нам пришлось стучать в них безумно долго. Вот из груды окон и балконов, завешанных коврами, половиками и тряпками, выглянула голова незнакомой старушки с морщинами раздумий на лбу.

— Мир вам! — обрадованно закричал я ей.

— Вина харт? — моталась по балкону она. — Кто вы такие?

— Мы не враги! — убеждал привидение дядя Котик.

Ворота распахнулись, валясь набок. Под ногами коченела от дряхлости почерневшая трава, лезли и умирали лопухи.

— Камни! — пробормотал дядя сокрушенно. — Камни съели двор.

Дядя задыхался от печали. В доме пахло шерстью барана, тьмой и наспех собранными грецкими орехами в деревянных круглых корытах.

Мы на балконе. Мы повисли словно в гамаке над бледно-синим пространством Алазанской долины. Долина звенела, замирая в облаках мягкой осени

— Виноградные болота? — спросил я дядю.

— Это наша Алазанская долина! — обрадованно объяснил он

Лоза, засыпая, дрожала в ущельях. Кроме нас, одиноких путешественников здесь никого не было. Ни души.

— Лимонное дерево! — Дядя кивнул в угол. На окно. Там никло в маленькой кадке чахлое южное чужеземное растение с охрыными и взбухшими, как девичьи груди, плодами. Я их потрогал. Несорванные лимоны были холодны, как свинец. На стене на ковре ржавел кинжал.

«ТАРХНИШВИЛИСА ВАР!» — горели чернью вытисненные затейливые грузинские буквы на остром страшном лезвии. «Я из рода Тархнишвили!»

Мы с дядей с уважением поклонились кинжалу.

Я вдруг обернулся. Старушка замерла за нашими спинами и не шевелилась. Мы все боялись произнести первое слово. Самым страшным кажется оно Дряхлая женщина с белыми чужими волосами и оливковым от болезни погребальным лицом молчала. Отблески дальнего горного снега мерцали на ее ввалившихся щеках. Голубые язвы печали погасли в глазах дальней умирающей родственницы.

— Вай! — засмеялась она высохшим ртом.

— Он приехал! — кивнул я.

Мы втроем слушали, как поет красный буйволиный воздух. Мы с дядей украдкой взглянули на обреченное лимонное деревце. Взявшись за руки, осторожно и бережно мы недолго покружились вокруг него в хоровом танце. Женщина протянула руку в малиновый прохладный полумрак погребца.

— Там мое вино!

— Из твоей лозы?

Она опустила веки.

— И рыбу вяленую возьмите. Рыба очень желтая.

Белые волосы дамы упали на сгорбленную спину.

— Ешьте и пейте! — приветствовала она гостей.

— Мы не голодны! — соврал дядя.

Он набросился на рыбу как ястреб. Он ломал зубы о каменные ее бока. Нина стала кашлять, она кашляла мучительно и невыносимо долго, с надрывом, потом опять ее сотрясало. Глаза ее расширились, мокрые от слез боли, потом почернели, ввалились, немножко успокоились. Я опустил голову к рыбе на белой скатерти. Дядя встал и принес из погребца глиняный кувшин. Он разливал вино в глиняные чашки.

— И мне тоже! — решила тетя. — Я тоже хочу выпить.

Я поднес чашу на свет долины, зажмурился и выпил легкую розовую воду. Вино отсвечивало задушенной крестьянской тяжелой рукой гроздью. Вино божественной мудрости.

Открытая жизнь долины за балконом погружалась в легкую набегающую тьму, в поющую мглу из стеклянных отблесков вечерней зари. Облака вместе с ледяным дымом летели над пылающим зеленым пожаром Кавкасион и хаотично, бестолково валились на наш поминальный стол.

В стаканах, замирая, плескалась наша прожитая жизнь. Дядя не к месту громко, радостно чавкал. Он всегда был обжорой. Еще с детства.

«Я голодный! — кричал он по ночам, бредил. — Мама! Я хочу съесть быка!»
Нина пригубила холодного терпкого вина.

— Я ездила к профессору! — вздохнула Нина.

— Ты была в нашем городке? — удивился дядя.

— Хирург занес страшный нож над моей грудью.

— Бойся хирургов! — ответил дядя. Он дожевывал тушинский влажный сыр с нежным пушком.

Лицо хозяйки дома темнело гнилым мясом. В сжавшихся глазах блистал страх смерти.

Ты больна? — спросил дядя.

Нина взяла в сухие руки чашу и разглядывала медленно темнеющее вино, как свою кровь. Нина снова превратилась в маленькую старушку, завернутую в тряпье. Ей сделалось тяжело, кукольный ротик слегка дрожал.

Бог Дионис задел голым загорелым локтем и опрокинул облака заката на наши головы. Крутом горели мед, елей и бальзам. Пели засыпающие светлые пчелы. Наша комната вздрогнула и неожиданно безвольно поплыла туда, где плавилось яичницей багровое оранжевое солнце. И вот мы, сотрапезники, полетели в небо вместе с нашими глиняными чашками с недопитым мирзаанским вином. Мы ничтожные букашки, червяки. Запахло горелыми муравьями с жалобными человеческими глазками. Легкое опьянение подбросило нас в небо, и только дальняя родственница Нина осталась одна за свадебным столом. Ее поджидал черный жених тьмы. Она все таяла, пока не превратилась в маленькую, воздушную, немую птицу. Путешественники осоловели клевали пьяными носами.

— Твой сын Леван бросил тебя? Уехал в город? Женился? — напомнил дядя невежливо.

Нина пересела на кровать. Она устала. Я видел, как дрожали маленькие веки. Женщина заворачивала гостям дорожную еду в старенькую пожелтевшую газету.

— Не надо! — закричал я.

— Оставить на поминки? — улынулась она с печалью.

Она задышалась, она схватилась тощими чужими руками за чахлое лимонное деревце. Лимон кожи болел в кадке. Женщина сгорела как фитиль и стояла перед нами голая, в топоти на холодных заплаканных щеках. Она протянула дяде сверток. Дядя отшатнулся, но сверток взял. Она ждала. Она думала, что мы решимся погладить ее седые, измученные болью волосы. Но мы бежали.

«Аэроплан» выл как обезумевший от горя ослик. И несся, подпрыгивая, вперед, навстречу ветру. «Аэроплан» бился нелепым детским лбом об этот ветер мрака. «Самолетик» глупо дрался с ветром.

— Алазанская долинаааа! — захлебывался ветром дядя. — Спаси нас! Вай! Вай!

— Не плачь! — Я глядел в окошко и насвистывал.

Сочилось солнце. Виноградные брызги холодели на небритых щеках дяди. Где же белые чайки над виноградными морями? Их нигде нет. Я сощурился. Кахетинская пастораль слепила. Виноградные купальщицы, девственные кахетинки, сборщицы урожая, с загоревшими лицами разлеглись на лозах. Они весело махали нам вслед.

— Эй! Живите! Живите! Ицховрет! Ицховрет!

Оранжевая умирающая птица с хищными когтями вечера опускалась на наши головы. Мы ехали к двум старичкам. Их звали Цхалоб Иваныч и Семен Иваныч. Дряхлые братья. Один старичок присматривает за другим старичком.

— Лучший тамада один, и лучший скрипач Кахетии другой!

Мы остановили «аэроплан» в грязи у двух плетней. Мы вошли в забытый кахетинским богом дворик. Здесь горела янтарная трава. На пылающем янтаре дремал старичок. Это был босоногий, пышущий здоровьем фавн. Он напился осеннего вина. Обнаженная детская рука лениво отдыхала на кувшине. Дряхлый пьяненький фавн подарил мне свою августовскую ладошку.

Я взял и погладил нежно-розовое крыло полусонного фавна.

— Ээээ! — задышал он теплом. — Споем цинандальскую заздравную, а?

— Кто он? — удивился я. — Что это?

— Сосед наших старичков! — объяснил дядя. — Это наше прошлое. Послеполуденный отдых фавна.

— Я завидую ему!

В невымытой комнате с паутиной сидела на тахте кукла, неживой старичок с восковым наивным личиком. Он холодно и безучастно смотрел на нас, аккуратно подстрижены другим старичком усики. В дынном горле что-то забулькало, какое-то горе. На красном одеяле на тахте сидел этот мертвый старичок с белыми кавалергардскими усами и холодно смотрел перед собой. Нас он не видел. Над ним на стене висела давно умершая, почерневшая скрипка без струн. Мы разглядели холодный смычок на его коленях. Он не шевелился.

— Цхалоб Иваныч! — позвал дядя. Мертвый старичок не шевелясь с глухим равнодушным любопытством смотрел на неожиданных гостей.

«Он оглох!» — подумал я.

Дядя в волнении снял с лысой головы летнюю шляпу с бантом.

Старичок заплакал. Он плакал, а глаза его оставались холодными.

Я отвернулся, выглянул во двор. На акварельной траве лежал голый вах с седой шерстью на груди. С пьяной лысины его свалился венок из золотых душистых цветов.

— Я Котик! — кричал дядя. — Не помнишь меня? — Дядя бил себя кулаком в грудь.

— Дядя! Оставьте его в покое!

— Погоди!.. А Баграта? Баграта не помните?

Старичок вдруг пролепетал слюнявым ртом.

— Не помню! Что еще за Баграта?

— Твой дед, винодел! — сказал дядя обиженно.

— АР МАХСОВС! — поник и съехался старичок. — Никого не помню!

Мы поглядели в его желтый одинокий глаз, другой закрылся.

— Слышите, дядя! — обрадовался я. — Цхалоб Иваныч пока не умер! Он разговаривает.

— Я слышу! — грустно ответил дядя. — Вы играли на скрипке! — снова закричал дядя. — Цхалоб Иваныч! Цхалоб Иваныч!

Потом мы улетели. Старика мы оставили во тьме.

Ааааа... вантот шушис паарнеби! — пел дядя —
Мовдзеднот хвинис марнээ... ээби!
Исэв да исэв хвинитаааа!
Дроц гаватарот лхинитаааа!

— Ари! Аралооооо...ооо! — подхватил я.

Зажжем стеклянные фонари
И огнем осветим подвалы с вином!
И, вином заплескав веселье,
Будем петь, будем петь до зари...

ОТ ВОЙНЫ К ВИНОГРАДУ

Война бушевала как черное дерево в бую. Дерево металось с распущенными волосами.

Дядя Котик ранен в обе ягодицы. Он в шинели без погон и грязной, оборванной шапке. Дядя — обладатель маленькой контузии.

Темно. Электричество давно исчезло. Комендантский час оцепенел в ночном воздухе Тбилиси. Патруль и голодные, эвакуированные бездомные собаки разгуливали тупиками.

Дядя Котик с вещмешком. Он вернулся живым, но покалеченным душевно. Солдат глядит на свою улицу. Там ждет его бывший католический собор, а ныне заколоченный боксерский зал.

На тротуаре кровоточила сорванная дымом войны листва. На листве замер человек из подвала, пожилой мужской портной Акоп. Он нищий, никто не шил в войну пиджаков. Акоп безмолвно глядел третий год подряд в надвинувшуюся ночь, пытаясь обнаружить в ней голоса двух мальчиков, что не писали успокоительных писем с кровавой арены сражений. Шла одна из великих мировых войн.

Дядя Котик поравнялся с вахтенным человеком. Мужской портной отдал честь военному гостю из окопов Кавказского фронта.

— Мы не отдали им наших гор! — вздохнул дядя. — Мы сражались в ледниках.

Портной Акоп молчал. Сердце его сгустком крови колотилось под старым макинтошем. Он был несказанно рад возвращению в дом пулевого человека, но не желал, как истинный кавказец, казаться навязчивым. Мужской портной играл тягостную роль воспитанного тбилисского гражданина.

Акоп радостно взял руку вернувшегося с фронта соседа.

Акоп взял руку Котика и поцеловал ее. Он не плакал. Он взял чужую руку. как голодный нищий берет абрикос, подаяние.

— Приехал! — задрожал он ртом. — Без пуль в голове!

С виска дяди текла черная, неслышная смерть.

«Я все равно умер!» — подумал он.

Дядя Котик хотел спросить о его детях, на каких фронтах или в госпиталях они лежат. томятся ли в плену или давно пропали из жизни без вести. В грязи окопов осталось лежать навсегда слишком много молодых, неиспорченных мужчин.

— На войне холодно? — спросил армянский портной.

Дядя задрал к чернильному небу голову в военной фуражке, он искал в облаках благую весть. Шинель дышала от толчков в груди.

— Вай мэ! — удивилась дворничиха. Курдянка обмотана в пестрые, разноцветные лохмотья. На морщинистой шее блестит монисто из ржавых монет.

— Гамарджоба! — поздоровался с ней бравый, страшно худой солдат. — В моем доме кого убило?

— Вай! — вздохнула дворничиха.

— Твой сын Джазо мертв? — спросил военный.

Он вспомнил, что не ел три года. Из опустевшего гнезда улетела в красный, умирающий закат довоенная ласточка.

— Кто там? Кто? — раздали испуганные шумные голоса. — Почтальон? Похоронка?

— Вор? — спросил сосед Шахро в громадной кепке.

— Откройте! — испугался человек в грязной шинели с пятнами порывшейся крови. — Я не вор. Я ваш сосед Котик.

— Ты откуда? — взвизгнул под дверь Шахро.

— Я с войны!

Взорвался снаряд над старым, многонаселенным домом. Котика засыпало песком и камнями. Стало тихо. Неубитый сосед стоял на пороге. Кто-то рыдал. Это был маленький горбун Шахро в кепке с длинным, довоенным козырьком. Шахро-старьевщик. Выбегали растрепанные женщины, лаяла хрипло пожилая собака дворника.

— Мы победим! — радовался Шахро.

Но война пока шла.

Вдруг люди закрыли рты ладонями. Дети вели под локти старушку. Старушка тихо и беспомощно задыхалась, как будто ей не хватало темного, коридорного воздуха.

Дядя Котик нагнулся, чтоб она могла схватиться за его немытую, холодную, родную шею.

Горбун Шахро вертел ручку граммофона. В комнатку набились люди. Они не отрывая глаз глядели на Котика. Мать держалась за его чужую, военную руку.

Дядя понял, что его братья погибли в Керчи. Керчь — грузинское кладбище. Моряки и пехотинцы, отступая, захлебывались кровью и тонули в мартовском холодном море.

Соседки принесли и разостлали белую скатерть.

— Надо ему правду объявить! — бормотал горбун.

Фронтвик припал губами к стакану. Он жадно пил горячее солнце.

— Езжай в Велисцихе! — шептал неугомонный Шахро в кепке.

— Котик? — рыдала старушка.

В комнату вбежал нижний сосед Ладо, сапожник и великий пьяница. Великий «азиатский» мастер. Он лучше всех шил в Тбилиси обувь и быстрее других «холодных» сапожников пропивал гонорар. Напившись, Ладо бродил по дому и, обезумев, колотил в чужие, наспех запертые двери. Дети боялись его. Им пугали непослушных. «Ладо идет! — кричали дети. — Ладо-пьяница». Всю войну, сам освободившись по инвалидности, он яростно пил за победу. Сапожник ухитрился ни разу не протреть со дня знаменитой речи И. В. Сталина по радио и дал соседям клятву пить до разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Он хвастался, что начал пить крепко еще до прихода Гитлера к власти, совсем молоденьким подмастерьем. Его не взяли на фронт из-за белой горячки. Но Ладо никогда не был грубым алкоголиком, он взрастил себя тонким, благородным пьяницей. Сапожник поклонялся искусству для искусства. Это был чистый человек.

— Котик! Ты настоящий солдат! — прогремел его поэтический голос, омытый в цинандали пополам с чачей. — Ты приехал домой с войны, чтоб пить со мной! — добавил он, брякнув на грубый, деревянный стол бутылку с крепчайшей, сумасшедшей домашней водкой.

— Пьяница Ладо! — радостно зашумели дети.

Матери стали поспешно уводить их по комнатам.

Очаг героя опустел. Горбун испуганно унес свой граммофон. Старуха мать сидела на белой простыне на тахте. Ладо был коренастым мужчиной, крепким как бык, с багровой лысиной пьяницы эпохи Возрождения и выпученными бандитскими глазами, налитыми кровью.

— Вон отсюда! — закричал дядя.

Молчание ворвалось в комнату вслед за несчастным криком.

Молчание раздавило застолье обрушившейся стеной. А тишина разбила будни тыла на две эпохи и обвилась намыленной удавкой вокруг шеи старухи, которая потеряла в Керчи двух сыновей.

Наверно, именно поэтому старуха горько плакала.

Соседи всполошились.

— Жена фронтовика удрала с артистом! — объяснил народу горбатый Шахро.

— Я расправлюсь с тобой! — Ладо поднял горбуна за воротник и поставил на стол.

— Жена удрала! — пели дети.

Об окно билась берцовая кость дерева. День светлым зрачком лепился на мутное стекло жизни. Старушка и пустая бутылка с выпитым фронтовиком вином. Демобилизованный по ранению пил всю ночь напролет. Мать и ночь с черепами убитых в Керчи детей. Котик бросил мать. Он уехал по телавской железной дороге в сторону кровотокающей семейной раны.

Маленький вокзал был забит мешочниками, ворами и ранеными. Всеми здравствующими людьми сорок третьего года. Далеко отсюда гремели залпы, носило головы живых людей и отрывало с мякотью человеческие руки и ноги. На сырые окопы проливался осенний дождь из крови.

Но вот со скрежетом рванули колеса, дернулся вагон, затарахтел, лязгая ржавой цепью, «Пьяный» Кахетинский поезд.

И вот глухой, как двор тюрьмы, запел голос калеки бездомную песню прифронтовых отщепенцев.

Эта песня была древней, и пели ее то греки, то римляне или еще какие-нибудь воины, в зависимости от тяжести военного поражения, пели обнищавшие люди простого звания, оруженосцы, пушечное мясо, штрафники, соль земли нашей или неудачливые захватчики. Но все они нищие с горя, с обветренными лицами и опухшими, чужими ртами. Это были гражданские лица в неудобном военном обмундировании, отставшие от своих воинских частей или сброшенные шальным взрывом на пустую, разбитую медленными шагами раненых страшную дорогу.

— Военный, пей вино! — сказал босой беспризорник.

Вагон был маленьким кораблем, плывущим от города с его бедами в нераненное море. Кто-то развернул носовой платок и показывал пассажирам фотографии с невидимой черной каймой. Люди глядели оттуда чисто, как будто им еще никто не сообщил, что их недавно убили. Пассажиры затаили тягостную грузинскую застольную. С этим горным плачем приносили убитых. Дядя Котик глядел на старушку с чемоданом. Он думал, что она его мать, оставленная им только что в неспрадном доме ради жены, что бросила его и сбежала с актером, пока он из маленького окопа стрелял в живых людей. Он ждал, что старая женщина спросит его о чем-нибудь безобидном, например, о том, в какой он служил роте и не встречал ли где-нибудь в плену или возле незасыпанной братской могилы с изуродованными мертвецами ее родного, единственного сына, но она молчала.

Наверно, она слишком долго спрашивала посторонних, возвращающихся солдат о таких пустяках.

Поезд, гремя, исчезал, таял в облаках пыли.
Ночь рождалась и умирала снова.

Дядя на полустанке. Найти бы лошадь, подводу.

— Эй, сюда, линейка!

Дядя Котик забросил на сиденье вещмешок и покатил в родной Велисцихе. Линейку подбрасывало на ухабах.

— Что дашь мне? — спросил кучер.

— Шерстяные носки! — пообещал дядя.

— Хочешь майку с убитого, вместо сдачи? Немножко грязная и дырявая, а?

Дядя угрюмо засопел носом.

— Вай мэ! — вдруг испугался кучер и остановил лошадь с глазами усталой старухи. Лошадь стояла, чутко перебирая копытами в грязи и песке.

— Приехал! — равнодушно кивнул дядя. — Хотя погоди! Давай к дому тещи!..

Кучер покачал головою и взялся за поводья. Собака погналась за ними.

— Не сдохла пока? — удивился дядя, разглядывая тощего пса. Собака обезумела от счастья, она пыталась вылизать потемное лицо пассажира. Дядя Котик пошарил в вещмешке и нащупал обещанную кучеру плату. Он рылся в рваной солдатской котомке с ляжками. Дядя давно небрит.

— Не хочу я твои носки, вай! — обиделся кучер. — Ты с войны!

Старая мать сбежавшей жены сидела на тахте. Девочка оглянулась на усталого, запыленного, измученного солдата со скорбными глазами.

Тонкие губы дочери вскипели. Солдат осторожно погладил ее голову, как бездомную собачку. Казалось, он сейчас побежит мыть свои руки и даже оботрет их белым, праздничным полотенцем. Молчание. Девочка обратила к этому чужому человеку в рваных сапогах и шинели ясное маленькое лицо, залитое пресным счастьем. Котик развязал вещмешок. Игрушек не было. Девочка с любопытством заглянула во мрак мешка. Из мешка пахло захваченным у врага мылом.

— А где мама? — спросил усталый, чужой солдат.

Глазами он целовал светлые детские волосы дочери.

— Мама! — заплакала девочка.

Теща взяла ребенка на руки. Дядя Котик заковылял, опираясь о палку. Палка гулко стучала об пол. Старая женщина сказала:

— Забери лук! Там! Висит на окне. Сейчас голодно. Ты один!

Дядя отшатнулся от окна. Стекло блестело розовыми слезами очередного в его жизни рассвета.

— АЙХЭ ХАХВИ! — шептала девочка. — Забери лук!

Дядя подумал и сорвал связку. Девочка глядела ему вслед, испуганно заворачиваясь в рваную старую шаль.

Дядя шел, не видя обрушившейся на голову ночи. Он мог бы идти зажмурившись до самой несущейся на него волнами Алазани. Когда он войдет в ревущую могучую воду по пояс и захлебнется, он станет барахтаться, оборачиваться, бороться с бездной кружащей, искать свой брошенный в деревне холодный теперь дом. Темная кипящая вода закружит солдата. Ветер протянет ему дрожание, нищие руки. Спасет его брненное тело.

— Я прошел над Алазанью!..

Несчастный солдат после долгих, тяжких поисков в потемках нашел дом отца. Дядя упал у порога бывшего дома, откуда давно удрало голоногое детство, и заснул.

Проснувшись, он хмуро протер глаза и стал выдавливать дверь в кладовую, откуда проник в темную грязную спальню родителей.

Демобилизованный стал палкой сбивать паутину над головой, свисающую с обвалившегося в зеленых кругах и потеках потолка. Из мебели он обнаружил только кушетку и сломанное старинное кресло. Вздохнув с облегчением, он опустился на кушетку ранеными ягодицами. Оставшуюся жизнь это станет любимейшей позой его усталого тела. Он обожал долго лежать, не двигаясь, в выходные и праздничные дни.

Дядя Котик навечно делается рабом горизонтального положения. Хотя куда он так торопился, зачем привыкал? Ведь когда-нибудь в земле его ждало то же самое?! Эта рабская, губящая поза сковала его душу. Он безжалостно посвятил ей остаток обывательской жизни маленького человека. А остаток был огромным!

Дядя Котик зажмурился. Он тихо лежал в холодном брошенном доме под изодранной в битвах шинелью. Сквозняки самовольно и бездумно гуляли из угла в угол. Дядя боялся простудиться. Он лежал. В руке он сжал палку, которую ему выписали в полевом госпитале, а на груди дымился золотом и горечью заплесневелый лук из подаренной дочерью и старухой связки. Целый венок прощального лука! Шершавый, облезлый лук выедал глаза. Глаза слезились. В ушах все еще стреляла старенькими, невинными орудиями ужасная, непонятная война. Дядя жевал мягкими, обиженными губами лук и засыпал, потом он просыпался, но не шевелился. Сердце ныло тупо. Он любил актерку Лизико. На пятый день он охнул и попытался изменить горизонтальное положение своего тела. Он стоял на шаткой кушетке в вонючих портянках. Вдруг невыносимо захотелось есть. От горького лука давно тошнило. Долго и бесцельно бродил он по дому, вспоминая: где же в детстве хранились осенние яблоки?.. Дядя почесал затылок и поплелся в опустелый, вымерший чужой сад. Он не решался поздороваться с садом детства, хотя бы вежливо поклониться ему.

Туманно. Дядя быстро продрог. Вояка зябко и беззащитно стучал зубами. Сад опустел, голый и заброшенный людьми и птицами. Дядя чужаком шлялся здесь, наступая на опавшие листья, хрустела под неуверенной ногой вишневая ветка.

Он вспомнил, как папа однажды купил детям обезьянку. Обезьянка принесла много радости, а потом заболела и умерла. Обезьянку закопали под кустом сирени. Дядя Котик отыскивал этот старый куст. Он, кряхтя, нагнулся и стал ощупывать холодные ветки. Облака гнались к саду. Дядя зашагал назад, в дом. Он снова в раздумье остановился над кушеткой. Лечь спать или жить дальше?.. Он тяжело раздумывал. Мгновение, и он, сраженный пулей лени, свалится в покой, навечно живым прирастет к кушетке. Но в голове гудело. От лука горечью дымился несчастный рот. Дядю пошатывало. Дождевой червь улыбки выползал на заплаканные мокрые губы.

— Вай! Вай! Я хочу жить! — радостно закричал он.

Поспешно, суетясь, он стал складывать пыльные, гнилые корзины одну на другую, выросла гора до самого чернеющего потолка. Дядя полез на чердак. Золотистая бурая пыль оседала на одинокую голову стареющего солдата.

Он испугался. Его подхватила лавина неожиданного счастья. На чердаке бродил сентябрьский поздний ветер. Дядя повис, схватившись за дверцу чердака. Бренное тело воина-неудачника болталось над детством как голубой флаг забвения. Тело Котика самоубийцей медленно раскачивалось над кушеткой родителей. Ныли израненные осколками ягодицы демобилизованного. Дядя вдруг поджался на трясущихся руках и зацепил костлявым, небритым подбородком за выступ. Рука как голодная мышь яростно шарила во тьме. Дядя вполз на территорию темного, запущенного чердака. Он резал зубами проволочные ограждения. Он воевал с прошлым. Кот шархнулся прочь. Дядя закричал коту о своей гибели.

— Жизнь пропала! — кричал дядя.

Облезлый, воинственный кот отчаянно вырывался. Дядя Котик лежал на чердаке на спине. Он задыхался, выпучив лошадиные глаза. Кот, убегая, обметал как метелкой своим дымчатым хвостом худое лицо дяди.

«Я жив!» — бились виски демобилизованного. Осколок торчал в лысой голове. Детский воздушный шарик летал над вспухшей грушей сизого носа.

Чердак голосом возбужденного дяди залечил свои давнишние раны, присоединяясь к счастливым, демобилизованным будням.

Возился, скрипя, сверчок. Для сверчка каждое мгновение — вечность, и дядя успел ему надоеть.

— Эй, ты, домовой в шинели! — рассердился сверчок.

Дядя искал напуганными, счастливыми глазами запах свежей простыни, на которой он родился. Дядя был голоден. Дядя задумал отыскать и ограбить охотничий паек сердитого кота, вылетевшего через слуховое окно в оранжевую зарю.

Но чудо явилось пламенеющим желтым яблоком. Дядя Котик, обгоняя тараканов, бросился из окопов к свету, что нимбом стоял над надкусанным яблоком детства. Яблоко пахло ветхой любовью. Дядя поцеловал его, откусил умерший, но тлеющий сахаристой сладостью кусочек. Ночь сорвала крышу с

брошенного дома. Ночь придавила стареющего блудного сына, спящего с изгрызенным, заплаканным яблоком на груди.

Засыпанный влажным, теплым снегом рев барса валился из-за льдистых скал. А там, далеко, в яме, стучал пулемет. Немцы рвались к Кавказу. Фашисты мечтали расправиться с Прометеем, добить его, окончательно растерзать исклеванную железным черным орлом печень.

Дымилось зарево. Пожар поедал яблоневоы сады и кустарники. Ночь била и дышала в лицо Котика гарью. Демобилизованный задышался.

Маленькая дочь тревожно спала где-то в соседнем доме.

Разогнался ветер и толкнул дядю в грудь.

— Эй! Эй! Эй! — завыл дядя Котик, хватаясь за виски руками. — Люди! Людiiiiiii! Людiiiiiii!..

Кленовые, дырявые листья как очумевшие от страха куры метались по двору.

Дядя Котик снова искал в заглошем саду могилку маленькой обезьяны.

Долго кричал он во тьму.

Где-то на войне стреляли в его братьев. Они умерли.

Потом он снова забылся пугливым, беззащитным сном.

Ему снилось, что он шел в атаку с визжащей от страха обезьянкой в руках.

Он потерял свою винтовку. Бросил в канаву. Наступил рваным сапогом на мину. Вверх тормашками летел он в безлюдны поля.

Кто-то звал спящего из голых кустов отцветшей давно сирени. Это был соседский старичок, дедушка Гаспар. Откликалась пустота сентябрьского холодющего сада. Зов пустого брошенного двора срывал с кленов вспышки прощальных листьев. Старичок прятался под раскидистым кленом.

— Эй! Ты вернулся с войны?

Котик не шевелился. Огрызок яблока камнем придавил ладонь.

— Ты, дурак, с войны живым приехал, а сам на чердаке сидишь, голодный?! — ругался старичок. — Прыгай сюда, ко мне, а то я тебя побью! Я крепкий пока.

Дядя Котик обрадованно глядел на дальнего родственника.

— Гаспар! Ты не умер?

— Я мальчик! Прыгай сюда с чердака!

— Боюсь!..

— Почему боишься? Ты кто, парашютист?

— Я хозвзвод!

— Сейчас лестницу принесу! — сердито сказал дедушка Гаспар. И ушел.

Дедушка всю жизнь не выезжал из Велисцихе. Третьей его женой была Фрося, бежавшая сюда в тридцатых годах от голода, из российской деревни.

Сначала она служила домработницей в семье своего будущего возлюбленного, а потом мужа. Фрося полюбила кахетинское вино, спящее в древней земле. Дети Гаспара и внуки не одобряли эту позднюю любовь стариков. Дети и внуки стыдились того, что Фрося подрабатывала немножко обмыванием и обряжением велисцихских покойников. Как будто за ними самими никогда не придет смерть!..

Дядя обрадовался старику. Деревня не вымерла. Он, потирая ладошки, сторбившись, разгуливал по надоевшему ему чердаку. Но спуститься сам он не мог, корзины рассыпались. Дядя лихо отшвырнул сапогом изжеванное, мокрое от его слюной яблоко.

— Я тебе благодарен! — кричал он садовому спасителю. — Эй!

— Прыгай! — тихо сказал старик. — Или спускайся по лестнице! Не бойся, она шатается! Я держу.

Дедушка Гаспар поднял дядю с земли. Спальня проросла землей.

— Давай поздороваемся, солдат! — Губы старичка пахли коровой и холодом полей.

Они шли к дому Гаспара. Снежинка, маленькая птица, вспорхнула из-под усталых ног.

— Лединник! — обрадовался Гаспар.

Птица улетела. Оба поглядели в воздушное поместье птицы.

Домик Гаспара сиял праздником, не разбитый войной. Пули воющей зимы много раз пытались, по-разбойничьи свистя, продырявить солнце.

Кровь солнца омывала ружье охотника, чашки с мокрой съедобной травой.

Фрося в скромном темном платье и белом переднике зачерпнула в воздухе холодного огня. Это детский глоток вечности. Это вино из небесного, опроки-

нутого навзничь кувшина. Дядя прижался к маленькому окну. Окно горело тусклым умирающим блеском заката. Под дождем темнел забытый живыми людьми дряхлый сад. Шуршали капли дождя по голым кустам увядшей сирени. Плакали сладкими слезами моченые яблоки из кадки.

— Забудь битву народов! — Гаспар поднял чарку с чацей.

Дядя, сжавшись, закрывался от взрывной волны, которая с воем накроет его.

— Пей! — прикрикнул старичок.

Ледяной глоток обжег и раздробил горло фронтовика.

— Еще налей! — командовал старичок.

— Пьем за нашу войну! — шумела Фрося, раскрасневшись морщинистыми щеками.

Дядя обгрызвал наглуго голову индюка. Вытекла бусинка дрожащего стеклянного глаза птицы.

— Меня ранило в зад! — объяснял всем подвыпивший дядя Котик.

— Молодец! — сказал дедушка Гаспар. — Хороший человек!

За мертвых. Вечная им память. Еще выпили за раненых. Дядя Котик все пытался поглядывать в окошко на дальний чернеющий под вечерним дождем сад.

— А теперь за женщин!

Дядя подскочил как ужаленный.

— Не бледней! — разозлился дедушка Гаспар. — Пей и за любовь! Сад твой опустел, но зато ты вернулся с войны.

Стали пить из громадного рога. Из него доносился рев исчезнувших столетий. Дядя пытался влезть в рог тура и спрятаться в нем от жизни. Но все не получалось.

— Пей! — кричал дедушка Гаспар.

— Пей до дна, Котик! — скандировала Фрося в белом, аккуратном переднике.

— МРАВАЛЖАМИЭР! — затянул застольную старичок. — Женщин для любви на белом свете много! — разглагольствовал он.

— Мы с Гаспарчиком счастливы! — улыбалась Фрося.

Дядя Котик сиротливо слушал проповедь. Дядя погладил острые рога на своем лбу.

— Вай мэ! — кричал он, держась за рога.

— Не убивайся так, Котик! — успокаивала дядю Фрося. — Ты еще благородный, в расцвете сил кавалер! В тебя любая девка без денег влюбится!

— Счастья хочу! — сокрушался дядя. Крик летел из его опустошенного, беззубого рта.

— Позор! — выругался Гаспар. — Ты мужчина!

— Я не мужчина!

— Не плачь!

Старичок и Фрося снова налили всем кислого зеленого вина.

— Пей до дна, Котик! — дирижировали старыми руками оба. — Пей до дна!

Пей до дна!

Слезы военного потекли в тарелку с кислой капустой.

— Ешь кислую капусту! — угощала сердобольная Фрося.

— Хватит глядеть в окошко на свой умирающий сад! — стучал вилкой по столу Гаспар.

Котик сжал рот руками. Он слышал выстрелы. Кто-то из окопов кричал «Ура!». Кого-то убивали.

— Я на женщин плюю! — хвастал старичок. — Бери с меня пример, фронтовик!

Фрося дала старичку оплеуху.

— Где мой кинжал, женщина! — вскинулся дедушка Гаспар. — Зарежу!

— Влюблен в меня как мальчик! — улыбалась щербатым ртом Фрося. —

Такой ревнивый кавказец!

Старичок пошатывался. Пытался плясать лезгинку.

— Влюблен, а скрывает! — кокетничала старуха.

— Не хочу жить! — кричал Котик старикам.

Гаспар сорвал со стены ружье.

— Застрелю малодушного!

— Огонь! — командовал собственным расстрелом Котик, срывая с волосатой груди гимнастерку.

— Убью! — хрипел дедушка Гаспар.

— Убивай! — радостно подпрыгнул дядя.

Раздался холостой залп. Осыпались последние листья с мокрого в тумане клена. Дядя стоял бледный, пошатываясь. Он разбил окошко кулаком. В разбитое окно ворвался ветер, заглядывал издали таинственный сонный сад.

Пьяного гостя потащили на кушетку.

Котик захрапел, забылся тяжелым, беспокойным сном.

— Вот и зарубцевали рану сердца! — улыбался дедушка Гаспар.

Ночной ветер рвал его седые древние волосы.

ВОН ОТ ЛЮБВИ! ОТ ЛЮБВИ!..

Сторожевой колокольчик плывущей сюда зимы разбудил дядю. Возле босых, замерзающих ног валялось остывшее от выстрела ружье Гаспара.

Сада не было. От карточного рассыпавшегося домика гнал сюда темнеющую пустоту ветер, изрытый скучным дождем. Как дырявый одинокий лист на мокрой осенней земле лежал дядя Котик. Куст сирени давно умер, изломанный долгой разлукой с хозяином.

Котик в детстве любил кататься на лошади, хотя боялся упасть. Лошадь, что ждала по утрам мальчика, погасла. Конь отчаялся в мужестве ездока. В детстве Котик сам себе казался суровым, мужественным рыцарем. Теперь уже дядя не сможет оседлать с турнирным копьём усталое седое животное. Дама сердца бежала с заезжим артистом осетинского народного театра.

Умирай, дерево детства! Умирай!

Дядя сторбился. Дядя наматывал грязные, окопные портянки на обыкновенные человеческие ноги.

Несет от пиришественного сиротливого стола продрогшим за ночь, разлившимся вином.

Дядя Котик домашний, комнатный человек, хотя и вырвался из военных предгорий Кавказа. В карманной, жалкой душе дяди болит белоснежная хризантема, что подарил он до свадьбы будущей блуднице, бежавшей из его опозоренного дома фронтовика. Храпит Фрося в помятом темнеющем переднике. Растрепанная голова на подушке. Утром ей обмывать свежего покойника. Муж ее, бравый старичок Гаспар, упал пьяный в кладовой, на песчаном полу, среди мешков с зерном кукурузы.

Старичок сладко зевал, врытый по горло в песок.

Демобилизованный солдат Котик, опираясь о палку, кособоко надвигался на смятенную криком заснеженную осеннюю дорогу.

— Прощай, виноградное солнце! И здравствуй! — приветствовал он четыре стороны кахетинского света.

— Здравствуй, цинандальская лоза!

— Эй! Линейка! Достать сюда линейку! Пролетку! Бричку!..

— Мне в городок! В виноградный районный городок! Светлый от благородного вина!

— Эй, кучер!

Из кустов поздней сентябрьской свежести линейка. Подвыпивший кучер распахнул горизонт, ворвался в облака, сморкаясь и смеясь распухшим носом. Кнутом полоснул по облаку, отогнал сухой и желтый туман. Махал дико кнутом, чтоб взбитое полотнище неба освежало бездомного клиента. Полупьяный от студеных шорохов зимы, выпавшийся, в похмелье, дядя унесся в провинциальный кисло-сладкий городок Гурджаани. Там прячется от него сбежавшая из балаганчика бродячая жрица кахетинского искусства, подлая ласкательница его довоенной, вспоенной материнским молоком и медом поэзии груди. Лизико!

Протрезвевшее солнце надоедливо целовалось с землею.

Пролетка!

Конь летел в бешено надвигающуюся трагикомедию. Конь резво подпрыгивал, цокая копытами на маленьких пригорках и бульжниках. Иногда конь летел над засыпающей среди заснеженных холмов долиной. Дядя задыхался от слез и счастья свидания. Еще бы! В зареве разорвавшейся бомбы он думал о ней, а не

о матери, старухе с глинистыми щеками. Это было несправедливо, но, умирая, он думал о неверной любимой всегда жене.

Вон позади утонула в гремящих камнями волнах рассвета деревенька. Путник с небритыми щеками в военном обмундировании обернулся и с горьким наслаждением потерся колючей, заплаканной щекой о родную деревню Велисцихе.

Нищая сидела у края дороги.

Это была велисцихская сумасшедшая. Она слепо торговала придорожными грязными камнями. Она кричала, звала убитого немцами сына и судорожно собирала камни. Она выдавала их за груши всем проезжающим. Пролетка плыла мимо.

— Эка! — помахал безумной Котик.

Оборванная старуха в нищенских лохмотьях заплакала. Она протянула в сторону уносящейся лошади несчастную руку.

— Эй! — оборвал утро дядя.

Сумасшедшая бежала за ним, задыхаясь, дарила урожай бедных камней, собранных за ночь.

— Здравствуй, Эка! Что продаешь?

— Вот купи душистые медовые груши! Ты наголодался на войне!..

Женщина потеряла рассудок, когда ей принесли похоронку.

— Что с женщиной? — обратился к кучеру дядя.

— Мои груши! — всхлипнула больная.

Дядя слез с линейки, и помешанная отдала ему мокрые грязные камни. Котик поглядел в озаренное болью и счастьем лицо блаженной, залитое радостными слезами.

— Вай! Вай! Сладкие! — подмигнул кучер.

— Что тебе за них дать? — неосторожно спросил Котик.

Мрачный дождь облепил голову женщины мокрыми волосами. Белье, мягкие губы обвисли. Черный рот опух от крика. В ослепшем взоре сожженные дни. Женщина догадывалась о своем безумии и боялась его.

— Отдай сына! — прошептала она. И прижала к груди камень.

— Трогай! — закричал дядя.

Сумасшедшая хохотала.

Издали налетал Гурджаани. Сердце терпкой Кахетии. Престол светлых кутежей. Алый сок ахашенской лозы. Холодный огонь послеполуденного, позднего осеннего застолья. Чаша бездны. Ароматный букет всей Кахетии.

Всюду было шумно. В глубоком тылу уже праздновали медленно надвигающуюся победу наступающих на врага армий. Кахетинцы, как и другие народы, проливали кровь. Из всех подвалов городка слышался золотистый прибор пенящихся вин. Здесь, в глубоком тылу, у подножия Кавкасиони, дремал госпиталь для выздоравливающих. Госпиталь, овитый плющом и бледно-красной лозой с мягкими листьями. Улицы и тесные переулки были забиты пьяными инвалидами, ранеными на костылях. С палками. Все пили дешевое сержантское вино. Все забывали войну. Дядя Котик уныло бродил по базару. Он искал сбежавшую жену из народного театра. Он готов был простить ей самую страшную, безжалостную измену, только бы зажечь снова пылающий сухими дровами камин домашнего уюта с маленькой послушной дочерью.

— ВЕРНИСЬ! — напевал он дребезжащим, жалким ртом. — Я ВСЕ ПРОЩУ!..

Шулер в клетчатой кепке предложил ему сыграть в фальшивые карты. На любовь сбежавшей женщины. В маленьком тире ждала выстрелов плюшевая, набитая опилками лиса. Тиршик спал на нагане. Наган — трофейный. Командир миниатюрного стрельбища вдруг проснулся и стал зазывать прохожих:

— Пожалуйста, товарищи рыцари! Убейте мою лису! Пожалуйста! — гостеприимно улыбался он опустившимся пьяницам всех родов войск.

Обезумевший от чачи матрос замахнулся разбитым в драках костылем на тиршика. Тиршик надел черную круглую балаганную шляпу с оранжевым перышком и выхватил из кармана камзола спасительный дежурный свисток.

— Свисти, свисти! Тыловая крыса! — ожесточился пожилой морячок.

Тирши. спрятался за бутафорной лисой.

— Пульнем в этого афериста из духового ружья! — предложил морячок в тельняшке дяде Котику.

Дядя Котик почесал голову.

— Милиционер один на весь Гурджаани. Сейчас в духане сидит, разваливается от водки! — Хулиган в тельняшке дышал убийственным перегаром. Девочка, дочь тиршика в рваном балаганном камзоле, глядела на морячка.

— Папу застрелим! — радостно сказал матрос, списанный с баржи.

Дядя Котик вытолкал его. Морячок в грязной рваной тельняшке полез в драку. Размахивал костью.

Дядя Котик снова бродил один по базару, искал цветы для сбежавшей актрисы. Цветов не было.

— ЛЮБИМАЯ! — вздыхал дядя.

С намалеванной мокрыми буквами афишки, рвущейся ветром, кричало:

«Гурджаанский районный театр ГЛОБУС
имени санитарной гигиены!
СЕГОДНЯ И ВЕЧНО
РИЧАРД ТРЕТИЙ!

Леди Анна — артистка Лизико Маралашвили».

Дядя наткнулся на слепого.

— Не уходи, гражданин! — позвал слепой.

В Гурджаани шла бойкая торговля. Шла распродажа всей земли с пылинками, пчелами, светлячками и оврагами. Один бывший господин выменял целое ведро кислого вина на вставную челюсть.

— Гражданин! Что у вас с душой? — спросил слепой. — Я хочу оказать вам первую медицинскую помощь.

— Меня жена бросила!

Слепой молчал. Больничные серые штаны. Кожаная потертая куртка. Левое ухо закрывает приспущенный черный берет. Двое в пьяном городе. Прорвался к двоим косой, яркий от радуги дождь. Чавкали мутные, кипящие желтыми пузырьками лужи. Рыдал мокрый осел возле пивного ларька.

— Что дальше? — жадно спросил дядя. Надежда душила его.

Слепой загадочно молчал. Все давно было сожжено для него. И люди. И собаки. И трава. Он сказал:

— Ваши шаги светлы, несчастный! Это я легко слышу. — Слепой улыбнулся ослепительно выжженными глазами. — Я освоил амплуа царя Эдипа!..

В капле вина на дне базарного, случайного стакана загорелось солнце. В мокром стакане застыла мерзлая ягодка рябины. Над головами случайных знакомых вода мглы повисла легким дымом.

Бездомный дождь загредел о разбитую стоптанными военными сапогами землю. — Прощай... любимый город! — заголосили раненые, ковыляя к госпиталю из-под открытого неба.

— Где ваша жена?

— Она играет в театре!

Слепой был поводырем. Он шел первым и вел за руку дядю Котика. Он знал дорогу в театр «ГЛОБУС» имени санитарной гигиены. Рябое, изрыхленное лицо его вздрагивало.

Оба путника вдруг остановились возле гробовой мастерской. Шикарная для убогого городка зеркальная витрина. Эвакуированный гробовщик бежал сюда из окруженного немцами приморского южного роскошного города-курорта.

За мокрым от дождя стеклом витрины сникла на бархатной подушечке белая лилия из воска.

— Бонжур, месье! — вежливо поздоровался слепой.

— Бонжур! — уныло ответил худенький продавец с усиками, в зеленом мятом пиджачке.

— Почему нет корзин с царственными цветами для актрис?..

— Война, месье! На всех фронтах без перемен!..

Дядя Котик умолял его достать ему со склада хотя бы одну мертвую корзину.

— Вон за углом мой конкурент из местных перекупщиков гробов! — посоветовал зеленый пиджак.

Два новых товарища зашагали обратно.

— После войны хоть лиловая сирень! — кричал им вслед ободрившийся зеленый пиджак с разрезами.

Даль звала путников. Багровые листья, угасая, пламенели в сырой грязи. Крепко пахло ночью.

— Переучет! — рявкнул толстый человек. — Гробов нет!

Дядя стал кашлять, задыхаться от приступов удушья.

— Что с ним? — удивился толстый перекупщик гробов.

— Он ищет повсюду белые лилии для жены, — объяснил слепой. — Жена сбежала в театр.

— Но мое сердце не ватное! — обиделся толстый спекулянт похоронным товаром и могильной оградой. — Идемте на темный, запущенный склад.

Они все трое стали медленно, страшась мглы, спускаться на базу. Душевный перекупщик легкомысленно повел их мимо рядов голубых гробов с бронзовыми ангелами.

— Это правительственный заказ! — прошептал он. — Я тоже трагик! — открылся толстый делец с жирным, сверкающим каплями куриного бульона подбородком. — Моя жена тоже бросила мой дом, бежала от моей надоедливой любви! Представьте, она отправилась на фронт в действующую армию. Пехотный генерал сманил ее трофейной пудрой! Ха-ха! — По массивному подбородку потекли маленькие, сытые слезы.

Он вынес из темной кладовой дарственную корзину с белыми мраморными цветами, дышащими ночью.

— Она вернется ко мне, если убьют сухопутного вероломного генерала! — дрожали его жирные плечи. — Или если его расстреляют перед строем в захваченной Пруссии за мародерство!.. Подождите, не уходите! Друзья! Мы кровно связаны одной безутешной болью измены!.. — И разжиревший на военных невзгодах прощелыга — перекупщик гробов, опустив овальные веки, принялся мелодекламировать:

Когда из темной бездны жизни
Мой гордый дух летел, прозрев,
Звучал на похоронной тризне
Печально-сладостный напев.

Слепой подхватил:

И в звуках этого напева,
На мраморный склоняясь гроб,
Лобзали горестные девы
Мои уста и бледный лоб.

Дядя Котик не устоял и, держа на руках перед собой злополучную корзину, благоухающую взволнованной ночью, откликнулся пылая:

И я из светлого эфира,
Припомнив радости свои,
Опять вернулся в грани мира
На зов тоскующей любви.

Зав. подпольной похоронной базой воодушевился:

И я раскинулся цветами,
Прозрачным блеском звонких струй,
Чтоб ароматными устами
Земным вернуть их поцелуй.

Греческая античная маска хохотала в дождливой сырой ночи над Гурджаани.

Цены на билеты: бутылка «Цинандали» — галерка, вязаная трофейная кофта — пятый ряд партера, банка селедки — откидное кресло в амфитеатре.

Шулер в малиновом берете предлагал контрамарку за десяток освященных пасхальных яиц, он застыл на зеленом ковре вестибюля.

Шулер в клетчатой кепке с козырьком брал дешевле. Он набил карманы пачками билетов на балкон третьего яруса. Дядя Котик и слепой толкались с корзиной в толпе. От будущих зрителей пахло вшами и дешевым одеколоном.

Старая дама в дырявом, изгрызенном мышами манто поносила наглуую нетрезвую публику. Здесь, отпихивая бравых вояк, бродила эвакуированная гадалка Фаина Абрамовна в розовой, пуховой шапочке с помпончиком и в новеньком, с убитого, военно-морском бушлате. Она была громадного роста, много ела и зарабатывала на кислое вино предсказанием конца света. Немытая шея гадалки обмотана шкурой дохлого льва с печально спящей головой с рыжей облезлой гривой.

— Нет билетов! — отбивался от напирющей публики маленький работник театра, дежурный пожарной охраны, он же статист, исполняющий роль гонца, убийцы в алых перчатках, привидения, а также тени отца Гамлета.

Вход в зал после третьего, заждавшегося звонка был смят ревом обезумевших раненых. Они дико, иступленно замахали костылями. Громадную гадалку со львом на тощей шее отшвырнуло к подмосткам. Калеки всех родов войск шли в наступление в помещении клуба санитарной гигиены. Билетер и палач отлетели к оркестровой яме, оба испуганно прыгнули в потемки и полезли на сцену. Гасили керосиновые лампы. Били в медный гонг. Разбушевавшимся шмелем пела старенькая виолончель.

Греческая маска смеялась и плакала.

Война еще шла.

Помещение театра чадило задыхающимися керосиновыми лампами.

По краям оборванной афиши бились дым и тени. Публика из сиротливо жмущихся граждан и пьяных жителей госпиталя нетерпеливо аплодировала. Пошел рваный с черными дырами бархатный занавес.

Ричард, герцог Йоркский, — Чичико Чичикашвили.

Леди Анна, вдова Эдуарда Уэльского, сына Генриха Шестого, потом супруга короля Ричарда Третьего, — Лизико Маралашвили.

Лорды, придворные, джентльмены, рассыльный, писец, граждане, убийцы, привидение и проч.

Действие происходит в Кахетии в 1943 году...

Чичико выкрал из Велисцихе жену дяди Котика.

Чичико в черном трико, рваных ботинках в ваксе и обвешан тремя тупыми кавказскими кинжалами, он хрипло обращается к публике, небритый, но яростный, сверкая калеными синими белками вороватых глаз:

Прошла зима междоусобий наших,
Под йоркским небом солнце расцвело;
И тучи все, нависшие над нами,
В пучине океана погреблись.

Дядя Котик барахтался в обиде, как муха в паутине.

Свое чело мы лавром увенчали,
Сложили прочь избытые доспехи,
Весельем заменили грозный бой,
А звуки труб — напевом песни нежной.

— Bravo! — зарыдал навзрыд танкист с обгорелым лицом.

Разгладила морщинистый свой лоб
Война свиреполицая — и ныне
Не на конях, закованных в железо,
Разносит страх по вражеской толпе,
А ловко пляшет в залах, между дам,
Под сладострастно тихий голос лютни.

Кассир в алых, длинных по локоть перчатках заиграл на флейте. Дядя встрепенулся. Он не отрывал выпученных встревоженных глаз от Чичико Чичикашвили, обольстившего его супругу. Слепой держал на коленях подарочную корзину, перевитую голубыми, небесными лентами. Два случайных друга сидели, сдавленные неудачниками всех родов войск.

В поникшую голову дяди как хмель ударили звуки и отзвуки любви, чувства и чудовищные призраки ревности.

— Один я не для нежных создан шуток! — хвастался Чичико. — Не мне с любовью в зеркало глядеться! Я видом груб — в величии любви не мне порхать пред нимфою беспутной!

Дядя Котик сжал зубы. Дядя Котик задохнулся. Десны его обнаженно кровоточили. Слепой крепко держал его за окостеневшую руку и не давал сорваться со стула и вязаться в драку с актером на маленькой сцене, освещенной керосиновыми, черными от копоти лампами.

Дядя опустил опозоренную, несчастную голову. Он с болью вдыхал в себя горечь белоснежной хризантемы из корзины для леди Анны.

И ростом я, и стройностью обижен,
Обезображен лживою природой, не кончен,
Искривлен и раньше срока я выброшен
В волнующийся мир!..

— Это он про меня! Издевается! — вскинулся мохнатыми бровями дядя Котик.

Наполовину недоделок я.
И вышел я таким хромым и гадким,
Что, взвидевши меня, собаки лают!..

За кулисами дернули за веревку «бури». Стихийное бедствие гремело жестью.
— Артподготовка! — перекрестился юноша без обеих ног. — Нас всех накроет! — взмок он. На его изнуренной груди болталось на ржавой цепи выкраденное из разграбленного местного ювелирного магазина оранжевое солнце из фольги.

Ведущий актер кахетинского театра светло приветствовал дядю Котика. Он иронично мигнул ему левым прищуренным глазом.

— Чем?! Чем? Чем?! — взвизгнул Чичико неожиданно.

Чем в эту пору вялых наслаждений
И музыки, и мирного веселья —
Чем убивать свое я буду время?

— Ах, не надо об этом! — взмолился дядя Котик. Кокотка, его неверная жена, желала с чудным актером Гариком (так она звала Чичико) в постель.

Иль лень свою следить, на солнце стоя,
Да рассуждать о том, что я урод?

— Он опять издевается? — мучился дядя Котик.

— УРОД!

Вот почему, надежды не имея в любви
Дни эти коротать, проклял праздные забавы
И бросился в злодейские дела!..

— Он опять про меня! — не унимался дядя Котик.

Слепой бормотал:

— Не падай духом, фронтовик!

— Через клевету, нашептыванье злое, про сны, про толки пьяных сумасбродов! — сипло подавал текст самодовольный актеришко.

Мне удалось смертельную вражду меж королем и
Кларенсом посеять.
И ежели Эдвард, наш государь, так прям и смел,
Как я хитер и ловок,
То Кларенса сегодня же засадят в темницу!..

Слепой надавил и опустил голову товарища в прошальные цветы. Они обрызганы матовой луной. Серебрятся лепестками. Гадалка Фаина Абрамовна обнимала безногого юношу с солнцем, плавающим из серебристой бумаги, дрожанием на ржавой цепи, подвешенной к худой, изможденной шее. Фаина Абрамовна пудрила нос пьяницы и смотрелась в кривое зеркальце. Она увидела, что Котик самый печальный зритель шекспировской трагедии. Из бездны тыла

в глубинке зиял дядя Котик, герой-неудачник эпохи Возрождения. Гадалка очертила ножкой в лакированном сапоге со шпорой кавказский меловой круг. Дядя был пленен кругом. Как обезглавленный белый петух, он бился крыльями, фонтаны рубиновой, живой крови хлестали в толпу, во все стороны.

— Печальный король! — шептала дама самого высокого пошиба. Дожлая голова льва жмурилась.

Слепой спутник чернел дырявыми глазницами.

— В боли мы тайну найдем! — шептал он. — Нырните в душу, мысли!

Дядя Котик страдалец. Ослепительная радуга баюкала страдальца.

— Я алчу нагретых и душных сновидений! — Дядя целовал намалеванное небо над головой сбежавшей от него леди Анны.

Слеза, вытекавшая из ужасного глаза, сделалась красной, как кровь.

ЛОНДОН. ИЛИ ГУРДЖААНИ. ДРУГАЯ УЛИЦА.

Вносят тело короля Котика в открытом гробу. Стража с алебардами охраняет его. Леди Анна-Лизико идет за гробом в глубоком трауре.

— Вай мэ! — горько плакал дядя в гробу — Я умер! Я — контуженный барабанщик разбитого немцами хоззвода.

ЛЕДИ АННА.

Сложите же честную ношу вашу.
 Когда в гробу скрываться может честь.
 Поставьте гроб на землю, чтоб могла я
 Еще рыдать над доблестною жертвой.
 Холодный труп святого короля,
 Несчастный прах ланкастерского дома,
 Бескровный след великой царской крови,
 Котик, позволь мне плакать!

Слепой крепко держал дядю.

О, Котик!
 Супружеская тень, склони свой слух
 К рыданиям бедной Анны-Лизико, жены
 Пришедшего с войны!..

Родная! Родная! Родная!

Мы с тобой бродили в танго заброшенного Тифлиса! Когда погасли уличные желтые фонари, плывущие в сыром тумане. Я ласкался о твою холодную, как лист ночного платана, щеку. Наш свадебный патефон!.. Мы медленно танцуем танго, обнявшись! Я и Лизико! Ах! Сонно падают листья. Смутно шепчутся вершины. И березы и осины с измененной высоты. Сонно падают листья. А потом трамвай номер десять. С Колхозного рынка до камвольно-суконного комбината. Солдатский базар с лиловыми ирисами. Кафе «Маргарита» возле оперного театра. Мы пили свадебный оранжад. А еще брызжащий лимонад, пенистый! Ах, пенистый! Воды Лагидзе! Я в широком, модном пламенеющем галстук «Кукарача!». Галстук обрублен коротким смертоносным мечом.

Любимая Лизико! Актриса сгоревшего велисцихского театра!.. О, в эти окна, из которых жизнь твоя ушла, и я бальзам бессильный хочу пролить из бедных глаз моих. На моей худой, дрожащей спине, любимая Лизико, проросло пугливое крыло рабства!

Я Котик, я бедный Котик! Я смеялся и кричал:

«Я тебя утоплю в Куре за измены! Утоплю!»

Сонно падают листья.

ХОР И МАЛЕНЬКИЙ ПРИФРОНТОВОЙ ОРКЕСТР, И ГОЛОС ВОЙНЫ

Берите гроб святой — идемте в Велисцихе!
 Туда несите царственную ношу,
 И если утомитесь, снова сложим
 Мы гроб на землю, — и тогда я снова
 Начну рыдать над прахом короля.

Носильщики берут гроб с дядей Котиком в короне и делают несколько шагов.

Вдруг Чичико Чичикашвили:

— Ни с места все! Поставьте гроб на кахетинскую землю!

ЛЕДИ АННА.

Оставь нас, гнусный дьявол!
Во имя бога, не смущай нас больше!
Ты светлый мир наш обращаешь в ад.
Исполненный проклятий и стенаний.
Гляди на след кровавых дел своих и радуйся,
Убийца, перед жертвой. (*Джентльменам.*)
Глядите все, друзья мои, глядите.
Запекшиеся раны мертвеца раскрылись
И льют потоки крови.
Будь проклят дом, где ты живешь и спишь!

ЧИЧИКО.

И точно проклят дом мой одинокий, покуда
Я в нем сплю — и без тебя!

ЛЕДИ АННА. Должно быть так.

ДЯДЯ КОТИК. Да, так оно и есть.

Дядя закричал из партера, из семнадцатого ряда:

— ШЕН МЕ МИХВАРХАР! Я люблю тебя!..

Безногий юноша на протезах с бледным, напудренным лицом Гамлета, жертва фашизма, стал истерично смеяться, вздрагивая напوماженным ртом.

Обыватели Кахетии, маленькие детские куклы, стали вспоминать утро дворянской казни в маленьких одиноких поместьях. Помещики-виноградари были все как один обезглавлены.

Гадалка Фаина Абрамовна звенела золотыми потертыми монетами в бархатном черном мешочке.

Махорка в помещении театра. Столбы дыма. Фронтовики потрясены.

В артистической Чичико опрокинул в истерзанной ревностью рот стакан водки. Слепой держал дядю Котика. Не пускал в артистическую.

— Я сам отнесу ей корзину! — умолял слепой. — Жди меня на улице.

Голубые облака махорки. Драка у гардероба. Спрятавшийся за вешалкой милиционер.

Слепой опустил корзину у ног леди Анны.

— Котик плачет во тьме! — прошептал слепой.

Гасили фонари гномы. Театральный разезд. Свист шелковистый кнута. Пролетки. Экипажи. Кареты. Дрожки. Линейки. Тачки. Арбы. Ландо.

Безногий, развращенный страданием юноша на протезах, кривляясь, громко пел у выхода романс Игоря Северянина. Дама в мантии тащила его за рукав, волокла в бедную гостиницу для одиноких бездомных пар.

В незабудковом вуальном платье, с белорозой в blondных волосах, навещаешь ты в седьмой палате юношу, побитого в горах.

Звенел аккордеон. Гадалка металась с синими напуганными птицами, она наворовала дохлых птиц из реквизита. Женщина металась с оживающими птицами на грязной, мокрой панели.

Пел старенький перламутровый немецкий аккордеон.

— Пролетку мне, пролетку! — закричал дядя. Дядя махал сдернутой с несчастной головы военной фуражкой. Фуражка была продырявлена пулей.

— А я? — испугался слепой.

Все прощально завопили. Дядя, стоя в пролетке, махал публике артистическими руками в белых перчатках.

Линейка опрокинулась в ночь.

Ричард Третий плел пауком интриги на бесстыжих подмостках.

Кто написал трагедию? Был Шекспир или не было Шекспира?

Дядя снова вспомнил куст сирени в заглохшем саду.

Ах! Опустел наш сад!

И весенней девушкой омаен,
Упоен девической весной,
Талию твою слегка сжимая,
Хочет жить больной!

ВПЕРЕД, К ПЬЯНСТВУ!

Пьяная Кахетия подкатывала к горлу, как ослепляющая тошнота.

Бросался в умирающую, бледно-лиловую вечность этот тихий, предвечерний час Цоканье разбитых копыт на камнях мостовой. По крестьянской веревке спустился зябкий, стылый вечер. Вечер блестел в луже. Слепой на задках экипажа улыбался беззубо. Бросил кучер лошадям горсть рассыпчатого овса. Лошади неслись как угорелые, задыхающиеся.

Дедушка Гаспар, встречая возвратившихся из райцентра Гурджаани гостей, радостно стрелял из тяжелого охотничьего ружья в глухую тьму. В домике снова ждала расстеленная белая скатерть с глиняными чашками. Кувшин вина.

Тамадой избрали дедушку Гаспара. Дядя сжал усталые глаза сухой ладошкой. Зеленое вино мокро запыхало на дрожащих губах. Дядя Котик мечтал утопиться в стакане с цинандали. Стекло стакана горело каплями краснеющей, умирающей осени

— Выпьем за радость! — вскрикнул дедушка Гаспар.

— Котик баловень судьбы! — воскликнул слепой. — Вагоны счастья дожидаются его на станции Мукузани. Пьяный поезд вот-вот тронется в прошлое

— Вагоны счастья! — расхохотался Котик.

— Хотя бы один вагон! — поддакнул дедушка Гаспар. Стеариновая свеча горела.

— Ты слепой? — спросила Фрося. — Я хочу поцеловать слепого!

— Женщина! — отозвался дедушка Гаспар. — Я не ревную. Можешь поцеловать!

Слепой вдруг размахнулся и швырнул в окно свою надоевшую палку. Звон стекла. Посыпались осколки.

— Вот так меня ранило! — задумчиво сказал слепой. — Грохот, словно провалился под землю город! Где моя палка? Котик, принеси назад.

— Сейчас! — побежал к разбитому окну дядя Котик.

Слепой молчал.

— Можно, я поглажу твое лицо? — спросила Фрося.

— Я разрешаю! — недовольно отозвался дедушка Гаспар.

— Войны приносят нам йод и окровавленную вату! — промолвил слепой.

— Эй! — обратился к незрячему дедушка Гаспар. — А твои руки нашарят свет и ночь? Не ошибешься?

— Они нашарят даже мою голую грудь! — хихикала Фрося.

— Женщина! — вскрикнул дедушка Гаспар.

Налили в чашки. Выпили. Задумались.

— Хватит войны! — нахмурился дедушка. — Все выращивайте виноград.

Слышите?

— Хочу счастья и любви! — засмеялась Фрося.

Дядя вцепился скрюченными пальцами в скатерть.

— Я одинок! — хныкал он.

Вдруг слепой встал.

— Зачем меня ослепили? — спросил он.

— Что? — закричали все.

— Выращивай виноград! — повторил дедушка Гаспар.

Слепой военный торжественным шагом шел на стену дома. Он нес вперед свою судьбу. Все думали, что он легко пройдет сквозь стену. Но он больно ударился, набил еще один синяк под спящим глазом.

— Яблоки надо рожать! — выкрикнула Фрося.

— В моем стакане спит солнце! — радостно откликнулся дедушка.

А война гремела неподалеку, очень хотела ослепить еще тысячу голых плачущих, новорожденных младенцев.

Кровавый сентябрь отдавал земле последние летние увядающие гроздья.

— Яблоко! — рассмеялся сухим горлом слепой.

— Лизико! — плакал дядя. — Леди Анна!

- Щенок! Я тебя кнутом изобью! — ругался дедушка Гаспар.

- Не давай ему больше пить! — сказала Фрося.

-- Я пальцами чую краски! — объявил слепой. — Я был художником.

Ели вяленую рыбу. Мокрую редиску. Лук.

Вечер с вяленой рыбой. Винопитие. Молчание. Радость! Дума о яблоках.

Потом все отправились в забытый дом Котика. дядя захотел подарить слепому жалкий скарб: пыль, ветхое кресло, вешалку и обеденную тарелку с отбитыми краями. Это добро нагрузили на старую лошадь. Дедушка Гаспар добавил от себя бутылку вина. Хорошего урожая. Слепой сидел на лошади, прижав к груди вешалку. Он поднял голову к небу с плывущим немим журавлем. Лиловый холодный ветер нагнал обезображенных туч.

Не нищенствуй! — вздохнул на прощанье дядя.

— Любимый! — звала слепого женщина Фрося.

Дедушка Гаспар ревновал. Лаяла охрипшая собака. Ярко засветился омытый слезами воздух. Линейка полетела пыльной, опавшей, шуршащей листвою. Дымилась заря. Темнели угасшие клумбы в саду дяди Котика. Слепой ехал на фронт. Он надеялся, что еще одна пулеметная очередь вдруг неожиданно ударит по закрытым глазам и воскресит день. Он стучал гнилыми зубами. Он придавил к груди подаренную вешалку.

— НАХВАМДИС! НАХВАМДИС! — кричали старички. — До встречи!

МУЖЧИНЫ — КОМЕДИАНТЫ!

Коля Батманишвили и Оник заехали за дядей Котиком на помятом уличными столкновениями трамвае. Комедианты, собутыльники неумело спрыгнули с ползущего черепахой трамвая номер десять, ударились оба о фонарный столб, ушиблись, а потом радостно и с легким сердцем зашагали к своему товарищу, бывшему жизнерадостному кутиле, а ныне печальному рогоносцу.

Он был сломан, как старая механическая кукла с заржавленным замком. А ключ выброшен в мутные волны Куры. Оба приятеля надели свои единственные праздничные одежды. Коля Батманишвили в залатанных штанах и в стареньком пиджачке с продранными локтями, а Оник в парусиновых туфельках, парусиновых брюках и грязном кителе с медными пуговицами, из сундука

Оба несли в руках фиалки за сто рублей. Денежная реформа вот-вот случится!

Оник, прихрамывая, стучал протезом о тротуар. Где-то бесшабашно пел патефон. Дворовые дети кричали:

— МЫ ПОБЕДИЛИ ВОЙНУ!

Пьяница Ладо в толпе соседей танцевал лезгинку.

— Котэ! — позвал инвалид Оник.

— Котэ! Гамоихедэ! Выгляни сюда! — кричал, надуваясь, Коля. Хрупкий сухонький человечек с массивным римским подбородком.

— Что случилось? — недовольно отозвался дядя, лежащий целыми днями на кушетке. Любимое времяпрепровождение вынужденного холостяка.

— Война кончилась! — кричали дети.

— Война кончилась! — вопили друзья.

Дядя Котик шаркал босыми непослушными ногами. Смешное и грустное лицо его выглянуло на улицу, набитую ликующими и обнимающимися прохожими и соседями.

— Гитлер капут!

— Наше дело правое! Мы победили!

— Едем кутить!

— Едем пить!

— Вай! Вай!

— Вай! Вай!

— Я не хочу пьянствовать! — обиженно отвечал дядя. Он понюхал вечернего воздуха с легким дыханием желтой акации, царапающей о кровлю.

— Котик! Едем сейчас же к барышням!

— К барышням!

— К невестам фронтовиков!

— Кутить! Кутить! — радостно, обезумев, тараторил Коля Батманишвили.

— Кутить! Кутить! Кутить!

— Дурак! Что вдовцом тоскуешь! Один в доме!

- На Авлабаре нас зверское вино ждет!
- Вай! Вай!
- С какой барышней тебя познакомим!
- Оставьте меня!
- Идем!
- Не хочу!
- Идем, Котик! Не ложись на кушетку!
- Оставьте! Вай мэ!

Лысая печальная голова упала опять в темную комнату.

Пьяница Ладо от лезгинки перешел к стихам. Он читал толпе зевак свои талантливые подражания Шоте Руставели. Дядя в длинном, изодранном, заляпанном лобии халате валялся на кушетке в теплой домашней шапочке.

Коля Батманишвили, обезумев, ворвался на жилплощадь. За ним стучал протез Оника. Волновался протез.

- Генацвале, хватит страдать! Ты кто, Бетховен или Котик!
- Я Бетховен!

— Тогда идем в кафе «Наргизи» мороженое кушать! — Дядя завернулся в теплый, родной, любимый халат. Ветеран войны отбивался от приятелей-однокашников. Оник, громыхая протезом, кружился в вальсе, обнимая предвкушаемую барышню с нарумяненными щеками.

— Радость! Радость! — пел ликующий Батманишвили. Он подпрыгнул к потолку, зацепился за люстру, повисел, а потом мягко опустился, счастливый, на ликующий земной шар.

— Сначала похляем на Солдатский базар! — сплюнул Оник. — Оглушим по стаканчику стоградусной чачи, а потом к барышням.

— Некультурный человек! — обиделся Коля Батманишвили. — Какая еще чача! Позор! Нас женщины, лучшие красотки Авлабара, ждут в бархатных платьях с глубоким вырезом на груди! Мы закажем себе фруктовое мороженое в кафе, а завтра в оперу поедем, арии из опер Джузеппе Верди слушать! Мирная жизнь начинается! Ва!..

— Мы все холостяки! Нам благородных женщин с пылающим факелом в послевоенном мраке Авлабара искать. Свою демобилизованную судьбу устраивать. Детей иметь хочу! — вскричал Коля Батманишвили.

— Вай! Вай! Как ты на пеструю маленькую птичку похож! — Оник закурил трофейную длинную желтую обгорелую папиросу.

— Голова болит от дыма! — взмолился дядя, лежащий на кушетке под халатом.

— Снимай халат! — строго закричал Коля Батманишвили.

— Не хочу фруктовое мороженое! Чачу пить хочу! Барышень не хочу! Спать хочу! Думать хочу! — Дядя Котик хныкал, ерзая на кушетке в рваных носках, из которых торчали одинокие пальцы.

— Стаскивай его с кушетки! Отнимай подстилку! — кричали приятели.

Дядя рвался назад на подстилку, как маленькая злобная напуганная собачка. За сценой наблюдали соседи.

— Котик! Иди, гуляй! — советовали соседи наперебой.

— Жалко тебя!

— Меня не жалко! Я животное! — молил взр дядя. — Домашнее животное из леса детства. Спасите! Эх! К каким-то шлюхам меня везут! — вздыхал дядя Котик. — А мой папа был виноградарем! Образцовым помещиком. Имел клочок земли и сад! Серго Орджоникидзе приказал сохранить этот показательный сад на много десятилетий. Отдал команду поставить часового с наганом для охраны золотистой грозди от случайных грабителей, от черной пыли. Но потом покончил жизнь самоубийством великий Серго, а черные георгины нашего сада расстреляли. Расстрельщики кричали, что мой пожилой папа с клочком белой бородачки клинышком — кулак! Они заперли его на ночь в подвале, а потом выпустили на все четыре стороны, но он обиделся и умер от кровоизлияния!.. Вай! Вай мэ!

Товарищи содрали с дяди Котика всем надоевший халат. Дядя Котик голый и волосатый стоял босиком на холодном полу.

— Штаны порвались! — вздохнул дядя. — Я не хочу к барышням.

— Заплombeйруй душу как зуб! — вспыхнул Коля Батманишвили. — Вспомни всех дам юности! Как мы кутили! Как пели! Авоз!

— Котэ в нашем районе всех красавиц знал, а с некоторыми даже раскланивался.

— Мне никто не нужен! — с болью отозвался дядя.

— Он очень привязчив! Он привязался к Лизико из балагана.

Дядя надевал на стынущие волосатые худые ноги широченные брюки по моде 30-х годов. Абрикосовым линялым галстуком повязал похудевшую от любовных переживаний шею. Кадык дергался и ходил.

— Генацвале! Мы в бочку со счастьем тебя бросим!

Маленькое счастье было суденышком каботажного плавания. Суденышко несло на громадную скалу. Маленькая дочь Котика стояла на скале, подняв руки, и звала несчастного отца.

— Какой я отец? Я прощелыга! Я плохой отец! — вздохнул дядя Котик.

На Солдатском базаре они отыскивали спекулянта с мутным пыльным графином сумасшедшей чачи.

Фронтвики подняли стаканы. Человек в кепке шепотом предложил совсем не кровавые помидоры.

На грязных опустевших досках прилавка в задних торговых рядах, среди куч мусора и мух, они пьянствовали, поднимали тосты за победу над врагом, поминали мертвых однополчан. Дворник в фартуке выметал обгрызенные обывателями и голодными собаками кости. Чача бросилась на дядю ураганом, повалила, смяла. Это был огонь дальнобойной артиллерии. Ядра летели на головы воинов. Чача подменила меланхоличного дядю. Он хохотал от счастья, он ловил его среди грязных лавок ошалелыми руками. Поскользнулся на гнилой картофелине, растянулся в луже. Он стоял среди друзей голый, с обнаженной душой.

— Слава вакханалии! — сиял он.

К ним приковылял нищий. Нищий протянул худую руку и стал выклянчивать зеленый маринованный помидор.

— Бог за вашу доброту, — объяснил он, — завтра даст вам целые корзины душных овощей.

Он спрятал влажный помидор в карман рваного бушлата с чужого плеча. За помидор он спел им песню о слепой любви. Желтые соленые слезы покатались по впалым щекам дяди Котика.

Молчал пригорюнившийся Оник. Он слышал, как медленно течет кровь в его деревяшке вместо ноги.

Оторванная в бою нога ныла. Нищий протянул в прохладную сырую мглу овощных рядов грязные трясущиеся руки.

О, ветерок, любви моей повесть беззвучно расскажи! Ста языками, как мое сердце измучено, ей расскажи. Так расскажи ей о том, чтоб она не скучала. Так, чтоб словечко проникло ей в сердца излучины, ты расскажи.

Рваная страшная рана на худой шее дяди никак не застегивалась. Он потерял мокрую от крови пуговицу. Пуговица отлетела с мясом.

Гнездо старого города, армянский Авлабар, темнел. Это капризная весна. С ветрами и похоронами чахоточных жителей.

Приятели вели дядю под локти. Невеста ждала его. Дядя хотел лечь на тротуар, зажмурить глазки и не двигаться. Путники идут, оглядываясь на звезды. Медь листьев плывет пыльным привидением. Медь пыталась охмурить уличных пьяных проходимцев. Маленькая подворотня вечности. Дядя Котик слышал, как из деревни звала, кричала дочь. Эти крики как дырявые прошлогодние листья гibli под шаркающими, спотыкающимися туфлями.

Невесту звали Офелией. Она весила восемьдесят девять килограммов и была нарумянена. Жир пылал в разрезе бархатного платья на груди. Сверкали на отъевшихся поросячьих ушах многопудовые серьги из фальшивого краденого золота. Невеста держала в толстых лапах маленькую задыхающуюся гитару и пела романс о хризантеме.

Дядя стыдливо закрылся ладошкой.

— Я солдат! — вспомнил он. — За что мы воевали?

— Не уходите! — взвизгнула невеста. — Вы еще не знаете, какое у меня приданое!

— Много белья, подушек, простынь, наволочек, кружев! — кричали подружки здоровенной, пылающей жаром невесты.

— А еще конфеты, банки с вареньем, халва, ковер, гитара, патефон и мешочек с золотыми монетами. — Папа невесты всю войну прослужил керосинщиком в лавке и неслышанно разбогател на горе мирного мерзнущего населения!

— Я не продаюсь! — ударил кулаком по пиршественному столу Котик.

Невеста-борец заплакала.

— Вай! Вай! — тряслась она жиром. — Я осталась одна. Кто на мне женится?

— Не делай глупости, Котик! — горячо шептал дяде неугомонный Коля Батманишвили. — Мы еще не пробовали розовое варенье, а потом нам обещали дать на дом по банке инжирового, немножко засахаренного!

— Оставьте меня!

— Засахаренное — это ничего! Прокипятим!

— Инжировое! — кричала невеста.

Ночью дядя снова лежал на кушетке. Один

Кушетка холостяка сотрясалась от плача.

ГИМН ЧЕЛОВЕКУ

Битое стекло неба заставило дядю Котика одуматься. Он бродил заснеженным Александровским садом. Кидал маленькие камешки в замерзший фонтан. Ручеек струился в разломе. Журчала будущая весна. Старому парку снилась розовая голая весна. Зеркало зимы отвечивало личиком старого одинокого холостяка. В теплые эпохи человечества здесь играл в раковине вальсы Рихарда Штрауса оркестр. Вон на лавочке стынет пенсионер. На коленках гобой. Бывший оркестрант. Ветер сорвал, нес прочь его старую мягкую шляпу.

Дядя замер возле грота.

— Эй, идите сюда! Поболтаем о вечности! — позвал седенький пенсионер.

— Зима междоусобий наших! — шептал дядя из монолога Рихарда, герцога Йоркского.

— Вам не радостно? — улыбнулся человек в шляпе.

— Сыграйте мне Шуберта! — жалобно попросил дядя.

— Хорошо! Кстати, я тоже воевал и ездил на фронт с концертной бригадой.

— Мы все герои.

Песня гобоя встревожила декабрьские раны парка.

— В оркестре сокращение штатов! Все романтики давно уволены с маленькой скромной пенсией.

Шуберт снежной пылью осел на глаза дяди.

— Знаете, молодой человек! — сказал смешной оркестрант. — После войны я полюбил тифлиские сады!

— В них одиноко, — кивнул дядя Котик, — но они незаметно лечат душу.

— Вот именно! Вы женаты?

Дядя отпрянул от страшного вопроса.

— А я счастлив в браке! — похвастался гобоист. — Она билетерша в кинотеатре «Спартак». Я жду ее всегда после последнего, вечернего киносеанса! Меня звать Карло! — Он приподнял за краешек мятую шляпу.

— Месье Котик! Честь имею! — Дядя поклонился. Зимний вздох сада забился под воротник.

Музыкант стаскивал с замерзших пальцев облезлые перчатки, чтоб подать дяде руку.

— Не снимайте перчаток! — крикнул дядя.

Солнце в ледяных ожогах.

В снегу мокро гуляла, ковыряла клювом черная птица.

— Вы не ответили! Вы женаты?

— Она сбежала с актером! — стыдливо промямлил дядя. Он показался самому себе неудачником, школьником, оставленным без обеда. Арестантом мрачноватых болот безапрелья. Карло снова бережно погладил пальцами в рваных перчатках свой гобой. Черная птица слушала осторожную приманчивую музыку желтыми глазами дворянки.

— Опустел наш сад! — сник дядя. Захотелось человеку выпить стакан снега.

К ним прибежал, спотыкаясь в снежных завалах, старичок в панамке, городской сумасшедший. Бывший учитель чистописания.

Дядя числился в бездарях. Старичок в намокшей панамке помнил это.

— Акакий Ираклиевич! — обрадовался дядя

Акакий Ираклиевич застыл пораженный. Он поскользнулся, взмахивая тоненькой тросточкой. Калоши слепо, как щенки в брюхо расплзшейся лапами суки, тыкались в мокрые ямки с водой.

Старичок впал в детство, любил играть в зимнем саду с лопаточкой и ведром. Он лепил из снега призрачные мгlistые города прошлого.

Снежные горы, вознесенные им, дымились огнем.

В кратере детских вулканов пылало солнце.

Гобой снова глуховато заныл. Гобой коноводил собачьим вальсом этой ненасытной зимы.

Старичок пробивался к ним через сугроб.

Потом он остановился беспомощный, отдышался и тихо заплакал. Черная птица с внимательными злыми глазами напугала его.

— Кыш! — всхлипнул он, отмахиваясь с детской головы панамкой.

— Эй! Калоши не промокают? — закричал дядя.

Старичок выронил в снег лиловый платок. Ледяным камнем он утирал пресные слезы.

— Кругом один снег, граждане! — взмолился старый смешной учитель.

Раненная полетами ветра птица косо свернула и, падая, потянула за собой край хмурого неба.

Старичок, отрезанный от будущей большой весны, одиноко стоял на льдине, звенящей будущим ручьем.

— Вы погибнете! — опустил голову дядя.

— Эй! Котик! — позвал учитель в мокрой панаме. — Ты стал человеком?

— Война помешала! — оправдывался дядя.

— А разве была война? — удивился старичок. — С кем?

Учитель чистописания захлебывался ясным декабрьским воздухом. Гобой притих. Старичок стал кидаться в бывших школьников мокрыми снежками и счастливо смеялся, всхлипывая.

Гобоист Карло и дядя Котик покинули зимний сад.

— Двоечники! — ругался им вслед сумасшедший учитель.

Снег, шипя и воя, засыпал на свалке черепа бездомных собак и отгулявших свое кошек. Все винные подвалы города наполнены нищими призраками вернувшихся с войны. На мерзлых ранах темнел золотистый сок виноградной лозы.

Решили идти пешком до улицы Пиросмани. К привокзальной площади. Клаксон трофейного автомобиля. Черная, как собака, «эмка» на немецких, вывезенных из освобожденных территорий колесах.

Сверкала тяжелая зимняя листва осеребренных платанов. Дымили маленькие дворы, арестованные зимой.

Вон женщина продает кутайские ранние цветы. В корзинке на плече нежные, пугливые, дрожащие анемоны.

— Кацо! Эй! Сюда! Залезайте в авто! — кричит шофер в кожаной кепке. — Поехали кататься. Куда-нибудь. Войны нет!..

Ночь — лист с бледными прожилками.

Ветер — умирающее вино в чарке.

Дядя осмелился спросить кожаную кепку о цене. Можно за бедностью остаться одному стоять на стоянке у вечности. Из-за скупости отлететь с порывом ветра к каменному мосту, к потухшему фонарю.

— Сто рублей?! — вскричал дядя, как римлянин у врат смерти.

— Сто рублей! — непреклонно кивал шофер. — Зачем кататься по вечному городу, целоваться с зимним ветром, если вы жадные! — возмутился шофер в кожаной кепке.

Музыкант с гобоем огорченно кашлянул. Дядя хмуро взглянул на компаньона.

— Мы фронтовики! — вспомнил музыкант. — Сделай скидку, кацо!

— Фронтовики! Фронтовиками набит город! — отмахнулась кепка.

— Тогда возьми мое пальто! — распрямил плечи дядя. — Бери пальто! — кричал он.

Музыкант Карло тащил его в сторону.

— Сумасшедший! — шептал он. — Пальто — это тысяча рублей!

Кожаная кепка вспомнила, что завтра Новый год:

— Я уезжаю!

— Бери пальто! — орал дядя.

— Сумасшедший! Сумасшедший! — дрожал гобоист Карло.

— Поехали! Залезай!

Они катались до рассвета по вечному восточному городу.

— Кутим на мое пальто! — кричал дядя Котик. Карло напуганно прижал гобой к груди.

— Я тоже фронтовик! — подмигнул шофер. — Едем в винный подвал. Я угощаю!

— Авоэ! — обрадовался Карло.

В подвале народ. Инвалиды войны. Базарные воры. Карманники. Спекулянты. Перекупщики. Карточные шулера. Опустившиеся бродяги. Грязный лохматый поэт в рваном, из ключев пиджаке. Кровожадная пьяная муха сочилась на горячем лбу поэта. Никто не убивал муху.

— На пляже в Керчи погиб наш класс! — рассказывал поэт угрюмому, заспанному буфетчику.

— Керчь — грузинское кладбище! — закричал босой немытый беспризорник. Беспризорник клянчил у всех табак и стакан оглушающей водки.

— Наш выпускной класс убило бомбой! — еле держался на ногах местный поэт.

— Друзья, купите папиросы! — затянул бездомную песню беспризорник. — Смотрите! Ноги мои босы!..

Беспризорник собирал окурки.

— Эй, ты! Не болтайся под ногами! — прикрикнул на него перекупщик в шинели.

— Не обижай несчастного! — поднялся вор Гиви.

— А я не обижаю! — испугался спекулянт.

— Мы все жертвы войны! — грозился знаменитый в Ортачалах вор Гиви. — Я сам в штрафной роте воевал. Шел на колючую проволоку и наступал на мины!.. Вот тебе, спекулянт! — и он швырнул пустой стакан.

— Моя закусовая не Сталинград! — завопил буфетчик.

— Не стреляйте! — сжался поэт. — Гиви, спрячь наган!

— Поэт трус! — закричал босой беспризорник.

Шофер в кожаной куртке предлагал всем пальто Котика.

— Сдачу возьмешь себе! — сказал он дяде Котику.

— Кто хочет пальто?

— Я беру! — сказал печальный дезертир, обросший волосьями. Когда началась война, он вдруг потерял паспорт и поспешно отрастил седую бороду. Он изготовлял ключи в маленькой слесарной мастерской на Солдатском базаре. Иногда торговал краденым мылом. Потом война схлынула кровью. На отмели темнели кости убитых. Год стоял лютый, голодный, рано было пока срывать кожу, чтоб бродить по вечному городу голым. Дезертир купил и надел пальто. Вежливая подстриженная бородка спасла его от неминуемой смерти.

— Я пережил войну! — прятал он взор от базарного пестрого люда.

Дядя Котик обмывал сделку.

— Меня ранило в зад! — рассказывал он.

— Вай! — пожалел его буфетчик.

Стакан с водкой пошел по кругу. Дядя Котик. Гобоист Карло. Шофер в кожаной кепке. Вор. Лохматый поэт. Наглый беспризорник, дымящий чужими окурками. Чистильщик сапог. Слесарь-дезертир с задумчивой бородкой. Знаменитый вор Гиви. Бродяга. Милиционер. Скупщик краденого. Буфетчик. Снова дядя Котик. Умирал сорок шестой год. Снежный, как болезнь ребенка.

Двери подвала распахнуты настезь. На пороге война. Она бродила дворами Грузии, эта поседевшая мать. Сыну оторвало голову. Мать выла ночи напролет. Рыданье из горла собаки было хриплым. Это была собака. Это была Эка из Велисцихе.

Дядя испугался.

Она отдавала холодные камни.

Бородатый дезертир закрыл лицо рукавом.

Глаза женщины были выжжены. В черных провалах, как вода в снежных ямах, блестела радость.

— Груши! — лаяла мать.

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Дядя Котик сидел в маленькой угрюмой конторе во дворе винных складов села Мирзаани. Он работал здесь счетоводом-дегустатором. Он бежал сюда из вечного восточного города, спасаясь от судьбы. Он не мог забыть обманувшей его леди Анны. Она флиртowała с бездарным актером Чичико, пока Котик, заблудившись среди окопов, без толку, сам не понимая, в какую сторону, шел в наступление. Теперь он бежал сюда, как в ссылку, страшась праздников городской жизни. Больше всего он боялся встречи Нового года. Одиночество в этот праздник душило его железной перчаткой.

Все граждане мучительно ждали свидания с блистающими снежинками января.

Оник с ногой-деревяшкой и Коля Батманишвили пьянствовали напропалую. Они обзавелись будущими толстыми женами по сватовству.

Один только дядя Котик грелся в одиночестве у железной, бедной печурки.

Оник подвизался как прораб на стройке городских бань, а Коля Батманишвили парикмахерствовал.

Совсем недавно, будучи культурным и потрепанным мужчиной, этот жалкий неудачник и посмешище освоил жестокую, древнюю и опасную профессию. Он мастерски орудовал ножом и опасной, сверкающей кровью бритвой. Он научился замашкам городского цирюльника-повесы и не терял бодрости духа.

Обыватели страшились его волосатых, убивающих рук. Брадобрей резал до крови сверкающие намыленные лысины своих напуганных клиентов, обваривал их кипятком и никогда не давал им сдачу.

Требовать сдачу считалось крайне неприличным в моральном кодексе тбилисского гражданства.

— Не беспокоит? — кокетливо любопытствовал новоиспеченный брадобрей, наклоняясь с кровотокающей бритвой над сжавшимися кроликами.

Дядя Котик грустил на складах Мирзаани. Снег со льдом отрезвил заспанного дядю. Мгла светила в фонари винного склада. Она озаряла хмурые балансы пожелтевшей от возраста и лжи конторской книги. Лиловые лживые цифры, стекая с тупого кончика вознесенного к фонарю пера, струились и плескались, пьянея в бочке с густым добрым вином. Великие бочки гудели, предвкушая кутежи.

Алазанская земля сочилась терпким, благоухающим вином, как прободенное копьем голое тело кахетинского мученика.

— Я мученик! — вздыхал дядя, и нежный нимб загорался над печальной лысиной.

Птицы камнем падали и клевали напиток. ПЬЯНЫЕ ПТИЦЫ ГРУЗИИ.

— Глупая женщина! — вздохнул дядя. Он все вспоминал. — Она меня, кажется, бросила.

Дворник стукнул в окно метлой.

— Целый день сидишь? — удивился дворник. — Новый год не хочешь?

— Уходи! Уходи! — закричал дядя. — Не твое дело. А если хочешь знать, меня во многих домах ждут с нетерпением и поздравительные телеграммы присылают!..

Дворник хмуро поглядел на дядю и побрел восвояси. Дворник замахнулся метлой на пьянствующих раньше срока птиц.

Бочки громоздились до неба.

Дядя Котик отодвинул пухлую конторскую книгу. Надоело ему считать барыши заведующего. Хватит. Стыдно!

Вьюга озарила окно.

— Телеграммы! — обиженно погрозил он кому-то пальцем. Все работники склада разошлись.

Откуда-то из-под облаков над жемчужно-серым небом густо текла медь далеких пропавших эпох.

Кахетинские крестьяне печально прощались с вечностью. Дядя распахнул форточку и сразу закрыл. Он озяб. Зябко потер шершавые ладони. Делать было нечего. К кому идти? Холодный воздух шевелил щетину небритых, исхудалых от тоски щек.

— Эй! Кацо! Котэ! — помахал платком подвыпивший накануне праздника зав. складом.

Дядя выбежал ему навстречу.

— Маленький бочонок вина для меня отдегустируй! Гости ждут.

Дядя торопливо зашаркал старыми туфлями. Сгорбившись, униженно шел он в казенный, обворованный начальством погреб, вслед заведующему.

Плавился огарок свечи.

Черная метель взвихрилась среди стен. Отлетела дубовая пробка. Свет букета воскресал в горле. Дядя повалился, потрясенный, на табурет.

— Ну! — рванулся к подчиненному опухший от пьянства и воровства начальник, хороший семьянин и трудолюбивый вор.

— Хванчкара. Довоенный разлив. Тридцать четвертый год!..

— Вах! Спасибо, генацвале! С наступающим! — Уходя и унося украденный со склада бочонок, он обернулся и бросил в дядю связку кислого зеленого перца. — Счастья тебе! Закуси цацакой чачу! Не опяней!

— С новым счастьем! — жалко кланялся удаляющейся спине Котик, конторский служаший.

Дядя заперся в служебной комнатке.

Нищий, побирающийся по дворам мороз просил милостыню у быков и буйволов, медленно жующих зерно.

— Отогрейте меня вашей густой шерстью! — клянчил дедушка мороз.

Дядя накрылся военной, старой шинелью. Он был всегда беден. Чадила керосиновая лампа. Пахло керосиновой вонью, ветхими бурдюками, кукурузными жмыхами. Спиртом. Чернилами.

Дядя вдруг проснулся.

Сирень давно умерла в стакане.

— Год жизни! — испугался дядя. — Вай! Вай! — Он схватился за несчастную голову вдовца. Он решил немножко негромко поплакать. От принятого решения запершило в горле и заморгали ресницы. Но глупые слезы не шли. Рыдания так и не были выпущены им на подмошки. Они остыли, человеческое тепло схлынуло, томясь за кулисами.

— Я никудышный актер!

Дядя Котик звал в печную трубу бога-бродягу, хозяина его судьбы.

Но отозвался топчущийся под окнами дворник.

— Год какой, не помнишь, а?

— Календаря нет! — вздохнул дворник. — На кукурузное масло обменял.

— Дурак! — сплюнул дядя. Дядя закутался в свою фронттовую любимую шинель и с испугом выглянул в опустошенный мир. Оба задрали головы к мрачному небу с пьяным оранжевым мячом алазанского солнца.

— Кажется, сорок шестой! — Дворник нахмурил серую морщину на тесном лбу.

— Что? — спросил из шинели дядя.

На голове конторщика Котика ночной колпак. Пора спать бедному человеку.

Мела метель. Вдруг прогремели бодрые выстрелы. Плакали дети. Лаяли пастушеские собаки. Танцевали на столах молодые мужчины.

Вздымалась над скалистым руслом слепая река Алазань. Она крылатым конем Мерани летела над мокрым своим отражением. Долина звала ее назад. Крестьяне добродушно пили водку за ее здоровье. А потом с грохотом и животным ревом Алазань, река времени, бросалась вниз, обратно в каменистую постель, что уносилась по долине к степям. Крестьяне радостно палили из оглохших ружей в двойник реки.

Дворник и дядя Котик переглянулись.

— Сорок седьмой год! — закричали оба.

СВАДЬБА!

Дядя снова бежал в город от одиночества. В старый дом напротив бывшего собора миссионеров-капуцинов. Теперь в армяно-грузинском католическом соборе боксерский зал. Маленькие дети упорно избивают друг дружку громадными вонючими перчатками. Других на складе «Спортбазы» пока нет. Бой напуганных, озверелых детей идет до первой, страшной капли христианской крови.

Тридцать дней после Нового года валялся на кушетке дядя Котик, а кушетка — мерещилось — нависла над пропастью. Под кушеткой круглый тазик. В нем в мыльной горячей воде купали в младенчестве дядю. Во сне он ищет подушку, ему хочется, чтоб подушек мягких и теплых, громадных и совсем маленьких было как можно больше.

Если много подушек — он спокоен за свое будущее! И жизнь прекрасна!

— Я хочу жену! — вдруг опомнился он. — Не хочу быть лентяем!

В кальянах бодро ходит он по маленькой комнате. Пьяница Ладо стучит кулаком в запертую дверь.

— Пошли пить! — зовет Ладо.

Дядя Котик загорелся. Хватит печали! Он верит в горящее колесо фортуны! Спасет его сватовство!

Сватовство! Сватовство!

Все ближние и дальние родственники осведомлены о нетерпении одинокого страдальца.

Оник и Коля Батманишвили как летучие мыши носятся над вечерним городом в поисках невесты для Котика.

Вот на трамвае облезлом номер десять привезена обедневшая хромая княжна имеретинская Тинатин Яшвили.

Дядя Котик к смотринам невесты, волнуясь, надел одолженный у пьяницы Ладо старинный сюртук и клетчатые смешные броуки Коли Батманишвили. Невеста — имеретинская княжна! Она никогда не бросит его! Она хромает! Какое счастье! Она пощадит его несчастную душу, разбитую, как окно старого сарая, камнем изменщицы.

Она хромоножка! Вай! Вай!

Она сжимает в руке палку с чернеющей вязью старинных молитв о любви.

Палка шепчет бесконечные витиеватые любовные заговоры.

Дядя Котик околдован. Он обессилен от неожиданного, как молния, счастья!

Стучит, как судьба в дверь, палка невесты. Невеста хмурится, звенят на шее красные пылающие бусы. Невеста ждет. Дядя Котик должен упасть на колени.

Замерзший в снегу, окровавленный, потерявший сознание воин отогревался в душе дяди Котика. Солдат жизни, выписавшись из госпиталя, подняв над головой могучее копьё древнего язычника, пошел в атаку на захват сердца княжны. Гудела под неуверенными ногами неудачника бурая земля. Взметывался и летел кучей в печальные глаза песок.

— ГАУМАРДЖОС ЦХОВРЕБАС! Да здравствует жизнь!

— Наконец он воскрес! — захлопали в ладошки Оник и Коля Батманишвили.

Дядя Котик шел с копьём в атаку на алое, поющее романсы сердце.

Приданое имеретинской накрашенной невесты — громадный княжеский поющий рог для вина.

«Выпей сам! — написано на роге ножом. — И упади, кацо!»

Вот она! Она!

Дядя Котик подпрыгнул от удовольствия.

Он плясал. Таши! Таши!

Невеста в сафьяновых сапожках стояла на пороге как горная кривоватая козлица с язвительной ухмылкой. Скверным товаром был кахетинский, огрузинившийся армянин, но другого пока не было.

— Моя Тинико! — плясал и пел, заливаясь соловьем, дядя. — ЧЭМО ТИНАТИН!

Он сдался. Подражал задыхающимся ртом игре древнего восточного струнного инструмента — тари.

— Буль-буль! — выл он. — Я бюльбюль! Я — соловей! Ты — светоч моих грез!

Жених и невеста, обнявшись, танцевали арабское танго. И тут раздался знаменитый, унесшийся по желтым страницам этой комедийной повести гор-танный, ловкий, фальшивый, усмиряющий СМЕХ КНЯЖНЫ.

Она смеялась стареющим жеребцом над своей несчастной судьбой.

Дядя Котик обрадованно оседлал невидимого коня судьбы. Этот смех княжны — как меч, чтоб отбиваться от врагов, от снежного горного барса, от фининспектора, ревизора-инкассатора с факелом, ищущего возле потухшего счетчика домашних бедных воров электроэнергии! Смех этот рожден сбором урожая в славной, светло-пьяной Имеретии!

Вот он, родовой щит от зависти, воровства, обид. Пустой, как жестянка из-под консервов, щит с фамильным гербом княжны. Пела деревенская свирель — дудочка саламури.

Княжна давно обеднела. Она работала медсестрой при медкабинете сапожного цеха на Майдане. Княжна в белом халате, прихрамывая, лечила безнадежных тбилисских сапожников от запоя и грубости.

Пьяница Ладо поклонился ей до земли.

— Спаси нашего соседа Котика! — униженно просил гордый азиатский мастер.

— Мы его любим! — закричали соседи.

Незамужние подружки невесты, все засидевшиеся старые девы, несли на вытянутых руках приданое невесты — разбитую гитару красного цвета.

— МОХЭВИС КАЛО ТИНАО! — радостно пел дядя.

Княжна подхватила любовную песню горного козла, своего обалделого от счастья жениха. Жених брыкался и подпрыгивал, крутя рогатой головкой во все стороны, глазки его сияли. Лучились. Запела княжна. Задрожал старый дом. Гремела кровля.

— Я поселюсь у тебя в маленькой комнатке! — пела Тинатин. — Я буду варить тебе лобио и сациви!..

Комната Котика сжалась от гортанной мощи княжны.

Все хлопали в ладошки.

— Таши! Таши! Таши!

Прораб мужских бань Оник и новоиспеченный брадобрей Коля Батманишвили, товарищи, дружки жениха, подхватили Котика под трясущиеся от страха перед первой брачной ночью локти.

Дым смехопенья. Белизна перин. Десятки подушек.

Невеста густо порозовела. Краска стыда горной речкой бросалась от одной щеки до другой. Сверкали в ушах нарядные изумрудные серьги.

Котик брякнулся на коленки.

— Приди! Я твой жених! — пропел он, перевирая знаменитый мотив. И тогда толстые подружки невесты Кекела и Маро заплакали от зависти. К ним пока еще не приставали на темных улицах испорченные кавказские мужчины. Княжна швырялась во все стороны красными, лопающимися помидорами смеха.

Радость молодоженов напоминала безумие. Оба давно заждались счастья, и каждый в одиночку совсем не верил в этот легкий призрак. Котик играл в прятки с княжной. Подружки закрывали невесту гитарой. Она безумно хохотала. Забывшись в любовной игре, она даже обзывала своего наивного жениха.

Дядя неопытным, молодым козленком сорвался, прыгая с утеса на утес, и полетел в бездну вверх копытцами. Смех Тинатин осенний, как урожай. Смех сбил с ветки запоздалый, заждавшийся гниловатый плод — одинокого мужчину в дырявых несвежих кальсонах.

Прораб бань Оник и Коля Батманишвили возбужденно хлопали в звенящие ладошки.

— Таш! Таш! Таш! — кричали они, подбадривая лезгинку жениха.

Колченогая невеста убегала от дяди Котика по многонаселенному коридору тбилисской коммуналки. Она забегала в чужие темные комнаты и, извиняясь перед их обитателями, пряталась за сундуками и шкафами. Жених обязан был искать. Он похищал девочку.

— Генацвале, мне тяжело бегать! — хныкал он. — Я ранен в зад.

— А я плевала на твой зад! — злилась невеста из-за шкафа. — Ищи!

Из гудящего чрева гитары раздавались гулкие команды будущих семейных ссор.

— Хромую княжну надо на свалку, а не в порядочный дом! — шептались завистники.

Нарумяненная дешевой парфюмерией княжна топала на будущего мужа злыми, несчастными ножками. Соседи испуганно выглядывали из-за дверей. Княжна закрывалась от дяди громоздким фамильным гербом с потускневшей и давно осыпавшейся позолотой.

— Грузинская княжна выходит замуж за бедного армянина! — плакала она. — До чего ж я несчастна!

— Я хороший человек! — бил себя дядя в грудь дрожащими кулаками. — Генацвале, не бросай меня!

Гости принялись выдувать из малиновых, раздувшихся щек мыльные пузыри славословий. Действующая, наедающаяся армия гостей. Вандалы попойки. Саранча маленького семейного праздника. Прожорливые оловянные солдатики.

Армия нарядных оловянных солдатиков дружно наливалась дневным и ночным вином. Командовал парадом попойки родственник невесты, железнодорожник Гоги, вечный тамада на всех свадьбах и похоронах.

Шаферы Оник-безногий и парикмахер Коля Батманишвили дребезжащими, неуверенными голосами на все лады расхваливали своего боевого товарища.

— Котик Львиное Сердце! — кричали они тамаде, самовлюбленному железнодорожному буфетчику Гоги.

Железнодорожный вагонный буфетчик Гоги пил из исполинского смертоубийственного рога и восхвалял кривоногую злую невесту. Он ловко прятал под столом с окурками прорву ее недостатков. И затапывал их толстыми ногами в модных румынских сандалиях, купленных у спекулянта на станции Самтредиа. Толстозадые незамужние подружки невесты пытались от зависти задушить ее кисейной кружевной фатой. Невеста задыхалась, выпучив глаза. — Мы отдаем вам розовую жемчужину Имеретии! — рычал тамада, железнодорожный буфетчик.

— Вино Кахетии снизошло до бедного обеда хромоногой фельдшерицы! — защищали Котика шаферы.

— А из-за какого скрытого недостатка его бросила первая жена и сбежала с первым встречным?! — брал реванш железнодорожный буфетчик.

Имеретинские родственники обстреляли дружков жениха кучей легкомысленных феодальных стрел.

— Я люблю тебя, Тинико! — взвыл дядя.

— Bravo! Bravo! — кричала публика. Гости топали ногами. Гости с криками подняли дядю и поставили его на свадебный, уставленный кушаньями и цветами стол. Дядя Котик исполнил изящный танец «Лекури», зачерпывая дырявыми свадебными туфлями сациви из огромного блюда.

Нелепо взмахнув руками и поскользнувшись, он мешком повалился в винегрет.

Он ползал среди груд вареного мяса. Вымазался в соусе и подливке. Звал на помощь.

Из окна падала улица.

На опустевшем тротуаре под бледным фонарем стояла леди Анна и заглядывала за край убитого горизонта.

— Я женился! — в ужасе прошептал новобрачный.

Рванул порыв ветра, и тротуар опустел. Дядя Котик спрыгнул с пиршественного стола, с белой скатерти с шафрановыми сыпучими цветками и выбежал в холодный коридор. На каменную лестницу.

Плача и стуча зубами, он прыгал со ступеньки на ступеньку. Пьяница Ладó обсыпал его горстью конфетти. Разорвал над лысой головой хлопущку. Зажег шипящий и сверкающий бенгальский огонь.

— Леди Анна! — гнался за призраком как полоумный дядя.

— Котик женился! Котик женился! — хлопала в ладоши вся улица.

Дядя Котик был арестован полями Имеретии на собственной кушетке.

ДЯДЯ КОТИК НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

Порядочный и наивный, как классная дама.

Когда ему пытались подсунуть взятку, он краснел, задыхался от негодования и ужаса. Его тошнило. Он испытывал физическое отвращение к буржуазным пережиткам в сознании человека нового общества.

Он видел людей честными, как птицы. Он терял аппетит, бледнел и кашлял, когда случайно натыкался на махинации.

Страна залечивала раны после войны. Страна осторожно снимала бинты с засыхающих страшных, кровавых ран.

Дядя Котик уволился с винных складов, женился и, женатый на бедной княжне, долго безуспешно искал хоть какую-нибудь работу.

Жена пилила его:

— Наймись!

Дядя пытался закрываться от несправедливой брани легким щитом святого молчания.

Он бродил в одиночестве улицей генерала Леселидзе, бывшая улица Промкооперации, разглядывая голубоватый дым послевоенного утра. Он не мог забыть войну, которая отняла у него любимую первую жену. Она сбежала, пока он валялся на поле сражения, раненный в зад.

С легким пугливым криком носились тбилисские птицы над чахлым кустарником.

Один сосед нашел ему место заведующего маленькой деревенской лавочкой в окрестностях вечного восточного города.

Дядя боялся коммерческих предприятий. Страшился ревизоров и махинаций. Но супруга грызла его остылую, хоть и волосатую грудь.

— Я вышла замуж за армянина в надежде, что он будет воровать и нести в дом краденое! — разочарованно зевала она. — Иди, добывай еду! Кормилец!

Дяде пришлось оформляться в богомерзкую подозрительную лавку. Но сердце к этой деятельности не лежало. Чем торговала бедная, несчастная, почти не посещаемая покупателями лавка в Окроканах? Банкой краски, засахаренным, высохшим мармеладом, калошами, веревкой для висельников, иногда макаронами и вениками.

Нового заведующего радостно приветствовал маленький, сплоченный коллектив в лице одного-единственного жуликоватого продавца с черной повязкой через потерянный в тюремных потасовках глаз. Продавец оказался худым, тшедушным и беззубым. Ведь он часто сидел в камере на дрянной пище. Он не зря относился к воровству как к самой древней и почтенной профессии на Кавказе.

Дядя испуганно уставился на одинокий, чудом сохранившийся глаз коллеги.

— Честность — это самое великое на земле! — объяснил он.

Жуликоватый одноглазый продавец радостно закивал в ответ дядиным наивным словам, при этом он низко, подобострастно кланялся. Потом он вежливо под руку проводил дядю в кабинетик к груде заплесневелых кислых бумаг и столкнул с обрыва в пропасть.

Дядя Котик захлебывался в отчетах, описях, ревизиях.

Как-то одноглазый вежливый продавец скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой всю кассу. Может быть, он надеялся, что она ему пригодится в странствиях.

Дядя Котик был объявлен вне закона. Его искала милиция, хотя он нигде не прятался, а дрожал от страха перед прокурором на своей любимой кушетке.

Дядю осудили условно на тридцать лет, а похищенную сумму он должен был уплачивать понемножку из бедного жалованья всю оставшуюся жизнь.

— Я так и знал! — сокрушался дядя. — Я очень честный.

Однажды арестовали одноглазого по другому хищению.

— Пусть он и выплачивает! — негодовал дядя.

Но ОБХСС осталось немо к жалобам, детским причитаниям дяди.

— Меня все обманывают! — хныкал дядя.

Другой сжалившийся над дядей сосед помог ему стать заведующим мусорными автомашинами районного треста по очистке вечного города от грязи и костей. А также дохлых собак.

Это была почетная должность. Здесь можно было воровать бензин, отпускать мусорные грузовики налево и делать хорошие деньги.

— Я честный! — объявил женщинам-сотрудницам дядя.

Кандидатура дяди была спущена сверху, он пришел по телефонному звонку на освободившуюся вакансию. Предыдущий сотрудник был прогнан директором треста Георгием Арчиловичем из выгодного удобного кресла. Они не сработались, не смогли разделить барыши. Директор треста готовил нового своего человека. Но вот прислали дядю Котика, не подозревавшего об омуте интриг, темнеющего в радостно приветствовавшей его конторе. Дядя был назначен вне жестоких правил. Директор Георгий Арчилович скрипел зубами, но первое время терпел. «Может, он сам догадается, что надо воровать и отдавать мне львиную долю! Не дурак же он, даром что армянин!»

— Я честный! — сам себя охарактеризовал дядя при первом знакомстве, когда вошел к начальнику с заявлением о приеме на должность.

— Я тоже! — нахмурился директор Г. А.

Нафталиновая честность вкупе со служебным рвением никоим образом не устраивали Георгия Арчиловича.

Вот его карьера. Г. А. был родом из Мингрелии. Около пятнадцати лет пробивался он мелким каботажным плаванием, как в уютной лодочке, на смешных должностях миниатюрных хозяйств и игрушечных, липовых учреждений, пока не доплыл до необитаемого благородными людьми острова в мутном океане коммунальных служб.

Он возглавлял районный трест по очистке дворов и улиц от дохлых кошек и всяких других мерзостей кавказской жизни. Он был нравственным санитаром района имени 26 Бакинских Комиссаров. Он курил задумчивую сталинскую трубку и подражал его скупым, суховатым манерам, злясь только в самых необходимых для унижения штата мелких служащих случаях. Он был деспотом старых дворничих-курдянок и немых, пропахших дешевым вонючим бензином шоферов-айсоров. Он приветствовал выселение с братолюбивого Кавказа целых народов.

— СЛАВА ДЕНЬГАМ! — хмурил он мохнатую бровь. — СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!

Он презирал дядю Котика. Он властно требовал, чтобы дядя Котик под свою судебную ответственность отпускал ежедневно на халтуру хотя бы три мусорных автомашины из шести имеющихся в наличии. Дядя Котик сопротивлялся как мог, подписывая себе тем самым смертный приговор.

Властолюбивый, коварный Г. А., убежденный сталинист и мыслитель, стремился использовать свою гениальность и проницательность для ловкого вывоза человеческих отходов и тайно богател, прибегая к халтурным рейсам разваливающихся, стонущих от жульничества несчастных автомашин. Районный мусорный парк не выдерживал. Моторы глохли. Улицы, тупики и мрачные переулки оставались неухоженными с кучами собачьего дерьма и кошачьей зловонной шерсти.

Ловко подсовывая дары наверх, Г. А. получал ежеквартальные премии, грамоты, а также завоевал переходящее знамя среди соревнующихся районов в борьбе с мусором вечного города.

Г. А. носил прекрасно сшитый у частного портного бостоновый шикарный нарядный костюм и мягкую, солидную шляпу. Подражая членам кавказского правительственного кабинета, он щеголял также в модном в те годы светлых оттенков габардиновом плаще официального покроя человека с государственной службы.

— Я мог бы сделаться членом районного ЦК! — хмурился он.

Г. А. был светловолосым волевым деятелем с суровым, не улыбочивым лицом. Маленький мусорный вождь треста. Курил трубку, попыхивая. Он редко посещал рабочий кабинет. Зато штат из одиннадцати напуганных женщин трудился не покладая рук. Женщины конторские ели принесенные из дома бутерброды, чаевичали, вязали кофты, а иногда сидели за папками, счетами, арифмометрами.

Усатые дворничихи-курды чистосердечно мели загаженные гражданами тротуары. Автомашин со стоном, разваливаясь, возили на свалку мусор. Автомашины принимали на борт, в переполненный и перегруженный кузов, вещественные доказательства прожитой жизни.

Дядя трудился над оформлением путевых листов и отчетами по израсходованному бензину всю ночь. На рассвете он охал и сваливался с любимой неразлучной кушетки.

Как лист с одинокой чинары на улице подлетал к его хмурому, невыспавшемуся лицу новый, счастливый, трудовой день.

Дядя Котик сидел над бумагами, не разгибая окаменевшей спины. Он не жаждал славы. Он получал семьдесят пять рублей и страшно боялся лишиться места.

— Я честный! — пугливо озирался он в конторе.

Георгий Арчилович делал вид, что он непрременный участник всех районных совещаний и научно-практических конференций по очистке площадей и тупиков от объедков. Г. А. при редких своих воцарениях в просторном кабинете с дубовыми панелями за громоздким зеленым, изгаженным чернильными пятнами столом с пухлыми ножками обходился крайне сурово с бледным, заикающимся от страха дядей. Он непрестанно давил на кнопку трещащего как при пожарах звонка и ждал появления несчастного дяди с грудой вываливающихся из дрожащих рук в сатиновых налокотниках папок.

Г. А. из ничтожной своей в масштабах Вселенной должности выдувал шар гигантского веса. Вцепившись в этот летящий над жалким восточным городом шар, он как отважный путешественник собирался долететь до разваливающихся от старости крепостных стен верховной феодальной власти.

Неизвестно, где этот служебный прогульщик шлялся целыми днями. Однако злостное безделье каждый раз непрерываемо сходило ему с ленивых, жадных рук в дорогих кожаных перчатках.

Г. А. жил по каким-то особым, заведенным в бедной мингрельской деревеньке часам. Он гордился тем, что и Лаврентий Павлович Берия тоже был мингрелом, которого все боялись.

— Я захвачу власть в районе имени 26 Бакинских Комиссаров! — опуская веки на холодные, стальные глаза, мечтал он где-нибудь в закуской или хашной, окруженный подозрительными собутыльниками из деревень, заполонившими вечный город, его торговые точки, тресты, ларьки и управления, а также доходную вероломную автоинспекцию.

Изредка он приезжал на служебном «Москвиче» в контору районного треста. Он лишь тенью несчастного, обманутого отца Гамлета мелькал в служебном кабинете районного мусорщика. Иногда дворники видели, как он приезжал с разжиревшими дружками из санитарной инспекции на колхозный рынок, бывший Солдатский базар, где они нагло бесплатно требовали с мясников требуху, кишки, печенку, коровье вымя и бычьи легкие для кутежей.

Компания обожала посещать ресторан в подвале «Гемо» («Вкус») на Плехановском проспекте, где целыми сутками, целыми неделями, дни и ночи напролет проходили встречи на высшем уровне и беспробудные, пьяные с завываниями летучки мусорных отцов славного, беззащитного города, а также шумные творческие дискуссии.

Часто он избирался тамадой, благодаря почтенную, оголтелую от разбоев и грабежей публику за внимание.

— **ВИНЦ МОВИДА ГАУМАРДЖОС!** — выкрикивал он с рогом пенящегося вина при появлении в мрачном подвале народных инспекторов и бессменных представителей бесконечных комиссий народного контроля. — **СЛАВА ВОШЕДШЕМУ!**

Все пили и все коллективно радовались жизни. Даже в шумном застольи, окруженный и заставленный со всех сторон блюдами с жарким и закусками, Г. А. никогда не снимал мягкой шляпы и породнившегося с его авторитетом маркого габардиного плаща, признака власти. Собутыльники боялись, чтоб он случайно не вымазал габардин сациви, лобио, аджикой, хаши и чахохбили, но этого никогда не случалось. Власть есть власть. Не замарать ее даже сладкой, вонючей подливкой.

Застывали в легком презрении его тонкие, мингрельские губы. Г. А. победоносно оглядывал притихших собутыльников.

— Ва! — дружно удивлялись они.

Однажды в юности ему подарили свинью. Свинью он продал и купил мягкую шляпу. Все дело было в шляпе.

Дядя Котик страшился свиданий с начальником.

— Ра вкна! Ра вкна! — вздыхал он, опуская трусливые глазки. — Что делать? Что мне делать?

Все чаще и чаще Г. А. вызывал его «на ковер» в последнем текущем квартале.

— **ШЕН ВИНА ХАР?** — брезгливо удивлялся Г. А. — Кто ты такой? Разве ты не армянин? А, кацо? — Г. А. ждал доходов.

Шел третий квартал дядиного местопребывания в опасной для здоровья мусорной конторе.

— Ра вкна? — ужасался дядя. — Мовипаро? Украсть? Я очень честный! — шептал он в огромном, страшном кабинете, закрываясь руками.

Г. А. равнодушно пытел ему в посеревшее личико зловонным обволакивающим дымом.

— Мне надо повеситься? — пугался дядя.

Быть может, что-то казалось бесплодным в детском, наивном рвении дяди. Быть может, совсем ни к чему ранние рассветные вставания с оханьями и руганью княжны с надоевшей, но вечно греющей покалеченное тело кушетки, обход гаража мусорных машин, душещипательные беседы с хмурыми шоферами и усатыми дворниками, уговоры, чтоб никто не воровал и хорошо подметал

улицы родного города, быть может, сама роль честного гражданина была ужасно никчемной на этой святой земле!..

Даже ослепительная чистота улиц района стараниями дяди была омерзительна Георгию Арчиловичу. Директор треста обладал железным здоровьем и брал измором контуженного на фронте инвалида. Дядя похудел от недосыпаний и горя. Еще более яростно и самозабвенно, как бы чувствуя приближающуюся гражданскую казнь, он ночами напролет, не кушая свое любимое лобио с чади, исступленно составлял балансы, подводил итоги, заполнял сохнувшими бледно-лиловыми чернилами с дохлой мухой путевые листы.

Порядком и здоровьем дышала контора. Но совсем другого от судьбы ждал Г. А.

Озверелыми пальцами давил он на кнопку ошалевшего звонка, оглушавшего напуганный маленький женский коллектив. Сотрудницы, бледнея, сжимали уши. Древняя уборщица, армянка с морщинами Ашхен, сочувственно качая седой головой, глядела в спину дяди Котика, как смертник на долгожданную казнь, бредущего, ссутулившись жалкой, горестной спиной, к страшным, чернеющим, обшитым дерматином дверям. Г. А. ждал. Г. А. сидел за громоздким казенным письменным столом с зеленым заляпанным сукном.

Г. А., застыв и оцепенев массивным лицом изверга, курил вкусную трубку. «СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ» — было написано кривыми самодельными буквами над его властной, посеревшей от ненависти к дяде головой.

— МЭ МОВЭДИ! — горестно объявлял дядя в жалких сатиновых налокотниках. Горестный и взволнованный. Под мышкой зажата Огромная папка. Ненужный плод ночных бдений.

Г. А. молча вел бой с тенью. Он равнодушно курил могущественную трубку. Он мрачно выдавливал дым отечества из потемок своей продажной души.

Женщины подглядывали в замочную скважину. Они шарахались от каждого шороха. Трамвай десятый номер уныло позвякивал в сухом бледном тумане за каменными страшными стенами конторы.

Г. А. раздражало пустое служебное рвение дяди.

— Что делаешь? — мрачно полюбощивал Г. А. — Как поживаешь?

— Я? — дрогнула спина дяди. — Я! Оформляю путевые листы!

Железная маска лица Г. А. темнела.

— Зачем? — лениво спросил он.

Котик молчал. Он понял, что вопрос Г. А. относился не к нему лично, не к несчастным путевым листам. Георгий Арчилович спрашивал напрямую бога Саваофа: зачем судьба подбросила в его контору на доходное место такого безнадежного кретина?.. Зачем он, Г. А., вот уже третий квартал как молча намекает этому жалкому бедному армяшке, чтоб он отпуская на халтуру три из шести имеющихся в наличии в гараже разболтанные, дребезжащие, разваливающиеся мусорные автомашины!

Разве мало христианских добродетелей с выгодой для всех могут натворить три «левые» жалкие мусорные автомашины из треста по очистке города района имени 26 Бакинских Комиссаров? Разве мало на Кавказе добрых дел, что спят вечным безрадостным сном на задворках истории?..

— Зачем? — чесал грудь Г. А.

Аудиенция кончалась. Дядя Котик ни жив ни мертв тащился обратно. Сатиновые налокотники мелко дрожали.

— Вай! Вай! — плача, дребезжали губы.

Дома он сразу валился на кушетку, отказываясь от остывшего обеда.

— Я буду жаловаться! — закатывал он умирающие глазки.

Он пытался медленно ругаться площадными чужими словами. Издыхая, еле ворочающимся языком клял всех негодяев и рвачей, что окружили город рвами и феодальными стенами.

— Где прокурор? Где судьи?! — стонал дядя.

— Вай! Вай! Живот болит! — хныкал он.

— Замолчи, дурак! — орала тетя. — Умрем с голоду! Выгонят!..

— Я не дурак!

— Ты дурак!

Она ощипывала курицу. Она взмахивала белой княжеской рукой. Белое жкроваленное перышко лепилось к мраморному светлому лбу великомученика.

— Я напишу заявление в газету «Заря Востока»!

— Замолчи, осел!

— Я не осел!

Тетя плакала.

Зрачок дяди наливался свинцовой, тяжелой, страшной слезой.

— Я не буду отпускать мусорные автомашины на халтуру!

— Помрем с голода! — плакала тетя.

Дядя Котик задыхался от гнева. Он, кряхтя, привставал над трясущейся от рыданий кушеткой и снова в изнеможении падал на нее.

— Я пойду жаловаться в райком! — шептали его посиневшие губы. Дядя накрылся белой пухлой подушкой.

— Мама джан! — жалобно стонал он. — Живот разболелся. Мама джан!

— Бросайся в Куру с моста! — огрызалась тетя. — В Куру!

— Мама джан!

— Зачем я вышла замуж за бедного армяшку? Я, имеретинская княжна!

— Мама джан!

— За кого шла? Думала, воровать будет, от денег задыхаться станем!

— Мама джан!

— Котик, ты болван!

— Живот болит!

— Мой муж слабоумный дурачок! Все смеются над ним! Все соседи! Что за его спиной все мои родственники князя Яшвили говорят!

— Плевал я на твоих родственников! Мама джан! Живот!

— А я на твоих! Нищие и попрошайки!

— Вааай! Живоот!

— Я бывшая княжна!

— А я честный гражданин города!

— Ты кошачье дерьмо!

— А ты собачье!

— А ты ослиное!

Дядя, откинув пальто, в одних кальсонах вскакивал с кушетки. Он носился по бедной комнатке, голый по пузо, в грязных несвежих кальсонах и, срывая со стола кучи путевых листов и бланков, мял их и рвал, взбешенный, носился с этим опозоренным, гибнущим багажом как спятивший транзитный пассажир неудавшейся семейной жизни.

— Мама джан! — выл он. — Мама джан! Мама джан!

— Не рви бланки! Не рви служебные бумаги! С работы выгонят в шею! Голодать будем!

— К черту! Всех к черту! Меня к черту! Мою жизнь! Вай! Мама джан! Вай! Вай! — Он в одних кальсонах босиком бежал на улицу.

— МЕ ШЕНТАН АХАР МОВАЛ! АРАСДРОС! ИЦОДЭ! Я никогда не вернусь к тебе! Знай!

Тетя Тина рыдала. Соседи отпавали ее горячим чаем.

Утром дядя понес в ломбард бледно-вишневую шаль. Эта шаль была единственной памятью о вероломной матери, бросившей тетю Тину в раннем детстве. На семейном совете постановили организовать хлебосолье для Г. А.

Синий мартовский вечер. Сухие опавшие листья разбегались на площади при появлении сгорбленной фигуры неудачника. Даже мертвая листва не желала иметь с ним ничего общего. Ломбард шаль забраковал. Дядя уныло потащился на Солдатский базар, Мекку всех неудачников. Торговец цветами усмехнулся. Какая-то старуха беззубая помяла шаль холодными руками, прицениваясь. Собралась маленькая толпа. Милиционер разогнал толпу. Старуха, ковляя позади дяди, окликнула его. Дядя Котик остановился. Старуха вырвала шаль.

— Покупаю! Черт с тобой! — хрипло выругалась старуха. — Хочу, чтоб меня в ней похоронили.

Дядя Котик отшатнулся. Но деньги взял. На вырученные деньги купил индюшку. Зарезанную птицу обнял и нес так, шаркая и спотыкаясь.

— Жена осталась без шали! — всхлипывал он.

Ждали почетного гостя.

Гортань обезглавленной индюшки сочилась в прозрачные стаканы густой чумной кровью. В измазанных кровью птицы стаканах темнела эпоха

Пожилая акация над окном ломала в тоске свою простуженную спину. Пьяница Ладо бродил под акацией и, закатывая глаза, читал наизусть шаири великого Руставели.

Дядя ждет Г. А. Дядя на тротуаре — верстовой столб с поникшей головой.

Последний день Помпеи. Стены маленькой жизни рушились. Его уволят. Об этом стучало напуганное сердце конторщика. Дядя не защищался слабыми руками от мраморных обломков. Он жалел отрезанную голову несчастного индюка.

— Брат мой, индюк! — звал он.

Обезглавленная птица — оброк для деспота мусорной ненавистной конторы.

Дядя Котик пал на коленки у шлагбаума обстоятельств.

— Законы жизни крепче нас! — оправдывался он.

Всю ночь он бродил по комнате с миской остывающего сациви. Он хотел выплеснуть сациви в раковину на кухне, чтоб очистить свою совесть и не унижаться перед мерзавцем, но так и не решился на такой подвиг.

Он презирал себя. Он боялся лишиться своих скромных сатиновых налокотников. Тетя варила гурийское лобио и жарила поросенка.

Г. А. посадили на самом почетном стуле, лицом к портрету И. В. Сталина. Все соседи робко заглядывали сюда и пили тосты в его честь. Г. А. важно надулся. Все соседи знали боевую важность момента. Пьяницу Ладо не пустили, связали, но он бился о дверь судьбы всем телом.

Г. А. равнодушно ел холодного поросенка.

— Он мог бы дарить мне десять свиней в месяц! — морщился Г. А. — Если б не был дураком!..

Директор конторы даже не глядел в сторону своего подчиненного. Дядя был обречен.

— Три мусорные машины в день! — икнул Г. А.

Он был обиженным властелином. Поза его была непринужденной и страшной. Потом он закурил свою великую трубку.

— Первый тост выпьем за отца народов! — лениво произнес он, еле ворочая барственным языком.

Дядя сидел с краешка стола с жерновом на груди. Он не ел и не пил, голова свисала вниз с тонкой детской шеи.

Пройдут годы, а он долго еще будет шуметь, орать о том, что напишет на Г. А. жалобу в Министерство коммунального хозяйства. Тетя Тина, нарумяненная, накрашенная, играла на гитаре и взволнованным робким голосом, ужасно фальшивя от страха, пела гостю любовные имеретинские песни.

Г. А. налил в блюдо целый котел горячего сациви с перцем и чесноком и, чавкая от наслаждения и злобы, выпил его на одном дыхании.

— Пей! Пей! — хлопали в ладоши соседи.

Георгий Арчилович нахмурился и, оскалившись, стал по-волчьи срывать хищными зубами с шампуров обожженное шашлычное мясо.

Дядя Котик сидел ни жив ни мертв. Ночью на кушетке, лежа как труп, он будет мучительно обдумывать гримасы деспота.

Но дядю Котика все же прогнали с глупо занимаемой должности по собственному желанию. Г. А. интриговал на манер невозмутимых римских императоров. Недаром оба были гражданами вечного кавказского города. Дядя Котик, лишенный бедного куска хлеба и лишившийся рассудка от позора и горя, будет еще отбиваться от истеричной ругани супруги вечерними бульварными желтыми газетенками, в которых он опубликует фельетон о Г. А.

— Клянусь мамой! Я отомщу!

Г. А. невозмутимо курил трубку и, осторожно выстукивая подаренными райкомом новенькими сапогами, разгуливал по своему прекрасному кабинету мусорного треста района имени 26 Бакинских Комиссаров. Иногда он задумчиво останавливался и, что-то вспомнив, хмурился и сквозь зубы бормотал, глядя вдаль:

— Передайте Котику, что он портил доходное место!

Теперь дядя после долгих мытарств на бирже труда служит ночным комендантом в институте физической культуры. Работник он незаменимый, даже пьяный, и все гардеробщики и сторожа его обожают, но он всегда боится потерять свое рабочее место.

Из мысли: вылетят орлы,
Из сердца: выйдет образ львиный.

ДЯДЯ КОТИК И ЕГО ДОЧЬ ИНГА

Закончив велисцихскую школу, Инга надолго приехала кахетинским поездом к отцу и мачехе. Она поселилась в их маленькой комнате и готовилась сначала в театральное училище при театре Руставели, а потом в медицинский техникум. Талант матери обнажен в плоде. Дядю Котика это жестоко мучило.

— Не надо! — шептал он. — Закройся от театра.

Инга стала изучать анатомию и обращение со шприцем. Круг ее друзей — вчерашние сельчане. Они рвались в великую столицу Грузии. Но даже облученные городской пылью, эти пасторальные птицы оставались государством в государстве. Бездетная и рано осиротевшая мачеха радостно приняла Ингу в свою жизнь. Она одевала, кормила и любила ее. К ним ходила молодежь. Друзья падчерицы. Тетя Тина любила шумные компании. Она была светлым человеком, хоть в этом маленьком солнечном шарике темнел иногда комок злости. Дядя Котик докопался до царства любви за злой оболочкой. Он был беззащитным мальчиком в ее колючих ладонях. Имеретинка с корзиной родовых доблестей: показухой, чванством, раздутой бумажной гордостью, скандальностью и хвастовством. Все делалось только с оглядкой на людей и на их мнения, а за спиной человечество обливалось грязными помоями, ведрами проливалась на эти лица солнечная вода. Тетя Тина даже бывшую супругу дяди зазывала в дом, когда женщина ожидала дочь на тротуаре, под окном. Свидания с девочкой напоминали тюремные. Женщина была слишком занята своей личной судьбой. Кавказский меловой круг, луна над головой, она и протянутая рука куда-то в сторону обид маленькой девочки.

Но потом, когда тетя Тина отдаст падчерице свою кровь, умирая на больничной койке, Инга предаст ее. Она рванется к матери. Родная кровь толкнет ее на подлость.

Вечерок на сцене комнатки. Декорация. Шкаф. Сундук. Фарфоровая тарелка с голубоватыми девушками в сиреневых платьях. Синий-синий водянистый рисунок. Маленькая женщина с ясными глазами в высокой шляпке. Свет не вечерний моего детства. Камень дяди на кушетке. Тетя злобно уронила медный таз. Пылает лампа. Гости к нам! Молодые люди Инги. Женихи ее подруг. Гремят двери. На кухне юноша в физкультурном зеленом костюме разделывает в миске поросенка. Я удивлен. Я вижу его впервые. Это школьный товарищ и друг Инги. Анзори приехал в Тбилиси учиться на трехмесячных радиокурсах. Он будет починять телевизоры и радиоприемники.

«Жених», — думаю я.

Анзори держит в окровавленных руках нож. Он отрезает поросенку маленькие ноги. Собрали куски натюрморта на розовую скатерть. Инга гвоздь собрания. Она в карминном платье. Тетя зажглась весельем и пылает как свеча. Дядя Котик сопит носом. Замира... замирая. Дети пьют за родителей.

— Чвэнс мшоблебс гаумарджос!

Снова за родителей.

— Гаумарджос чвэнс мшоблебс! Да здравствуют прекрасные наши родители!
ГАУМАРДЖОС! ГАУМАРДЖОС!

Дядя и тетя сидят на красной подушке. Их никогда не забудут чужие дети. Инга должна читать стихи. Она велисцихское дарование. Соль земли блестит на скатерти. Натюрморт озарен солнцем. Анзори испуганно курит «Приму». Льет любовная грузинская лирика. Инга зовет какого-нибудь уличного мужчину на свою конскую грудь.

— Чэмтан! Чэмтан! — страстно шепчет она.

Гости бьют в ладоши. Инга залпом глушит стакан вина. Все кахетинки пьют вино. Это древняя традиция. Здесь жизнь человека разыгрывается как цветение лозы. С младенчества и до ветхозаветной старости. Вино отстаивают в священный напиток. Оно становится хлебом. Маленьким детям наливают его в глотки. Глухие старики пьют вино за обедом ведрами. Женщины, гордые грузинские женщины никогда не отвергают свою долю. Никто не пьянеет в Кахетии. Пьянство — это позор. На наших дорогах вы никогда не обнаружите валяющихся в пыли мужчин. Такого мужчину убьет общественное мнение. Он должен будет срочно собирать чемодан и ехать на какой-нибудь необитаемый остров.

Робкий Анзори взлетел над белой скатертью. Он обязан прочесть акростих с наименьшим блеском, чем его невеста. Он только учится на радиомастера, но он не имеет права отставать от любимой. Задыхаясь, бубнит Анзори крошечную поэму. Он пылает около часа. Наконец все облегченно вздыхают. Рыцарь не свалился с лошади. Рыцарь не ударился лицом о сухую грязь. Пьют розоватое стекло. Веселье бродит по скатерти как глупый, расфуфыренный индюк. Пьют в память мертвых. Пьют в честь доблестных живых мертвецов. Пьют за землю.

— Да здравствуют каштаны!

Триумфальная арка свадьбы вдали. Любовно дышат наши лица. Завязь счастья. О, горе одинокому! Тетя диспетчер и ангел-хранитель чужих откровений. Дядя Котик часть декорации. Он фон. Он в роли опереточного отца. Bravo! Брависсимо! Тосты в его честь. Он счастлив, но он не имеет права голоса. Он обладатель гостевого билета в своем доме. Новые люди! Это никому не известные люди. Это гости наших гостей. В их честь льются реки ахалсопельского вина. Эти люди приведены сюда за разные достоинства и недостатки. Кто за хороший голос, кто за искрометный юмор. Кто просто так, оттого что случайно подвернулся под руку. Тысячи раз наблюдал я подобные сцены на залитых солнцем улицах колоритного города. На проспекте Руставели кучка бездельников. Кто-то один приглашен кем-то на чьи-то именины. Он глядит на часы. Он печально прощается с компанией после трехчасового ленивого дежурства на краю тротуара, у платана. Он зевает. Он картинно замер на фоне городского пейзажа.

— Кто со мной? — вопрос к тротуарным товарищам, со вздохом.

— Застолье, как богато?

— Поросенок.

— Девочки будут?

— Циала.

— Знаю. Племянница троюродной сестры со стройными ногами?

— Она спит с Гурамом?

— Какой Гурам?

— Культурист? С бицепсами? Тот, кто Важу побил?

— Нет, это другой Гурам. Маленький. Вонючий. Сын завмага.

Рыцари долго обдумывают. Вся компания бредет проспектом в гостеприимный дом. По пути к ним пристают товарищи каких-то других товарищей.

— Вот этот малый здорово поет. Берите его с собой. Не пожалеете. И удар мощный. Кайай хма аквс! Чхубиц цодنيا магари!

Все глядят на великана в кепке.

— Баритон?

— Бас. Мцхетскую заздравную поет, задохнешься!

Живописная тбилисская компания торжественно шествует. О подарке не заикнулся ни один человек. По дороге шутки ради могут снять с прохожего пальто. Но если наедет мотоциклет с милиционером, легко засмеются и отдадут пальто обратно.

На лбу гостей горят охранные грамоты. В особом почете — дежурная знаменитость. Их называют знатными личностями. Это модные тбилиские хулиганы. Чтоб обзавестись высоким титулом, надо побить или убить бродячего рекордсмена, чемпиона уличных драк. Надо отобрать заплеванный и окровавленный лавровый венок. Вот он, глядите! Звезда новых ударов. Рабиндранат. Так зовут маленького человечка в апельсиновой рубашечке. Трусые и подхалимы кричат тосты в его честь. Они надеются быть спасенными одним его именем в закулисной потасовке. Малосенький Рабиндранатик уперся локотками о край стола. Он вяло ест голову осетрины. Недавно его выбросили из окна в одном загородном ресторане. Его выбросил великан-драчун из поселка Тетри-Цкаро. Все были поражены. Великана долго держали за руки, чтоб он не связывался с жестоким лилипутиком.

— Он очень легкий! — орал громила, выпучив багровые глаза.

— Да! Очень легкий! — отвечали ему. — Но очень сильный!

Рабиндранатик как камушек разбил форточку головкой эмбриона.

— Он очень сильный! — кричал народ.

Железная крошка, потрепанная светлым позором, нагло восстанавливала репутацию за бедным нашим столом. Опереточный дядя Котик пожимал его руки. Со двора рос звонкий голос.

— Папа! — кричала Инга.

Она отправилась провожать жениха до угла. Гурьба гостей шумела рядом с собором. Дядя взволнованно глянул в окно. Потом мы с ним очутились в пустом темноватом подъезде.

— Что случилось? — спросил я.

— Что случилось? — спросил дядя.

Пьяница Ладо, обезумевший от вина, стоял с ножом. Он махал им во тьме, изрезая ее на куски. Хулиган Рабиндранат и гости в ужасе прятались в подворотне. Ладо сеял смерть. Дядя Котик дубом повалился на его коренастое маленькое тело. Оба валялись на тротуаре, они выпали из гнезда. Дядя Котик на человеке с ножом. Нож был отнят. Читая вслух шайри из «Витязя в тигровой шкуре», пьяница разлился облаком. Облако летало над асфальтом в мягких нарядных цветах. Гости обалдели. Блестели в ночи крики цикад.

Но когда жениха взяли в армию — случилась беда. Он служил в авиации и бомбардировал любимую зажигательными письмами. На конвертах вместо обратного адреса он выводил красной тушью: «Твой Анзори! Шэни Анзори». Этот бедняга не нанес девушке ни одного грязного поцелуя. Незадолго до возвращения жениха девушка согрешила с трепачом, чванливым сыном базарного зеленщика. Она с подругой была в компании и там за ширмочкой бездумно отдалась черноголовому Серго. Она не решилась телеграфировать об этом в Вооруженные Силы. Она объяснила позже, что полюбила другого. Она жадно обхватила свою участь. Анзори торопился на пожарище в спальном вагоне прямого сообщения. Он устраивал скандал за скандалом дяде Котику. «Шени Анзори» бился головою об акацию. Это был мужественный человек. Солнце умерло, его отдали в музей света. Солнце тайно горело из дырок асфальта, слабо ошпарив грязные стрелки воробьиных комочков. Воздушный музей с экспонатами повис над мартовским городом. Чучела из тени свисали с бледных облаков.

Однажды я столкнулся на улице с отверженным. Отчаянный от годов мужчина нес прозрачную маску лица в грязных кровоподтеках побитых дней. Он не одарил меня своей тяжелой рукой. Он даже не кивнул. А я всегда держал его сторону. Я всегда светло плакал за нищих духом. Может быть, он страшился памяти. Или просто я был родственником раны, нанесенной ему. Я был двоюродным братом вероломной девушки-палача. Мы оба слушали сонату солнца.

Эта история напомнила дяде Котику трагедию. Маленькая хмурая леди Анна глядела на него глазами дочери. Бедный отец хотел спасти ее счастье. Он заикнулся о благородстве Анзори. Дочь наорала на беззащитного отца. Она обозвала его дураком. Дядя скрылся в уборной и там вытирал слезы.

...Свадьба ткалась в атмосфере нашептываний. Жених Серго работал младшим лаборантом на контрольно-семенной станции. Он готовился к карьере инспектора пшеничного зерна. Он мечтал казаться академиком. Смешное нахмуренное личико носило его туловище. Он ходил в дырявых брюках и курил самые дорогие папиросы мира.

— Я не желаю хвастаться, но меня обожают, а один профессор отметил, что я — гений!

Серго выпучил красные глазки. Он двигался среди гостей и тарелок как античный мудрец. Он путался под ногами гостей, съедая их глазом спрута. Его самодовольный отец, базарный зеленщик, не одобрял этого брака. Он не бросил в шапку пира ни одного су. Бедные дядя и тетя стали организаторами престольной попойки. Дядя влез в скандальные долги. Он выкроил из своего мышинового оклада комариный кусочек и снял на десять дней комнатку молодоженам. Он любил свою дочь. Он собирался еще столетие ходить по городу в рваных штанах. Отныне дядя будет всю жизнь подкармливать новую, молодую, здоровую семью. Он будет класть в карман зятя рублевки, а дочери из последних денег коменданта справит пальто. К свадьбе готовились как к сражению. Строили баррикады. Никто не хотел ничего делать. Все бродили по коридору, засунув руки в карманы, и глядели друг на друга. Все внимательно слушали побасенки жениха о его

будущей академической деятельности. Маленькая круглая вешалка обросла гроздьями плащей, шляп и кепок.

Злая невеста в сиреновом платье за спинами застолийцев. Она боялась верить ненасытному счастью и глядела на спектакль мокрыми глазами. Дядя Котик был статистом на этой свадьбе. Тетя Тина роняла кастрюли. Дядя вздрагивал. Родня жениха не принесла ни одного подарка. Она только самодовольно пила и ела жаркое. Тетя Тина кусала от обиды губы. Имеретинские глаза вырывались из подглазий как птицы из клеток. Падчерица нанесла ей удар ножом в спину. Она не дала мачехе застилать свою постель в утро новобрачных. Это старинный грузинский обычай. Ночь первой любви валялась далеко за кругом сегодняшнего торжества. Обычай девичьей крови имел пятый месяц беременности.

— Какой-то зеленщик! — негодовал дядя Котик в кулуарах. — Бездарный торгаш гримасничает в моем доме.

Дядя бродил в коридоре. Он ударялся о ящики с лимонадом. Гости были заражены нездоровостью светлой обстановки. Вдруг Инга бросилась к свадебному столу и в ярости стала сдергивать с него белую скатерть с тарелками, стаканами и блюдами. Задыхаясь от ненависти к своей будущей жизни, она вplyвала в росистую гавань счастья.

— Ты сволочь! — кричала она отцу.

— Сволочь! — кричала она мачехе.

Тетя, на чьи скромные средства была кратковременно нанята комнатка первой любви, рано утром нарисовала губы, попудрила лицо, надела черное платье и, взяв изящную эстетскую палку от хромоты, трамваем номер десять от Колхозной площади подкатила к остановке неправды. Она светилась любовью. Никогда не имела эта колченогая женщина своих детей, а родительница бросила ее трех лет от роду. Она ликовала. Она ждала розовато-белую подушку падчерицы как птицу счастья. Маленькие лиловые розы пылали в ее холодных руках. Но Инга бросила розы в пыль. Она не допустила мачеху на порог грехопадения. Родная и блудная мать была вызвана из другого города на застилку якобы окровавленных простынь. Толстая женщина, расплывшая и гордая актриса, покачивая модной прической, замерла на коврик у двери, арендованной мачехой. Тетя Тина заплакала. Она плакала горько.

— Сволочь! — кричала Инга.

Дядя Котик побледнел. Тетя рыдала. Это была обыкновенная черная неблагодарность.

Зеленщик ухмылялся. Зеленщик отстаивал право называться человеком в задних рядах тьмы, на гудах трав: киндзы, цимматы и тархуна. На пьянках маленький скелет погибшего благородства отдавался из ладони в ладонь, как стакан вина.

А сейчас сын, заочный студент сельхозтехникума в черном костюме с белой гвоздикой в петличке, валялся поодаль, как отрезанный ломоть. Кулаки дяди рухнули на стол как град. Взрывной волной безотцовского отчаяния его выбросило из одинокой комнаты, превращенной в банкетный зал всех гостей неприятельского лагеря во главе с зеленщиком.

Тетя Тина легла лицом на помятый диван. Покрывало дивана томилось в ломбарде.

МАЛЕНЬКИЕ СВЕТЛЫЕ СКАНДАЛЫ

Счастье из криков, пустых оскорблений, дыма драк. Любовь блестит поволокой затиший и шелком молниеносного мира. Оба возмущенно кричат друг на друга целыми сутками и давно спят в разных кроватях. Тетя не ходит на базар, она хромя, она грызет дядю как блестящую кость. Оба жадно едят с розовой тарелочки леденцы «Монпансье». Дядя голодный бредет на кухню и долго глядит на кастрюлю. Он часовой. Он выжидает, когда сварится лобио. Тетя отталкивает его.

— Отлей воды! — шипит она. — Дурак!

— Не оскорбляй меня! — молит дядя, сложив ладошки.

— Дурак!

Дядя бежит в комнатку занимать место за столом. Он в старенькой кацавейке и в зеленом колпачке. Он роется в опилках с засохшей виноградинкой, в миске с медно-ржавым куском хлеба.

— Я хочу есть! — Он стучит ложкой о белую тарелку.

Тетя летает по кухне на метле. Из кастрюли булькает как из преисподней.

— Муж! — орет она, бешеная от злобы. — Свались головой в ад.

Дядя просветленно молчит. Дядины глаза округляются от голода. Сосуд с лобом всплывает в супружескую столовую. Она же спальня. Кабинет. И гостиная.

— Подставку! Подставку! — чеканит имеретинская княжна.

— Вай! — испугался дядя. — Где наша подставка?

— Осел кахетинский!

Дядя Котик испуганно мечется по крошечному залу, опрокидывая стулья. Его божественные родители наблюдают с портрета за голой старостью сына.

— Вай! Вай! — кричит дядя, роняя колпак с лысого затылка. Он подкладывает под красную от жара кастрюлю толстую повесть Ильи Чавчавадзе.

— Моквиди! Моквиди! Шэ садзагэло! — захлебывается тетя. — Умри! Умри! Паршивец!

Повесть летит на окно к гнилым яблокам. Кастрюля покоится на грязной майке.

— Почему ты родился? — Тетя падает на стул.

— Я родился, чтоб быть счастливым!

Мягкий кулачок дяди шлепает по белой скатерти. Он робко протягивает тарелочку в дрожащих ладонях.

— Не лезь! Не лезь без очереди! Куда торопишься? На пожар?

Дядя Котик обиженно шевелит губами. Тетя льет в свою тарелку целое болото. Подбородок дяди позеленел. Он голоден. Он чавкает целую вечность. Он — маленький мальчик. Дядя жрет красную капусту. Губы его сочатся.

— Не чавкай!

— Замолчи!

— Не чавкай!

— Замолчи!

Дядя лезет головой в кастрюлю.

— Ты внесешь инфекцию в суп! — задыхается тетя. — Сумасшедший!

— Не оскорбляй!

— Лошак!

— Обижают! Обижают! — Голова дяди плавает в золотистом супе.

— Ты мой муж?

— А кто я?

— Ты муж беременной коровы!

— Мама!

Дядя оборачивается к портрету.

— Мой суп! Мой суп! — плачет тетя. — Оставь мне немножечко супа! Изверг.

— Я оставил в сиреновой тарелочке!

— Когда ты подохнешь?

— Мама!

— Я княжна, а ты болван!

— Я не болван!

— Ты болван!

Пьют суп. Дядя мокрым ртом лезет на вечернюю газету. Он жаждет обцеловать ее как салфетку. Раздернутым газетным листом он оботрет дряблые губы.

— Я не читала фельетон! Я не читала похоронные объявления!

Тетя дала айвовое варенье. Дядя хочет смеяться. Он мальчик. Он хочет кататься на лошадке. Сейчас он будет кушать варенье. Ура! Ура? Он целует ковш.

— Ишак.

Дядя роняет на колени сладкую айву.

— Идиот! — вопит тетя, захлебываясь слюной.

— Я убью тебя!

— Вымой руки!

Дядя плачет от обиды.

— Хелеби даибанэ! — молит жена. — Вымой руки!

Дядя бежит на кухню и мылит розовым огрызком ноготь.

— Вай! — испуганно трясется замерзший дядя. — Вай! Вай!

Завершив омовение конечностей, он сердито волочит за обеденный стол. По пути к айве он сбивает на пол вешалку со старыми шляпами. Он не слышит брани. Он громко чавкает.

— Не чавкай! — просветленно кричит тетя.

Дядя лакает варево беззубым ртом. Он очень талантлив как едок.

— Не чавкай!

— Замолчи!

— Не чавкай!

— Замолчи!

На стульчике голубая молния.

— Фельетон не рви!

— Я читал! Я помню!

— Собака! — Тетя бросила в дядю айву.

— Хватит! — рыдает дядя.

Он бегаёт по комнате как желтенький олененок.

— Я разобью стол! Я опрокину блюдо с курицей!

Он делает вид, что хочет броситься на судки. Он взмахивает ослабевшими кулаками над мертвой птицей. Он хочет осквернить труп птицы. Он ждёт вопля тети, чтоб остановиться. Он трус.

— Человек — это звучит гордо! — орет он.

— Давай курицу! — шепчет тетя. — Наша курица остывает.

Дядя хватается нож.

— Как резать? От пупка к шее или от шеи к пупку?

— От шеи к пупку!

— А если наоборот?

— Болван!

— Я не болван!

Дядя кромсает покойницу. Он царапает тарелку ножом. Тарелка визжит.

— Не мучай курицу!

— Я не мучаю!

— Болван!

— Я не болван!

Дядя отодрал белое мясо для себя. На тарелке тети желтая кожа. Тетя гневно поглядывает на своего омерзительного мужа. Она снимает со стены феодальный лук и расстреливает его ядовитыми стрелами. Дядя благопристроен как кюре. Он склонил набор абрис легкой головки. Он сопит одутловатым греческим носом. Он набожен в еде. Он пьет жизнь из грешной куриной ноги. Дядя профессор чревоугодия. Тетя трижды убивает его стрелой. Она хочет курицу. А курица мертва. Курица хочет жить. Тетя бросается на дядю с вилкой. Она коршуном падает в его тарелку. Она уносит белое мясо в свою любовь. Она уносит белое мясо в свой бездетный рот.

— Не чавкай!

— Замолчи!

— Не чавкай!

— Замолчи!

Дядя розовеет. Он объелся. Он счастлив. Тетя исполняет имеретинскую застольную. Айва лопается от восторга. Рты супругов вязнут в жадности. Дядя заблудился в своем рту. Он скандально дергает головой. Айва мерзнет. Взрыв враждебного смеха давит женщину.

— Ииииих... хи... хи... ха... ха! Иииииии!.. хииии!.. ха!

— Рас ичини? Чего смеешься? Рас ичини?

Дядя борется с айвой. Рука фельдшерицы подает варенье. Княжна льет супругу лживую дозу белой черешни. Она защищает его от райской сладости как от смерти. Она убеждает, что капля варенья убивает коня. Она обносит дядю смертью. На ложечке блестит серебристая навозная муха. Дядя лег на кушетку. Он любил человечество на сытый желудок.

Дядя удав. Он греет в своем чреве курицу господа бога. Жена бьет его по лбу веревкой несовершенств. Старушка брани. Королева сарказма. Она не любила его за то, что он:

ел много, ходил грязный и неумытый;

потерял службу в конторе по очистке города;

храпел, чавкал, хрюкал, сопел, кашлял, стонал, пукал, икал, чихал, плевал, сморкался и носил вонючие носки, а мыл розовым обмылком только кончик пальца;

и был рожден армянином, а она хромала, а он шаркал разбитыми туфлями; и являлся брошенной, бедной и никому не нужной вещью.

Иногда дядя подскакивал на оттоманке и хвалился мифическими ратными подвигами. Он кричал в потолок о своем одиночестве. Он поднимал к виску волосатый обезьяний кулак. Дядя стоял на четвереньках и лысо лаял как потрепанный шакал. Он был отшельником синайской пустыни. Он был дервишем в фиолетовых кальсонах. Китайский болванчик на буфете. Пощечина. Тетя сжимала лапкой горсть феодального смеха. Она росла на этом песке как страшный кактус. Дядя наткнулся на колочку девственным сердцем. Беззубый шакал с обломанными когтями снова падал в капкан. Шакал выпучил армянские глазки. Княжна впиалась зубами в злокачественную судорогу мужа.

Дядя ящерицей забился под подушку. Тетя отвалила камень. Она гналась за ящерицей жестоким и кретинистым ребенком. Она хотела раздавить слепую ящерицу голой ногой.

Ветер принес подружек Кекелу да Маро. Голова дяди валялась на подушке. Тетя стыдилась дяди. Но как ни плох, а муж. Маленькая крепость, выцветшая от желтого ветра. Черное основание зуба без коронки. Подружки завидовали чужому счастью.

Имеретинка безобразничала в замке пожилого мужа. Зияли бедные дыры в стаканах дома. Ветер как рыцарь печального образа нес на пепелище опаленные крылья. Два общипанных воробьиных комочка. Их розовые спинки дряхлели на кровати. Если прильнуть ладонью к голой спине, ясно послышится из легких детское рыдание. Дядя выравнивал самолет своего тела из бреющего полета. Он летел трагически низко над обнаженным пространством жизни. Он испытывал новую модель человеческой души. Тетя кричала на мужа-летчика. Дядя не боялся домашних бурь. Он никогда не выбрасывался из своего тела на парашюте.

Он был отчаянным храбрецом. Тетя швырнула в летчика осколок зенитного снаряда. Самолет задымился, но не взорвался. Черный шлейф густо тянулся за его хвостом. Дядя был асом.

— Встань, сын осла! К нам пришли гости.

Тетя работала шумовиком в собственном доме. Она давала понять подружкам, что поносит супруга как грязную уличную собаку. Она разжигала зависть Кекелы да Маро. Пожилые девочки жаждали вцепиться в старенький шифоньер, в гардины и вешалку для шляп. Они мечтали прижать чужое счастье к груди как смерть или белого голубя. Кандидатки в старушки хотели насилия над своим телом.

— Иииииих... хи... хи... ха... ха! Иииии... хииии... ха!

Коля Батманишвили скребется о дверь. Его выгнали из парикмахерской. Он оболванит пятьсот человек. Его судили, но взяли на поруки. Теперь он продает лимоны на Эриванской площади. Батманишвили носит шляпу и бывает в опере. За пятьдесят лет он трижды посетил публичную библиотеку. Его любимый писатель — Вольтер.

Дядя Котик последний бесплатный клиент. Вот и сейчас, пока девочки играют в лото, дядя обернут в простынку. Однако оба друга заняты не одним брдобрейством. Они тоже бьются в лото. Коля бежит к столу глядеть, не готова ли «квартира».

— Барабан! — вопит Коля. — И палочки!

Он взволнован как такса, вынюхавшая под половицей крысу.

— Нас обманывают! — задыхается дядя. Он чавкает мыльной пеной. Коля испуганно мечется по комнатке с опасной бритвой. Тетя разгневана. Она рвет на себе волосы. Коля полоснул оружием пыль. Он убил пыль. Он бежит на дядю с бритвой наперевес как ландскнехт.

— Я Георгий Саакадзе! — в восторге захлебывается он. — Я иду ястребом на вражескую рать!

— А я народный герой Таризл из «Витязя в тигровой шкуре»! — отвечает дядя.

— Ты кошачье дерьмо! — объясняет тетя.

— Дерь-мо! — скандируют пожилые девочки. — Дерь-мо!

Дядя срывает с горла белую простынку. Он взбешен, как паук в банке. Он носится по стеклу.

— Я коменлант! — вопит он.

Дядя борется с простыней. Он домашний призрак. Он любит зрителей малой сцены. Коля дрожит под кроватью. Дядя бьет ногой по чашке. Мыльные хлопья садятся на декорации.

— Ты дерьмо! — вздыхает тетя.

Дядя бушует, как носорог.

— Я солнце! — кричит он.

Девочки аплодируют. Челюсть актера ржавеет. Он дорвался до оваций и играет классическую роль. Он топчет босыми ногами лото. Он рвет свою щеку как носовой платок. Он хулиган. Он плачет.

— Дерьмо!

Он был на войне. Он поглядывает в партер. Зал опустел. Гости бегут вон. Коля несется по тротуару. Он зябко лает в лица прохожим.

Кекела да Маро топают ножками, стараясь не расплескать сосуд с розовой весной. Они раздавлены адской тьмой брака.

— Мама джан! — зовет дядя.

Супруга бьется крыльями радости. Чернеет земля скандала.

— Котик, проглоти стеклянную белую черешенку!

Дядя валяется на оттоманке с вечерней газеткой.

— Что читать? Про ангелов или жуликов?

Во дворе выпекает сонет пьяница Ладо. Он взмахивает ладонями крошечной акации, дочери почерневшей засохшей старухи.

На зеленых этих листьях
Кто-то что-то написал!

Облака разлетаются. Облака не чувствуют стихии уличной поэзии. Ладо, тбилисский вагант и «холодный» сапожник, досадует на вечность. Он помнит наизусть Катулла. Он идет от Древнего Рима. Сейчас он будет бить сапогом жену. Она торгует курицами на Солдатском базаре. Вагант пропил всю обстановку, ковры и табуреты. Он спит на полу. Он гоняется за супругой в подвале.

Сын Важико кидается на арену.

— Не бей мать! — плачет он.

Он плакал так, словно отца его принесли со двора мертвым. Женщина сжимала в ладони клочок седых волос.

Жильцы дома номер три по улице Арагвиспирели
извещают о смерти Бего Шалвовича
Кукуладзе-Карапетяна.
Гражданская панихида в субботу 3 марта.

— Вот это соседи! — восхищается дядя. — Человек околел, деньги собрали, объявление в газету дали. А когда меня не станет — объявление появится?

— Ты как собака сдохнешь! — Тетя Тинатин дрыгает ногами.

Сотрудники конторы плодовошторга
кооперативно-торговой базы «Цекавири»
сообщают

о

безвременной кончине зав. районным складом
Кукури Кукуриевича Гижимкрели.

— Ва! — злится дядя.

«Гижимкрели» в переводе с грузинского «сумасшедший музыкант». Прах зав. районным складом обладал абсолютным слухом и был малость чокнутым. Это семантическая основа фамилии. Дядя в ударе. Этот удар в яме дивана, под одеялами, простынями и накидками. Цель его жизни сфокусирована в этой точке. Даже уродливая ракета с ядерной боеголовкой не причинит дяде вреда.

— Читай, дохлый собачонок!

Дядя маленький великан.

УШАНГИ

Утангович со свекром Бидзиной,
племянник Элевтер, двоюродные братья Чичико и Бичико,
правнучка Маквала, товарищи Чичико и Бичико, а также
Валико

по торгово-финансово-кредитному техникуму
 Иракий, Акакий и Геронтий,
 а также жильцы дома № 1001
 по Кахетинскому переулку
 выражают соболезнование
 зав. серной баней
 тов. НАВУХОДОНОСОРУ НАВУХОДОНОСОРОВИЧУ
 ТЕР-АВЛАБАРАШВИЛИ
 (он же Шалико Гацарелия),
 прож. по Армянскому тупику, 1
 (рядом с Курдским подъемом, Мингрельским тупиком
 и спуском 300 арагвинцев),
 трамвай 7, 8, авт. 37 (по выходным и воскресным дням),
 в связи с безвременной утратой им троюродного деверя
 Арчила Карапетовича
 МЕГВИНЕТ МИКИРТУМАШВИЛИ ОГЛЫ
 (он же Лева Дохнер),
 последовавшей в гор. Марнеули
 на 198-м году жизни.
 Гражд. панихида ежедневно с 8 утра до 8 вечера
 (перерыв на обед с 2 до 3).
 Вынос тела в 1 час ночи. Похороны в Пантеоне
 Нахаловки (Курдский поселок).

— Ва! Ва! Ва! — захлебывается от зависти дядя.

— Ва! Ва! Ва! — гортанно рычит тетя.

Трижды звонит дверь. Дядя глушит среднее ухо ватой. Идти, сейчас идти, открывать врата, вылезать из чрева берлоги равносильно русско-японской войне 1905 года, доказавшей гнилость монархии и продажность царских генералов. Тетя бросила дяде старую женскую туфлю на каблуке. Звонят, откройте дверь! Оба затихли кротами.

Раз! Два!

Никто не желает идти в атаку на дверь, под проливным шквалом огня. Из окопа ленивого и сытого счастья. Дядя Котик наматал на лицо кальсоны вместо противогаза. Газовая атака гостя.

Бон! Бон! Может, соседи отопрут? Бон! Бон!

Вечерний звон. Вечерний звон. Вечееерний звон, как много дум нааводит он!

Тетя бросила в дядю другую туфлю.

— В атаку! — вопит прапорщик. — В атаку!

— Гости пришли, а жрать нечего!

— Вылезай из ямы и с радостным визгом беги босиком распахивать ворота, а то они подумают, не дай бог, что мы скупые рышари!

— Вай! Вай! Что делать? Как мне быть? — рвет она серебряные волосы. — Черта какого бродят-ходят по чужим комнатам! Я шла, шла и корзиночку нашла. В этой маленькой корзинке — одна копченая баранья нога, на целый год! Три кило соленого тушинского сыра из деревни Сиктарва, маринованные помидоры в банке, бутылка вина «Атенури», бордовая чурчела, желтый виноград, голова рыбы и связка молочного лука. Да яблоко из воска на окне!.. Чем я этих осенних собак кормить буду? Я нищая! Я бездомная! Я хромая!

Дядя окапывался ладонями. На оттоманке вырос образцовый одиночный окоп. Дядя обвязал себя ленивыми канатами. Это была боевая готовность номер один. Княжна спрятала на груди «Монпансье».

— Слепой шенок!

— Кривоногая сука!

— Иди открой дверь!

— Я беру кривоногое лето! Коня!

Тетя зарылась в полотенца. Она згрызлась в листок с маленькой ролью больной хозяйки. Дядя закутывается в почерневшую артиллерийскую шинель. Он падает с оттоманки в яму. Он судорожно рвет кольцо парашюта. Облако одуванчика относит ветром. Дядя летит над миром.

— Я ранен в зад! — шепчет он обиженно. — А меня гонят в атаку! Я не десантник жизни. Я боюсь прямых попаданий! Я бледнею, когда натыкаюсь на шальную пулю. Коварный сосед-снайпер целит в меня из замочной скважины. Я боюсь подорваться на mine дружбы. Я отставной человек.

В двери билась целая армия гостей.
— В бой! — стреляла слюной княжна.

Дядя, раненный насмерть детским страхом, бежал на дверь как псих из психической атаки. Фиолетовые кальсоны дрожали на голове. Он шел в штыковую. Он резал проволочные ограждения.

За окопами омертвела бледная старушка тетя Катюша.

Она воспитала княжну. Старушка оказалась льняной с головы до плеч. Она пришла сюда из древней грузинской легенды. Она чем-то напоминала гнома. Старушка дрожала птичьим ртом. Как одинокая белогрудая ласточка. Она никогда не звала на помощь в свою беду. Она молча ходила в чужие комнаты на чужие несчастья. Это маленький холодный комок из одежд и тела. Это дыхание дня. Муж и жена облегченно высморкались. Дядя вел старушку за руку как девочку. В черной косынке остывало солнце. Девочка улыбалась.

Тетя достала с груди малиновые леденцы. Она клала леденец в детский рот старушки. Старушка птицей выкормила ее. Тетя стала бить в ладоши и радостно смеяться. Розовый лук и восковое яблоко не погаснут. Гости не сожрут баранью ногу. И дяде Котику не придется ломать ее на тысячу крошек. Дядя пылко исполнил лезгинку. Но не успели хозяева нарадоваться на бабушку-бессребреницу, как загрохотала канонада. Дверь ломалась полком гостей. Дядя Котик злился на себя за то, что поспешил с кавказским танцем. Княжна чахла от обиды. Все мечтают объесть комариное царство. Медок с водичкой. Княжна смачно харкнула. Не плюй в колодец, вылетит — не поймашь! Во дворе сломалась ветка.

Дядя помчался к двери.

— Маленькие дети спят! Мы живем в общей квартире! — сердито объяснял дядя. — Не шумите! Белый флаг с вами?

Он слышал глухой лай пулемета. Он не поднял пожилых рук над головой. Он не сдался врагу.

— Не бойся, Котэ! Я в тебя не выстрелю!

Дядя Котик захохотал от счастья. Это был не враг-объедала. Дворовая соседка Анжелика, рисовальщица косынок и киностатистка. Она получала три рубля за шекспировские страсти. Она играла слепую босую старуху в черном рубище. Она надвигалась на меч голой и легкой, как семечко, грудью. Анжелика тридцать лет писала на стене своего подвала голую нимфетку.

Лютня. Обнаженная ступня красного мужика. Страсть. Жажда. Отчаяние. Художница всем дарила безобидные акварели. Даже в булочную она несла продавцу этюд с головкой мертвого мальчика. Горячий хлеб ей отпускали без очереди.

Однажды седую даму хотели побить пьяные хулиганы с ночной приبلудшей собакой. Но она откупилась от насильников рисунком. Пока старые нахалы раздевали тощее тело, она набросала их эллинские профили на папиросной коробке. Развратники были в неопишемом диком восторге. Они не повалили на тротуар даму и не сделали свое гнусное дело. Они с достоинством сняли шляпы в знак уважения к живописи. Они даже взялись организовать выставку ее ночных работ. Один из сладострастников служил начальником в Министерстве культуры. Собака заразительно лаяла. Дама часто ходила к супругам за обгрызенным куском человеческого тепла. Она бросила в шелковую постель румяный осенний абрикос.

Даму угостили леденцом. Компания дружно обсасывала монпансье. Катюша поблескивала глазами и трясла головкой.

— Дзалиан карги камфетга! Прелестная конфета! — Качалась седая, как первобытная земля, голова.

Акварелистка задыхалась. Леденец камнем застрял в горле.

В соседней комнате Мумила била кулаком своего мужа Вахтанга, артиста театра музыкальной комедии. Она колотила его за то, что он осмелился подарить своей матери ножку поросенка. Поросенка доставила какая-то жертва судебной ошибки. Мумила была прокурором Авлабара, и к ее домашним дверям часто приволакивали корзины с дарами многострадальной земли, оббитые дикими розами, шафраном и померанцем.

Актер обычно сам купал в лохани прокурора на общественной кухне. Однажды дядя подглядел Афродиту, выходящую из грязной морской пены. Атласные полушария из мяса и цыплячьих нежностей глядели на Котика. Актер бледный и вдохновенный, изо всех сил натирал блестящий зад слона.

— Я отдал копытце поросенка моей одинокой матери! — визгливо оправдывался муж-банщик. — Она меня выкормила! За что ты бьешь меня тяжелой ладонью?

МОНОЛОГ ДЯДИ КОТИКА

— Видите ли, друзья, — откушав кусочек сыра, Кихот Ламанчский обратился к Санчо, глядя на облако. — Как странно слагаются иногда обстоятельства творчества поразительно честного человека. Я имею в виду мой будничный путь!

— Иииии... хи... хи... хи... ха!

— РАС ИЦИНИ: ЧЭМО ЦОЛО, СИТКВА УНДА ВТКВА! МАРТАЛС ВАМБОБ, АБА РОГОР ГОНИА! Ах, погоди, славная женушка! Не смейся! Я слово говорю, и правдивое слово, а как бы вы думали! Речь о жулике, негодяе и проходимце Навуходоносоре Навуходоносоровиче ТЕР-АВЛАБАРАШВИЛИ! Выродок, аферист и богомерзкий мужик, обкрадывающий государство. Пьющий алую кровь честных тружеников, смывающих в бане трудовой пот за полтинник, отданный в темное и сырое окошечко кассы — вместо двадцати по тарифу.

Бандит, ограбивший народ, владелец трехэтажного особняка в аристократическом районе Ваке с белыми колоннами, сиренью и бегущим ослом! Владелец рокфеллеровской дачи в Верхних Цхнетах, где живут одни академики и гомеопаты. Хозяин катакомб с подогревом, орхидеями, тремя желтыми автомобилями и мраморной ванной с подачей морской, хвойной и лавандовой воды.

— А ты кака!

— Я не кака! Я честный фронтовик, я счетовод, дегустатор, завсельпо, диспетчер мусорных автомашин и комендант — я обойдусь после смерти без помпы. Ни знаков гениальности, изображенных на черном бархате, ни оббитых черным крепом барабанов, ни белых лошадей. Где мой некролог? Кто бросит на детский сосновый гробик лавровый венок? Если найдется герой, я скажу ему из-под земли: «Спасибо, генацвале!»

На моих поминках будет скучно и пыльно, как в бутылке, сданной алкоголиком в ларек «Стеклотары».

Зачем на его похоронах обезглавят пятнадцать племенных быков и сто свиноматок?

— Кака!

— Он не кака! — мягко опустила лиловое веко акварельщица.

— Не заступайся, мадам! — обломала старуха кусок от крепости одиночества, застрявшей в горле.

Дядя, блестя лысиной, стал бегать по стенам как таракан.

— Вы думаете, я сдался? Я не сдался! Я буду писать в дневные газеты! Я пойду в собес, в военкомат и райисполком! Я буду записываться на приемы к начальству! Я Керчь оставил после тяжелых боев. Я докажу, что Г. А. из мусорной конторы — диктатор. Диктатором не место в светлой жизни. Вот-вот я уйду на покой с нищенской пенсией. И все из-за диктатора с его вставной челюстью! Я маленький человек. Но я храбрый человек.

— Ты кака!

— Я не кака!

— Останови патефон! — испуганно крикнула старуха со следами монастырских дыр на скулах.

Дядя послал воздушный поцелуй.

— Я завтра надену шляпу, выходное пальто и на зеленом трамвае покачу в Министерство коммунального хозяйства. Я буду жаловаться на трест по очистке города.

— Котико гагижда! — вздохнула старуха.

— Ки ар гагижда! — Да нет, он не с ума спятил!

— Аба? — Что же тогда?

— Дзгнериа! — Он говно.

Дядю погнали отпирать. Это соседский мальчик Бакури. Сын хитрой лисы Лидии Александровны. Это были спесивые люди, у них был свой туалет, и они презирали нас. Лидия Александровна писала на нас анонимки, а мальчик убивал наших кошек из духового ружья. Но вот их туалет сломался. Они снова друзья. Лидия Александровна предложила двадцать копеек за каждый сеанс. Мы гордо отвергли ее падение.

— Она ужасная женщина! — тихо говорили мы. — Она падший ангел!

Женщина плакала от счастья и шла в нашу смрадную уборную с трофейным фонариком. Бакури на время дал нашим котам свободу. С утра до вечера он напевал американский джаз, а по ночам в алых трусиках катался по городу на детском трехколесном велосипеде. Он никогда не дружил с девочками. Он копался в теоретической физике. Он должен был стать вторым Джордано Бруно. Но он сошел с ума. Вот уже пятнадцать лет как он безвыездно живет в психиатрической клинике.

Бакури ушел с фонариком в катакомбы. Дядя обнаружил на дне памяти леди Анну. Она плакала, Солнце отражало голую, как новорожденная змея, тоску. Леди Анна тяжело отвыкала от мужа. Ей не хватало железных сил, чтоб вырваться из стального капкана. Она оставила там клочок изодранной, окровавленной шерсти.

Дядя стыдливо молчал на своей предательской кушетке.

— Я болею!

— Если свалишься, я не буду за тобою ходить! Я хромоножка. Где силы шлаться по аптекам, больницам и базарам?

— В моем животе газы! Они давят на брюшину. Это рак!

— Подохни!

— Мама джан! — стонет дядя.

Он зовет из-под земли свою мертвую мать. Тетя кипятит шприц на керосинке. Она лечит мужа. Тетя вонзает острую, как разлука, и холодную иглу в мягкую ягодицу.

— Мама джан!

Когда умирал кто-нибудь из родственников, тетя облачалась в оранжевое. Она не верила в смерть.

— Они притворяются! — говорила она о покойниках.

Лидия Александровна вдруг внесла на блюде горячий румяный пирожок.

— Спасибо вам, дорогие друзья! Спасибо за туалет! Мы бы задохнулись от запора! Без дружбы!

Она поклонилась маленькой труппе обывателей. Дама оставила пирожок на салфетке.

Тетя дежурит в поликлинике. Дядя заедет за ней. Супруги покатают на кладбище, на сороковины молодого родственника, бывшего хулигана и волокиты. Каждый умерший вызывал к своей тени арбу сплетен. Святая инквизиция была кнутом. Вон этот явился на поминки не в черном сюртуке, а в пиджачке маренго; двоюродная сестра племянницы дала на пять рублей меньше в общую кассу, а старик слишком громко сморкается, а вдова, глядите-ка, флиртует у разверстой ямы с панихидным гостем в желтом джемпере. Дядя зовет имеретинку.

— Сиктарвис кало, Тинао! Эй, девица из Сиктарвы, — поет он.

— Не мни цветы, болван! — огрызается тетя.

Дядя легкоранним. Он рыдает от оскорбления. Горло хрипит. Наверное, это рвутся кровеносные сосуды.

Это сорвалась с гнезда окровавленная гортань.

Я радуюсь сцене «Комише-опер». Дядя глядит на меня. Он никогда не орет без зрителей. Он комкает белые больничные листы на столике медсестры.

— Оставь в покое бумагу! Что она тебе сделала?

Дядя топчет красные цветы. Он отдал за цветы половичку жалованья. Он не видит слюны на своих побледневших губах.

— Ва гинда чэмган! Ра? Ра? Ра? Что тебе от меня надо?! Что? Что? Что?

В его груди плачет жаворонок.

— Иииии... хи... хи... ха... ха...! Иииии!.. хи... хи... ха... ха...!

Дядя бежит к тете, подняв над головой волосатые кулаки. Он бежит как слон. Он бросил на пол блестящий аппарат УВЧ. Он придавливает к печенке цветы. Цветы пылают от стыда.

Дядя Котик печально склонил голову. Он каялся на бедных цветах. Он замер на василиске. Детские губы трусливо обожали княжну. В висках бился серебряный молоток. Птица села на ветку.

К дяде подкатился шарообразный толстый человек в зеленом фраке и в желтых модных сапогах. Он представился агентом похоронного бюро. Он подмигнул.

— Все обделаем! — быстро зашептал он. — Бальзамировщика на дом. Венки из восковых мертвых роз с муаровыми лентами. И чистую, светлую землю! И оркестрик любви с траурным маршем Шопена. Зачем вам хоронить по накладной, там копают могилы оптом, рядами. А мы за лишнюю тыщонку по крупницам у академиков стибрим! Да в ямочку на веревках спустим. Могилка без воды и червей. Сухо и тепло. Ваше лицо не захотят объедать жирные, гнусные черви.

Дядя Котик отбивался от господина во фраке. Тот отволлок клиента в комнатку под холмиком. Здесь чисто и опрятно. Всюду блестит порядок и дышит чувство меры. В кладовой дремлют в ожидании святых нищенские гробы.

— Хотите с белой материей гробик? Пожалуйста!

Зазвонил телефон на бюро.

— Товарищи! Товарищи! — кричал гробокопатель в трубку. — Я на сегодня тридцать гробов заказывал. Где машина? Меня покойники ждут, а я им что отвечу? Мне стыдно перед мертвыми, товарищи! Заказчик! Милый заказчик! — снова обратился он к дяде, сияя обаянием. — Я как вас увидел одиноким на траве, так сразу догадался, что вы хороший человек! Вот расценка, выбирайте и командуйте!

Дядя испуганно бродил от одного объявления к другому.

1. Замораживание умерших на дому.
2. Поэтические надписи на лентах.
3. Духовой оркестр для гражданских панихид.
4. Кремация с фейерверком.
5. Другие услуги, связанные с захоронением члена общества.

— Покупайте нарукавники, чулки, покрывала и орденские подушечки! — обрадованно пел агент во фраке.

Дядя Котик отшатнулся от белых чулок как от безглазой смерти с косой.

— А тапки?! Тапочки брать будете? Какой размер пятки?

Агент включил магнитофон. Полилась славная вода Шуберта.

— Ave Maria! — дирижировал работник. — Ave Maria!

Прейскурант

рознично-отпускных цен на изделия треста похоронного
обслуживания Тбилгорисполкома

Гроб гладкий	57 руб. 13 коп.
Гроб фасонный	
Гроб белый	
Гроб детский	

Сегодня
детских гробов в продаже
нет!

Консервация трупа с выездом на место	18 руб. 44 коп.
За игру духового оркестра (вальсы и танго) при похоронах продолжительностью до 2 часов	70 руб.

Предоставление могилы размером 2,0×0,75×1,75 с подносной гроба, захоронением, уборкой места захоронения, установкой регистрационного знака и с образованием холма	1 руб.
Восстановление холма с подсыпкой грунта и разовой уборкой с песком	10 руб.
Обкладка одинарного холма дерном	1000 руб.
Разовая уборка участка до 4 кв. м, с промывкой водой, подстрижкой травы на одинарном холме	10 000 руб.
Месячная уборка холма с посыпкой песком	10 000 000 000
То же, без посыпки песком	0,10000000000

Дядя закрыл лицо шляпой.

— Мама! Хочу двойной холм! — шептал он. — И помоги мне вынести то, что я не могу изменить, и быть достаточно мудрым, чтобы распознать «что есть что».

— Вы кто? — спросил агент. — Вы интеллигент?

— Нет! — ответил добрый дядя Котик. — Я люблю только мертвые горы, листья и вечно немые цветы.

— Рад вам! Рад! — счастливо засмеялся агент. — Я обещаю вам сады с неомраченными цветами!

— Ах, вот оно что! — разозлился дядя Котик. — Так и вы любите поэзию?

— А чего бы вам хотелось, любезнейший кацо, только одному быть тонким и чувствительным, а всем остальным пылиться?

И он скинул зеленый фрак, под которым голубело трико, взмахнул атласной скандальной ладошкой:

Я хочу быть первым в мире,
На земле и на воде,
Я хочу цветов багряных,
Мною
Созданных везде!

Тогда дядя содрал с шеи красный живописный бант.

— Несколько страстных рубинов, несколько горящих испанских гвоздик и несколько красных мировых роз...

Маленький человечек в голубом подал ладошку дяде, и оба запели, постукивая каблуками по гробу в холодном белом шелку:

Быть может, предок мой был честным палачом:
Мне маки грезятся, согретые лучом,
Гвоздики алые и полные угрозы
Махрово-алчные раскрывшиеся розы.
Я вижу линии над зыбкою волной,
Окровавленные багряною луной!

Тетя Тина искала супруга в земле. Как кузнечика.

Они, забыв свой цвет, безжизненно-усталый,
Мерцают сказочно окраской ярко-алой
И с сладким ужасом, в застывшей тишине,
Как губы, тянутся и тянутся ко мне.

Дядя нахлобучил на голову шляпу. Его ждала имеретинская княжна. Агент в голубом трико кричал вслед клиенту:

Ты каждый день убийцей был
Своих же собственных мечтаний,
Ты дух из тысячи могил,
Живи, как зверь, без колебаний.

Дядя огорчен и расстроен. Он не может отыскать могилу своих родителей. Она затерялась где-то на этом кладбище.

Он плохой сын. Он робко бродит тропинками и натывается на чужие кресты и эпитафии. Холод и сырость плывут от земли. Небо темнело скоротечно, как растоптанная любовь ребенка.

Камфару небу!

Оливковые кипарисы молча кивали верхушками. Дядя Котик испуган. Дядя боится заблудиться. Ком земли отпихнул его в сторону. Сухая земля рассыпалась под ногами. Дядя полетел грудью на цоколь. Он был не рад, что задумал отыскать в этом мертвом лесу своих родителей. Он страшно боялся криков маленькой совести. Шляпа слетела с головы и полетела в мусорную яму. Дядя Котик стал доставать ее палкой. Шляпа запуталась в ржавом репейнике, обрывках шелковых лент и в бутылочных осколках. Голубовато-серая истлевшая роза прильнула к шляпе. Он с силой отдирает эту проклятую розу. Вдруг могила предков предстала его взору. Она разверзлась в темноте. Там было очень холодно. Казалось, что лед яростно избивали лопатой. Брызги искристого льда блестели на его веках. Дядя Котик ужасно закричал. Ему было страшно.

— Мама! Мама! — стонал он.

Но он звал не покойницу, а нечто другое.

Могила оказалась брошенной, заваленной мусором, песком, банками и бумагой с соседнего захоронения.

Малиновая скорлупа яиц светлела на высохшей железной траве. Дядя Котик стал бить по этому железу голыми ладонями. Его детство лежало под этой казенной травой. Маленькое мальчишеское солнце похоронили в этой сухой земле. Дядя тяжело дышал. Сырое, гаснувшее мартовское облако стояло над ним.

В земле тоскливо ждали неба его родители. Когда-то в теплой постели, среди поцелуев и ласковых вздохов они вылепили из крови его маленькое тело. Но он забыл их.

Он никогда не ходил в этот опустевший сад. Он боялся этого сада. Он держал своих родителей в грязи, среди обрывков газет. Он боялся вылить из банки воды на их лица. Дядя бросил их в одиночестве среди мрамора в сумерках. Он тих плакал в разрушенные зубы.

Жена в черном пальто ждала его на асфальте.

ТИНАОБА

(Именины тети. Последний кутеж счастья)

Тетя целый год копила средства на выдающееся застолье. Она обожала пиры и показуху. Вовсе она не собиралась ударить лицом в грязь. Касса взаимопомощи шла навстречу. Всю мебель выбрасывали в коридор. От зеленых трав в комнате стояла мгла. Блестели в полутьме головы убиенных во младенчестве океанских рыб.

На подносе звенит красная айва.

Тетя в розовом халате бегала из комнаты в кухню и с кухни в комнату. День ангела носится за нею, как эфирная собачонка. Но тетя отдавила собачонке все четыре лапы. Она надела на голову крохотную сверкающую корону. Она превратила мужа в библейского осла. Он сегодня тридцать раз бегал на Солдатский базар то за одной, то за другой картофелиной.

Дядя чихал. Двери не захлопывались. Громыхал чад керосинок, красным вонючим языком он жадно лизал свою тень. Хрипела раковина. Бронзовая виноградина падала на мокрый пол, взрываясь звонкой мякотью. Канонада кутерьмы гремела в голове. Шорохи скреблись, как слепые новорожденные мыши. Сад одной акации на стекле.

Туман стоял. Тетя Тина сбивала палкой сиреневые цветы в горшках. Цветы пахли больным ангелом.

Дядя сидел с родственником на сундуке. Он отлил пенистого вина.

Тетя закричала дяде, что он уличная бездомная собака. А дядя именно сейчас пил тост за ее мягкое сердце. Он замер с острым перцем. Он хотел что-то объяснить. Дядя стал махать руками и разрывать грудную клетку. Он стыдился гостя. А тетя стыдилась мужа. Этой крепости и щита. Но если на тетю надвинется беда — все родственники галопом уйдут в свои норы и улица станет безлюдной.

И только дядя Котик, оскорбленный и надруганный, подаст стакан воды и корочку черствого счастья.

— Собака! Собака! — закричала она.

— Он не собака! — отвратительно улыбаясь, лебезил за дядю фальшивый родственник.

— Неужели я не могу выпить с твоими родственниками за твое здоровье? — робко подмигнул наивный дядя.

— Собака!

Дядя покричал недолго в пустоту темного коридора.

В тонкой тьме плыла тяжелая и пыльная ладя платана.

Как тень венецианской бронзовой решетки.

Ангел трубил в охотничий рог. Плоды румяные валились из рога на скатерть. Синевато-стальной виноград. Стерлядь. Огненные фазаны, испачканные золотистыми брызгами. Белая куропатка. Сизые голуби на тарелках. Обгорелый индюк из духовки. Индюк еще утром распевал в ящике горные песни. Свинья с алой, кровоточащей розой в пасти. Теплый родник лобно в миске. Отрезанная бритвой голова юной лани. В бокале саперави черное золото. Фиолетовый, замерзший виногрет. Салаты свежести из райских куш.

Тетя в малиновом платье, расшитом жемчугом.

— Королева! Моя Тинико!

Это не маленькая, глетворная и заброшенная, как полустанок, комната. Это белый-белый сад. Осыпанный лавровым цветом. Лютни и свирели. Чуть шелестят шелка. И отблески закат, прозрачной акварели, в жемчужно-алые роняет облака. Пунцовых роз цветут раскидистые куши. Не молкнут тихий смех и отзвуки речей, немолчно плещущий с уступа на уступы, наяды страсть поет трепещущий ручей. И пары стройные напудрены, завиты, гавота слушают певучий ригурнель. Увы: в твой сад пути потеряны, забыты. Изысканной любви последний менестрель.

— Не собака я? — спрашивает дядя.

Надсадно пахнет резеда. Из горшка густым вином течет зеленая трава. Пылают факелы. Сегодня не разрешено соседскому мальчику идти в наш туалет с карманным фонариком. Может сходить на горшок или выпучить глазки от боли. Орава родственников Яшвили ломится в подъезд. Как черно-белая поляя весенняя вода с листьями. Орава гибельна как ранний ледостав. Выводок Яшвили как светлые жучки на злато-синей закипевшей ветке: Абессалом, Автандил, Георгий, Шота, Илья, Акакий, Важа, Котэ и Кето, Бидзина, Кукури, Бакури, Ушанги-Утанги, Чичико, Бичико, Мамлико, Гамсахурд, Ираклий, Лаврентий и мальчик Сосо.

— Bravo! Брависсимо!

— **ВИНЦ МОВИДА ГАУМАРДЖОС!** Слава вошедшему!

Жужуна. Циала. Цисана. Маквала. Шорена. Наши толстые, стыдливые и стопудовые девочки.

Жужуна — супруга директора автобазы № 111. В горностаевой мантии с сободем вокруг бычьей шеи. На танковых платформах. Она сверкает с груди самым крупным алмазом Востока. Алеет розою рубин старинный. На бархате росой застыл алмаз. Звездами моря спят аквамарины. Чарует орхидеей рыбий глаз. Финифти. Геммы. Нежные эмали. Караты. Корсет слоновокостный. Бюстгальтер из лобной кожи бенгальского саблезубого тигра. Трусики из алого персидского шелка. Трусики выкрадены из музея этнографии.

Каждый гость принес торт. Дешево и строго. Тамадой, как всегда, тайным голосованием избран волосатый Гоги. Бывший буфетчик, а ныне мелкий клерк Управления Закавказской железной дороги. Он совсем недавно выбился из проводников. Он сажал по пути следования крестьян с ящиками, одиноких старушек и спекулянтов. Он грел руки на топливном кризисе века. Он возил с собой в дежурном купе несколько личных чемоданов и около двадцати мешков. Толстяк покупал в Мцхета, древней столице Грузии, пирожки и продавал их в Ксани, а из Ксани доставлял в Скру цыплят, где обменивал их на сало и вез в Каспи, там он выручал за кусок сала цемент и гнал его до Хашури, получая в обмен свинью. Свинью он прятал в чемодане, а в Риони брал за нее быка. Бык ревел в тамбуре. На подступах к Тифлису быка сбрасывали на полном ходу, а к

хвосту состава цепляли лишний вагон с красной рыбой. Зевс-громовержец, он хотел казаться народу железнодорожным руководителем и товарищем какого-нибудь члена районного правительства.

Он был очень разговорчивый мужчина. Зевс требовал к себе тягостного внимания. Он был властным или жалким, в зависимости от обстоятельств. Он мог заколоть ближнего. Он мог его обласкать. Он мог отгрызть его голову.

— Тихо! Тихо! — орал он, как крупье на аукционе. — Сичумэ! Говорю я! Гоги! Я тамада! Слушайте все!

Окаменели рты. Светлые рты с густо затекающим в глотку сапиви. Кто-то лихорадочно доедал хачапури. Жужуна запихивала под голубое с белым подбоем горностаевое платье ляжку тухлого барана, обмазанную вареным рисом. Она уже проглотила зимнее яблоко и белую мышь. Маленький толстый мальчик грыз молочными зубками берцовую кость. Мальчик весил триста пудов. Он сидел на острых коленках высохшей, как тень, матери. Кекелу да Маро приютили за швейной машинкой. Туда бросили блюдечко. Говорить с ними более секунды — позор. Они — никто. Они — пустой звук. Любой гость, осмелившийся на жертву, будет выброшен на грязные ступеньки. Сестры-девственницы замерли стыдливо и с надеждой, потупив взор. Им казалось, что все замужние и незамужние мужчины глядят на швейную машинку со звериным, скотским вожделением. Девочки дрожали от счастья. Они пили лимонад и тихонько распевали рождественские песни.

Коля Батманишвили сидел между девственницами. Его пригласили только потому, что дядя Котик с пеной у рта настоял на акте. Коля так и не получил прав гражданства в этом обществе. Он сидел между двух стульев и макал комочком хлеба в остывший соус. Он вдохновенно слушал ораторов.

Гвоздь программы — директор «Курортторга» Валико. Он был приглашен сюда, в этот убогий омут, как свадебный генерал. Все глядели на него как на божка. Все балагурили, шутили и сыпали блестящими островами с тайной страстью — отразиться в печально-голубых глазах директора. Приятно посидеть часок за одним столом не с тварью дрожащей. Его уговорил прийти сюда врач-гинеколог.

— Человек — это звучит...

— Гордо! — закричали гости, обалдевшие от счастья. Валико махал за спиной розовым крылышком.

— Птицезверь! — шепнул Коля.

Он был в восторге от гостя. Он будет хвастать им в бывшей парикмахерской, бане и во всех закоулках города, куда его еще пускают. От Валико шел приятный аромат гражданских преступлений. Княжна легко и благодарственно пожала за столом страшную руку гинеколога Эристави. Гинеколог — молодой и вихрастый мужчина с зелеными глазами. Он брал пятьсот рублей за каждый секретный аборт на дому и славился тем, что ласкал резиновой перчаткой всех честных жен нашего города. Он любил плохо играть на гитаре. Тетя благодарила его за знаменитость. Дядя бегал на кухню за высокими темными бутылками. Все хвалили напиток. Тема солнца была одной из главных на обеде. Тамада звенел ложкой о блюдо.

— Амханагэбо! Товарищи! Неба момецит! Паазвольте этим маленьким бокалом (он имел в виду ведерко), но с баальшой душой выпить за здравие нашей гордой и блаагародной родственницы Тинатин, чей дом разверстая яма... — Тамада сбился. Час назад он держал речь на поминках. — Чей дом всегда полная чаша для гостей! За Тинико, принесшую в пыльный и одинокий город запахи Имеретии, плодородную землю и крики молодых петухов на заре в августе!

— Ура! Вашаа! — закричал толстенький молоденький аспирантик Института племенного скотоводства.

— Мэ ар давамтаврэ джер! — строго блеснул болливый тамада. — Я еще не закончил. Кто тебе дал право влезть в мою песню?

Аспирантик со злостью плюнул. Все гости ждали конца речи. Валико молчал. Он прощал людям их слабости.

Все, что тут делается, творится и пьется, — только в вашу честь! — молили обреченные взгляды гостей.

— Моя дорогая Тинико! — гремел Гоги. — Я хочу осушить ведро не только за твою розовую, как ветчина, душу, но и в честь крепкой шеи Твоего Котика! Да здравствует Котик!

— Гаумарджос! Гаумарджос! — орали гости.
Тамада обязал всех пить сразу из двух ведер.
— Великолепно! — ликовал Коля.

Он рвался проявить свою индивидуальность. Он не боялся позора. Только дикая конница радостей скакала за ним по пятам вширь и ввысь под всплеск птиц, снежных птиц.

Гости шумели пустыми ящиками голосов. Жужуна с хохотом и визгом отдавала под столом соседке царапающегося зверька с когтями. Та дарила его Циале. Циале — Цисане. Цисана — Маквале. Маквала — Шорене. Шорена кидала слепую рысь мужчинам. Абессалом хватал за горло кусающегося зверя и подсовывал Георгию. Георгий радостно хохотал, задыхался слюной и свистел от наслаждения. Отвратительного гостя заполучил Шота. Шота робко гладил шерстку. Шота трусливо отталкивал от себя шарик ногой. Акакий сдувал в крошечную пасть розовую пыльцу солнца. Николоз бросал слепой комок Бидзине. Бидзина — Кукури. Кукури — Ушангу. Ушанг — Утангу. Утанг — Кахе. Каха — Чичико. Чичико — Бичико. Бичико бил его ногой к тамаде. Тамада — Петру Грузинскому. Петр Грузинский — Багратиону. Багратион — Лаврентию. Лаврентий — славному и маленькому осетинскому мальчику Сосо.

Мальчик натравливал слепую, ядовитую рысь на дядю Котика. Дядя вскрикивал, раненный в живот. Это была сплетня. Живорожденный опальный зверь. Рысь бегала под столом и кусала всех подряд. Коля Батманишвили подскочил на стуле.

— Кто сказал, что вино сделано на сахаре, а? Кто сказал, что это уловка, чтоб гости опьянели и не ели?

Все поглядели на третейского судью. Директор «Курортторга» пригубил из стаканчика и мягко, беззубо прошептал:

— Вино приятно!

Гости облегченно вздохнули. Валико был настолько богат, что только он один мог прийти на именины без подарка. Он не купил торт с розовым кремом. Он мог позволить себе такую роскошь.

Ведро плыло на Колю. Коля побледнел и спрятался под столом. Здесь царил покой. Цвели кактусы. Тысяча пар мужской и женской обуви приветствовала его. Туфли вели свою предательскую жизнь. Запах обувной армии волновал воображение экс-парикмахера.

— Здравствуйте! — поклонился он ногам.

Тут тесно, как в подвале. Коля мечтал выяснить, какую роль в борьбе лжи с правдой играли нижние человеческие конечности. Кто кого душил в запутанном клубке самосовершенствования? И кто из кого рос в этом мире? Человек из ноги или нога из человека? Коля прилег на оранжевый сапог. Он задумался. Приятно отдыхать в этой больничной палате. Ноги пахли детскими святыми слюнями. Они пахли первой любовью, солнцем, летом... Иоганном Себастьяном Бахом, наконец.

— Моя мечта! О, как бездомна ты! — вздохнул Коля.

Он поцеловал римскую сандалию Валико. Розовый слабый поцелуй на коже крокодила.

— Мне хорошо! — тихо сказал он. — Я счастлив наконец.

Но его искали. Трехсотпудовый мальчик ударил его в лицо железным ботинком. Из разбитой губы потекла лиловая прохладная кровь. Скатерть отогнули. Обратная субстанция ног заглядывала в комнату. Это были лица.

— Я хочу дружить с вашими гнездами, — объяснил стыдливый Коля. — Я боюсь вас!

— Пей! Пей! — кричала публика.

Его подняли. Наградили ведром.

— Я диабетик!

Стальной мальчик двинул его тарелкой по голове.

— Прелестное дитя! — потрепала волосики палача жертва.

— Вылитый отец! — ласково объяснила Жужуна.

Мальчик заехал Коле в ухо.

— Солнышко! — вздрогнул брадобрей.

В его кулачки втиснули ведро.

— Пей до дна! — кричали вои***

Брадобрей свалился.

Но вот чаша достигла старичка — полковника артиллерии. Бравый вояка не пропускал ни одних поминок или рождений. Он молча шелестел ресницами, восседая на одном из самых почетных табуретов, как тевтонский рыцарь. Старик с великой гордостью носил пыль на мундире. Мундир давал ему право бесплатно жевать на пресветлых застольях. Старичок пил, но никогда не пьянел. Он вспоминал на людях про походы и стрельбы. Он ненавидел войну, но обожал подготовку к ней. Он тридцать лет занимал военно-бухгалтерские должности в резервном ахалцхском полку. Он еще ни разу в жизни не выстрелил из револьвера. Он даже не умел отдавать честь.

— Ваша! Ваша! — закричали застольцы. — Ура полковнику Эристову!

Полковник Эристов держал чашу как штандарт. Он слышал храп взмысленных коней.

— Дайте мне...

— Меч?

— Дайте мне винегрет! — тихо попросил он.

— Я тоже был на войне! — сказал дядя Котик.

Полковник Эристов с презрением оглядел его печальную лысую голову с маленькими, как мухи, глазками. Полковнику положили в тарелку винегрет. Толстый мальчик стал бросаться в захмелевшего Колю ножами. Брадобрей обиженно закрывался руками.

— Не бить детей! — строго прикрикнул на брадобрея полковник.

Кекела да Маро трясли мраморными прелестями. Тетя пихнула дядю ногой.

— Не чавкай!

Подбородок его краснел от обиды. Он согласен терпеть эпоху оскорблений с глазу на глаз. Но быть под каблуком на виду стада родственников! Дядя казалось, что он голый и без штанов. В детских глазах трусливо болтала ножками старость.

— Хватит! — взбесился он.

Тетя улыбнулась накрашенным ртом торжественному собранию. Дядя кинулся к кухне. Там он закричал, опрокинув на пол сковороду с сожженной рыбой. Княжна, хромя на один бок, как корабль со сломанным парусом, плыла в отдел уличных происшествий, к тарелкам и котлам. Здесь она имела юридическое право обзывать дядю каким-нибудь непристойным словом. Дядя махал древком обрубленного семейного флага. Он обещал тете ударить ее кулаком в затылок.

— Ииии... хии... ха... ха!

Дядя вел в туалет пьяных гостей. Он одиноко бродил в потемках.

— Что вы здесь делаете, Котик? — спрашивали его.

И тогда несчастный бежал обратно в комнату смеха, где его давно ожидало все общество и громко кричало: «Ура!»

Дядя пил из тяжелой смертельной чаши. Он видел там, на самом дне, плавающий, как осадок, разрыв сердца. Тетя ненавидела его за рискованные опыты.

— Моя жена самая красивая жена! — истошно вопил дядя. Он запел песню. Дядя просил, чтоб после смерти его не хоронили в гробу, а замуровали навсегда в винный кувшин. Дядя целовал злые пальчики любимой.

— Сиктарвис кало Тинао! — пел он.

Княжна усадила мадам Анжелику за швейную машинку. Княжна опустила ей на блюдце пахучее куриное сердце. Дядя, бледный от тошноты и больной, как осенняя бабочка, валялся на диванчике, покрытый саваном. Гости сидели на бревнышке его тела. Песнопения носились над поваленным дубом как шум водопада.

— Твой дядя сдыхает! — злобно крикнула тетя.

Гости, дружно обнявшись, грянули военно-походный марш «АЛИ-ПАША ГВИХАЛАТА!» — «ПРЕДАЛ НАС АЛИ-ПАША!».

БОЛЬНАЯ КНЯЖНА

Дядя свернутой в калачик кошечкой дремал на розовом одеяле. Кушетка обставлена белыми коробками от тридцати тортов. Подарок за три рубля. Малиновый крем крошечных роз. Дядя тысячу лет как зарос мхом на камне. Он сладко сопит в подушечку. Он не жаждет славы или пушечных залпов после

гибели. В восемьдесят он погибнет от дряхлости. Он ловит солнце волосатой рукой. Он боится смерти.

— Кретин! — бледным голосом кричит тетя. — Если заболеешь, я не буду за тобой ходить. Я вышвырну тебя на тротуар с твоим диванчиком.

Дядя задирает ноги в кальсонах. Он вслух читает бульварную газетку. Он откровенно ненавидит жуликов, обманывающих честных граждан. Им посвящена четвертая страница.

Я захожу сюда летним днем. В распахнутых окнах летают голуби нынешнего сезона. Они хлопают о воздух свежими крыльями. Как прачки бельем о воду реки. Я завидую гордым птицам. Я сажусь на пыльный, старенький стул. Дядя вафельным полотенцем отгоняет мух. Он больно бьет в лицо августовского ветра. Тетя стонет от обиды за этот удар. Дядя вздыхает:

— Она заболела!

Он просит, чтоб я оставил его в покое. Он не знает, что ему делать. Тетя не хочет врачей. Она жаждет исцеления от августа.

— Если ты заболеешь, — бредит она, — я не буду ходить за тобой!

Облака знойного лета бредут в комнату. На стенах прибиты светом золотистые мухи. Они высиживают ночь на своих гнилых ножках. Дядя лупит кулаком по мухам. Он не верит в любовь этих тварей. Тетя Тина просит холодную воду. Дядя, тяжело дыша, бежит на кухню и приносит по рту ручей. Тетя бьет его по руке. Шарик воды разбился о простыню. Тетя мечтает пить из оранжевой чашки. Дядя ищет сосуд. Он зовет на помощь свою любовь. Тетя поливает его грязной бранью. Нездоровье льется в окно как летний дождь. Тетя сухо молчит под непромокаемым малиновым одеялом. В этом гробу монаха лижется как язык гадюки погибель. Тетя глядит, как надвигается земля. Она хочет обратно, бегом к смоковнице во дворике детства. К Отче Наш и розовым рекам Имеретии. Шарить на чердаке, нащупывая сухие листья, и чтоб губы опухли от

— МХОЛОД ШЭН ЭРТС! МХОЛОД ШЭН ЭРТС!

РАЦ, РОМ ЧЭМТВИС МИУЦИА МАГЛИДАН ГМЭРТС! ¹

Тетя дремала на фиалковой постели. Неловкий сдвиг ладони. И разобьется, разлетевшись осколками, ребро адамово.

— Воды!

А в комнату, господи, выплывало костром алчное солнце. Блестело золотое руно — последняя вспышка паркета. Озаренная пылающим августом истина — на дядином челе. Слеза как серная кислота в глаз. Роскошно горит вена дядиных дней. Душа без костей бьется о стекла воробьем, как Эль Греко с полотна о вечность. Не хвататься за водопад веток в окне! И надсадно вперять взор в грохот лета. Часы, тишина! Часы. Тишина! А за окном убивается, плачет трава. Я подумал о кандалах. Лицо больной светлело от тьмы.

Как тень бродит в каркасе золотой свадьбы человек в канотье и с тросточкой. Полковник артиллерии Эристов добился для княжны жилплощади в лечебнице. Идет ко мне полковник бледный. Дядя сказал, что выбросится из окна.

— Я не хочу жить! — шумел он ветру.

Я видел дверь. Стальными кнопками беды приколота она к солнцу. Я постучал. Как вода в стакане синел на солнце Кавказский хребет. Дверь упала к ногам, отодранная с мясом от груди вечности. Я в забытом и опухшем от слез саду. Дядя не догадывался о своем голосе, разодранном в клочья. Он мог заглушить целый лес мертвеющих птиц. Он почти кричал и держал меня за руки.

— Рак! Все погибло! — Водка ударила в мое лицо. — Ни слова ей! — Он комически приложил палец к губам.

Редкие белые волосы рвались на багровом лбу. Мы плывем вдвоем в водочном облаке, держась за руки. Я камнем упал к постели больной. Дядя топтался в овражке. Он гремел тарелками как симулянт. С подушки глядела тень. В маленьком стаканчике никла розовая гвоздика. Тетя Тина заразила гвоздику. Я понял, что она мертва.

Женщина улыбнулась навстречу моей остывшей руке. Эта улыбка напоминала высохшую корзину траурных театральных цветов. Тетя играла куклу смерти из детской счастливой сказки.

Маленькая ладонь, застрахованная от ночи забвения. Огонь луны обвился вокруг груди. Это была какая-то страшная, вылепленная из погребальных красок

¹ Лишь тебе одной, что мне дано с высоты богом.

юность. Как будто все цветы детства и последующих радостей нарядной, мягкой палитрой легли на лицо. Нечто прекрасное казалось мне тяжелым камнем. Он излучал свет. Он проливал бальзам на чернеющее горло девочки. Я ненавидел эти пастельные краски. Я хотел смахнуть их, стереть пальцами. Детство лепилось из белого гипса. Я тревожно загрохотал стулом. Тетя зажала от боли глаза. Шум как расплавленное олово капал на голый живот.

Дядя нес на кухню тазик с красной водой. Он кровью мыл пол. Потом он стал наливать обед для тети.

— Что ты делаешь? — давилась от гнева желтая, отпетая тетя.

Смертельно больная, цветная и злая, задыхалась она от гнева.

— Грязными, мыльными руками хватаешься за тарелку? Я не буду пить суп. Мерзкий осел!

Дядя. Мой дядя. Много чувств воскресало, дрожало и молчало на подмостках его лица. Он поднял лицо к вечности. Солнце отразилось. Веко дрогнуло как крыло.

— Любимая! — хрипло прошептал он.

— Я не буду есть из этой тарелки! — кричала женщина.

— Родная! — Он стиснул холодные глаза.

— Суп! — зарыдала чернеющая женщина.

Она плакала оттого, что теперь она все будет получать из дырявых рук. Она обожала чистоту, как художник средневековья покой. Дядя искал полотенце. Он смирился. Он хотел отпечатать лик на бумажной салфетке. Он нашел старый носок. Он потянулся к нему губами.

— Нет! — завопила больная.

Дядя метался по комнате в поисках простыни.

— Где ты ищешь полотенце, негодяй! — хрипела она.

— Довольно! — вдруг крикнул дядя. Мокрыми руками он снова цеплялся за миску. — Любимая! Любимая!

Маленькие пожилые рыдания задыхались в тарелке. Дядя подносил ко рту тети мокрое сердечко. Тетя Тина недовольно пила бульон. Боль огромная, как открытая и рваная история, терзала ее. Бульон багровым мазутом потек к забинтованным чреслам. Губы легки, как омытые слезами камни. Комок куриного тела разорвал обласканную рану. Она глотала страшную кровинку жизни. Она посылая на верную смерть ложку бульона.

— Я пью бритву! — плакала она.

Дядя сладко зажмурился. Он чавкал, хлебая из миски остатки обеда. Он полез в кастрюлю головой. Он был в ужасе оттого, что глоток воды оказался пулей в губы.

— Не чавкай!

— Замолчи!

— Не чавкай!

— Замолчи! Генацвале! — бродил по комнате дядя.

Он забыл про свои болезни. Он молодец на глазах.

— Горит алмаз во рту змеи, он на тебя, мой свет, похож! — пел дядя. — Ты освещаешь без огня, покорна ночь огням твоим!

— Боюсь котлет! — шептала тетя. — Они как черные вороны.

Она отпила глоток воды. Она снова закричала. Дядя испуганно обхватил голову.

— Как спасти жену? — спросил он соседку. — Мою Тиночку надо спасти! — обьявил дядя.

Он снял халат и вышел в коридор с соседкой. Дядя звонил танковой армии родственников. Он ждал лекарства от участников его домашних пиров. Он кричал в трубку тамаде Гоги о том, что жены, его любимой жены, скоро не будет на свете. Но гости молчали в черную телефонную трубку. Тогда дядя осторожно поцеловал спящую в лоб и ползл к своей дочери Инге. Он долго стучал и бил в запертые ворота. Зять Серго, инспектор контрольно-семенной станции, бросил дядю в грозный час, он преспокойно уехал в Москву покупать легковой автомобиль для своего начальника. А тетя лежала на операционном столе с развороченным чревом. Дядя гремел кулаком о дверь. Старенькое дерево сломалось над его головой. Ветер беспощадно толкал дерево в спину. Дядя обронил шляпу. Он бросился подбирать с тротуара руку акации. Черная пыль забивала

подслеповатые глаза. Дядя замер на пороге со сломанным позвоночником дерева. По помятым щекам текли слезы.

— Я одинок! — вздохнул он. — Надо выброститься из окна?

— А я? — вспылила дочь.

— А я? — потолстевший Серго в полосатой пижаме.

— Я сейчас уйду! — Дядя обнажил кастрюлю. — Налей какой-нибудь обед. Я отнесу. А вдруг она не умрет? Вдруг она будет жить?

Все поглядели на дядю с недовольством.

— Рак! — бодро заявил Серго.

Десятилетний мальчик принес доску и стал расставлять фигуры. Он посещал шахматный кружок Дома пионеров.

— Я сделаю тебе мат в три хода! — напугал он дядю.

— Но она иногда пьет воду. Она хочет жить.

Инга выбросила мертвую руку акации в мусор.

Мальчик со страхом глядел на старика. Он прижался щекой к ладье.

— Я не умею играть в шахматы! — заплакал дядя. — Где моя акация? Куда вы ее дели?

Инга отдала в его теплые детские руки кошелку с борщом. Дядя продирался сквозь ветер. Он брел холодным тупиком. Седые волосы метались вокруг лица.

— Эка! — Дядя протянул замерзшей женщине руку.

— Война! — дрогнула старуха.

Она прижала лицо к его ладони. Бездомная женщина подорвалась на mine. Она страшно кричала. Она звала смерть в кровоточащие раны. Сумасшедшая улыбнулась. Мокрое лицо слепо горело.

— Моя жена умирает! — вопил он. Он бросил старуху и побежал во тьму.

— Груши! — шептала она. Старуха замахнулась на тьму камнем.

Струится кровь моя порою, как в фонтане,
 Полна созвучьями ритмических рыданий.
 Она медлительно течет, журча, пока
 Повсюду ищет ран тревожная рука.
 Струясь вдоль города, как в замкнутой поляне,
 Средь улиц островов обозначая грани,
 Поит всех жаждающих кровавая река
 И обгаряет мир, безбрежно широка.
 Я заклинал вино — своей струей обманной
 Душе грозивший страх хоть на день усыпить;
 Но слух утончился, взор обострился странно;
 Я умолял Любовь забвение пролить;
 И вот, как ложем игл, истерзан дух любовью,
 Сестер безжалостных поя своею кровью.

На маленькой табуретке рядом с больной сидел дальний родственник, муж Цисаны из села Сиктарва. Тетя воспитала Цисану и отдала ей в наследство дом и все скромное хозяйство с огородом и погребом. Визитер тоскливо вздыхал, поглядывая на часы. Он настойчиво повествовал тете последние деревенские новости. Этот человек отвлекал сознание больной от липкой темы вечности. Он со смехом сообщал ей о проделках индюка. О ветрах Имеретии. О том, какой в этом году был урожай. Потом он вышел якобы покурить и принялся себя расхваливать, объясняя, почему он почувствовал боль в горле, когда почтальон принес телеграмму. Как односельчане сплели венок из ржавых цветов и как громко плакала выращенная в подсолнухах Цисана. Она растрепала волосы. Тетя была еще жива, но дальний родственник почему-то надел черную рубашку под пиджак. Он стал убеждать дядю Котика, что болезнь его жены легка, и обещал нарвать весной в горах какую-то дикую траву. Один глоток отвара исцелял покойника. Он пожал руки дяди и тети и сказал, что ему пора на кутаисский поезд.

Ладошки тети он жал бесшабашно и улыбался при этом.

— Избавляйся от этого гриппа! — радостно, слишком радостно кричал он.

— Хо швило, хо! — ласково отвечала тетя. — Да!

Она не теряла своего княжеского достоинства. Оно цвело имеретинской плесенью. Родственник забыл привезти гостинец. Он приехал на смерть с пустыми руками. Не захватил даже красного цветка. Дядя конвоировал человека до двери.

— Я все продам и уеду отсюда! — всхлипнул он.

«Что у тебя есть, чтобы продать?» — подумал родственник.

Соседка Марго, избиваемая пьяницей мужем, позвала дядю.

— Ра гинда? — Что тебе надо? — угрюмо спросил дядя.

— Тина рогор арис? — Как Тина?

— Укэтесат! — Ей лучше. Да! И аппетит появился, и глотает легче. И цвет лица персиковый. Атамисавит пэри акве!

— Каргат икос, Котэ! Су каргат! — Дай бог, пусть выздоравливает! Пусть не болеет!

— А твой муж тебя бьет?

— Черная земля на его лысину!

Дядя захлопнул форточку. Он замер в раздумье. Ветер детства, овеванный солнцем, долетал до лица. Послышался старинный романс, что играла давно сестра Вартануш. Они все умерли от чахотки, три сестры и четыре брата. Дядя искал в своей гримасе морщину. Она потерялась, как игла. Марго говорила кому-то в маленьком дворике:

— Она умрет. Она не персик.

— Она будет жить! — прошептал дядя.

— Неси горшок! — солнечным голосом звала хромоножка.

— Генацивале, эхла мовдивар! Родная, несуй!

Он бежал к ней с большим горшочком. Эти муки были страшны как муки творчества. Тетя залилась пресными слезами. Она лежала спиной на горшке. Кровавое землетрясение сотрясало белое тело. Горло распухло от песен. Рука метастаза в резиновой перчатке душила горло. Хотя бы увидеть этого господина Саркома Саркомыча! Я бы поцеловала его глаза, а потом из-за спины дала бы по его темени молотком.

Дядя напряженно глядел в потолок.

— Любимая! — просветленно говорил он. — Твой горшок прекрасен!

— Иди! Убирайся вон! — орала тетя. — Дегенерат!

По дороге ему стало дурно. Мозговое давление бросилось к виску. Дядя ударился лбом о кирпич. По лбу походным порядком двигались батальоны страданий.

— Зачем ты осыпаешь меня бранью?

Дядя побегал на кухню. Он тоскливо поглядел на холодный труп курицы. Он решил забальзамировать курицу, чтобы она не погасла до рождения снега. Дядя налил виноградный напиток в бокалы. Большая пригубила вино убитых застолий. Вино почудилось ей куском льда. Боль оцарапала прозрачные губы. Побелевший от нечеловеческой боли глаз заметался как обреченная рыба в пальцах добродушного рыбака. Черный кровянистый крючок торчал из зрачка.

Большая лалака вино. Река жизни потекла в горло. Она нашла туда ход. Она смывала босые следы смерти.

— Пей до дна! Пей до дна! — кричал дядя.

Он распростерся над комнаткой как обезглавленный домашний орел.

— Мохэвис кало Тинао! — пел он.

— Таши! Таши! — захопала в ладоши больная.

Обезглавленный орел в кальсонах бросился в лезгинку. Тетя истерично смеялась, а потом выла от ожога. И снова смеялась. Несваренная курица дерзко глядела на супругов с блюда. На улице гремели выстрелы стартовых пистолетов.

Тбилисцы встречали еще один Новый год!

РАЗБЕЙ ЭТОТ КУБОК! В НЕМ КАПЛЯ НАДЕЖДЫ ТАИТСЯ

На колеснице судьбы докатил дядя до дверей известного лекаря. Он добился согласия посетить катастрофную женщину. Дядя радостный соскочил с бронзовой потемневшей колесницы. Дядя в пурпуровой тоге победы. Тетя под эскадронам простынь валялась на кровати как отсохшая ветка.

— Гиппократ будет в восемь вечера! — закричал дядя с порога.

Все ввали тете, что она страдает женским недугом, а она ввали им, притворяясь, будто верит в ложь.

— Этот человек делает чудеса! — вымолвила дальняя родственница в черном.

Цвет ее мрачных тканей напоминал о загробной жизни. Тетя капризно слушала пустые восторги.

- Сколько ему заплатить? — вздрогнул дядя.
- Двадцать пять рублей! — посоветовала соседка Лейла.
- Лучше тридцать! — откликнулась мрачная женщина.
- А за что тридцать? — возмутился дядя. — За что?

Тетя молча слушала торги. Громкие люди вокруг ее лучезарной, как сон, кровати торговались из-за сыпучего песка жизни. Они презрительно обсуждали номенклатурную стоимость надежды. Они убивались из-за пяти рублей, покупая спасательный круг. Маленькая собачка надсадно плакала на мягкой, как свет, груди больной. Эта собачка жила в ее стеклянном глазе как ячмень. Это была слеза, махровая и бесплотная капля крика.

- В левом кармане двадцать пять! — решил дядя. — А в правом — тридцать.

Я стал от нечего делать рассказывать анекдоты. Тетя надрывалась от боли и героического восторга в своей постельной клетке. Она обнимала анекдот крыльями страха.

- В левом двадцать пять! — зубрил дядя.

Я надоел с анекдотами. Дядя просветленно хохотал. Гортанная радость тети дымилась в комнатном воздухе. Я поглядел на задыхающееся от смеха лицо. Вода ужаса разлилась в моей груди. Профессор онкологии опаздывал. Тетя привстала над подушками. Она смотрела на нас. Она гладила ладонями свой гаснущий мир. Оранжевого ястреба на высокой сосне у обрыва. Холм в ярко-ржавой парче бересклета. Камни, завязшие в горном песке. Ночь, плавно зажегшуюся и блистающую по стволам и пням. И голое, смутное лето.

Дядя галопом поскакал отворять двери. Но это была ложная тревога.

— Сволочь! Сволочь! — кричала тетя. — Котик, ты сволочь! Сердце разодрал этим звонком.

- Но при чем тут я? — оправдывался бедный дядя. — Позвонили!
- Осел кахетинский!

Осел испачкался о стыд как о свежеразкрашенный забор. Скандалистка лежала в постели, связанная по рукам и ногам. Горло обреченной набухло. Она хотела пеной погасить рак. Жажда жизни натыкалась на окровавленную пасть собаки.

— Если это профессор, я извещу об этом мычаньем! — орал дядя, дергая засов.

Мы не верили ни в чудо воскресения, ни в тьму. Тишина поразила наш слух. Там, у двери, стучал копытцами призрак. Шажки выбивали из камня искры. Красная заря плыла в красное окно. Тетя задыхалась. Она срывала с шеи веревку. Тетя вдруг стала девочкой. Она просительно глядела в голубые глаза шамана. Профессор жутко молчал. Все пристально взирали на мессию. Мессия жил и кормился раковыми человечками.

— Ваше заболевание легкое! — объяснил он. Потом он быстро встал. Он мчался к следующему больному. Он объезжал их на своем модном сверхзвуковом автомобиле десятками каждую ночь. Дядя Котик подал ему пальто. Он топал за спасителем к двери.

- Когда она умрет? — затрясся дядя.

Профессор испуганно метнул в дядю светлый взор. Он высокомерно принял конверт. Дядя бежал обратно.

- Двадцать пять рублей! — ликовал он.

Я ПЬЮ ЗА РАЗОРЕННЫЙ ДОМ

Дядя дарит сторожу онкологической больницы два рубля, и сторож отпирает калитку. Дядя рвется сквозь холодный туман. Как-то понемногу, понемногу дотащилась до него страшная беда. Сначала он хотел выбрасываться из окна, потом вешаться, затем продать все и уехать — если что-нибудь страшное настигнет его, а теперь он пообвыкся на этой фабрике покойников и чувствовал себя как дома. Белые халаты, запах спирта и камфары, лекарства, операции, шприцы и ланцеты, он отождествлял их с погребальными лопатками.

Однако, по странной человеческой слабости, он жадно надеялся на бездушную землю. Он закричал клену: «Вон с дороги!» — и сторбился. Он не ждал от дерева пощады. Ветви заштукатурены мартом.

— Что вы мне говорите? — обернулся он.

Черный дрозд выронил каплю воды. Это было проглоченное дроздом солнце. Это было солнце для нищих. Крошечный посол света.

— Клен! — плаксиво крикнул дядя.

Растение склонило забинтованную холодом ветвь.

— Ты задаешь мне вопросы, и я слышу тебя. Я ответил, что я не в силах ответить, ты сам должен ответить себе.

Дрозд рванулся с дерева.

Присяжь на минуту, мой сын.
Вот сухари для еды, вот молоко для питья,
Но когда ты отдохнешь, и освежишься,
И наденешь мягкие одежды,
Я дам тебе прощальный поцелуй и открою
Для тебя ворота, чтобы ты
Ушел от меня.

Дядя сидел на земле, а рядом валялись пакеты с яблоками.

Слишком долго тебе снились постыдные сны,
Я смываю гной с твоих глаз,
Ты должен приучить твои глаза
К ослепительной яркости света и
Каждого мгновенья твоей жизни.

— Пусть она не умирает! — молил осиротелый мужчина мертвые листья.

Но дерево все дрожало волосами:
Слишком долго ты копошился у берега,
Робко держась за доску.
Теперь я хочу, чтобы ты был бесстрашным пловцом,
Чтобы ты вынырнул в открытое море, крича и
Кивая мне,
И со смехом оглянулся опять!

Дядя обхватил лицо ладонями. Он сидел на земле, разбросав ноги в дырявых туфлях. Вареный теплый цыпленок в розовой обертке грел землю.

Человек встал и поплелся в страшный дом. Он огибал стволы больничного парка. Он боялся поранить руки об окаменевших детей.

Тетя лежала в постели черная, как память. Красновато-сухие листья терлись о звучное стекло. Окно дребезжало. На одной из кроватей сидела добрая славная старушка. Угасание ее было тихим, как кончина осеннего дня. Она глядела в окно, на облако, где раздавались воздушные ее шаги. Старушку навещала другая старушка — дряхленькая и маленькая, но совершенно здоровая. Обычно они вспоминали тысячу слов, сказанных днями и ночами. Они касались памятью вечных оттенков все плывущей и плывущей куда-то безвозвратно вперед жизни. Смерть была для них общим делом. Как заход солнца.

Головой к тумбочке томилась еще одна обреченная. Молодая женщина сорока лет. С крепким голосом и красным цветом лица, она оступилась и ненароком запуталась в саркоме. Она не могла сорвать с тела веревки. Ее навещала девушка в котиковой шубе. Мастер спорта по стрельбе. Она сурово и твердокаменно призывала мать есть. Мать не видела дочери. Она замерла, накрывшись одеялом с головой. Она хрипло отвергала апельсин. Женщина сдалась вся без остатка саблезубой беде. Бог знает, что мелькало в ее расширенных от боли глазах; сколько кусков счастья швырялось на весы. А в палате густо блестела ночь.

— Мама! Съешь мед. Съешь яйца. Ты должна жить!

Мать молчала, зарытая головою в глину. Родная дочь могла вскинуть к плечу винтовку и огласить заброшенный больничный парк сухим выстрелом. Выстрелом беспощадным, как разрыв шелка. Но это не спасет задушенную волю матери. Только ночная роса осядет на землю.

Дядя приник к изголовью своей жены. Оба спокойно наблюдали за дуэлью. Земля на тетиной простыне. Тетя все лежала, разгрызенная хищником. Дядя гладил волосы жертвы. Княжна уходила с горной песней на красиво накрашен-

ных губах. Тетя задыхалась. Дядя привстал с табуретки и хватал воздух в комы. Он подносил небо пригоршнями к ее рту. Она держала его за руку. Дядя звал ее помочиться в судно. Тетя дрожала желтой, как пергамент, рукой. Дядя помчался к дежурному врачу. Он бил по двери кулаками и рыдал. Он звал доктора к умирающей. Тетю кололи сразу тремя шприцами. В моей тете, как в детской погремушке, звенело сердце. Кровь стала белой, а крови красной в больнице не было. Дядя Котик без пальто, в стареньком пиджаке и зеленой шляпе бросился в ночь. Он метался по городу в поисках человеческой крови. Дядя кричал городу из окошечка такси о своей беде. Он просит пешеходов записать его в блудные сыновья. Он искал доноров прямо на улице. Он врвался в ночные дома за одним стаканом крови. Тетя рвала волосы. Она дрожала челюстью. Тетя схватилась посиневшими ногтями за чужую кровь в обмен на грязные и мятые деньги. Душа женщины притихла на подушке. Из теплой подушки росли на запад и восток розовые побеги.

Дядя спал на стволе. Заря не сняла круглые страшные очки с больной. Но смерть шмыгнула в тень и оттуда мягко выжидала.

За дядей прислали с работы. Он хранил ключ от склада. Какой-то сотрудник института скончался, и надо было выдать черные флаги. Коля Батманишвили временно замещал дядю. Дядя был недоволен им. Парикмахер ползал по груди футбольных трусов. Он задыхался от пыли. Дядя махал руками. Он истерично кричал подчиненному, чтобы тот отыскал и вернул голову на свою шею. Траурная ткань чернела под велосипедом. Коля сжался. Малюсенькое пенсне с блистающими стеклышками соскользнуло на гимнастический мат.

Оба, выхватывая друг у друга флаги, вприпрыжку понеслись туда, где раздавался молоток вечности.

БАЛЛАДА

Тетя бродила по комнате в день полчаса. Иногда она даже мыла за собою тарелку. Дядя был счастлив. Он купил на базаре голубей и выпустил их в небо. С завязанными глазами он шлялся по весеннему городу. Онпил горечь грузинских подснежников. Супругов пригласили на свадьбу в деревню Атоци. Они вздумали погулять и заколоть жертвенного барана.

Тетя дала обет убить молодое животное, если на грудь вновь слетит пыльца здоровья. Он и она бредут на утес. Дядя в черном костюме и белой соломенной шляпе. Дядя поддерживает тетю за талию. Палка тычется в камни среди выцветших и жестоких трав. Где-то далеко синее летний сад. А здесь студеный, сквозной ветер выдирает с криком из скал корни маленьких елей. Ветер светится на солнце и отзывается диким и зловонным приютом горных птиц. Горный дождь остудил витающую в воздухе смерть. Старик ведет на веревке барана. Вон за тем ржавым, обросшим мхом валуном свершится казнь. Как снежно поднебесье, как громадны его подступы рядом с нищенскими гещерами подслеповатых зверьков!

Сухим розовым теплом веет день. Слабо стоит над хребтом столб заката. Тетя выронила сумочку. Сумочка улетела в пропасть. Дядя жалобно глянул в преисподнюю. Старик блеснул топором. Баран догадался о смерти. Он мотнул рогами выразительно пахнущей черемухе.

Весеннее лето темнело в садах этой ночью. Целый день рос под золотым солнцем лес. Баран рванулся к пропасти. Мерзло стучали по каменистому склону копытца.

Дядя испуганно закричал: «Ловите!» Старик крепко ухватился железными руками за веревку. Дальний лес затих. Баран обернул голову к больной. Он дрожал от холода. Весенней сыростью были налиты круглые глаза. Окровавленная голова юноши пала к туфлям тети.

Дымился на чернеющей траве мокрый след. Тетя Тина заплакала. Она отдала опасную цену за свою белую кровь. Замерзшая ночная птица визгливо вспорхнула из кустарника. Дядя Котик отмахнулся от нее шляпой. Село Атоци дышало спелым колосом в лица. Голубели цветы с густого дна полян. Разрывались облака от залпов охотничьих ружей. Супруги потерялись среди полевых маков. Дядя улыбается подростковой листве. Отсюда изгнаны стойкие больничные запахи. Запад алый-алый. Дымится шашлык. На лице тети восковые блики недорозвья.

— Ра могивида, сакварэло? — взметнулся дядя. — Ратом тирихар? Что с тобою, любимая? Почему плачешь?

Дядя зацепился туфлей за репейник и повалился навзничь в ромашки. Тетя захохотала со скалы над синим обрывом.

Страшный этот смех разорвал надвое крыло птицы.

Дядя зарыл по грудь в яму.

— Княжна! — шептал он.

Он обернул в чистый носовой платок землю. Как память о жертве. Ком набух бараньей кровью. Люди забыли про компрессы и грелки. Они пригородным поездом, автомобилем и лошадей дотащились сюда, чтоб забрать в плен и убить на самой крутой и отвесной скале настоящего барана. И поглядеть в его животные глаза, пустые от отнятых с детства слез.

Дядя ослеп от солнечной природы. Он метался в стороны, страхась летающей над головой птицы.

Ты далеко разметалась, земля,
Вся в ароматах цветущих яблонь.
Улыбнись, потому что пришел твой любовник.

Дядя и тетя, взявшись за руки, брели к дому свадьбы, тетя вдыхала льющиеся запахи жизни в темную от боли душу. Солнечные пятна липли к ногам. Над соснами сбились в темноту облака. Дядя с белоснежной пеной счастья на губах, как чайка, летел грудью на утес. Он опустился на колени и стал рвать траву.

Схвати ладонью ветку, вырви с корнем,
Чтоб в тебя лилась голубая весна.
Голубые соки.

Тетя поскользнулась о ящерицу и упала на кустарник. В свадебном дворе запустили в небо сокола.

— Моя жена кутит! Моя жена!

— МРАВАЛЖАМИЭР! МНОГАЯ ЛЕТА!

На белой скатерти гранат, в нем зародилась когда-то женщина. Она почернела, как тысячелетнее зерно. Дядя рьяно пил. Вино толклось в его глотке.

— Какую жену теряю! — задыхался он.

И вдруг тетя встала и закрыла лицо руками. Во дворе, где танцевали гости, она увидела свою мать. Дряхлую старуху с клюкой. В старинном черном платье, обшитом бисером, и в черном платке. Тете было три года, когда мать бежала с любовником в Мингрелию.

— Как ты бросила меня? — плакала смертельно больная. — Крошечную девочку? На мне ты выучилась пеленать и нянчить. А моему детскому рту дала свое первое молоко.

— Не надо! — жалобно просил дядя.

Гости испуганно глядели на хриплую дочь.

— Мама! — зарыдала раковая женщина.

Но старуха только сердито откашлялась и, люто обидевшись, заковыляла к повару-мальчику кланчить самый раскаленный кусок жареного мяса. Небо было ясным, как вода в чашке ребенка. Атоци синел, как крепость всадника на заре. Его гнезда темнели глубиной. Издалека прощально махали гости. Деревенская старуха трубит в охотничий рог. Дико кричит рог. Ночь ловит голос и несет к пропасти. Дядя поднял над головой шляпу. Шляпа белая во тьме. С юга ветер волочит тучу. Лес жадно обхватывает людей. Супруги шлепали по грязи. В болотце застыла мертвая птица. Она не пела. Двое заблудились. Они испуганно молчали. Блестели верхушки малиновых от заката сосен. Дядя и тетя замерли под сосной. Чистая радость выплеснулась из их ртов. Оба плакали.

ЦВЕТОК ОМЕЛЫ

Дядя ныл очень долго и ждал моих ответов по телефону. Я никогда не думал, что можно лениво плакать в трубку, поудобнее прижав ее ко рту.

— Приезжай! — всхлипывал дядя.

Он открыл дверь. Он поднял руки и собрался кричать, но я стал лихорадочно задавать ему глупые вопросы.

— Какую жену теряю! Я все продам. Я уеду отсюда. Куда-нибудь навсегда. Далеко-далеко, где снег, холода и я никого не знаю. Я буду бродить там по слякоти в зимнем пальто и страдать.

— Фантазер!

На кухне среди невымытых тарелок, кастрюль с грязной пищей, рваного тряпья и ободранного веника курдянка стирала в лохани белье. Она выжимала мокрые простыни молочными руками старости. Дневной блеклый свет ломался о мутное стекло. На окне густой пар и черный дым. Это во дворике в черном котле на углях варили мясо. Там шла репетиция поминок Марго. Она умерла от пьяных побоев мужа и сегодня готовилась к своим похоронам. Я искал среди развешанного белья солнце, но оно зашло за рваные тучи бюстгальтеров. Я легко нацепил полумаску радости. Желтый и последний лист осени на подоконнике. Детские руки задыхались без крови.

Тетя молчала. Вода тихо стояла в ее глазах. Светлые и тихие часы сковали лоб как венец. Лоб выродился в щит. Этот ватный щит уже не мог спасти ее головы от беспощадной физической боли. Маленькие голубые птицы бреда на локтях. Я глядел на подсолнуховые от страдания волосы. Дядя прятался за простыней. Он лежал ничком на своих ладонях. Я искал тетю на белой подушке. Я жестко ударился о два черных, обескровленных глаза. Каждый глаз был искалечен болью. Он не спал. Собаки раздирали белый живот тети. На самом дне глаза лежало, привязанное к камню, страдание.

— Проклятая Марго слохла! — хрипела тетя. — Белье негде сушить. Варят. Черт бы ее подрал!

— Не думай об этом, родная!

— Ослом родился, ослом помрешь! — возразила тетя.

Дядя зажал рот майкой. Он искал защиты у кляпа.

— Надо любить друг друга, генащвале! — донеслось из забитого рта.

Оторвался набухший состраданием лист акации. Тянет гарью. На голых камнях сидит пьяница Ладо. Он наблюдает, как варится мясо в честь его супруги, которую он бил смертным боем. Ладо слушает дрожь земли. Он слушает землю покрасневшими глазами пьяницы. Дядя зовет меня обедать. Дядя шаркает разбитыми шлепанцами. В миске горьковатая трава. Мы жадно поедем осенний лес. Горячий луч сверкает на ноже. Луч единственный на всю комнату. Его подают только на обед. Дядя рвет птицу. Он кладет на тарелку мясо. Прачка сидит за столом. Стиранные ладони на шершавой скатерти. Мы пьем розовое вино.

— Налейте офицерского вина! — просит тетя.

Старая курдянка скорбно глядит на тетю. Это сострадание. Нам, добрым людям и родственникам, незнакомо это чувство. Никто из нас ни разу не пожалел больную. Только неграмотная прачка. Она глядела на тетю как обезумевшая от горя мать. Она не понимала, что это не полагается.

— Живи, Тина! Ицховрэ! — дрожала курдянка.

Мы с дядей подняли стаканы.

— Тквэн ицховрэт! — ответила тетя. — Вы живите!

Дядя поднес ей стакан вина. Он грел наперсток. Тетя пригубила. Она кричала так, словно в горло ее потекло расплавленное олово. Крик разбудил нас как удары грома. Голубое небо наполнило комнату. Дядя отдал больной белое мясо курицы. Тетя была голодна. Она схватила курицу мокрыми от слез руками. Комната светлела от надвигающегося крика. Тетя жадно ела осколок бритвы. Блестел лоб дяди. Вдруг я не узнал замаскированный голос тети. Она тихо, беззвучно плакала над головой жертвенного агнца.

— Мэ, ра, ар минда чама? Что, разве я не хочу кушать? Зачем тогда убили барана?

И начинал падать в распахнутое окно дождь, молчаливо и гладко, сначала бесшумно, а потом ярче и ярче, растекаясь в пустоте. Мокрые воробьи визжали от удовольствия. Поблуднела тетя. Она ждала воробья радости на грудь.

— Сколько заплатит прачке? Отдать сразу пятнадцать или сначала пять, а как выгладит, остальные десять?

Тетя молчит.

— Кахетинский осел!

Смерть не способна задушить ругань.

— Она вас любила когда-нибудь? — хотел спросить я.

Дядя отдал курдянке пять рублей.

В этот дом не ждут друзей или врагов. Беда отпугнула оба лагеря. Вдовец Ладо с букетом омелы. Он отдал тете алые бездомные цветы. Они светились, как багровая ртуть на дне ползатухшего кратера. Окраска омелы — глас вопиющего в пустыне.

Пьяный и траурный Ладо незванный гость. Зверь сапожника дышит святошью. Ладо прекрасен и чудовищен, как плод бесплодной смоковницы, с душою детей и старцев. Ладо жаждал выдавить из цветка воду на пожарище. Он был страшен, как страшны нищие. Из рваного кармана сыпалась соль.

Только Ладо догадался явиться сюда с марсианскими цветами. Дядя схватил букет. Он радостно смеялся за закрытой дверью. Дядя опустил на белую скатерть багровое облако. Тете захотелось понюхать иллюзию.

— Дай-ка сюда цветы!

Омела — сон в летнюю ночь. Но цветок на лбу больной вдруг почернел. Цветок лишился запаха. Тетя прижала черный костер к щеке. Ладо стал доставать из карманов землю с блестками соли. Он швырял землю на одеяло. Соль проросла в его кармане травой.

Жена сапожника молчала, растрепанная в грязном гробу, сжав в кулаке мертвой хваткой седой локон. На исцарапанном горле блестели слезы.

Нищий убрался. Его глаза горели как огни святого Эльма на верхушке грот-мачты терпящего бедствие корабля. Дядя раздавал соседям цветы как поминальную кутью. Солнечный луч наслаждался зрелищем человеческой немощи. Тетя немой, гортанным криком звала смерть. Она рвала на голове волосы.

— Генацвале! Генацвале!

Маятник прыгает со стены в пропасть и обратно на стену.

Она валялась в кровати как мертвая ласточка в луже.

СВИРЕЛЬ

Я иду на таран вечности. Я как кошка царапаюсь о дядю. Он вскакивает над диванчиком как маленький мальчик. Шелковая рубашка с алыми розанчиками. Дядя в пиджаке и в фиолетовых довоенных кальсонах.

— Вай! Вай! — в ужасе кричит он. — Вай мэ!

— Не бойтесь, дядя! Это я — ваш живой племянник!

— Вай! Вай! — трусливо стонет он во тьме, хоть яркий огонь заливают комнатенку.

Прибранная постель тети пуста. Над ней портрет в черной рамке. Императинская княжна робко улыбается. Дядя Котик стоит босиком на ослиной коже диванчика. Никто не принес цветов в этот дом. Дядя купил на последние деньги роскошные бутоны. Они как укор нашей жадности алеют в человеческих руках. Мы с дядей шагаем похоронной процессией. Солнце облизывало цветы шершавым языком. Дядя защищал букет черной шляпой. Тифлисцы разбегались от солнца как тараканы. Дядя забыл о своих родителях. Он идет к жене. Однажды во мгле он был потрясен встречей с их земляной кроватью. Лучезарно-погребальный отряд. На сочной траве, что текла в воздухе, белели тарелки и стаканы. Жирная курица блестела на солнце. В цветах валялись лиловые и желтые пасхальные яйца.

Дядя Котик бросил несколько яиц в землю к умершей и полил кисло-пряного вина на ее лицо. Может быть, тетя Тина, окаменевшая в гробу со своей палкой и сумочкой, ждала пьянства. Но мне было страшно и жутко пить здесь, на тысячелетнем солнце, за упокой тетиной души. Ведь она могла слышать только голоса своих коллег по подземелью. Она яростно обзывала дядю кахетинским ослом. Дядя опрокидывал в рот один чайный стакан за другим. Он возвышался на холме, боясь свалиться с огороженного решеткой куска земного шара. Шляпа съехала на затылок. Он громко кричал, и все нарядные гости кладбища с удивлением глядели на тоскующего здесь, на этом веселом лугу и детской площадке забвения, человека.

— Оторви мне ножку курочки! — шептал дядя.

Я исполнил его слезную просьбу.

— Да будет земля ей пухом!

Тут я впервые подумал о его сходстве с осликом. Дядя снова дернул меня за рукав, и когда я прильнул к его мокрой щеке, он стыдливо отдал приказ:

— Яйцо мне подай! Очисти и подай! Так, чтоб никто не обнаружил. Мне самому заниматься этим сейчас неудобно!

Я стал шарить в окрашенной солнцем траве.

— Это не хочу! Хочу другое! — отрывисто крикнул он.

Может быть, он думал, что говорит тихо, но все вздрогнули от его визгливого баса.

— Дядя! — звал я.

— Давай за спину! Мне неловко!

Он арестовал мою ладонь с яйцом. Новорожденное яйцо навсегда исчезло в его ослабевшем от горя рту.

На соседней могиле одинокий человек в пенсне и шляпе рылся в анютиных глазках. Его маленькие дети не понимали, что папа привел их сюда к своему папе. Облака серебристо звенели. Девочка в малиновом платье и с малиновым бантом прыгала на одной ноге через тесную могилу.

— Лю-ли! Лю-ли! — пела она.

Но вот начало темнеть, и мы стали поспешно бросать в надвигающейся ночи наших печальных родственников. Рты их забило землей. Мы оставили им ночь, чтоб на досуге они могли спокойно обсудить подробности нашей легкой встречи с их вечным и страшным домом. Бутылки, петушиные скелеты и сладкие ореховые пироги загромождали поле битвы. Дядя поцеловал горсть праха. Дядя брел в пыли. Он неожиданно подвернул ногу и ударился лбом о дерево. Я тащил дядю. Когда мы завернули на нашу улицу, я обнаружил у католического собора бродячего ваганта Ладо. Он сидел на скамеечке возле опустевшего очага и нюхал астру. В его выпуклых кроличьих глазах темнела божественная мудрость. Я внес дядю на спине. Он надсадно дышал.

— Не уходи! — стонал дядя. — Не бросай!

Мне было тоскливо оставаться здесь. Комната без тети чудилась опустевшей корзиной. Я задыхался от отсутствия имеретинки. Наличие солнца оттеняла жуткость пустоты. Я должен был бежать в город, к ветру и облакам, к словам и жертвам от разгрома. Связка лука на окне наливалась красной зарей.

Дядя Котик метался на диванчике. Он обнимал вытопанные тетей следы в комнатном воздухе. На бледных губах пузырилась слюна отчаяния.

— Пойдем к шлюхам! — закричал дядя. Он бредил.

Я поднес к травяному холмику шлепанцы. Я предал его. Я бежал. На спине дяди, как желтый лист в иглах ежа, дрожала обида.

В подъезде я поднял голову и вздрогнул. Пустое гнездо свалилось в мои ладони. Там лежала мертвая, забальзамированная ласточка.

Тетя Тина, взлетая над тротуарами от летнего ветра, неслась к платану.

Дядя вез свою голову в страну детства. Он вез голову на осле. Щека блестела слезой. Гаспарчик сидел на облаке с гроздью винограда. Фрося выстрелила из ружья в облако. Дядя выпутывался из тьмы как рыба из сетей. Он бился головою об хвост. Дом рос из земли как гриб, где-то поблизости, в одном шагу. Но дядя Котик не мог наткнуться кулаком на дверь. По ошибке он поплелся в сторону Алазанской долины. Оттуда громко ревела вспененная ночью река. Дядя снял туфли. Маленький кленовый лист оцарапал белую ногу. Лист плыл по воде. Дядя опустился на колени и омыл лицо. Вода как ладонь матери предала забвению его тоску.

Он жевал сырую речную землю. Он горько любил Кахетию. Босоногий, он брел на край земли. Он нес туфли в руке. Где-то под занавесом дождя горели костры. Кто-то пел песню. Это были мудрые столетние виноделы. Дядя отпил из тяжелой медной чаши старческого вина. Вино текло. Из сердца рос засохший цветок. Потянул, хотел вырвать, вырвал сердце. Ангел без спины шлепал босыми ножками по холодному яблоку.

Притихли голуби. Смотри, уже закат.

Пастух, тоске любви ничто так не поможет,

Как песня. Друг, свирель страдания уничтожит,
Когда с ней камыши и волны зашумят.

Дядя летел над исковерканной чужими шагами земель. Конь до слепоты обнажил глаза. Он разглядывал плывущую землю как своего новорожденного и мокрого от чрева ребенка. Дядя шаркал туфлями о почерневшие пни. Вдруг он зацепился за ботфорт. Г. А. в ужасе закрыл лицо от крылатого человека. Он прижал к алой тоге золотой жезл.

Сядь в тень. Здесь от чинар так нежен аромат
И травка так мягка. Тебя коза тревожит?
Пусть бродит по скале и почки веток гложет,
Не слыша бляенья покинутых козлят.

Слепой протянул руки в заплатках детского смеха. В его стиснутом сердце плескалась мечта. Пастух играл на свирели. Дядя уронил венок из сухих васильков. Собака пастуха, отыскивая путь, привела его к дому. Дядя ввалился в темные комнаты. Пыль блестела на раскрытых нотах. Он поцеловал пыль как глаз мертвой матери. Он поднял светлое и мрачное от воскресения лицо. На чердаке хранились пятидесятилетние яблоки. Когда-то в детстве отец просил его сходить туда и принести на белую скатерть зрелых яблок. Яблоки как исчезнувшие древние народы затерялись в пространстве. Дядя стал надкусывать святые тела яблок. Он разгрызал их желтыми зубами. В раны бил опальный свет. Дядя сел за фортепиано. Он опустил ладони на немое полотно сонаты. Он опустил руки на черные и белые лады. И запел, мстя апостолам:

Неравные в длину, семь трубок цыкуты
Печатью восковой одна к другой примкнуты —
Свирель. Она поет и стонет. Ну, иди!

— Кто громко поет ночью? Кто хулиганит?

Велисцихский милиционер арестовал оборванного, как слепой дождь, человека. Он отвел его в подвал и запер на замок до выяснения личности. Дядя не протестовал. Только нищая Эка, жертва отгремевшей войны, остановила конвой.

— Сад микавс эк каци? — спросила она. — Куда ведешь мужчину?

— Уцнаури! — ответил милиционер. — Он чужак!

— Майца! Майца! — прошептала она. — погоди!

Она ошупала тощей грудью лицо дяди Котика.

— Чэми швили хом ар арис? — дрожала она. — Не мой это сын?

Дядя отшатнулся от сумасшедшей.

— Камни! — хрипло закричала старуха. — Камнями бейте сына!

Дядя Котик не дыша сидел в подвале, на земле. Он слушал, как лает над скалами розовая и бешеная собака рассвета.

Силеновой игре мы здесь тебя научим,
И вздохи из твоей измученной груди
С дыханьем отлетят — божественно певучим...

1974, 1991.

В 1993 году
«Новый мир» предполагает опубликовать
новое произведение
Ивана Оганова
«ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ»
Эпос

ВЯЧЕСЛАВ БАШИРОВ

*

СРЕДИ ВОСПОМИНАНИЙ

* *
*

Я гуляю по осеннему поселку,
потому что меньше куришь на прогулке,
в закоулки захожу, опять на Волгу
в набежавшую волну швырять окурки.

Только здесь не раздается эта песня,
что у нас зовется песней в день зарплаты.
Тошновато отчего-то, сердцу тесно.
Это, видимо, погода виновата,

что, гуляя по промозглому поселку,
где родился, как ни странно, я когда-то,
ничему не умиляюсь ни вот столько,
ни березкам, ни родному с детства мату,

безыскусному, как местные красоты,
поселковые, но городского типа.
Видь на Волгу!.. Выхожу, гляжу на воды.
То ли старости предвестье, то ли гриппа?..

На бревне сижусь, плевать хотел на волны,
привязавшуюся фразу повторяю.
За одной волной другая пена, словно
после приступа падучей, утирает..

Я гуляю по родимому поселку,
неприглядна ненаглядная сторонка.
На асфальте от бутылок битых стекла,
вот и все, что здесь блестяще, все, что звонко.

И наверно, чтоб себя так одиноко
я не чувствовал на этом сером свете,
то виденья выдувает на дорогу,
то уносит их к чертям собачьим ветер.

Дух мятежный, на сыром ветру качаясь,
на любом углу встречается. Возможно,
тот же самый... Что он воет? Откупаюсь
сигаретой сыровой. Что так тошно

мне в поселке грязноватом?.. То отпустит,
то как будто бы последнюю заначку
зажимает... Не испытываю грусти.
Сожалею, опустеет скоро пачка.

То ли бѣз толку хожу, то ли без толку,
то ли на воду гляжу, то ли на воду.
Выдь на Волгу, повторяю, выдь на Волгу!
И хотелось бы повыть, да неохота.

Негде взгляду задержаться до Услона
кроме плоских островков с песочком белым,
с тальником, уже не чересчур зеленым,
с молодым на берег выброшенным телом,

нет, с бревном, от связки плотовой отставшим,
нет, с окурком, напоследок дошипевшим
о не страшном — пшик, и нету! — о пустышном,
о — не стоит сокрушаться! — не успевшим...

«И забор...» Уже ты здесь, мой демон местный!
«За аборт ее бросает...» Ах ты рожа!
Ну, давай повоем вместе, жизнь чудесна!
«В набежавшую волну...» Теперь похоже...

Немецкая баллада

Юрию Ковалю.

Когда я был совсем молодым,
совсем не то, что сейчас,
случалось, ходил я в один дом,
не часто, но всякий раз

стоило только войти во двор,
как отворялась дверь.
Жила там одна молодая тварь,
а может, их было две.

Одна была темна, как тоска,
вторая светлее дня.
То не хотела та отпускать,
то к этой тянуло меня.

Ни разу не довелось мне
их увидеть — вдвоем.
Одна была не в своем уме,
другая — с детским умом.

Носил пистолет я в кармане брюк,
кнут в рукаве таскал.
То хотел застрелиться вдруг,
то воевать скакал.

Был я для первой — опасный зверь,
прячущийся во мгле.
Когда уходил от нее, то дверь
взвизгивала в петле.

А для второй — суровый герой
с добрым и честным лицом.
Дверь за моей прямой спиной
булькала бубенцом.

В то время легко я сходил с ума,
теперь-то не то совсем.
Бывало, ходил и в другие дома,
в которых я был никем.

Было это в таком-то году
в славном городе С,
в котором уже никого не найду.
Да и не тот интерес.

Милые ведьмы давным-давно
стали каргой — одной.
Юные дурни — им все равно
не столкнуться со мной.

Я их на чистую воду всех
выведу — до одного.
Этот один — и смех и грех —
так и не смог ничего,

ни застрелиться, ни ускакать —
так оно все и прошло.
Ах, какая была тоска!
Ах, как было светло!..

ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЕ ДИСТИХИ

* * *

Если б не худшая часть наилучшей части народа.
с нею одною народ был бы един навсегда.
С речью такой представитель той части, которую часто
ныне чествят, выступал. Тут я отчасти его,
честно признаюсь, не понял, спросил по-хорошему, прямо
в глаз, а не в бровь: ну а ты сам за народ или нет?
Вышли мы все из народа, сказал он в ответ, стало ясно.
вот почему из себя нынче выходит народ.

* * *

То, что Россию умом не понять, это я понимаю, —
но почему же блажен, кто посетил этот мир?
Так в роковую минуту сказал посетитель столовой,
рядом с которым я жрал комплексный борщ-винегрет,
хоть без акцента сказал, но я понял: здесь что-то неладно.
В общем, товарищ сержант, погорячился слегка.

* * *

Мне подозрительным кажется тот, кто в хоккей не играет. —
может, он трус, потому и не играет в хоккей?
Я бы в разведку с таким человеком пойти побоялся,
только взгляну на него — в пятки уходит душа.

* * *

Тут мне одна предлагала искать с нею общий консенсус.
Как не ругать молодежь? Стыд потеряли и срам!



МИХАИЛ ПРОБАТОВ

✱

К НЕБЕСАМ ЛЕДЯНЫМ

✱ ✱
✱

Брат мой гибнет в проклятом хмельном кабаке,
Где пропали и дед и отец,
А меня сквозь кустарник выносит к реке
Мой веселый гнедой жеребец.
У холодной реки расседлаю коня,
Запалю на песке костерок...
И тебя помяну у живого огня:
Милый братец, тебе не хватает меня,
Без меня ты во тьме одинок.
Милый братец, меня ты назад не зови:
Помню, братец, твой свист воровской,
Помню, братец, безумные песни твои,
Словно блещущий нож под рукой!
На восход я поеду на резвом коне,
Ясно синие дали легли...
И в тиши предрассветной почудится мне
Топот конной погони вдали.

✱ ✱
✱

Не страшно умирать — не надо быть свободным,
Не надо быть святым. судьба моя проста.
По мокрому стеклу колотит дождь холодный,
И я не доживу до честного креста.
А в день жестокий тот — ни страха, ни упрека,
Какие там грехи! Не мой за них ответ,
Когда рванет огнем и молния с востока
Осветит грязь и стыд моих последних лет.
Какие там грехи! какая там расплата!
Мне нечем заплатить за водку и харчи,
Мне нечего сказать: мой грозный Бог распятый,
Страдая, ждет меня у огонька свечи...

✱ ✱
✱

Дай мне, Боже, к твоим небесам ледяным
Прикоснуться пылающим лбом —
И усну я, и стану туманом ночным,
И во сне я над лесом пройду словно дым
В небо звездное зыбким столбом.
И меня в эту ночь Ты к себе позови.
Пусть, не зная креста и венца,
Спят усталые, бедные братья мои,
И поют в Гефсиманском саду соловьи,
И свершается воля Отца.
И хмельная Россия все песни свои
Без меня доведет до конца.

1971—1988.

БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ

*

РАССКАЗЫ

Волчий лен

Бывает, все, что написано женской рукой, возьмут и сравнят, например, с вышиванием гладью.

Я тоже занялась традиционно женским делом, почему бы и нет, работой со льном.

Вот какая нить пойдет в повествовательную ткань, самая древняя и прочная, годная для облачения египетских царей и парусов открытия Америки. Если уж распускать паруса, то важно иметь под рукой благородную льняную парусину. Что может быть лучше льняных парусов для странствия по морю народной жизни.

Холсты, расстеленные на траве для отбеливания, сами по себе будут меняться.

Почему бы и не снарядить три воза всякой прозы — повествование у меня туго доверху набито снопами льна, лен как формообразующая основа; если и выбирать основу, то самую вечную и прочную, заматываем куколку повествования, обрабатываем сырой материал: эталон — белизна полотна, тут и до белизны кита недалеко. А если уж на то пошло — и до белых рубах голландского полотна, в которых пишутся последние послания.

— Кстати, любезный читатель, как вы находите, какого цвета локоны Ольги Лариной? Некоторые считают, что золотистые, я же склоняюсь к мысли, что пепельные, поскольку высшее качество льняного волокна — это серые, пепельные, платиновые оттенки, шелковистость, длина и тонкость.

Попробуй-ка вытяни из спрессованной массы, из самой гущи, запусти руку — в рукавице? — и вытащи наугад, тут непременно условие — наугад! — и разглядывай так и эдак, улежалось — не улежалось (у меня как на любом льнозаводе — запаса тресты на несколько лет), надежно ли укрыто — попадаютсы мыши, подгрызают, растаскивают в труху, подгрызут поворот, затащат в свое гнездо — но очередь рано или поздно дойдет и до дальних скирд. Сложено грамотно, хоть и под открытым небом.

На иных допотопных заводах такие скирды давно стоят, похожи на украинские хаты, стена низенькая, а крыша крутая. Старая деревня под соломенными крышами. Стоит под солнцем и дождем, выцветает драгоценное сырье.

Один-другой сноп для начала вытащим, но пора пускать в обработку весь свой воз.

Итак, сноп за снопом, поехали.

Удастся лен — так шелк, а не удастся — зубами шелк.

Эталоны — локоны Ольги Лариной — разговоры знатоков, ценителей блондинок.

А приемщица-то, артистка, вот она, у всех на виду стоит на специальном помосте: отъезжай! следующий! — машет левой рукой, правую руку с карандашом прячет в карман телогрейки, похаживает по помосту, притопывает резиновыми сапожками, похлопывает себя по озябшим бокам, но некогда, вот стена следующего воза перед ней, а вон целая вереница возов со всей округи, поздняя осень, сегодня ветер разогнал дождь, первый сухой день за несколько недель; перед ней стена как будто одинаковых снопов льняной тресты, она как бы не глядя выхватывает отдельные пучки сбоку, с середины, снизу, разглядывает, разломит

иные стебли, разотрет, отряхнет костру, пометит у себя; следующий проезжай под разгрузку!

В тот год как-то сразу все заговорили о льне. Повернулись мы ко льну спиной — говорили на областном совещании по льну.

Повернулись мы ко льну боком — говорили на районных семинарах. Здесь пропадающий лен был под самым боком, в областном центре — за спиной, а впереди что — Москва!

Да хоть заройся с головой в эти душистые вороха...

Ходила бабка со спичками, и начисляли ей согласно гектарам или сгоревшим снопам — сжигались каждую весну поля невытеребленного, или разостланного, или уже поставленного льна.

— Что делать, чтобы лен не уходил под снег? — спросила я одного упрямого мученика новой технологии.

— Есть такая машина. Я обязательно докопаюсь, все про нее узнаю, достану и заведу у себя. Приезжайте на следующий год! — вдруг сказал он. — Я даю вам слово, что у меня будет эта машина!

Я приехала, как и обещала.

Еще перед крыльцом правления, в грязи, я заметила огромный рулон льняной соломы, дожди шли уже давно.

Кабинет был какой-то пустой, на чисто вымытом крашеном полу следы сапог четко делились на две неуклоняющиеся тропинки — одну протопал лично хозяин этого неуютного необжитого кабинета, другая вела к его столу, но на почтительном расстоянии закруглялась потаптыванием, переминанием с ноги на ногу, — и решительные следы обратно, прочь. Сам хозяин, синеглазый, в васильковой куртке, сидит, тяжело навалившись локтями на стол и устало выставив вперед свой большой лоб. Ломает голову над каким-то абиссинским колодцем. Все сделали, как рекомендовано в журнале «Наука и жизнь», но несложное устройство, при помощи которого извлекали воду древние жители пустыни, почему-то воды не принесло.

— Видели? — спросил он. — Весь лен убрали, закатали пресс-подборщиком. Повезли на завод, а там не приняли, говорят, нет у нас такой машины, чтобы разматывать.

— В железные когти будете дуть! — как только не пугали в преддверии зимы. — По морозу будете отдиравать!

— Скоро дедко Мороз из отпуска выйдет.

Я тогда не расслышала и переспросила:

— Морозов, это кто?

Все смолкло. Покой. Тишина. Лен ушел под снег.

Почему бы и не посмотреть, как этот лен ушел под снег.

Тетрадь в закрытой сумке бултыхается, как ядро в орехе. Или иначе — как четвертинка в той же сумке: было время, ездил в гости на Петроградскую сторону через три моста, держишь на коленях эту самую сумку и чувствуешь, как не то что плюхает, а именно перекачивается в бутылке, и не велика тяжесть, а бьется то к горлышку, то к донышку, и непонятым манером эта подвижная полновесность отрадн слышна.

Вот уж наше — не ходить с пустыми руками, даже отправляясь в чистое поле, берешь с собой авоську, почти пустую сумку, записать какую-нибудь фразу, а может, у меня там инструкция — как вести себя данным морозным днем 31 января, там, кажется, записано окончание поговорки «кто видел ворона...» — надо посмотреть, что дальше; скажешь себе перед тем как заснуть накануне дня рождения, а наутро останется только руку под подушку сунуть — кого увидит?

Детство в январе достает подарки — мешочек грецких орехов, как они стучаются друг о друга, достаточно увесистое богатство, пока не ушло под дверь, без мышей и шелкунчиков; не хуже мешочек смачных бочоночков лото, какая связь с орехами — играют не только на деньги, но и на орехи. Можно выиграть целое позвякивающее богатство, можно встряхивать, перебалтывать и запускать туда пятерню, наугад вынимать то один, то другой орех.

Сухой! Пустой! Второй пустой!

Я подписалась на пять фунтов грецких и на полгода фисташек. А также позаботилась о годовой подписке на квашеную капусту (популярное республиканское издание).

Кроме тетради, мне кажется, там было яблоко.

Тетрадь, где было достаточно места, чтобы записать стариковские жалобы в деревне Заселище, а также осталось бы для стенания ветра в пустых оконных проемах — раз, и раз, и раз — скрипичный ключ и басовый вздох — черный дверной проем — Гадамля! или чтобы переписать записку, вдруг обнаруженную на дверях крепкого, запертого на замок дома, с занавесками на окнах, за неразбитыми стеклами. «Прошу не ломать! Приходите ко мне в Заселище за ключами». Это был призыв, кому — непонятно, ни одного следа, человеческого по крайней мере, в этой деревне я не обнаружила, но свернула к этой записке, как, бывает, на озере тянется по льду ровнехонький лисий след от одной давнишней рыбацкой лунки к другой, но будьте уверены, непременно свернет, в неистребимом любопытстве сделает крюк и обследует какую-нибудь тетрадную страничку, развернутый ветром фунтик дробей с хлебной коркой.

Я не отказала себе в удовольствии сделать петлю вокруг листочка, послание кому — лосям, волкам, лисе.

Я вышла за Гадамлю, прошла последний сарай, набитый сеном, решила, по какой дороге идти, — одна уводила в сторону, в объезд деревни, а другая уходила прямо в поле, в гору, по бокам — отвесные жесткие сугробы. Дорога круто поднималась вверх.

Вдруг метрах в шестидесяти, на самой вершине холма, слева по обочине, ломаная линия сверкающего снежного умета пришла в движение, как будто что-то там шевельнулось.

Я остановилась, вглядываясь.

Взлетел ворон.

И только. Я прикинула — шевельнувшаяся линия для ворона коротковата.

И вот во всю свою длину выставился и застыл в профиль — светло-серый!

Он спустился с сугроба и пересек дорогу. И ход его ни с чем никогда не спутаешь. (Потом я много раз кистью руки пыталась повторить общий скользящий, стелющийся, ныряющий характер его пробежки, лодка на волнах ныряет и тут же поднимается на гребень, я думаю даже, что кисть моя точно повторяет число его нырков; сколько там шагов понадобилось ему, чтобы перемахнуть дорогу? Дубоватому негнущемуся боровку так не пройти.)

Если сосчитать нырянье кораблика по волнам — ровно три нырка. Это он соскочил с сугроба на обочине и сделал три плавных нырка своим длинным гибким туловищем, пересек дорогу и скрылся на минуту. Ровно настолько, чтобы мне стоять и посмеиваться над другой, которая не двигалась с места и только скинула сумку с плеча и теперь перекидывала с руки на руку, освобождая их: не то чтобы обороняться, не то вписать в тетрадку неизвестное правой руке сообщение, — а в руках-то ничего, кроме сумочки, а в ней тетрадка и черная ручка одноразового использования (другого раза не будет), — вот что делала эта другая, в то время как я посмеивалась над ней и намеревалась двинуться вперед, потому что поле льна как раз там и начиналось, прямо за этим снежным курганом, да и интересно посмотреть: что они там ели, какие у них следы, сколько их там всего? Но другая не двинулась с места.

Что за дурачное любопытство? Ей нужно, видите ли, посмотреть на это несчастное поле. Что за народный контроль? Мое дело — как это выглядит. Главное — подробности. Что же, за метафору и жизнь отдавать?

Может, у кого в день рождения черемуха расцветает, а у меня светло-серые выходят на открытые места! смелые, уверенные, но и мы не робкого десятка!

Дух захватывает, как действительность иногда концентрируется в месте и в нужное время, именно так, как ты и предполагал, но в то же время только так и могло быть.

Вот он, образ зимнего поля!

Какое зимнее поле без светло-серого!

И так мы стояли, вглядываясь, не оживет ли снова вершина сугроба, как вдруг он опять появился, спрыгнул на дорогу и повернулся грудью, не только повернулся, он двинулся к нам!

Что сделали мы? Тихонько и грустно побрели обратно, той же дорогой, чуть ли не хлопнув себя по лбу — как будто что-то забыто и надо возвращаться; эта

другая притворилась, что дальше идти и не собиралась, и повернула она не на все 180 градусов, а вполоборота, так и шла, скособочась, стараясь как бы заглянуть через плечо, как там — трусит по дороге следом, ковыляет по обочине рядом с дорогой, а может, он там и не один, а может, и нет никого.

Ну что, не пустил тебя светло-серый в свое урочище!

Сначала покрасовался, потом двинул навстречу — может, нес ключи от этого поля, слово, поздравление, ободряющий привет?

А может, и сейчас еще несет!

Надо было идти вперед, зря вернулась. Ну и отправляйтесь сами.

Для первой встречи достаточно. Одинокий охотник за метафорами уважает чужую территорию!

А лен пойдет на паклю. Сколько его там и осталось.

И вот она подхватила увесистую лесину, взвалила на плечо, это было, можно сказать, даже бревно, метра четыре длиной, и бойко дальше, в гору, к брошенной деревне Гадомля, пустая улица, пустые дома, туда, к какой-никакой, а все же деревне.

Когда наконец показалось спасительное Заселище, жердину мы бросили (циркачи спрыгивают с проволоки на твердую почву и отбрасывают шест).

Тут я живенько притопала и стала ломиться в дом бригадира. Ворота были закрыты, а у крыльца бушевала овчарка. Вышла хозяйка, собака рвалась с цепи прямо у дверей. Никогда я не видала такой ярости.

Овчарка хрипела на цепи и рвалась ко мне так, будто уловила волчий привет, который был со мной послан именно ей.

— Может, у вас такие есть серые собаки в деревне, бегают за Гадомлей?

— Нет у нас никаких серых собак. Это волки.

Подполье избы — целый город, населенный мышами, где запирали котенка — ходи в подпол, ходи в подпол, драли кошурку, и вершина цивилизации — тараканье на печи — впрыгивает вверх, крутится среди поставленных греться валенок и разложенных шерстяных носков, лезет под одеяло, сворачивается в ногах, снова барахтается, все громче урча и запутываясь в пододеяльнике, продвигается к подушке.

Благодарность кошек. Кошка, которая любит хозяина за то, что ему приятно наливать в блюдце молоко, или за то, что он ценит одинокие часы ее странствий по лабиринту подполья, где она встречалась иногда с крысой Сивиллой и слышала ее вой; поэзию долгих часов засады, когда шуршат прорастающие картофельные рожки, изредка выстрелит шелухой пересохшая луковица и в бочке с огурцами плеснет рассол вслед проходящему трактору.

Лежанка тоже натоплена, телевизор включен. Сейчас на табуретку усядется тетя Нина, спиной к печке, кошурка шмякнется к ней в передник, а Тоня Нема сидит у кровати, они смотрят китайский фильм о деревенской девушке, которая попала в город в домработницы, у нее добротные деревенские косы, злые люди хотят ее оклеветать. Она ласково нянчит хозяйского ребенка, он отвечает ей любовью.

— Ой, Тоня, он не русский! — вдруг говорит тетя Нина. — Глянь, Тоня, он китайчонок!

Они испуганы, они увлеклись злостью деревенской девушки и забыли, что она китайка и действие происходит в Китае, настолько все было свое. Вот тетя Нина в голодное время была отправлена в Москву, в чужую семью. Было ей пятнадцать лет.

Потом они смотрят еще один фильм. Пляска опричников вызывает у них изумление и ужас.

— Нина! Это кто? — Тоня Нема подскакивает на своей табуретке. Дикие тени мечутся по комнате, перебегают по ее лицу. — Эва, черти!

Вдруг гаснет свет, изображение пропадает. Телевизор замолкает. Щелкаем выключателем — света нет. Смотрим в окно. В деревне темно. Темно в окнах, не горит фонарь, смотрю в другое окно, оно выходит на огород, баню, там под горой река, за ней поля, заросшие лесом низины, а далеко, в верхней части пологого поля, обычно по вечерам видны редкие огни Боронатова, но сейчас и там темно. А наша деревня стала оживать. Вон у Растеряхи зажегся дрожащий робкий огонек, вон замигало у Колосовых. У Шалаяпики света нет.

У нас уже горит на столе керосиновая лампа.

Тоня Нема собирается домой.

— Доберешься, Тоня?

Сон о льне тети Нины. Какой сон мне сегодня приснился. Пришла будто бы ко мне почтальонша. Стучится в окно.

— Слезавай с печки. Смотри, что я тебе принесла! — И вынимает из сумки комочек, завернутый в газетку, и подает мне.

— Я думала, телеграмма или письмо, да это лен!

— Я тебе опытку принесла. — Она разворачивает сверток, подает мне прядочку, а костригу растряхнула в окно.

— Нюра, лен улежавши, хороший, прямо лентом. Подымать надо! Красивая прядка, шелковая, как твоя кофта!

Итак, наугад вынуть из сумки, что вынется, как из туго спрессованного снопа — потянешь одну, тянется и другая.

Наше сырье пересохло, переувлажнено, сорняки?

Эталоны — сверим по альбому цвета льна, светло-серое волокно без блеска, светло-серое с блеском. Такого цвета теперь не найдешь, и живем без эталонов. Чего напредем...

Откроем хрестоматию: эталон — золотая осень, поищем хотя место, где написана эта картина, вам укажет здесь каждый — это наша сорокинская пожня, пойдете от Островно на Сорокино, вот мостик через Съезу, чахлые березки так и не окрепли с тех пор, но цвета — солнце! река! золото! — нет прежних цветов, ни одного дня не выпало с просветом, а если и проглядывало — или опять листья не пожелтела, или побуревшая не то осыпалась, не то так и осталась под зиму (как все теперь вроде по недосмотру уходит под снег).

Вот он, шаткий мостик неровного в настроении художника — направо золотая осень, налево хмурый день.

Что тут перевешивало, по-видимому, хмурый день, потому что стрелялся неуравновешенный художник именно здесь, на берегу Островенского озера. Сюда и прибыл безотлагательно его друг, извещенный о несчастьи хозяйкой имения Турчаниновой.

— Баба Сю! Ты Чехова помнишь? — кричать надо в самое ухо горничной Турчаниновой.

— Чехонте? — переспросит она.

Соседи-помещики. Тетя Нина вспоминает.

Ушаков к папы приезжал, на таратайке, две собачки с ним.

Ребятишки видят, барин едет, скорее бегут. Ворота ему открывают. Вынимает он кулек, достает горсть конфет, кинет и проедет. Нам папа не велел ворота открывать, говорит, нехорошо. Ледянки были в бумажках, зелененькие бумажки лимонного цвету. Раньше ребятишек много было. Николай Владимирович Ушаков — у него борода была. Я боялась его.

Мы с Зинкой забрались в боб, а он аккурат едет, бороду в рот взял и идет на нас. Я к бабушке, да под кровать и схоронюсь.

— Не бойся, дурочка, эва он сюда придет! — бабушка говорит.

— Николай Владимирович, долго ты будешь моих ребятишек дразнить! — папа ему однажды сказал. А то подойдет и перед носом конфетой крутит. Его ребятишки прозвали «кислый яблоч». Он помещик бедный считался. Любил плотницкую работу. Папе кресло и диван на новоселье подарил.

Имение Ушаковых в Островно. Из Астафьева ехать — по левую сторону на горы. А Турчаниновой — за Островенским озером — Горка. Левитан влюбился в дочку Турчаниновой.

Крёсна часто рассказывала, как она жила у Турчаниновой, тетя Аксюша, глухая, папина двоюродная сестра, баба Сю. Турчанинину и я помню. Барыня едет с зонтиком. А я в огороде скакала и дразнила:

— Барыня пышка, на жопе шишка!

Папа услышал и говорит:

— Ника! Иди-ка сюда! — Папа нас звал Ника, Зика и Надин. И выдрал.

А Надя была тоже плутовка. Ей было 16 лет. Она скажет: мама, я пойду к тете Аксюше кружево вязать. Возьмет с собой яйцо большое синее, для отводу

глаз, а Салтыков, управляющий барина Зворыкина, в шинели, так и стоит на горы. Он ее в шинель завернет и целует.

Вынимает розовую ленту:

— Вот, Ниночка, на тебе ленту, только не говори папы и мамы. — Он ее возьмет под ручку, обнимет, они по мосту пойдут, туды к Боронатову сойдут.

Однажды Надя написала ему письмо: «Милый мой Петруша! Когда не будет моих родителей дома, ты приезжай ко мне с тройкой с бубенцами и увези меня в неведомые края!»

— Вон Аделя пошла, заколыбалась по деревне в тот край. Она десять лет на мазуриков кашу варит. Бывало, идет, волосы распущенные, в волосах золотинки блестят, приколки разные, как фая ночная была. Однажды бабам сказала:

— Зовите меня Аделя, фамилия Грозовская.

— Здравствуйте, Аделя Грозовская! — скажешь ей. — Как поживаете? Как здоровье? — Она так и воссияет сразу. А на самом деле Дарья Федоровна Федорова.

Если вдруг получится короткое спутанное непрядомое полотно — ничего не поделаешь, не голландское полотно для рубах дуэлянтов, а всего лишь пакля льняная.

Придет время и для моего добра, согдится на что-нибудь путное, а если и на паклю, то латать ею прорехи и зиянья грубо сколоченной, не пригнанной, не сопряженной с сердцем жизни.

Пожестче, нет мякотького котенка на жесткой печке, нет больше мягких лужак — одни жесткие колеи; посуровой — где уж тут гладь озерная — обманчивая; да и вода речная, — верим по-прежнему, что мягкая, теки, пока позволяют, — зарегулирована полностью; а я бы ее вообще перекрыл, сказал один начальник, все равно ее пить нельзя; а валенки, они-то по-прежнему мягкие? как бы не так, жесткие, как колодки, и оба на одну ногу, сколько ни разношивай! Гусиная травка, ложки, муравка, старинные мастера закатывали в носок только что изготовленного валенка клочок овечьей шерсти, но где этот клочок найдешь, разве что на йоркширских вересковых пустошах, где терлись о древние каменные изгороди местные овечки.

— Почему пить нельзя, она что, радиоактивная?

— Я этого не говорил. Просто ее нельзя было пить и сорок лет назад.

— Потому что вся она прошла через охладители действующих энергоблоков?

— Я этого не сказал. Просто она не соответствует гостам, как открытый водоем!

Дом в Гадомле сгорел, не спасла его охранная грамота на двери, еще одно огромное бесценное озеро, многократно изображенное нашими знаменитыми пейзажистами, вместе с рекой будет депортировано на АЭС и скоро будет подключено к системе энергообеспечения «над вечным покоем», скоро еще один пруд-охладитель пополнит семью технических водоемов для снабжения водой строящихся третьего и четвертого энергоблоков.

Что же получается? Сначала появляется художник, произносит слова «над вечным покоем», слышит зауспокойную молитву над этим еще живым озером, затепливает огонек в окошке несуществующей на этом берегу деревянной церкви, пишет свой вечный меланхолический пейзаж.

После приходят те, кто приходит, и уже становится озеро Удомля одним из прудов-охладителей.

Теперь холодный покой вечности несколько подогревается, очертания берегов и водная гладь летом и зимой скрыты за плотными облаками пара, которые клубятся тем гуще, чем прохладнее воздух.

Конечно, сияющее во тьме зарево огней атомной помогает безошибочно отличить родную Удомлю пассажирам рабочего поезда от каких-нибудь соседних Греблянки или Брусова, тем более что стоит поезд всего минуту, и проводники и пассажиры чувствуют себя не совсем уверенно, полагаясь друг на друга, пока не развернется панорама великой стройки.

Не так давно потерялся в лесу десятилетний мальчик, отстал от старших. Пропал он в районе Гадомли — места там глухие, и за ночь он мог уйти очень

далеко. Трактористы уже начали поиск, но утром стало известно, что его видели в пять часов на железнодорожной станции, он мирно спал на лавке.

Как он там оказался, как ему удалось выбраться из леса, оставалось только гадать.

— Понятно,— сказали сведущие люди,— шел он всю ночь и вышел на огни атомной.

Все жизнеспособное население со всего района время от времени непременно направляется за покупками, на атомную, как они говорят.

Ехали как-то в тракторной прицепной тележке. Старик с голой шеей и в ушанке непередаваемой разлапистости, как только и могут ее носить старики — одно ухо опущено, второе приподнято,— стариковской особой лихости.

— Бывают такие ненавистницы,— рассказывает,— только бы гадость сказать: и котенок-то у меня блядун; соседка похвалится — вон дети какие у меня, «ангелочки», а она про них скажет — я их драла крапивой, зачем в говно влезли.

— Когда побреешься? — донимают его женщины.

— В гробу побреют! — отвечает старик. — Хоронили тут одного. Стали обивать гроб кумачом, а покойника и не вынули, так прибили гвоздями насквозь! Крепче будет на х..!

Женщины уже поели, делясь друг с другом хлебом с квадратиками сала, пьют из термоса, постукали по лбам яички, каждая со своей солью, каждая по своему лбу.

Прямо перед универсамом часто продаются упитанные карпы. Но очереди нет. Их выводят в подогретом озере. Известно, что вкус у них неприятный и мясо как вата. Впрочем, и своя, привычная, выловленная в своей речке Съеже тоже ненамного лучше. Чешуя у рыбки из Съежи сразу отстает, так что и чистить не надо. И вид у нее какой-то не такой — утверждают рыбаки из Астафьева, Котлована и Мортусов.

До чего обходительный участковый в Котловане! Если ему случится ехать в район, он, благосклонно озирая из окна автобуса знаменитые окрестности, не преминет заметить, если, конечно, рядом сидит привлекательная попутчица:

— Посмотрите, какой пейзаж, колорит! Золотая осень!

Вот он в правлении куда-то названивает:

— Нарисуйте мне характеристику! Как не знаете? Так и пишите, что пенсионер, постоянный житель.

Закончив разговор и снова пытаясь куда-то дозвониться, он повернулся к конторским:

— Дед наварил бражку, согрейся, сынок.

— Отстали бы от деда. На что он вам дался!

— Не могу, тут на него акт составлен!

Оторвался от телефона, отходит от стола, но битком набитая контора еще ждет от него продолжения, кто, да чей дед, да что ему теперь будет, да кто это грелся, но участковый подходит к другому столу и воздевает глаза вверх: «Это что у вас, Маркс?» Он подходит еще ближе: «Извиняюсь, Энгельс».

Тут и я решила задать вопрос, который меня давно интересовал. Вот сейчас я узнаю из первых, как говорится, рук: «А правда, что за Котлованом будет лагерь? И когда?»

— Да,— говорит,— будут выращивать табак, но сорт потерялся, семена махорки не достали.

— А народ откуда взять? — спросила я.

Он повеселел.

— Народ? — Он обвел взглядом комнату, и портрет Энгельса, и списки бригад, и карту полей и урочищ. — А народ,— он многозначительно кашлянул в кулак,— быстро соберем! найдется! — Он повел рукой, и широк был его жест, и обвел он четыре стороны света, и вся многолюдная контора проследила за направлением его руки, и все увидели тот круг, который он плавно очертил, был он безграничен, уходил за речку, и за Котлован, в Новгородчину, и за Удомлю, за Бологое, вплоть до Москвы.

Итак, народ есть, семян нет. Не зацвела еще та махорка и не дошли ее семена до областных огородов и тверских козлов, но зреет уже где-то крутая махра на крутой кирзе.

Вдохновители новых плантаций простерли глаз в медвежий угол:

— Махра!

Подсобное хозяйство: не то выращивать собственные пайки, не то пересыпать суконные мундиры от молей, нафталин, говорят, снимают с производства, а о сбережении начальственного сукна не думали — еще не время, товарищ!

Сон тети Нины. Будто Тоня Нема бежит мимо крыльца такая испуганная, почему-то в сером подряснике, как у попа.

— Ох, Нина, схорони меня! За мной приехали, а я не хочу! Меня арестуют!

Думаешь, приедешь — и тот же котенок вспрыгнет к тебе на печку, и та же звезда заглянет в окошко, а к вечеру придет Тоня Нема, сядет на лавку и затынет, пойдет крутиться пластинка колыбельная в бурю. А ничего по-прежнему и нет.

Ну ладно, то да се, перемены, парад планет кончается, щуплый котенок привычки переменял, вырос, раздобрел?

Котенка разорвала чужая овчарка, когда разлегся на собственном ложку, а уже научился многому и много сил на него потрачено: превзошел науку ловить мышей, перестал по-детски бояться подпола, стал выходить из дому по своим одному ему известным ходам, не беспокоя больше хозяйку терпеливым сидением у закрытых дверей.

Одно точно. Если уже написан «Осенний поход лягушек», то, будьте уверены, что услышишь, когда снова туда приедешь (к месту дислокации этих земноводных): «Гады вышли из болота».

— Гады вышли из болота и подошли к деревне! — сказала тетя Нина.

Все правильно. Вслед за лягушками двинулись гадюки и ужи.

Я хочу знать — сорок ужей вывелись ли из тех сорока яиц, которые мы насчитали возле трухлявого дерева, да еще пять яиц в брюхе ужихи, которую без страха поднял пастушок, пересчитываем сверху вниз и снизу вверх — от хвоста до глотки и от глотки до хвоста — все наперечет!

Перебирая на подоконнике старые журналы и газеты, я обнаружила странного полуживого жука, позвала посмотреть тетю Нину.

— Жук на газет! Ой, меня так и перетряхивает! Жуки черные со светлыми бороздами! На картошку напали. По триста—четыреста штук я обирала с ботвы.

Когда стала тина сохнуть, эти черные мужики проявились. Я набирала их в корзину. Не я одна, все.

Это к чему-нибудь худому. Не иначе как к революции.

Я иной раз не сплю, считаю, сколько народу померло по деревне. Человек сто насчитаю.

У другого окна была усажена кукла с пустыми чашечками глазниц, с личиком, безжалостно истыканным цветным карандашом, неповрежденными остались только роскошные льняные локоны.

— Уже пять часов. Сейчас бы Тоня Нема уже здесь сидела. По ней часы проверять можно было, всегда в пять приходила.

— А часы у ней были?

— Часы она не понимала. Она и деньги не понимала.

— Мне говорили: «Нина Григорьевна! Только вы ее принимаете! Вы ее не принимайте, она скорее в дом престарелых согласится».

— Я любила Тоню, она беззащитная была. Работала всю жизнь, зимой по наряду посылалась. Буду жить дома, а дом валится. Приехали за ней:

— Где Антонина Петровна?

— Какая Антонина Петровна? — Я не подумала на Тоню-то.

— А бабушка Кузьминская.

— А зачем она вам?

— А мы за ней приехали.

— А куда вы ее хоть повезете?

— А в престарелый дом. Как, говорят, уговорить ее?

— А я говорю, и уговаривайте!

Так грязную и повезли. Вся в саже, как печку топила. В дверцу все колотила и ногам и рукам.

Сдали ее, заперли в темную комнату, стеклов нету. Она стала дверь выламывать, все орала, редела. И сейчас все плачет, убегу, говорит, домой.

Тут были уже однажды за ней приехавши, она под сени была схоронивши, а на этот раз изловили.

— Сидишь, сидишь, соскучишь, поглядишь, какие фотокарточки, снова живешь.

Растеряиха рассказывала об одной бабе, которая решила повеситься на чердаке, но вспомнила, что у нее пол не пахан.

Спустилась вниз, стала мести.

Вдруг в сенях послышались стоны, рыданье, всхлипыванье.

— Скоро ты? — кричат из-за двери.

— Скоро, скоро, — отвечает она, мести ей еще долго, до порога далеко.

Снова шумят за дверью.

— Скоро ты?

— Скоро, скоро, — отвечает, а сама уже у порога, мести больше нечего.

Тут дверь открылась и вошла соседка.

— Ты чего это подметать вздумала на ночь глядя?

— Да вот собралась удавиться, захлестнула веревку петлею, потом подумала, что люди скажут: пол-то у нее не пахан!

За дверью завывли:

— Скоро ты?

— Слышишь — меня зовут!

Выхватила соседка у нее из рук веник и выбросила его за дверь.

Прокатился по сеним хохот, визг, топот, и все стихло.

Пошли они на чердак. Смотрят, а там в петле веник висит.

Ничто никуда не исчезает. Какое-нибудь примечательное свойство или промашка деда отражается в прозвище, закрепляется за сыновьями и переходит к внукам.

— У мужа Шаляпихи Ваньки голосина был как у Шаляпина и прозвище ему было Шаляпин. И у Тольки такой же голос, как у батьки, а мне не нравится. Как по пленке по радио его пустят — ой, медведь вышел, Ванька, покойник, и то лучше пел.

Прозвище другой соседки — Колыма.

Некоторые считают, что это оттого, что ее отец калымил. Другие говорят, что муж Дуньки Колымахи отбывал срок на Колыме.

— У нас тоже прозвище есть, — сказала старая рыбацка тетя Фиса из деревни Колежма на Белом море.

— Какое?

Тетя Фиса смутилась, а потом тихо сказала — «стампа». Откуда это прозвище, данное еще ее отцу, рыбаку, который на Мурман и в Норвегу ходил, и что оно означает, она не знала.

Молодого парня из той же деревни все зовут Майский. Но это не фамилия. К нему есть и существительное, которое произносится реже. Майский сраль получил свое прозвище на память о конфузе, который произошел с ним, когда он первого мая пьяный лежал в канаве. Прозвище было свежее, с минувшей весны, как долго оно продержится, остается только гадать.

Зато прозвище одного хуторянина осталось за тем местом, где стоял его хутор.

Однажды, объясняя дорогу в одну отдаленную деревню, мне сказали: «Иди прямо, мимо Сатаны...»

Потом тетя Нина мне объяснила:

— Хутор Сатаны был на горы, как в Матренино идешь, теперь там нету домов, бугорки только, яблони засохшие стоят. Там жил Андрей Сатана. Сатана такой, его и прозвали Сатана, сатаницца без толку, беспокойный.

Если уж характер владельца навсегда отражается в названии его пригорка, то что уж говорить об уважении к сказанному слову. Слово здесь не видоизменяется в пересказе, не передается другими, «своими», словами.

— Что она сказала?

— Ну я точно не помню, что-то вроде того, примерно вот так!

— Нет, ты точно скажи, что она сказала!

Произнесенное слово здесь запоминают раз и навсегда.

Если когда-то барские собачки из соседнего имения кое-что прихватили у незадачливых соседей, то до сих пор говорится:

— Ты теперь дверь плотнее прикрывай. У нас теперь мясо в снях лежит. А то зворыкинские собаки лягу утащили!

Не знаю, как там с грешками этих собачек, но самоотверженного зворыкинского Медора, с умной головой и честными глазами, разорвали волки прямо на глазах потрясенного четырнадцатилетнего хозяина, будущего непримиримого врага волков и лучшего их знатока.

Ничто никому не девается, и волчьи столицы находятся на прежних местах, и так же подступы к ним покрываются колкой, мерзлой грязью.

6 октября проясняться стало, я с печки подаю голос: «Первый день — золотая осень».

— Да,— отзывается тетя Нина,— вот в восемьдесят третьем году была золотая осень! Вино было такое. Картошку пахали и дрова пилили — вино было, шли ребята с удовольствием за бутылку. Теперь деньги не в моды.

Предстояло снова идти в Заселище.

Как еще может называться деревня, из которой даже за хлебом никто не выходит, а вокруг образовалось такое незаселище, что трудно представить.

— Как называется такое место, самое отдаленное, самое глухое, куда ни проехать, ни пройти? — спрашивала я когда-то свою собеседницу в Заонежье.

— Так у нас теперь самое за́глушье и есть,— отозвалась она.

Поглощающая способность продуктивного префикса знаменует быстрое перекраивание границ и территорий. Некогда цивилизованные земли поступают в распоряжение запустения и одичания.

Ну и как там в Заселище? Не появилась ли наконец лошадка, или все так же копают лопатой старики свои огороды, как они там справляются, что с хлебом, что они предпринимают, когда нужен врач, не убавилось ли злобности и не смягчилась ли хватка у сторожевого пса по соседству, не укоротили ли у него цепь и не улучшился ли у него характер?

А тот лен, который ушел под снег в поле за Гадомлей и куда меня не пустил светло-серый минувшей зимой, благополучно перезимовал?

Приготовление к новой встрече происходило в определенном направлении.

Лен там, а светло-серый так и сидит среди бела дня все на том же шихане вместе с вороном.

Зимой они выходят на открытые места, где на ветру плотнее снег, а теперь осень, они сытые, им полагается быть в лесу.

К этому времени я значительно преуспела в волчеведении. Оценила роль дубинки. Узнала, что если волк перебежит дорогу, то это к счастью, что современные волки не боятся детей, женщин, тракторов и машин, внимательно относятся к мужикам, с ружьями и без.

Короткой стрижкой и джинсами их не обманешь. Важнее махорка, солярка. И ружье — не дубина — блеск стволов, ружейное масло, порох. Некоторое стремление сбить их с толку у меня было.

Но они не обознались. Зато я обозналась, и по-крупному. Приняла их вечернюю идиллию за все что угодно, только не за свидетельство их постоянной прописки, да еще и обругала ни за что ни про что добропорядочное семейство последними словами и чуть было не лишила права голоса.

Собираясь в дорогу, я топталась перед вешалкой: моя куртка — на кого она тянет, как она им покажется, за мужскую сойдёт, а шапка — есть в ней нечто вроде козырька, будем считать, что кепка.

— Сегодня мороз,— вошла со двора тетя Нина. — Одевайся теплей. Вон платок возьми, телогрейку.

Я повязала ее черной, с малиновыми цветами платок, в карман телогрейки сунула все же на всякий случай шапку, тетя Нина настояла, чтобы я взяла ватник поновее, а не тот, в котором она носит дрова и ходит в сарай к курам.

Не успела я свернуть с шоссе, не такого оживленного, как обычно, все же 7 октября, День Конституции,— как сразу же начались разезды и развороты, тракторные колеи поперли во все стороны.

Дороги крутились вокруг каждого поля, показалась низина, поросшая лесом, кажется, надо идти туда.

Однако светло-серые заявили о себе гораздо раньше, чем я готовилась. Не то что за Гадомлей, а еще задолго до Заселища, в первом же перелеске, в сырой низине.

Утро было золотое из золотых. Все было плотно затянуто ночным звенящим льдом. Все было туго схвачено, все сосуды запечатаны, пузырьки и трещины шевелились в их глубине. Такой лед выдерживает брошенный на его поверхность камешек или ветку, но если на него ступить, гнется и ломается, но кроме меня никто испытаниями на прочность на этих пустынных дорогах, невозобновляемых колеях здесь, похоже, не занимался.

Однако стоп. Единый ледяной покров все же взломан.

Не надо быть особым знатоком и даже к знаменитой монографии Зворыкина «Как определить свежесть следа» можно не обращаться.

Пробежали недавно. Вон ледышки все еще осыпаются туда, в темную грязную воду — лапа в комке, пальцы крепко сжаты, пятка глубоко впечатана.

Каждый отпечаток почернел и наполнился водой. Они бежали по дороге, местами обходя, местами перепрыгивая замерзшие лужи, тогда вмятины были особенно глубокие; грязь, мерзлая снаружи, все еще оставалась мягкой внутри. Некоторое время нам было по пути, наконец они свернули с дороги, не идти же им в самом деле в Заселище, с зарей им полагается возвратиться после ночных дел и быть в лесном овраге или колке. Дорога пошла вверх и снова открылись поля. Они были большей частью распаханы, огромные вывернутые пласты заветрились и как будто зачерствели.

Вдалеке глаз различил нечто ярко-рыжее. Если это ржавая цистерна, брошенная слева от дороги, то, значит, скоро Заселище. Солнце поднялось уже высоко, но лед не таял.

До чего влияют они даже одним напоминанием о себе на скорость передвижения одинокого путника!

Распаренная, в сбившемся платке и распахнутой телогрейке влетела я в Заселище.

У заколоченного магазина я увидела наконец человека. Он перекладывал к себе в сумку из деревянного ящика, стоящего на земле, только что привезенные свежие буханки. До чего я обрадовалась живому человеку!

— Не волков надо бояться, а людей! — сказал славный парень. — А этих-то здесь, пожалуйста, сколько угодно.

— Только кому понравится ходить с ними по одной дороге. А ведь мне еще в Гадомлю надо, а потом в урочище, куда зимой меня волк не пустил.

— Бригадир только что привез на всю деревню хлеба. Больше он никуда не поедет. Сегодня праздник.

А не согласится ли он сам составить мне компанию и прогуляться в ту сторону?

Мы договорились, что он отнесет свой хлеб домой, я зайду к своим знакомым старикам, и потом отправимся.

Только снова я не попала в это урочище, что за место такое заповедное, если в ягваре не пустил туда светло-серый, то на этот раз обвел вокруг пальца тоже матерый, славный такой, и калину мы с ним рвали в безлюдной Гадомле, и дикие яблочки подбирали, и по полям ходили, и к озеру вышли, и дикого гуся на берегу видели, который не улетал, а неподвижно стоял на краю убранного поля, парень сокрушался, что нету у него ружья и не будет, потому что не то отбыл он срок, не то продолжает отбывать, тут я не очень поняла, но Удомля его послала на сельхозработы.

Провожатый немного придурился. Урочище так и не показал, и лен, если он где и был, обошли мы стороной. Кому, как не ему, знать — он тут и сено косил, и зеленку возил.

Прошли Гадомлю, заглянули в сарай под горой, теперь доверху набитый сеном, — он и наготовил, вышли в поле и наконец поднялись на тот самый шихан. Вдруг раздался выстрел, потом еще. Он объяснил, что сегодня удомельские охотники приехали на волчью облаву.

Станный парень опять вспомнил о том, что людей надо бояться, а не волков, и рассказал необъяснимую историю о том, как за ним однажды молчал какой-то человек, держался он все время на одном и том же расстоянии, дело было в сумерках, на предложение остановиться, закурить и вместе идти дальше ничего не ответил, только покашлял, а на подходе к деревне остановился,

посидел за мостом, развернулся и пошел обратно. Мой спутник был уверен, что это было никак не привидение. Если бы было привидение, оно бы стояло на месте, а к этому начнешь подходить, он назад отходит. Потом в деревне он спрашивал, шел ли в то время кто с автобуса. Нет, никто больше не шел.

Мы вышли к озеру.

Он показал на клочки сена, застрявшие в ельничке на берегу.

— Вот елки, а дубов здесь нет. А льна тут никогда и не было. Я сам это сено косил.

Не было, так и не было, пошли обратно.

В Заселище мы с ним попрощались, теперь мне возвращаться той же дорогой одной. Было пять часов. Скоро начнет темнеть.

Солнце еще не зашло. По-прежнему все сверкало. Яркое небо без единого облака, желтые сжатые поля и лиловые пашни.

Местность была холмистая, видимость на все стороны света, необозримые поля прерывались перелесками, на горизонте стояли стеной темные леса. Захватывало дух от простора. Кажется, именно здесь продолжают отроги Валдайской возвышенности.

Я уже давно прошла мимо бочки, как ее называли в деревне, тоже считая важной приметой эту ржавую цистерну, вдруг раздался дикий протяжный вой. Он дробился и переливался по полям и перелескам, и казалось, что несется со всех сторон, как будто все новые голоса присоединяются к оголтелой стае.

Тут почему-то я подумала, что это никакие не волки, а удомельские охотники завывают на все лады. Вытье шло слева из лесочка за полем.

Ну вот, там подвывалы, впереди придурки стоят на номерах, а какая-нибудь волчица в самый раз выскочит молчком на голос, стрелок наготове, а я между ними.

Приехали тут выставять зверя на стрелков. Тут люди ходят! Эта дорога за хлебом!

Наступила пауза. Ретивый вабельщик откашливается там в шапку, стоя на коленях и припав к земле, другие подвывалы разминают уставшие шеи, снова запрокидывают головы!

Снова завывли!

Сначала гнусаво, потом громче, забирая все выше и выше. Заунывные голоса наполняли лощины, острова и поля, летели вдаль и переливались за холмы.

Гимн великой волчьей столице был бы и вовсе леденящим, если бы не был подделкой.

И тут я набрала воздуха и прокричала громко и протяжно:

— Эй вы, падлы, заткнитесь! — крикнула и удивилась своему голосу — с какой силой его подхватило и понесло по великолепным просторам, и они разом замолчали, и только самый последний из прибылых замешкался, отстал и в общей тишине отчетливо прозвучал его щенячий голос с визгливым взлаиванием. Наступила тишина. Вот этот неуклюжий на толстых лапах и дал понять — никаких подделок, все самой высокой пробы!

Это было обычное вечернее вытье всей семьей, расселись в кружок, задрав головы, можно сказать, под абажуром, волчий домострой по неизменному расписанию!

Царская охота

День рождения Владимира Федоровича Голубева, старого лесника из Котлована и заядлого охотника, совпадал с началом открытия весенней охоты. К этому времени я обычно старалась приехать.

Бывало, мы ходили зимой на зайца с его собакой Заливаем, бродили и осенью, высматривая тетеревиные кормежки, прислушивались к ложным токам. Были у него и черные суконные чучела тетеревов, сшитые еще дедом, с красными бровями и бусинками-глазками. Пару таких чернышей прибивают на березу повыше и устраивают шалаш.

Но, конечно, больше всего он любил охоту на глухаря.

— Приезжай весной, и я покажу тебе царскую охоту, пойдем на глухариный ток, никто этого места, кроме меня, не знает.

Ночной костер на краю глухого мохового болота, где в три часа ночи начнет токовать глухарь.

Где бы я ни была, как только начнутся эти светлые апрельские зори, появится первая вечерняя звезда на светлом еще небе или пролетит самолет — с тем особенным ровным, мощным, но далеким гулом (не такой, как в городе, — рев взлета или посадки) — я сразу душой там, на Ершовом болоте.

Он умел вскипятить чай почти на ходу, несколько веточек, рогатинка — и уже кипит котелок, готов крепкий чай, особенно необходимый, когда ты уже клюешь носом и еле бредешь.

Неутомимый ходок — за ним было трудно угнаться и в начале пути.

— Ты как осенний жеребенок, — говорил он.

— Почему?

— Я же тебе говорил!

— А я забыла!

— Осенью он сытый, ленивый и еле плетется за телегой.

Однажды, напившись чаю его приготовления, я показала прутья. Мы возвращались с глухариного тока. С нами была легкая на ногу вакаринская барыня, утром по пути с Ершова болота мы ненадолго к ней зашли, и Владимир Федорович пригласил ее в гости:

— Пойдем, Лена, в Котлован, погостишь у нас, ветчины нашей попробуешь, Александра Васильевна тебе молока плеснет, домой принесешь. У тебя бидон есть?

И вот я, только что до этого засыпая на ходу, так приободрилась, что быстро припустила вперед и громко запела:

— По Дону гуляет!

Я орала на весь лес все громче и громче и шла все быстрее. Они остались далеко позади.

Я уже почти пропела длинную песню, когда он мне что-то прокричал.

Я не расслышала, но решила, что наддай, мол, еще, и прибавила крику.

Наконец перед развилкой я остановилась, поджидая их.

— Ты не слышала, что я тебе кричал?

— Нет.

— Ведь за тобой медведь шел! Он меня увидел и свернул вон туда!

Утка, тетерев и глухарь — вот что было в наших рюкзаках!

Бывало, приезжала в Астафьево, останавливалась у своих и сразу бежала в Котлован к Владимиру Федоровичу.

Его уже нет в живых.

А вакаринскую барыню депортировали за антисоветскую пропаганду. Будто бы сказала она: «Живу хуже, чем в Америке!»

Интересно, кого она агитировала? Как далеко могли зайти ее пропагандистские усилия? Кабаны, волки, кроты?

С темными массами кротов проводить работу не имело смысла. Кроме картошки, не крупней лосиного помета, ничего другого у вакаринской барыни найти было невозможно. Пока они вслепую хрустели на ее огороде, кабаны в который раз перепахивали пригорок, на котором стоял ее дом. Кроты были свои, поколениями возросшие на ее картошке, кабаны тоже топтали привычные тропы, зато волки случались всё какие-то проходящие, не отвлекались на бессчетные вереницы местных кабанов, куда-то они двигались поближе к настоящему жилью, и когда она, стоя на своем угоре на вечерней заре и приложив ручку ко лбу козырьком, заслоняясь от все еще яркого света (опять подмораживает), пересчитывала свою паству и начинала: «Возлюбленные братья! — редко кто задерживался, чтобы дослушать ее речи. — Взгляните на мою лачугу! Она скоро рухнет! Живу хуже, чем в Америке!»

Не иначе как о ее настроениях судачили бобрики, удачно расселившиеся на гаврильцевских ручьях. Их плотинки и точно спроектированное водохранилище показала мне жена бригадира из Гаврильцева, урожденная Лермонтова, отец которой получил свою знатную фамилию в награду за успехи в учебе в день окончания семилетки.

Хранили тайну вакаринские лисички, они вообще много знали, эти сильно облезлые, куцые летом огневки, особенно после того, как в лесу около Вакарина нашли мертвым одного пропавшего без вести старика из Дора, который однажды жарким летним вечером вышел ненадолго из деревни за смородиновым листом и не вернулся. Его нашли через три недели, и почему-то на нем не было ничего,

кроме рубахи. Кажется, это было в знаменитое лето пожаров и засухи. Никаких признаков насилия замечено не было, все как будто было при нем, кроме некоторых частей.

Потом припоминали, что еще в войну, будучи председателем сельсовета, собственноручно застрелил он какого-то всадника, который ему встретился у деревни, будто бы цыгана, крикнул он ему: стой! а тот не остановился, тогда-то и фуганул из винтовки.

Однажды, когда мы возвращались с глухариного тока, Владимир Федорович показал мне то место, где его нашли, и увидели мы там в густой траве какую-то затравленную лисичку, до того облезлую, как могут казаться куцыми только настоящие лисы весной. Это жалкое линялое создание даже не убегало и, казалось, тшилось нечто сообщить.

Осенью того же года Зорька там же, у Вакаринского пруда, наткнулась на дохлую лисицу с отъеденным задом, и Владимир Федорович снова вспомнил, как не по-людски умер этот председатель сельсовета.

Итак, давно уже в Вакарино никто специально не направлялся, до одного события, после которого была организована специальная группа, наделенная особыми полномочиями.

А пока, было это за год до Чернобыля, на Калининскую АЭС приезжало начальство из министерства, и вот местные товарищи повезли москвичей на охоту, а был среди них, кажется, сам министр, известный своей меткостью, — в окрестностях Припяти он уложил лося. Царская охота, оснащенная тяжелой техникой, выехала из Удомли и отправилась в район, а куда — на самый край, в медвежий угол.

Это была знаменитая охота, надолго запомнилась она жителям Пашнева, Гаврильцева и Ледин своим размахом, смелостью, с которой катилась она прямо по полям и сенокосам, а в ее участниках отмечали особую, что ли, отборность и спаянность.

«Приехали начальники, морда к морды», и надо же было так случиться, что не миновали они Вакарина, упал все же начальственный взор на ее избушку, а может, даже и на ее, как всегда, четкую прорисовку на угоре, почему бы ей и не выйти, как всегда, на вечерней заре оглядеться, эх и угораздило тебя, лезла бы ты, бабка, лучше в подпол да и огонь в печке залила бы поскорее, чтобы ни дымка над деревней, — да полноте, какая деревня, один дом, скоро совсем повалится — а вот такая!

Отборные охотники, один к одному, уехали, а по районным кабинетам пошла гулять фраза «живу хуже, чем в Америке». Кто ее сказал — не установить, скорее всего кто-нибудь из свиты, тоже человек не последний, звучала она вначале, конечно, немного по-другому — «живет хуже, чем в Америке».

— Кто такая и почему здесь? Принять меры!

В каком смысле начальственная мысль направилась в сторону аналогий с Америкой? Что при этом имелось в виду: запущенность жилья — для этого и слова есть специальные — лачуга и трущоба; в русском языке они чаще всего употреблялись по четвергам, когда настаивал единый политдень; живет как на дальнем диком Западе? — не то первый поселенец, не то последний из могижан.

— Да, кстати, что у вас там с Вакарино? Еще на балансе? Есть житель? Принимайте срочные меры и чтобы к июлю на планово-бюджетной комиссии отчитались!

Расспрашиваешь, кто где жил раньше, и оказывается, что пережито не одно переселение. Раскулачивали, выселяли, стогнали с хуторов, или, уже в самое последнее время, случалось перебираться в другое место: на центральную усадьбу, в соседнее хозяйство, рабочее предместье или город.

Границы населяемого мира отодвигаются, и ты, чтобы не оказаться в эмиграции, должен покорно оставаться внутри них, под надзором.

Отказываются продвигаться вслед несогласные, отстаивающие свою независимость.

Удивительно сопротивление этой всеразрушающей центростремительной силе, этому расчетливому сосредоточению, примеры стойкости, хотя и очень редкие.

Настал черед снарядить специальную группу, уговорить, пообещать даже квартиру в Котловане.

Поздней осенью по подмороженной грязи отправились: директор совхоза — красавица с тяжелой рукой, участковый, председатель сельсовета («предупреждали нас на учебе — берите осторожнее») и кто-то из котлованской больницы.

Красавица смело проходит вперед, усаживается на лавку под окном, остальные теснятся на пороге. Ну почему бы в самом деле ей не перебраться в Котлован, вот директор обещает квартиру (неужели правда? — нет, это мы так сказали, чтобы она согласилась, только чтобы ее оттуда забрать).

— Как же тебе не страшно, бабушка, ведь кругом лес, мало ли что? — И решительная красавица поворачивается к окну.

— А у меня топор есть! — отвечает ей скорая на язык тараторка. — А я вот так! — И она поднимает топор, невесть как оказавшийся у нее в руках. — Вот я тебя сейчас! — И она замахнулась на директора совхоза.

Тут дипломатическая часть визита прерывается, но к захвату ввиду вооруженного сопротивления группа не переходит, парламентарии отступают, замыкает шествие участковый, взбираются кто в прицеп, а кто в тесную кабину тягача на гусеничном ходу, где так славно смягчает все толчки теплый трактористский бок.

Так едут они до Ледин, потом пересаживаются в директорский «уазик» и благополучно добираются до Котлована.

Возвратились ни с чем, но побеждает хитрость и тактика.

Ровно через месяц, а в дне выдаче пенсии она никогда не ошибалась, прямо с почты ее удалось заманить в котлованскую больницу, ей наврали, что невесть откуда взявшаяся племянница сломала ногу и лежит здесь в больнице, быстренько у нее забрали пальто, велели снять валенки и даже чулки (смотри — снега набрала) и все спрятали.

Тем временем составили заявление от ее имени с просьбой определить в дом престарелых и сами же за нее расписались.

В тепле, чистоте и накормлена, чего еще, но она все повторяла, что ей надо домой, что у нее сено и скотина.

Через двадцать дней ей удалось сбежать, и она вернулась в Вакарино.

Зимой в Котлован она приходила на лыжах. Однажды в метель она сбилась с пути, заблудилась, два дня бродила по лесу. Как она потом рассказывала — ночевала под елками. «Лыцари лоси кругом. Звери меня не тронули». Утром ее нашли на делянке лесорубы и привезли в Котлован. И она снова попала в больницу — посушиться-полечиться, но к тому времени, по-видимому, освободилось место в психоневрологическом интернате на Мсте, и она оказалась среди тех, кто не может сам себя обслуживать. Это она-то!

Да пусть вся молодежная экспедиция на Северный полюс поживет в ее избушке зимой, без радио и света, и все батарейки честно оставит дома, посмотрим, как точно любой из них ответит — какое сегодня число!

День, когда упал «Челленджер»

О бабе Нюше из Бардаева рассказывают, что в тридцатые годы, когда разорили ее семью, а отца увезли, она дала слово навсегда остаться в Бардаеве; что живет она одна в лесу; будто бы есть у нее ружье, из которого она стреляла поросенка — некому резать, и что дом ее сторожит строгая корова, а в избу к себе хозяйка никого не пускает.

Где расположена бывшая деревня Бардаево? На карте, имевшейся в моем распоряжении, найти я не смогла. Дело в том, что до последнего времени система картографии у нас была разработана так, что часто карта служит для дезориентации тех, кто обращается к ней.

Однажды мне понадобилось проследить путь одной речки, Съежи, которая протекает по территории обитания моих героев. Река достаточно известная. Вытекает она из знаменитого Удомельского озера.

Вот меня и заинтересовало, куда попадает вода из озера, превращенного в пруд-охладитель действующей АЭС, и ни на одной карте точно установить это было невозможно.

Вся эта земля оказывается засекреченной, и частное путешествие, предпринятое по личным нуждам, находится как бы вне закона.

Как добраться до Бардаева?

Казалось бы, ну что может быть проще — вот почта, куда жители окрестных деревень приходят за пенсией, вот магазин, куда они должны совершать каждо-

дневный путь за хлебом, но часто случается, что пути эти делаются непроходимыми, как в деревне Заселище, там уже просто никто не ходит в магазин, старикам и старухам, которые остались в этой деревне, не осилить дорогу к хлебу. Им его привозят даже не на машине, а на гусеничном тракторе, и если все же удастся кому-то пройти, то не исключена встреча с волками, как это случилось со мной не так давно, в День Конституции 7 октября, когда мне пришлось даже каким-то образом урезать права одного почтенного волчьего семейства, которое мирно под вечер перекликалось невдалеке от своего логова, они его устроили в том году почти что у дороги, сочтя это место достаточно глухим.

А в Липнах ушел старичок в лес. Уже коров пригнали — лычагу собрать сказался, ненадолго — и пропал, не вернулся. Полтора года прошло с тех пор, так и не нашли.

Если помер бы — то нашли, если медведь задрал — то шапка бы осталась, если утонул — то куда бы да вынесло, да и зачем ему в воду лезть. Всей деревней ищут по сей день. Вот какой там у них лес.

А Бардаево еще дальше, за Липнами.

Баба Ньюша живет там, где раньше была целая деревня, как это выглядит теперь — небольшое поле, посредине ее дом, и кругом лес на многие километры.

Как-то она вспомнила — бабы ее спрашивали, как же она тут живет, не страшно ли ей.

— А если кто постукочится?

— А постукочится и уйдет.

Бабу Ньюшу сбить с толку трудно. Даже забежавший волк, который долго ошивался возле ее дома, не мог помешать ее огородным работам.

— Копаю я огород. Бежит волк. А я думала, собака. И говорю: «Не знаю, нет, собака, нет, волк. Весь сивой». Я вышла из огорода, разверла заворницы и вышла. Куда, я говорю, идешь? А он не понимает и опять бежит сюда. Я его опять остановила. Он остановился и смотрит на меня, потом побегал к байны, сел на дороге у байны и сидит. Я туды к нему подвигаюсь, он отбежал к болоту у елки, сел и сидит. А я и говорю: «Сиди! Мне некогда с тобой разговаривать, мне надо огород копать».

Когда она говорит волку: «Сиди, мне некогда с тобой разговаривать, мне надо огород копать!» — это разговор с соседом. Такие у нее соседи. Не болтливые соседки.

Однажды медведь чуть было не поссорил бабу Ньюшу с ее новгородской ровесницей Маришей.

— За брусникой я была сошотцы. Набрала я корзинку. Вдруг с левой и правой стороны свистки. Пришел народ, а я боюсь, прикорчилась за лесинки и все лежа брала бруснику, чтобы добрать корзинку и идти домой. Народ так и кипит. Мужичье. Свищут. Добрала я корзинку, и все шла по болоту, боялась я этих мужиков. Тут попалась мне клюква. Крупная, чернехонькие кочки. С избу местечко. Я разостлала платок и все в платок стала сыпать. Набрала килограмма два, а всю клюкву не обрала и говорю; это я завтра приду и наберу. Я иду с клюквой, стемняется. Вдалеке вижу: не то человек, не то медведь. Я и говорю — не знаю, кто там. Это, я говорю, Мариша, наверное, берет ягоды, а меня не взяла. Подхожу близко: «Эй, давай пойдём, хватит нам!» А он опустился вниз и давай воду в канаве пить, и вода булькала. Я и пошла мимо него по тропочке. Во, Мариша вспотела, ягод бравши, ужарилась, что в канаве воду пьет. Потом я пошла к Марише, к подружке, и спросила — это ты шла с ягодам, а меня не взяла, ты на Гладкий Бор ходишь, мне ничего не скажешь. А она мне и сказала — что ты, Ньюша, я позвала бы тебя.

Мариша, я догадалась, — так это медведь!

— Дубом шел, большущий, высокий, что человек с горбышкой, горбышка, как котомка, подвешена. Ягод наелся и пить захотел, пошел в канаву пить. Если бы я на него наткнулась, он тронуть бы не тронул, а испугаться — испугался бы.

Вскоре она с ним снова встретилась.

— Это у меня на муравьев были бутылки поставлены. Подхожу я, а там медведь мои бутылки раскидал и в муравейнике роется. «Ах ты черт! — кричу ему. — Сейчас старух напугал и меня тоже напугать хочешь!» Как он бросился прочь, как я его гнала по этому шелепнику! «Держи, держи!» — я кричу.

Никто в точности не знал, как попасть в Бардаево.

Где-то там, за Липнами, работают лесорубы. Каждое утро мимо Астафьева проходят лесовозы, и я могу поехать в ту сторону.

Тебя высадят где-то там, а дальше иди сама, ищи ее дом; а если баба Ньюша ушла к подруге в Новгородскую область, что тогда будешь делать одна в лесу — это был конец января и морозы были под двадцать пять градусов.

В шесть утра я стояла на краю деревни. Показался лесовоз.

Была еще полная ночь, километры зимней дороги — лес, проезжаем совершенно еще темные деревни, снова лес, и тут где-то на развилке машина останавливается, и показывают сворачивающую в лес дорогу.

Еще не рассвело, машина уехала.

Идти в темноту? Лучше вернуться, пойти в деревню, которую только что проехали, и постучаться в какой-нибудь дом, дождаться рассвета и поточнее расспросить о лесной дороге.

В предпоследней избе как будто мелькнул свет. Мне открыла хозяйка, я объяснила, куда я и зачем; ну, проходи в дом, грейся у печки.

Было включено радио, тут мы услышали, что взорвался американский корабль «Челленджер». Мы ждали сообщения о судьбе экипажа, но это была короткая утренняя информация.

Хозяйка позвала обедать, хотя было восемь часов утра, она сказала именно — обедать, отведайте наших крестьянских щей, — и действительно были налиты кислые щи из серой капусты — крестьянский обед в восемь утра перед отправкой в лес.

Хозяин проводил меня, опять я прошла всю деревню, через мост, через злополучную Съезу, он предупредил, что впереди много развилки, и вручил мне увесистую дубинку, сказал — от волков.

Поскольку наезженного пути нет и можно запутаться в полевых колеях, мы решили, что я прямо вот так в лес не отправлюсь, а пойду до другой деревни, где мне, возможно, удастся сговориться, чтоб довезли к старухе — бабе Ньюше, как они ее называли, — на лошади, если будет точно известно, не заметена ли дорога и сохранилась ли вообще. Никто кроме нее по этой дороге не ходит, а сама она уже целый месяц в деревне не появлялась, и даже если и прошла, то следы ее заметены.

Итак, ты продвигаешься в нужном направлении? Путь туда не прямой, ты попадаешь к совершенно чужим людям, ты смело стучишься в любой дом, ты замерз, ты голоден, тебя должны обогреть, накормить, тебя должны, так сказать, наставить на путь. Та, к кому ты идешь — все ее знают, — для них своя, и ты тоже делаешься как бы включенной в их родню.

Вот я иду уже целый час по этой дороге, иду совершенно в сторону от Бардаева, меня нагоняет грузовик. Махать не надо, шофер сам останавливается, спрашивает, куда направляюсь, отвечаю, что к бабе Ньюше, он задумывается, как мне помочь, и сообщает, что сейчас мы поедем вот до такой-то деревни, там он меня оставит, — скажешь, что от меня, от дяди Вани, — мне надо будет его подождать до обеда, а после он за мной заедет и ему удастся меня даже туда свезти.

Не успеешь войти, а тебе предлагают сначала посушить валенки, потом забраться погреться, и вот ты уже спишь на незнакомой печке, в какой-то избе, третьей с краю.

Хозяин са куда-то уходит ненадолго, за водой, кажется, ее муж где-то тут неподалеку ловит рыбу, она возвращается, печет пирожки, стучится дядя Ваня, меня снабжает пирожками и гостинцами для Ньюши.

Мы едем с дядей Ваней, он спрашивает, а как вы узнали про нашу бабу Ньюшу, такой вопрос мне уже задавали, им как-то не представить, что где-то в Ленинграде про нее знают.

Чувствуется, что у них какое-то свое, особое отношение к ней, что она занимает важное место в их жизни, и ты догадываешься, что являешься свидетелем какой-то сокровенной ее стороны, а для них твое желание повидать бабу Ньюшу — знак твоей причастности к этой потаенной жизни.

Добровольное отшельничество. Жизнь одинокой старухи в опустевшей деревне. Мы говорим об отшельнике, о человеке, ведущем одинокую жизнь.

Моя героиня живет без радио и электричества, в отдалении от населенных пунктов. И эта отдаленность не выражается в широте и долготе: она живет не в тайге, не в Сибири, а в одной из областей Центральной России.

Хотя ее дом и находится почти что в тридцатикилометровой зоне АЭС, а над ее огородом проходит оживленная авиалиния и недалеко узловая станция, расположенная точно посередине между Петербургом и Москвой, но тем не менее можно сказать, что живет она в глуши, заброшенности, на краю земли.

В стране, где все подчиняется центру (речь идет не только о Москве, но и о каждой последующей единице — областном центре, районном центре, центральной усадьбе колхоза или совхоза), — к периферии власть ослабевает. Возникают административные прорехи. Эти земли наименее обозримы из центра, они как бы выпадают из его поля зрения. В результате такого административного зияния образуется ниша, в которой существует особое пространство и время. Только здесь возможен феномен современного русского пустынножительства.

Моя героиня живет на краю области, на краю района, на краю владений совхоза, то есть в тройном удалении, и потому ее местожительство не только пространственно уникально, но и отсчет времени здесь другой — это 30—40-е годы, здесь сохранился быт тех лет, и хотя бой часов Кремлевской башни распространяется на всю страну, тут он не слышен, он сюда не доходит.

Образ жизни у нее традиционно крестьянский, она подчиняется тому же ходу вещей, тому же крестьянскому календарю. И хотя год за годом хозяйство ее сужается, все равно все дни ее заполнены, все равно она живет в этом распорядке земледельческого цикла.

— У меня как будто семья какая. Все мне некогда!

Теперь у нее есть только картошка, лук на огороде и кот в доме.

Заправский отшельник непременно стремится к возможно большей независимости от мира, он даже гордится автономностью своего существования. Такого рода гордостью наделен Робинзон Крузо и ее же испытывает автор «Уолдена, или Жизни в лесу».

С некоторой снисходительностью Торо относится к бедному соседу-фермеру, ирландцу, который, несмотря на свой каторжный труд, не может предложить гостю чистой воды. Гость богаче — у него целое озеро.

Утвердилась в своей горделивой независимости и моя героиня:

— Я одна, а посмотри в деревне, как они колотятся.

У нее есть свой ключ, находится он в достаточном удалении от ее дома, где-то на опушке леса, но она не спешит его показывать. Я заметила это, когда вначале вызвалась принести воды. Как я поняла, она этот родник таит.

Так случилось, что весть о гибели «Челленджера» прибыла в Бардаево вместе со мной.

— Американский корабль с космонавтами упал в океан.

— Акула-рыба разобьет этот самолет и всех съест.

Единственным образцом печатной продукции в доме, во всяком случае лежащим на виду, был клочок старой газеты на подоконнике, она хранила его. Там была фотография разгона демонстрации и ареста ее участников в какой-то западной стране: полицейская дубинка в замахе, кого-то волокут по земле, кому-то заламывают руки. Тогда такие материалы во множестве еще у нас печатались, своими дубинками еще не обзавелись да и демонстраций еще не было. Фотография вызывала у нее слезы и сочувствие.

— Я смотрю и плачу, — говорила она мне.

Эта сцена насилия напоминала ей время арестов и разорения, когда ее семья лишилась земли и имущества, была раскулачена вся ее родня; когда, как она рассказывает, на тех, кто не шел в колхоз, «сумкам об стол хоботили»; когда «друг на дружку клеветали», чтобы завладеть добром соседа.

— Вот живет он бедно. А ты работаешь. А он шатай-валяй работает. Вот он и пойдет клеветать из-за сапог. На черном вороне приедут, оберут и увезут.

— Славный был живодец, — вспоминала она об одном из таких завистников-доносителей из соседней деревни. — Их там целая шайка была — они напишут, и людей забирали. У этих чиновников поозоровано, они, чиновники, все с сумками ходили, с портфелями. Ох, все-таки зла у людей!

И вот когда весь жизненный уклад был сломан, отвергнув соблазн примирения со злом или оправдания его, она как бы берет на себя, заключает в себе скорбь народа о собственном бессилии и озверении.

— И сделалась мне печаль — уйти от людей,— так объясняла она мне то, что постепенно вызревало в ее душе.

Духовная сила моей героини выразилась в ее сорокалетнем отшельничестве. Чтобы противостоять безжалостной власти, она должна была лишиться себя тех пусть и жалких благ, которые уже не могли быть у нее отняты.

Осознавая народное бедствие, столь глубоко отразившееся и на ее семье, как ниспосланное испытание, она говорит о «бывшей ей печали — уйти от людей», понимая свое отшельничество как указание, печальную ей весть свыше. Возможно, что это понимание близко к такой, угаданной в свое время, черте народного религиозного сознания, как покаянная жертва, способность жертвовать собой «ради высшей правды».

Ход времени для нее настолько замедлился, что оно как бы совсем исчезло. Свою жизнь она превратила в одно бесконечное ожидание.

«Беспорядица», «беспорядие» — ее скорбная оценка того, что происходит в пределах досягаемости отшельнического уединения, для нее это как бы знаки самораспада временно торжествующего зла.

Народ выжил. Об этом она рассказывала почти как о свершившемся пророчестве:

— Они думали, что никогда не помрут. Мы посадим людей, так люди-то и умрут скорей; а люди-то, которых сажали, они и сейчас живут, а кто озоровал, так он уж давно зарыт.

Примирение невозможно ни с ними, ни с их наследниками:

— Вы ведь давили нас, я к вам не поеду. У меня здесь своя родина, своя родная сторона.

И кажется моей героине, что ее ожидания начинают сбываться, как бы настали сроки и вершится справедливый суд. Вот она дождалась смерти своего заклятого врага, одного из главных разорителей ее семьи, который «пошел косить, да один прокос сделал, да косу положил и в больницу — там ревил, жить хотел». Смерть подстерегает его в поле, именно за работой — нет и не может быть благословения его крестьянскому труду, а она «по-прежнему трудится, ей Бог помогает».

Печать проклятия лежит на всей деятельности разорителей, прошлых и нынешних:

— В деревне были такие люди, а потом они на этой земли-то, эти люди, повоевали. Теперь воевать нечего, выворочена земля с желтышом, теперь земля отошала и сами, как черти, в Удомлю уехали, им там каморки дали. Вот иду я по Удомли,— продолжает она,— и говорю: «Во проклятое-то место, и как здесь только люди живут». Да место-то, может, не проклятое, а начальство проклятое!

Но и народ, считает она, не смог избежать в какой-то степени этого проклятия:

— Народ сам себе враг. Народ худой в деревне стал, озверевший, и землю дадут — не будут работать, а вот сын мой, он несколько бы не испугался земли. Скоро совсем все запустеет,— пророчествует она.

Когда я возвращалась от бабы Ньюши, дядя Ваня вывез меня из леса и оставил на развилке дожидаться лесовоза, на котором я должна была добраться до своей деревни.

Та же хозяйка избы, где я утром спала и отведала пирожков, зовет меня, зачем вам стоять, идите в дом, когда еще этот лесовоз пойдет, а я говорю, как же, я могу пропустить машину,— а от нас все видно,— мы входим в дом, она меня подводит к окошку, говорит, у нас одно место, откуда мы в окошко и смотрим, и оказывается, что это не просто место у окошка, хозяйка его начинает готовить. Меня усаживают прямо на телевизор, огромный такой, с большим экраном, а телевизор стоит на высоком столе, и под ноги стелют рогожку, и предлагают взгромоздиться сначала на стол, потом на телевизор, прямо под образа.

Как же так, в такое место, в красный угол; это место тем и хорошо, мне показывают, куда смотреть, там дорога, показывают куда-то далеко, где как раз ползет трактор.

И вот я сижу где-то под потолком и смотрю. Сиживали на печке, на полатах, на лежанке, а на телевизоре восседать не приходилось.

Сижу в смущении от такого невольного почета, аккуратно поставив ноги на стол, время от времени переговариваясь с хозяйкой, которая в кухне за занавеской жарила рыбу, но отведать ее я не успела, потому что показалась машина где-то в чистом поле.

Скитаясь по зимним дорогам, ты как бы превращаешься в странника. Все как бы происходит помимо тебя. Ты полагаешься на случай, и хотя вроде бы получается, что отдаляешься от цели и образуются какие-то непреодолимые преграды, ты продвигаешься в нужном направлении, попадая все к новым и новым людям. Это и есть странноприимческая традиция, которая сохранилась. Где-то она, может быть, полностью исчезла, и это дает основание кому-то говорить, что деревня умирает. Но до тех пор, покаходишь в любой дом и знаешь, что тебя обогреют и примут, можно утверждать, что деревня жива.

Первый раз я встретила с бабой Ньюшей зимой, и с тех пор, приезжая в те места, я бываю у нее.

— Ты на самолете летаешь? — спросила она, когда я летом снова приехала к ней. — Я весной огород копаю, а самолет летит потихонечку, а я гляжу, не там ли ты, на меня смотришь. Вспомнишь про меня, приедешь домой, расскажешь.

Она не одинока. Нельзя сказать, что ей не с кем поговорить, не с кем слова сказать.

Вот она обращается к лесу:

— Здравствуй, мой жаланый.

Вот укоряет кота:

— Я другой раз скажу коту: «Сидишь, Вася, на печке, шел бы за водой!»

Вот она бранит самовар, который долго не закипает:

— Ну что так долго, пес! Вздумал пар итить!

Дикие звери у нее почти ручные:

— Копаю я огород. Стоит лось, у елки тут недалеко. Вышла из огорода, поглядела. Так и блестит весь, гладкий. Я говорю: «Лосик, лосик, иди сюда». А он стоит, поглядел, поглядел на меня. Я ушла.

Звери ее не трогают, а наоборот — приходят, тянутся к ней, вот-вот заговорят. Как будто не прошли времена, когда отшельники разговаривали с дикими смиренными зверями. Лев, занозив лапу в зарослях тростника на берегу Иордана, приходил за помощью к отцу Герасиму, а оптинский старец Нектарий, у которого был кот необычайных размеров, говорил:

— Отец Герасим велик, у них лев, мы же малы, у нас кот.

— Своя родина, привыкла, и по лесу пойду — везде знаю,— говорила мне баба Ньюша.

Никто здесь просто так по лесу не ходит. Баба Ньюша предпочитает «прикорчиться за лесинки» и лежать бруснику, чем попадаться на глаза пришлому народу. «Навалилась котлованщина» — как она однажды сказала. Зато она не отказывает себе в удовольствии послать вслед удирающему медведю заливиное классическое охотничье улюлюканье.

«Народ так и кипит. Мужичье. Свищут». Да еще свистки слева и справа. Почему она боялась? — кстати, первый и единственный раз услышала я от нее это слово. Невообразимый шум, поднятый в ее лесу, возможно, ей показался и вовсе невыносимым, привыкшей к одиночеству и тишине.

По-видимому, и «котлованщина», очутившаяся в этом глухом лесу, чувствовала себя не очень уверенно и подбадривала себя чрезмерной шумливостью и ох как боялась отстать от своих и заблудиться в чужих местах. Чем глуше был лес, тем громче свистели эти мужики.

Боязливая котлованщина быстро схлынула, но уже в сумерках возникла какая-то фигура, куда более понятная и спокойная, занятая тем же самым делом, с такой же котомкой, в надвигающихся сумерках нетрудно и перепутать, все заняты запасами на зиму — у кого в загорбке отложен жирок на зимний сон, у кого короб за спиной на зимнее пропитанье.

Тут в пору и посмеяться над незадачливой Маришей, которой не приходилось, кажется, слышать о знаменитых увещеваниях, охлаждающих пыл влюбленных женщин, которым предписывалось никогда не пить из канав и луж. Хорошо

Марише на исходе дня предательски хлопыстать водичку, стоя по колено в канаве, а потом забраться в ельник и спать, перед тем как отбыть обратно в свою Новгородскую область.

Итак, баба Ньюша обозналась. Она приняла встретившегося в лесу медведя за ивишевскую Маришу, которая иногда заходила за ней, и они отправлялись за ягодами. Случалось, что баба Ньюша гостила в Ивишеве, которое находилось за речкой, но относилось уже к другому району и даже к другой области.

Понятие границы завораживает. Что-то есть необъяснимое в стремлении хоть краем глаза взглянуть на сопредельную сторону.

В ясную погоду где-то с какой-то горы за Батуми, говорят, можно увидеть Турцию, а с песчаных дюн вблизи Тойлы кто-то видел очертания Финляндии.

Чтобы покончить с границами, скажу только, что нам с бабой Ньюшей не пришлось подниматься ни на какую гору, чтобы увидеть сопредельные земли.

По тропинке мы подошли к речке, скорее даже ручью и остановились перед ветхим мостиком, на котором разлеглась змея. Гаденыш не то сиганул с моста в воду, не то перебрался под бревна, путь был открыт. Мы перешли мостик и ступили на Новгородскую землю.

За болотом виднелись крыши деревни. Все там казалось каким-то другим. Мы постояли, постояли и пошли обратно.

Читайте в 1992 году

ЛЕОНИД БЕЖИН

Усыпальница без праха (Александр I — Федор Кузмич)

Записки сентиментального созерцателя

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА

*

ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ (МУЖСКОЕ СЧАСТЬЕ)

Мужское счастье приходит летом, или поздней весной, или ранней осенью, когда тепло, вечером после работы.

Вас трое: одного ты хорошо знаешь, ты живешь с ним в одном подъезде и работаешь в одну смену, а другого видел пару раз в столовой и еще где-то. Одного зовут... Иван, а другого... Петр.

Для того чтобы оно пришло, вы ничего специально не делали и ничего не ждали и сейчас не ждете и не думаете о каком-то счастье — есть поважней о чем подумать, а просто решили выпить сегодня после работы, выпить захотелось, да к тому же сегодня получка была, как говорится — сам бог велел. И вы берете в магазине без очереди, когда в очереди стоят с бидонами и сумками женщины; они терпеливо ждут, только иногда покрикивают на вас, возмущаются, но так положено, и если бы сейчас стояли здесь ваши жены, они бы тоже ждали, пока вы возьмете без очереди. Наверняка... Вы берете две «белых», буханку черного хлеба, две банки килек в томате и пачки четыре плавленого сыра на сдачу. Колбасы нет, а то бы тоже взяли.

— Погоди, — говорит Иван, когда вы, расставив все по карманам, а буханку ты держишь в опущенной руке, идете от магазина. Тут за магазином сразу идут свои дома. В самом крайнем живет Иванова теща, ты знаешь это. Вы остаетесь у забора, Иван открывает калитку и, не заходя в дом, направляется в огород. Пес спросонок не разбирает, твякает, и Иван тихо и незло матерится, тот примолкает, виновато вертит хвостом и гремит ржавой цепью. — Старый хрен, ослеп совсем, — ворчит Иван и идет дальше.

Но теще и этого достаточно, она у Ивана слышит хорошо и видит тоже. Она уже на крыльце, но и Иван уже на грядке. Он как бы случайно поднимает голову и, не разгибая спины, бросает:

— Здоров, мать...

— Здоров, здоров, — передразнивает его теща и начинает поливать. Но Ивана этим не проймешь, он спокойно продолжает свое дело — выдергивает лучок вместе с головками и редиску. Редиска еще молодая, поздно теща посадила, что ли, листья обрываются и остаются в руке, а сама в земле. Тогда Иван отбрасывает листья в сторону, спокойно выковыривает редиску пальцем. Вы стоите с Петром, смотрите на Ивана и слушаете, как поливает теща.

— У м-ме-е-ня т-т-теща не такая была, — говорит Петр. Он, оказывается, заикается, и, когда говорит, у него дергаются жилы на длинной кадыкастой шее. — Я к ней п-при-и-хожу, говорю: м-м-ать, выпить охота, а Зинка денег не дает. Зинка — эт б-баба моя... Т-так она враз в погреб, приносит б-б-бутылочку своей, огурчиков соленых, ка-а-апустки, а к-ка-артошка всегда на печке. Сяду я, налью ст-та-а-кан, выпью, за-а-кушу, а она, — голос Петра напрягается, видно, теща у него и впрямь хорошая, — сядет на-а-против меня, голову к-кулачком подопрет и смотрит. Кулачок у нее маленький, сама она сухая была старушка, Зинка не в нее пошла... — Петр замолкает, укоризненно и расстроено глядя на Иванову тещу, которая продолжает поливать. — Я пью, а она и говорит: «Дура Зинка, ежели мужик хочет выпить, он все равно выпьет. Так пусть пьет дома. Здесь и закусит хорошо, и валяться нигде не будет». П-правильно же? — спрашивает Петр и заглядывает тебе в глаза.

Ты киваешь и, покусывая травинку, смотришь на Ивана. Он поднимает колючие огуречные листья, ничего не находит и что-то говорит, но отсюда не слышно.

А Петр продолжает. Он сегодня уже вроде выпил. Пахнет от него. Не любишь ты таких вот дергающихся зайк.

— Т-так я, б-б-ы-вало, так напысь, что она меня д-д-о-мой приводила или у нее оставался спать. Зинке только скажет, что я у нее остался, я — сплю. А утром еще и опохмелиться даст. В-в-о-от честно, не вру,— заканчивает Петр, сбитый с толку твоим невниманием.

Да ты веришь ему, была нужда ему не верить... И, продолжая поглядывать то на Ивана, то на его тещу, спрашиваешь:

— Жива?

— Кто? — спрашивает Петр, не ожидая вопроса.

— Теща,— поясняешь ты и смотришь на Петра.

— Померла,— говорит Петр,— в п-прошлом году похоронил.

Иван вроде закончил: в руке у него толстый пучок лука, зеленые перья опустились к земле, только две или три стрелки торчат, а карман пиджака, набитый редиской, оттопыривается.

Он идет спокойно, переваливаясь с ноги на ногу,— у него походка такая, и еще уши торчат, ушастый он,— мимо тещино дома, мимо тещи, которая продолжает поливать.

— В-вот поливает! — говорит Петр с жаром, с интересом и радостно, навалившись грудью на изгородь, смотрит на Иванову тещу. У него вытягивается шея, еще больше выпирает кадык и приоткрывается длинный тонкогубый рот.

Иван идет к калитке, оборачивается, стоит и смотрит с минуту на тещу. Он, видно, хочет что-то сказать, и совсем даже неплохое, по лицу видно, но теща поливает как из пулемета и размахивает руками. Выражение лица Ивана меняется, он поднимает свободную правую руку и, приставив грязный указательный палец к виску, крутит им туда-сюда. Теща замолкает, она только втягивает в себя растопыренными ноздрями воздух от злости и сейчас, кажется, может взорваться. Но Иван не боится, он поворачивается к ней спиной, открывает калитку и уходит. И вместе с ним уходите вы.

— Теперь месяца два нельзя показываться,— говорит, вздохнув, Иван, почему-то поднимает голову и смотрит вверх.

Тебе немножко обидно за Ивана, хороший мужик, а тут такая дура житья не дает, Иван рассказывал уже, и сейчас испортила настроение.

Вы идете по широкой, набитой в траве дороге, ты молчишь, даже Петр молчит, не болтает про свою тещу, только зачем-то посматривает себе под ноги, как будто ищет что-то. И Иван молчит, приминая в душе обиду и вину за то, что старая кошелка настроение испортила. Он же первый спрашивает:

— Куда пойдём-то?

В столовую вы не пойдете, туда можно было сразу, только в такую погоду там сидеть в духотище неохота.

— П-па-айдем вон туда, за посадку,— показывает Петр рукой черт те куда. Он не торопится, он уже выпил небось... Но и вы, конечно, не торопитесь, только зачем в такую даль тащиться? Можно и здесь выпить. И вы останавливаетесь здесь. Рядом развилка местной железнодорожной линии, одна на одну шахту идет, другая на другую, только одна уже выработалась, а другая действует, здесь с Иваном и работаете. Перед вами на высокой насыпи — линии, с боков терриконы, сзади — дома свои с садами и огородами, а здесь — травка, и на нее вы бросаете сыр, консервы, хлеб, потом кладете бутылки.

— П-постой-ка,— останавливает тебя Петр, когда ты достаешь свой складной нож с одним большим лезвием и деревянной ручкой и собираешься открывать консервы. Он достает из бокового кармана пиджака аккуратно сложенную газетку и стелет ее на непослушной, упругой траве. На газете все как-то приятнее. Петр ставит два больших граненых стакана и чашку, разрисованную цветочками. Стаканы не хотят стоять, их валит набок трава, Петр их ставит, а они опять падают, и он отворачивается от них.

— Давай я открою,— обращается он к тебе и тянет руку за ножом.

Нет, ты не любишь таких вот дергающихся зайк, ты уже давно открыл банки, а сейчас нарезаешь толстыми ломтями сыроватый хлеб, сначала вдоль, на две длинные половинки, а потом, сложив их, поперек раз пять.

Иван сидит на корточках и трет редиску о траву, счищая с нее сырую теплую землю.

— Чистить неохота,— объясняет он, не поднимая глаз,— в шкурке самые витамины,— и сглатывает слюну. Вы знаете, что в шкурке самые витамины, и согласно молчите. А если бы это было не так, все равно спорить бы вы не стали. Сначала надо выпить, а потом можно поговорить и, может, заспорить даже, но вы сейчас об этом не думаете. Иван берет бутылку, срывает пробку, отбрасывает ее в сторону, наливает водку в стакан, в чашку и последнему себе в стакан. Он разливает с таким расчетом, чтобы выпить бутылку за два раза, и вы смотрите не отрывая взгляда на прозрачную жидкость, называемую водкой; а покажите такого мужика, который в этот момент в сторону смотрит. Нет такого мужика...

— Ст-та-аканов только два осталось,— говорит Петр и, глядя с улыбкой на свою чашку, объясняет: — Из серванта выташил.

— Баба уши поотрывает,— говорит Иван и внимательно смотрит, чтобы не перелить. Он, видно, тоже не любит таких вот дергающихся зайк... Тогда зачем брал его с собой?..

— Не оборвет,— утверждает Петр. Но ты перебиваешь его, сказав самое значительное, что когда-либо говорят мужчины, слово, в которое они вкладывают столько смысла, чувств и своего знания жизни, что ни одному писателю этого не передать, но ты, конечно, не думаешь об этом. Ты говоришь торопливо:

— Ну, ладно, давай...

— Д-давай,— повторяет Петр, но ты его не слышишь, ты уже пьешь. Пьешь ты спокойно и уверенно, потому что знаешь, что не первая она и не последняя. И Иван пьет, как ты, ну не точь-в-точь, но похоже, хорошо пьет. А Петр, конечно, глотает торопливо, чуть не захлебывается, кадык у него дергается, нет, не нравится он тебе, но ты на него не смотришь и не думаешь о нем. Ты нюхаешь хлеб, берешь луковицу, жуешь ее с сочным хрустом, закусываешь хлебом и говоришь:

— Солички б.

— Хрена у нее получишь, а не солички,— говорит Иван. Он тоже хрустит луком. Он, видно, еще не отошел.

— Да ладно,— говоришь ты,— успокойся. Что же сделаешь, если она такой человек? — Ты не любишь, когда люди зря расстраиваются.

— Она такой человек,— повторяет Иван, только с другой интонацией, громче,— я-то знаю, какой она человек. Уж двадцать лет в зятях хожу. Она, если хочешь знать,— неплохой человек.

Нет, Иван все-таки хороший мужик. Взял вот и тещу пожалел.

— Это года четыре назад началось,— рассказывает Иван.— Они меня стали учить с бабой, как с людьми разговаривать. Две недели учили, я все терпел. Ну а потом не вытерпел, выпил, а теща гостила как раз у нас, спать осталась. Я спать лег, а они все учат и учат, спать не дают. Зло взяло, и стал я их учить...

Ты эту историю знаешь. Ивановна жена и теща бегали тогда в рубашках босиком по коридору, стучали в двери и кричали, что убивают. Иван, конечно, их не убивал, но поддавал хорошенько и кричал: «Вот так надо с людьми разговаривать!» Да ты тогда еще с Симаковым Ивана успокаивал, Иван забыл, наверно.

Петр вытянул шею и внимательно слушает. Видно, задет какой-то его нерв, может быть, главный, самый большой.

Когда Иван замолкает, выговаривается и поглядывает опять почему-то вверх, Петр говорит, не изменяя выражения лица, оно так же серьезно и внимательно:

— Я свою один раз па-а-п-пробовал поучить, так она меня на п-п-пятнадцать суток засадила.

— Я б ей засадил,— говорит Иван, и на скулах его, пробежав, скрываются тяжелые и крепкие желваки, даже уши шевелятся.

А ты ничего не говоришь ни про свою тещу, ни про свою жену, потому что тещи у тебя нет, она умерла в войну, когда и тещей твоей не была, а жена у тебя — молодец, хотя, конечно, и у нее завихрения бывают, и раза два даже погонять пришлось, правда, давно, молодые еще были, да зачем об этом рассказывать? Иван бы, он тоже не рассказывал, видно, здорово из-за тещи расстроился, ну а Петр — он человек такой дурной.

— Ладно, наливай,— говоришь ты, обращаясь к Ивану, чтобы прекратить этот разговор. Ты говоришь, понимая, что рано еще наливать — еще после первой толком не закусили, но Иван уже налил, и вы пьете.

Теперь можно отдохнуть. Ты дожевываешь кусок хлеба с наложенными на нем горкой кильками, срываешь травинку с жидкой метелкой, покусываешь ее и откидываешься на спину, вернее, на бок, полулежишь, упершись локтем в землю. Иван сидит по-татарски скрестив ноги и весело орудует ножом, очищая редиску от кожуры, — витамины витаминами, но когда земля после водки на зубах хрустит, тоже не очень приятно. Редиски становятся новенькими. Они одна за другой летят на газету, а некоторые летят в рот Ивану. Он между прочим жует их и продолжает работу. Петр сидит неудобно, на корточках, и, согнув худую длинную спину так, что костяшки хребта выперли, дымит папироской, не вытаскивая ее изо рта, щурит от дыма глаза и смотрит вниз, себе под ноги.

После второго стакана хорошо помолчать, особенно если после первого разговор не получился. И вы молчите. После второго стакана хорошо подумать. И вы думаете. Но о чем — вы скажете не сейчас, а когда возьметесь за вторую бутылку или даже позже, потому что сам господь бог не может сейчас утверждать, что эта вторая последняя бутылка сегодня последняя.

— Дай-ка в зубы, — обращается Иван к Петру и протягивает руку, не глядя на него. Петр вытаскивает смятую пачку «Севера», достает с самого дна папироску.

— Д-д-две осталось, — говорит Петр и добавляет: — Надо б-б-бы-ыло курева купить в магазине.

Иван закуривает, глубоко затягивается и медленно выпускает дым. Нет, не отошел он от тещи, здорово она его задела. Он вообще мужик обидчивый. И после того случая он полгода не разговаривал, не то чтоб выпивать, только здоровался. Он ведь здоровый. С ним и втроем трудно справиться. Симак тоже мужик здоровый, а еле успокоили тогда. Нет, обидчивый все же Иван. Зато не шепутной. А что тогда случилось, то, видно, Валька его довела. Да и помоложе он тебя. Года на три или четыре. Тебе не хочется больше ничего говорить Ивану, успокаивать его, мужик должен быть всегда мужиком, и ты сплевываешь стебелек, берешь штуки три очищенные редиски и бросаешь их в рот. Солички б...

Петр докуривает папироску, вернее, она гаснет, и он забывает про нее. Сейчас он что-нибудь скажет...

— Я од-д-дин раз у тещи напился... Б-бу-у-тылки две самогонки выпил. Та-ак я, когда спал, весь кровать-диван ей об-об-обоссал... Полный поддон налил. — Петр смотрит на Ивана с заискивающим интересом, ожидая смеха, но Иван молчит.

— Бывает, — говоришь ты, накладывая на хлеб кильки, и еще раз думаешь о том, что не любишь таких вот заик, ну не дурак ли, опять начал про тещу. Ты кладешь хлеб с кильками рядом с собой на траву и, ничего не говоря, берешь вторую бутылку, срываешь с нее пробку и, обращаясь к Ивану и к Петру, произносишь то самое слово:

— Давай. — Просто, спокойно и убежденно получается у тебя оно, но ты об этом не думаешь. Ты съедаешь хлеб с кильками и говоришь про статью, которую ты в журнале «За рубежом» прочитал. Ученые в Америке открыли, что гриппом люди от свиней заражаются. Для Ивана и для Петра это новость. Петр дергает удивленно головой, что-то пытается сказать, но не получается. Видно, когда выпьет, он совсем сильно заикается.

— Надо свою свинью скорей резать, — задумчиво говорит Иван, и хотя в это время года их никто не режет, он, похоже, сделает так, как сказал. Он тоже откидывается назад, упирается в землю локтем и покусывает травинку. После третьего достаточно намек на разговор, и во всем, что было неясно и нельзя было разобраться часами, вы разбираетесь минут за десять — пятнадцать. Все, как говорится, становится на свои места, но вы об этом не думаете. И вы спокойно приходите к выводу, что американцы, может быть, и правы, они не дураки, но не зря ж грипп то гонконгским называется, то каким-нибудь арабским. Тут наверняка дело без китайцев не обходится.

Иван поминает нехорошими, но правдивыми словами Мао Цзэдуна, и Петр прибавляет, заикаясь и краснея от искренности чувств, еще несколько слов, от которых кормчему наверняка больно икнулось на том свете.

— Картер тоже скотина, — говорит Иван, сплевывая. И вы с Петром соглашаетесь, что Картер — скотина, да еще какая, наши сначала думали, что он по-хорошему будет, но он скотиной хорошей оказался. Все они хороши,

приходите вы к выводу, один Кеннеди был ничего, но его сразу убрали. Потом вы говорите про Кубу и хвалите Кастро за то, что он никого не боится, и начинаете спорить: есть ли на Кубе наши ракеты? Иван с Петром утверждают, что есть, а ты говоришь, что нету, их еще в шестьдесят первом по договору наши убрали, но в конце концов приходите к выводу, что подлодки наши там недалеко, и это вас мирит и успокаивает. И чем больше вы говорите о политике, вспоминая, кто где что читал, тем с большей ясностью сознаете, что две «белых» на троих — мало. Но никто об этом вслух не говорит. Это хорошо, что вы не заспорили, не разругались, а поговорили по душам, и ты посматриваешь на Петра, и тебе начинает казаться, что он неплохой мужик. Бутылку, в которой еще граммов триста водки, ты придерживаешь рукой, чтобы не упала. И вот наступает пауза, потому что надо сказать очень важные для этого случая слова и слово. И это слово вдруг произносит Петр совсем не заикаясь. Он говорит:

— Давай!

Ты согласен с ним, поднимаешь бутылку и разливаешь все, что осталось: Ивану, Петру и себе, а потом отбрасываешь бутылку в сторону. Вы выпиваете, даже Петр пьет сейчас спокойно, не дергается, ты сплевываешь последнюю каплю через губу, считая почему-то, что там — осадок; Иван вытирает подбородок ладонью — пролилась немного; Петр берет сыр, разламывает его, быстро сдирает фольгу и ест с хлебом. А вы с Иваном берете лук, его еще немного осталось. Лук не очень вкусный — старый, что ли, но надо же доедать.

Теперь вы разговариваете о работе, об одном вам известном десятнике Ведьмеде, соглашаетесь, что Ведьмедь мужик справедливый, не обидит зря работягу; потом вспоминаете начальника шахты Конягина и соглашаетесь с тем, что он — скотина хорошая, ему только план давай да по субботам на работу выходи, а по-хорошему — нет; потом говорите про Ивакина с третьего участка. Он самым первым полгода назад ушел на пенсию, после того как пенсию повысили шахтерам, и немножко с завистью, но больше с удивлением говорите про живого здорового мужика Ивакина, который ничего не делает и получает сто пятьдесят рублей. Раньше хребет ломали за девятьсот рублей старыми, редко когда тысячу двести и считали — ух! — деньги большие. Тогда, конечно, потяжелей жилось, а работу не сравнить, но шахтеров тогда уважали. Сейчас не то... Времена меняются, конечно, раньше тракторист в деревне был главный человек, все равно что летчик, а сейчас пьянь одна да пацаны. И так вы говорите и говорите, спокойно, соглашаясь друг с другом, но говорить все труднее, что-то мешают разговору, и вы знаете что...

— Ладно,— говорит Иван, смотрит почему-то вверх, но это не значит — поговорили и пойдем, он говорит свое «ладно» совсем по-другому, что означает — вы посидите тут, а я сейчас приду. Но он не встает сразу, потому что, пыхтя, медленно ползет паровоз, везет с шахты уголь. Из окна паровоза высунулись грязные рожи машиниста и кочегара, они смотрят на вас и ничего не говорят, а только смотрят на вас, сидящих на траве у расстеленной газеты, на которой закуска, а вы смотрите на них, ничего не говорите, а только смотрите на них, чумазах, в старых засаленных кепках, внимательными и немного усталыми глазами. Вагоны проходят медленно, рельсы тяжело, привычно прогибают спины, а машинист и кочегар не скрываются, они тянут шеи и всё смотрят на вас. Отъехав метров на сто, паровоз вдруг гудит, пускает пар, хотя впереди никого нет, он гудит и пускает пар, и почему-то совсем он не похож на механизм, он скорее зверь, неведомый науке, большой, добрый и усталый, а может быть, даже человек.

— М-м-мо-о-жет вместе па-айдем? — спрашивает Петр и пытается подняться.

— Сиди,— спокойно говорит Иван и уходит от вас, широко и уверенно расставляя ноги, переваливаясь с боку на бок. Он поднимается, чуть подавшись вперед на насыпь, выпрямляется наверху, перемахивает через рельсы и скрывается, спускаясь с той стороны насыпи.

Некоторое время вы сидите молча, потому что понимаете, что компания нарушена — двое не трое. Петр курит и спрашивает, не куришь ли ты. Ты отвечаешь, что нет, и рассказываешь, что бросил восемь лет назад.

— А я не могу б-б-бросить,— говорит Петр.— Мне врачи запретили ка-ка-категорически.— Он молчит, снова прикуривает, потому что папироса погасла, и повторяет: — Ка-ка-ка-а-тегорически.— Он улыбается. Видно, ему нравится это слово.

— Ну и дурак, что не бросаешь,— говоришь ты спокойно.

Петру, наверное, только этого и надо было, голова его подается вперед, а рот растягивается в хитровой улыбке:

— Зн-н-на-а-ешь, когда они мне курить запретили категорически? — И ждет твоего вопроса, потому что ты, конечно, не знаешь.

— Ну? — говоришь ты.

— В сорок пятом еще.— Петр с интересом смотрит на тебя, стараясь понять, удивляешься ты или нет.

Ты спокойно смотришь на него и ничего не говоришь.

— По-о-од Берлином пуля в легкое попала, так там и сидит.— Ты все равно смотришь на него спокойно и ничего не говоришь.— Не веришь? — с удовольствием спрашивает Петр.— То-то-то-очно тебе говорю. Да я с мужиками сколько раз спорил. Симака знаешь?

Ты киваешь. Еще бы тебе не знать Симака, если ты живешь с ним в одном доме и работаешь на одном участке.

— Мы с ним на литр по-о-спорили. По-о-том на рент-рен-ген пошли. Сделали рент-рен-рен-ген, точно — пуля. По-о-ставил Симак литр.

Ты вспоминаешь, Симак как-то рассказывал тебе эту историю и зарекался больше в жизни ни разу не спорить. Нет, Петр неплохой мужик, но тебя интересует один вопрос, и ты спрашиваешь:

— С какого же ты года?

— С два-адцать девятого,— отвечает он охотно.

— С двадцать девятого? — удивляешься ты.— А я с тридцатого. Когда же ты успел?..

— Я ж д-д-длинный был, ка-ак строило, документы сгорели. Родных тоже никого. В со-с-сорок четвертом переписывать п-пришли, с-спрашивают — восемнадцать есть? Есть, г-о-о-оворю. Хрен ее знает, зачем так ск-ка-азал.— Петру до сих пор непонятно, зачем он так сказал, это видно по его лицу, даже по тому, как медленно он достает спички и прикуривает погасшую папиросу.— То-олько войны почти не видел. В пе-ервом бою под Кен-кениг же-кен,— Петра заедает. Ты хочешь ему как-то помочь, торопливо говоришь «под Кенигсбергом», но Петр хочет произнести это слово сам: — Кен-кенис-ке-е-ни-исбергом,— и еще раз повторяет немного зло и не заикаясь: — под Кенисбергом осколком ползадницы, считай, оторвало. А под Берлином — легкое. По-о-госпиталия и провалялся.— Петр докуривает папироску до конца, бросает ее и сплевывает себе под ноги. Он и сидит на корточках согнувшись, как только не устал...— Я с войны пришел, ну с медалями, по-онятное дело, му-ужик почти. Ну бабу нашел. Они тогда го-о-лодные б-бы-ыли. Да и мы то-о-же. Ну, она мне и говорит: «Снимай кальсоны, чего ст-тоишь», а мне — стыдно. Думал, сейчас за-адницу мою увидит — прогонит... Не п-прогнала...— Петр смеется, склонив голову набок и заглядывая тебе в глаза. Ты улыбаешься и думаешь, что хороший Петр мужик и заикаться он, верно, на войне стал.

— Ты на какой шахте работаешь, Петь? — спрашиваешь ты, впервые назвав его по имени.

— На седьмой,— отвечает Петр. Он опять опустил голову и смотрит себе под ноги.

— А чего к нам попал?

— А-а,— мотаает Петр головой. На этот вопрос он отвечать не хочет, и ты понимаешь, что это связано с его женой, которая сейчас стережет его в магазине на седьмой.

Вы замолкаете. Ты поднимаешь голову и смотришь вверх. Небо светлеет, как это всегда бывает перед тем, как садится солнце. На земле уже прохладно лежать, но ты не двигаешься, потому что неохота.

По линии идут четверо парней, волосатиков, как ты их зовешь. Один держит на полусогнутой руке маленький магнитофончик, который орет что-то не по-русски. Ты не любишь волосатиков, при виде их внутри у тебя закипает злость, и ты стараешься не смотреть в их сторону. Волосатики останавливаются, о чем-то говорят и начинают спускаться к вам. Вы с Петром не смотрите на них. Они останавливаются рядом метра в трех и смотрят на вас, на закуску, на пустые бутылки. Тот, у кого магнитофончик, он самый здоровый, прикручивает звук и говорит хрипло и зло:

— Дай закурить.

Петр вытаскивает из кармана пачку, смотрит в нее, потом показывает волосатикам — пустая.

— Не-ету,— говорит Петр.

Но волосатики не уходят, они продолжают стоять, тупо глядя на пустые бутылки и на вас в надежде, что, может, перепадет выпить. Кулаки сами по себе сжимаются, ты поднимаешь голову, смотришь в их прыщавые лица, хоть тебе и противно на них смотреть.

— Чего стоите? — спрашиваешь ты.

— А тебе что? — хрипит тот же, видимо, довольный тем, что все начинается так быстро.

— Сказано нет — значит, нет, поворачивай и вали отсюда,— говоришь ты, поднимаясь, и видишь, что Петр поднимается. Волосатики расходятся полукругом. Тебе не страшно, страшно только, что любого из них ты можешь убить.

— Ну, кому башку проломить? — грозно спрашивает сверху Иван. Он стоит на насыпи, в руках у него две полные бутылки без этикеток, он держит их, как гранаты. Сказав это, Иван торопливо спускается вниз, ставит бутылки на газету, подходит к здоровому, берет его за локоть и, сказав: «Пойдем поговорим», отводит в сторону. Он коротко и зло говорит что-то здоровому, а тот тупо кивает.

— И иди отсюда,— единственное, что слышите вы.

Иван поворачивает волосатика и подталкивает его в спину. Тот, не оборачиваясь, уходит, за ним убираются остальные.

Ты ругаешься сквозь зубы и садишься на траву. Чудом не получилась драка, и тогда было бы все испорчено, здорово испорчено.

— Ты его знаешь? — спрашиваешь ты у улыбающегося почему-то Ивана.

— Знаю,— отвечает Иван коротко, он не хочет говорить, откуда он знает волосатика, какие у него с ним дела. Но это не важно. Важно то, что не получилась драка, а то бы все было испорчено.

Иван по-прежнему улыбается, готовится рассказать что-то интересное.

— Женщина хорошая попалась. Она по два рубля за бутылку берет, а у меня только пятерка. А у нее рубля сдачи нет. Ладно, мать, говорю, пусть будет по два пятьдесят. Нет, говорит, бери тогда на рубль закуски!

И Иван с удовольствием начинает вытаскивать из карманов пиджака хлеб, грязные куриные яйца с прилипшими кое-где рыжими перышками, несколько долек чеснока, спичечный коробок, в котором шуршит соль, а под конец завернутый в газету небольшой кусок старого желтого сала. Новая выпивка и неожиданная новая закуска заставляют вас иначе смотреть на все, и в первую очередь на выпивку и закуску. Ты даже о волосатиках забываешь.

— У меня сына в прошлом году за-за-за-а-резали так...

Ты поднимаешь глаза и смотришь на Петра, а он не смотрит на тебя и на Ивана не смотрит.

— Насмерть? — вырывается у тебя ненужный вопрос.

Петр быстро кивает.

— На п-про-водах. В армию соседского парня провожали, и я там был. Пе-ередрались ребята. Один тесак вытащил в-в-о-от такой,— Петр широко разводит большие ладони с желтыми от курева пальцами,— и в грудь ему. Н-на-а месте убил. М-ме-еня с-с-свя-азали.

Ты молчишь. Ты не спрашиваешь, сколько лет кому дали, какая разница... Ты вытаскиваешь свернутую из старой тряпки мокрую пробку, выбрасываешь ее к чертовой матери и собираешься налить самогонку в чашку Петру, но рука твоя застывает в воздухе, потому что Петр говорит последнее, хватая ртом воздух и запрокидывая голову:

— Я та-та-та-агда за-а-а-аикаться ст-тал.

Твоя рука с бутылкой замирает, и ты сам замер, и Иван замер, только Петр сидит на корточках и смотрит внимательно себе под ноги, будто что ищет.

— Ладно,— говоришь ты и повторяешь,— ладно, давай...— Ты разливаешь самогонку и говоришь: — Давай... твоего сына помянем и за детей выпьем...

Ты никогда не любил и не любишь тостов, считая их ненужными и искусственными. Если пить, так пить, а болтать охота — болтай себе на здоровье, но ты сейчас и не произносил тоста, ты просто сказал: ...

Петр опять пьет торопливо, кадык дергается, и самогонка в горле громко укает. Она вонючая, зараза, но крепкая, и вы мотаете головами, говорите друг за другом, что она вонючая, зараза. Сало под самогонку идет отлично, и ты ешь

сало. И любишь ты пить сырые яйца, молодец та женщина и Иван молодец Ты берешь яйцо, осторожно разбиваешь его острием ножа, отколупываешь скорлупу как можно больше, сыплешь щепотку крупной сыроватой соли, размешиваешь хорошенько спичкой и выпиваешь его в два глотка и закусываешь хлебом, потом берешь второе яйцо и, проделав то же самое, выпиваешь его в два глотка.

Ты смотришь на Петра, он ничего не ест. И вдруг в середине у тебя начинается что-то жечь, ты щуришь глаза, чтобы на них не загорелись слезы, но это не самогонка, она здесь ни при чем. Это — сын. Он у тебя не волосатик, хоть и молодой еще, он сейчас в Минске, поехал туда после института по распределению, он у тебя не кто-нибудь, а юрист. А жена его — врач. Год они уже там, пишет, что нравится им там, город хороший и люди. Скоро за Виталиком приедут. А ты так любишь внука, что не знаешь, как будешь его отдавать.

И Петр щурит глаза, хотя папиросы у него во рту нет. У него двое осталось. И такие же волосатики, как и тот, дерутся без конца, пьют, одному уже два года условно давали. Петр щурит глаза, что-то ищет у себя под ногами, и кадык у него медленно двигается вверх-вниз, хотя он не пьет и не ест сейчас ничего.

— А у меня девки, — говорит Иван спокойно и смотрит наверх.

Ты знаешь: у Ивана девки, пять девок, и все такие же нескладные, ушастые, вылитый отец. Никого они не боятся и бьют пацанов смертным боем, почуввав даже намек на обиду. Иван говорит, что он жену заматает, пока она пацана не родит. Сейчас она опять ходит беременная и всем бабам в доме на Ивана жалуется, а те жалуют и смеются.

— Все равно она мне пацана родит, — говорит Иван твердо и смотрит вверх, и ты вместе с ним смотришь вверх.

Все равно она ему пацана родит. И ты начинаешь рассказывать про своего сына, хоть этого и не нужно делать, потому что ты хвастаешь. Ты понимаешь, что нельзя хвастать, не надо, но не можешь остановиться. Ты рассказываешь, как принял твоего сына в Минске, какую ему сейчас дали квартиру и какая она хорошая — полы паркетные, с лоджией, хотя точно не знаешь, что такое лоджия, но так написал сын. И еще рассказываешь, какая у сына хорошая жена, красивая, и к тому же врач. А внук...

Петр слушает тебя внимательно и ловит каждое твое слово, как прилежный ученик слушает любимого учителя. Он уважает тебя. Уважает потому, что у тебя такой сын, потому что ты смог воспитать такого сына, а себя он не уважает, потому что не смог воспитать и они выросли волосатиками, пьют да дерутся, а все равно, пусть только их кто обидит, он убьет за них любого, и тогда на проводах, если бы его не связали, неизвестно, что было бы...

Иван опять улыбается. Он вспомнил что-то хорошее.

— Это... — говорит он, ему не нравится разговор, какой ты повел, да ты и сам понимаешь и поэтому замолкаешь, но сейчас ты можешь замолчать — в середине жечь перестало. — Это... — повторяет Иван, — в «Крокодиле» карикатура нарисована была. Стоят в загсе парень и девка. Оба в костюмах и волосатые, лица не видно. Ну а тетка эта, которая расписывает, и говорит: «Кто ж из вас жених, а кто невеста, не пойму никак!»

Ты смеешься, и Петр смеется, и сам Иван смеется. Он дергает шеей, утирает слезы и мотает головой, приговаривая:

— Юм-ю-ма-ристы.

Ты согласен: там, в «Крокодиле», юмористы, настоящие юмористы работают, как рисуют, так уж рисуют. И ты вспоминаешь какую-то карикатуру из «Крокодила», и Петр, но они уже не такие смешные; и под эти разговоры, смеясь, вы допиваете первую бутылку самогона и принимаетесь за вторую. Иногда по линии в сумерках проходит женщина или две с хозяйственными сумками и сетками, из которых торчат кульки с макаронами, песком и другой семейной едой, а еще буханки хлеба. Они поворачивают в вашу сторону головы и смотрят, может, надеясь увидеть своего. А вы поднимаете голову и смотрите на них...

Земля становится холодной и тяжелой, ты садишься на корточки, точь-в-точь Петр, и говоришь ему:

— А ты чего не ешь ничего? — и указываешь на газету, на которой лежат яйца, сало, лук и хлеб. Он хороший мужик, плохо только, что пьет и не закусывает.

— Не хочется, — виновато говорит Петр и прибавляет: — Закурить бы.

— Нету? — спрашивает его Иван.

Петр молча мотает головой.

— Тогда пошли,— говорит Иван, поднимаясь.

Ты согласен с ним, здесь делать уже нечего, да и холодно здесь лежать. А допить можно и в другом месте. Вы поднимаетесь, отбрасываете в стороны пустые банки. Из клочка газеты ты свертываешь пробку, затыкаешь бутылку, пристраиваешь ее в боковой карман и, как бы нечаянно, но очень кстати дотрагиваешься до пластмассовой обложки от записной книжки, в которой ты носишь документы, а сейчас лежит и получка. Потом ты подбираешь с земли яйца и засовываешь их в карманы Ивану, и хоть он не сопротивляется и не отказывается, почему-то ты его убеждаешь:

— Ладно, вот когда у тебя пацан родится, тогда и будешь отказываться, а пока у тебя девки — молчи... Вот так...— Ты понимаешь, что значит иметь пятерых, какая разница — девок или пацанов. Иван почему-то не противится, молчит, и ты засовываешь ему в карман и остатки сала.

— Пошли? — спрашиваешь ты.

— Пошли,— соглашается Петр и кивает головой.

— А стаканы? — спрашиваешь ты.

— А стаканы? — спрашивает Петр.

Он медленно наклоняется, поднимает стаканы и ищет чашку. Она тихо хрустит под подошвой ботинка. Он прислушивается, поднимает одну ногу, не ту, потом другую — ту, смотрит на осколки. Потом он опускает ногу и говорит глядя на вас виновато и занскиваяще: — В серванте еще остались.— Он боится что вы расстроитесь из-за чашки. Но вы, конечно, не расстраиваетесь.

Просто ты засовываешь в карман стакан и не можешь никак это сделать. Что-то мешает. Эх, старый, забыл, что внуку конфет купил... шоколадных... Ты осторожно вытаскиваешь кулек из кармана и разворачиваешь его, как великую ценность. Берешь одну конфетку и протягиваешь ее Ивану, а другую Петру. Потом ты берешь третью конфетку и держишь ее на ладони, думая, не мало ли там останется для внука, решаешь, потому что остается мало, и кладешь конфету обратно.

— Пожадничал! — говорит Иван и бьет тебя по плечу так, что ты еле на ногах стоишь. Он смотрел, оказывается, на тебя, а теперь смеется, и Петр тоже.

— Ага,— улыбаешься ты, часто моргая,— для внука... жалко...

— Не жадничай! — говорит Иван. Он разворачивает конфету, бросает ее в рот и спокойно и равнодушно жует, и невозможно понять, что он сейчас жует — конфету, хлеб или колбасу. Так едят собаки, не раздумывая и не смакуя, сразу, но все равно хорошо едят собаки, так, как сейчас ест конфету Иван.

А Петр забыл про свою конфету, она тает, с силой сжатая в жилистом кулаке.

— Не жадничай,— говорит Иван,— а то баба выгонит.

И вы идете домой. Ты оказываешься посредине, рассказываешь про внука, какой он у тебя умный, послушный и как он громко кричит: «Деда!» — и бежит к тебе, обхватывает за ноги, когда ты приходишь с работы. Ты хвастаешь, ты, конечно, хвастаешь, но тебя внимательно слушают, потому что то, что ты говоришь, очень важно, это, может быть, самое важное, что есть в жизни. Особенно внимательно слушает тебя Петр. Он вытягивает шею и заглядывает тебе в глаза.

— Ну ты как. на автобуса сейчас? — спрашивает Иван у Петра, когда вы подходите к дороге. Она пуста, уже темно, холодно и людей совсем не видно.

Петр молчит. Вы понимаете, что Петру совсем не хочется, ему хочется другого, совсем другого, ему хочется побыть с вами, поговорить, тебя послушать и выпить, конечно, но вы знаете слово «надо», и Петр это слово тоже знает.

Ты думаешь про жену. Она чувствует, конечно, что ты сейчас делаешь, и волнуется, темно уже. И пошумит, конечно, а утром дуться будет, говорить, что сыну напишет про твое пьянство, это она так говорит — пьянство, а ты грозно скажешь: «Только попробуй, напиши»,— она, конечно, не напишет, только говорит. Потом ты выйдешь на улицу, сядешь на лавочку, а чуть попозже выйдет Иван, и вы вместе за сарай пойдете. Там у Ивана где-то полбутылки спрятано, похмелитесь...

Сзади бьет свет и гроыхает разбитым кузовом самосвал. Иван поднимает руку и пронзительно свистит. Самосвал пролетает сначала мимо, резко тормозит и останавливается метрах в тридцати. Иван бежит к нему, что-то говорит шоферу, свистит вам и машет рукой, вы бежите к машине. Но Петр не хочет садиться в машину, он стоит около открытой дверцы и ничего не говорит, только смотрит на вас, а глаза его по-доброму честно говорят: давай!

Да и ваши глаза то же самое говорят.

Ты быстро вытаскиваешь бутылку, Петр — стакан, и ты наливаешь ему полный, в бутылке ничего нет больше.

— Давай,— обращаешься ты к Петру. Петр отпивает третью часть, не морщится и протягивает стакан тебе.

— Давай,— повторяешь ты.

Петр протягивает стакан Ивану.

— Давай, давай,— говорит Иван.

— А вы как же? — удивляется Петр, он, когда выпьет, оказывается, совсем не заикается.

— Мы себе найдем.— Иван знает, что говорит.

— Ну, ладно,— говорит Петр и в два глотка допивает и со всего размаху хряпает стакан об землю. Осколки немного бьют по ботинкам и штанинам.

— Ноги порежешь,— предостерегаешь ты. Но Петр тебя не слышит, он делает к тебе шаг и вдруг крепко обнимает тебя и целует тебя мокрым от самогона ртом в щеку, царапает своей щетиной твою. На щеке ты чувствуешь слезы Петра И ты чувствуешь, что слезы Петра честны и святы, но ты не думаешь об этом.

— Ладно, ладно,— успокаиваешь ты Петра и себя.

— На вот, закуси,— говорит быстро Иван, сует Петру кусок сала и прибавляет почему-то яйца...

Петр валится на сиденье, рядом с недовольным шофером, выпрямляет спину, кладет ладони на колени, как прилежный ученик, и смотрит на вас тихими благодарными глазами.

Иван с силой захлопывает дверцу, машина срывается с места, но прежде чем пропасть в темноте, несколько раз отрывисто и пронзительно гудит сигнал... Это Петр, мешая шоферу, библикнул вам на прощание.

Красный огонек машины пропадает, и вы остаетесь вдвоем, и Иван снова говорит: «Яйца...— и только потом поясняет: — подавил...» Он вытирает ладони с приклеившейся скорлупой о пиджак и говорит, что придет домой, подаст его Вальке и скажет: «Вальк, сжарь яичницу». Ты соглашаешься, что это он неплохо придумал, только пиджак жалко все-таки. Иван кладет тебе руку на плечо, и ты кладешь Ивану руку на плечо... Так ты ходил со своим другом — Витькой Плетневым, когда пацаном еще был, да твой сын ходил так со своим другом Серым, когда пацаном был. Давно ты так не ходил. И Иван давно так не ходил. Но вы сейчас об этом не думаете, это я...

Вы идете, положив друг другу руки на плечи, по самой середине дороги и думаете о том, как трудно будет сейчас искать в дровах полбутылки, но все равно вы найдете ее.

Иван громко и старательно, как артист, поет песню, какой ты ни разу еще не слышал. В ней как будто вор поет, что сейчас он строит в тайге маленький городок и очень грустит, а когда выйдет срок, приедет к милой. И воровать он на время завяжет, а будет любоваться ее красотой. Ты не умеешь петь и даже не любишь, нет, любишь, но стесняешься как-то, но сейчас ты подпеваешь окончания слов, негромко и немного не в лад, но все равно — хорошо! И вы идете так и не смотрите ни вверх, ни вниз, потому что там все в порядке, нормально: вверх — небо, а внизу — земля...

...А может быть, мужское счастье приходит не совсем так или совсем не так, иначе... Но не в этом дело.



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ГОЛУБЫЕ РОГИ

Поэзия грузинского символизма в переводах
Михаила Синельникова

Прекрасны юношеские лица этих поэтов, страшны фотографии 30-х годов. От года к году взгляд все пронзительнее, угрюмей, безнадежней. Губы не могут улыбнуться, глаза видят близкую гибель — свою и всего, что дорого... Грузинские поэты разделили общую участь, судьба была одна у лучших поэтов всех народов. Другой судьбы и не ждали... Уже застрелился Маяковский, замолк Нарбут, в бессоннице внимала Ахматова «переключке с домовым». Один армянский поэт, из чистого любопытства попытавшийся прислушаться к беседе Егизе Чаренца с Осипом Мандельштамом за кулисами ереванского театра, на всю жизнь запомнил встревоженную оглядку Чаренца и его слова: «Такие-то вот дела, Осип!..»

История грузинского символизма, явления блестящего, ставшего последним цветением упонченной древней культуры, была трагичной. Группа «Голубые роги» прекратила существование в середине 20-х годов. Затем каждый получил свое... Покончил с собой Паоло Яшвили, убиты в застенках Тициан Табидзе и Николо Мицишвили, умер изгнанником Григол Робакидзе, изломаны, искажены жизни Валериана Гаприндашвили и Георгия Леонидзе... Недавно умер последний поэт этой группы — Колау Надирадзе, помнивший похороны Льва Толстого, встречи с Цвейгом и Андре Жидом, лекции Андрея Белого, разговоры с Есениным, Пастернаком. Прошедший через десятилетия забвения, не отрехившийся, не смирившийся.

Бесконечно трогательна и дорога нам взаимная братская любовь грузинских и русских поэтов старших поколений. В «Письме Анне Ахматовой», которое Паоло Яшвили написал под женским псевдонимом Елена Дариани (не в честь ли Дориана Грея?), названо магическое, роднящее всех, кто предан русской поэзии, имя Блока. Никогда не забудется щедрое гостеприимство и отважное покровительство, оказанное поэтами Грузии русским поэтам. Переводы с грузинского, рождавшиеся в те годы, диктовались чувством восторженного изумления перед родиной этих стихов, перед музыкой и цветом грузинской жизни. Конечно, постоянная работа над переводами была для Пастернака, Тихонова, Заболоцкого компромиссом, объяснимым условиями времени. Но с лучшими из этих невероятных переводов в русскую поэзию навсегда вошло ощущение чуда и вечного праздника. Таковы заученные наизусть поколениями русских читателей «Иду со стороны черкесской» и «Не я пишу стихи...» Тициана Табидзе в переводе Бориса Пастернака. Таковы «Кипчакская ночь» и «Журавлиный снег» Георгия Леонидзе в переложении Николая Тихонова.

Увы, в нашем знании грузинской поэзии века есть роковая неполнота. Мы говорим: Тициан и Паоло... Но если лучшие стихи Тициана переведены блистательно, то Паоло, в сущности, известен только по имени и немногим удачным переводам. Заповедной зоной осталось раннее, до последних лет запретное творчество такого мощного поэта, как Леонидзе. Только в последние годы возвращается в литературу имя и творчество Григола Робакидзе. Изданы образцы его замечательной прозы, статьи, ждет своего часа драматургия. И только познакомившись с его поэзией, одновременно языческой и христианской, дерзостно-эротичной и мистической, изощренной и страстной, можно судить о многих позднейших явлениях грузинской словесности, о реальности ее развития. Грузинские символисты — это поэты, конечно, разного дарования, но все по-своему интересные и значительные. Два десятка имен, большая часть которых неизвестна русскому читателю, да и в самой Грузии эти имена воскрешаются только в наши дни. Знакома и нам радость воскрешения... Ведь и для нас ныне исполняется пророчество Замятина о том, что будущее русской литературы — ее великое прошлое. Создают и умиротворяют империи. Вечно живут «Песнь о Гильгамеше» и Гомер, Вергилий и Овидий. Священны для нас тифлиссские страницы жизни и творчества Пушкина, Грибоедова,

Лермонтова, Полонского. Вечно дороги имена Руставели, Гурамишвили, Бараташвили, Важа Пшавела... Свирепые языки огня показываются то в одном, то в другом углу нашего некогда общего дома. В тяжелой неразберихе обрываются все связи. Прервалось, увы, и общение поэтов. Современные грузинские писатели, как ни странно, чураются нынешней Москвы, освобождающейся России. Как бы то ни было, нам остается верность.

Мы чтим живую память, верим в неслучайность исторической встречи культур русской и грузинской. Эта встреча — из разряда вечных событий, она, говоря словами Блока, «не пустой для сердца звук».

М. СИНЕЛЬНИКОВ.

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ

Ртвели¹

Скользким драконом, исторгнутым топями,
Встала давилъня. Дурманно и весело.
Мутно-хмельные давилыщиков профили,
Щиколки красные, буйное месиво.

Стиснуты прутьями, сжаты соломою,
Кисти — в корзинах, черные с желтыми.
Черепом тыквы² с носом изломанным
Черпают дети сок свежевзболтанный.

Блещет янтарь под зарю рубиновой,
Лозы взвиваются черными змеями,
В темных глубинах мерещится киноварь.
Пологов лиственных зыбкое веянье...

Звук бездыханный, ветром волнуемый:
«Ты! Ты — моя! Не упрямясь...» Покатится
Шепота шелест меж поцелуями:
«Да, я — твоя! Да, я — твой!» И — невнятица.

Юношей песня «Одела дилано!»³,
Прыгают краски, везде разбрелись они...
Тихо! Откуда приблизилось дивное:
«Эгей, Диониси, эгей, Диониси!»?

ПАОЛО ЯШВИЛИ

Письмо Анне Ахматовой

Знай: я тебе соболезную,
Плачу о смерти Блока.
Робкой, забывшей небесное,
Стало душе одиноко.

Ко мне приезжай! Отдаленнее...
Но станешь сестрою милой!
Иль Петербурга агонию
Навеки ты полюбила?

Спасет благодать тбилисская...
Ах, чудится нам обоим
Тень принца, такая близкая!
И вместе мы сиротеем.

Усталое тело ранее
Ты омывала туманом...
А наша страна — Испания
В июле пламенно-пряном.

Безвестными перепутьями
Брести за судьбой готова.
Свой бубен я подарю тебе
И лебедя золотого.

Воспрянешь, собравшись с силами,
Румянец твой загорится...
Коснешься устами стылыми
Пальцев Тamar-царицы.

¹ Осенняя пора сбора винограда.

² Черпалки для вина грузинские крестьяне делают из высушенной тыквы, насаженной на палку.

³ Припев народной песни.

ВАЛЕРИАН ГАПРИНДАШВИЛИ

Ночные листья

Ночь странная бежит, как черный пес,
 Цветения вынюхивая запах,
 Ей — до зари среди незримых роз
 Перелетать на вытянутых лапах.

Дрожаньем туч отточена луна.
 Безмолвна, недвижима, бездыханна,
 Лежит на блюде дымчатом она
 Отсеченной главою Иоанна.

Распятые одиночества влачу,
 Молюсь лишь ночи. И, подвластен чарам
 И проклят всеми, я вослед лучу —
 В глубь черноты — лечу Элеазаром!

Праздник Офелии

Верико Анджапаридзе.

Лишь один хочу я праздник праздновать отныне —
 День Офелии — манящий призрак неотступен.
 Станет осенью белесым этот воздух синий,
 Дивным ликом озарится небосвода бубен!

Дочь дождя, она печальна, горестно-невинна.
 С ливнем в мир слетает ангел, Гамлета подруга,
 И ее с восторгом примет сизая стремнина,
 И слезами оросится лик замшелый луга.

Празднуйте со мной, поэты, этот день рыданий,
 Пред невестой бедной принца преклонив колено!
 Потекут людские толпы к новой Иордани:
 Эту женщину поднимем из пучины пенной!

* *
 *

Али Арсенишвили.

Юность, неужто прошла ты, промчавшись бурливо,
 И молодыми не будем?.. Далёко, далече
 Эта Москва и студенчество, книги и пиво,
 Лирика — снег, осыпавший двух ангелов плечи.

Милый Али! Я уверен — все в памяти живо:
 Зимние улицы, стужа, случайные встречи,
 Власть одиночества, жизни неведомой диво...
 Но вдохновенье венчали и сюоры и речи.

Разве забуду твою комнатенку на Пресне,
 Сладость бессонницы, жар чаепития с хлебом!
 В море стихов мы качались, носили нас песни!

Сажай подернутый, был этот мир или не был?
 Нет, помним все... Поцелуй в снегах, осиянный
 Бронзовый Пушкин, Неждановой голос желанный.

КОЛАУ НАДИРАДЗЕ

Иерусалим

Сонет

Халдеи древний миф вновь золотом горит,
 О, не забыть луне величье Соломона,
 И горечь ласк и слез, и сумрак глаз, влюбленно
 Об умирающей скорбящих Шуламит.

Пусть жизнь ее и смерть мгновенны, здесь навзрыд
 И в миге слезы льет бессмертье уязвлено.
 Две тени ночью вновь, как и во время оно,
 Застыли в немоте ерусалимских плит.

Внимала твердь псалмам любовников святых...
 Здесь пела вкрадчиво могилам тайным их
 Царица Савская, чьи ноги волосаты.

По легкости одежд прозрачных я грушу,
 Блаженство горнее в отчаянье ищу,
 И в сердце жаждущем все горше боль утраты.

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

Варварская элегия

Вижу солнца, что грели в былые века,
 Шелест слышу парчовый восторженно.
 Я в распоротый жаркий живот быка
 Погружаюсь Цезарем Борджиа.

Митридата отставший боец, меднотел,
 Дал отпор я вояке бывалому,
 Что элегию Рима на Мтквари⁴ запел,
 Кровью варварской я воздал ему.

Я забрало носил, я под градом обид,
 Вскинув саблю кривую, выстоял.
 Кровь поэзии нынче я пью... Словно щит,
 Поднимаю луну пятнистую.

Боже! Трубы мои приглуши и сам
 Млека дай мне
 Слова выкованного!
 Я молюсь, тянусь к незримым сосцам,
 Малый львенок, я жажду великого!

ИВАНЭ КИПИАНИ

Зима

Вот сумасшедшая вступила в мой дом старуха
 И лошадь белую впустила в мое затишье.
 Погибшие лебяжьи стаи, накаты пуха,
 Внизу расположились храмы, Кааба — выше.
 Хрустальные оскалив зубы, конь веселится,
 Мелькают, вздрагивают степи, дрожат, немея.

⁴ Грузинское название Куры.

Гроб черный пуст. Кровь сонных комнат во мгле безлицей
 Пьют белокрылые, большие, слепые змеи.
 Чернобородые во мраке встают пьянчуги
 И с криком разрывают в клочья белье, перины.
 Здесь бирюзовая пустыня ревет в испуге,
 Рев непрестанно нарастает, как голос львиный.
 Погибшие лебязьи стаи, накаты пуха,
 Внизу расположились храмы, Кааба — выше.
 И сумасшедшая внезапно пришла старуха
 И лошадь белую впустила в мое затишье.

ШАЛВА АПХАИДЗЕ

Письмо Сандро из Тбилиси

Здесь в иконописи эмалевой
 Тбилиси меркнет нежнолицый.
 Сквозь каменную пыль, сквозь марево
 Мой взор пытается пробиться.

О Грузия! К тебе, израненной,
 К земле — сестре моей — взываю...
 Но в пламени — дома и храмины,
 Спасенья нет родному краю.

Мир исчезает, нам завещанный,
 Как призрак знойного Исани⁵.
 Забыл Тбилиси Благовещенье,
 И мы забыты небесами.

Здесь — кашля жар... Глазные впадины
 Подобно вырытой могиле.
 Сандро! Все лучшее украдено,
 Остался быт клопов и пыли.

Послевоенный сплин томителен.
 Сырым стал ветер. На закате
 Мы — робкие затменя зрители...
 Грядет последнее Распятье!

Паломники в песках... Язычники!
 Нино⁶ и Клеопатра — с ними!
 Я вновь тоскую по Сапичхиа⁷,
 Твое, Сандро, я слышу имя.

НИКОЛО МИЦИШВИЛИ

Цминданиани⁸

Раз в сто лет бывает миру явлена цминданиани —
 Птица-пламень с телом рыбьим, сеющее грех создание.
 Лишь церковную ограду заметит на погосте,
 Прянет на верхушки елей — метеором — злая гостья.
 А внизу, в замшелой церкви, растревожатся святые...
 Как ножи над телом вражьем, свечи вспыхнут золотые.
 В этот миг Святой Георгий ослабеет в кольцах змия,
 Вздригнет Петр, цепenea, выронит дитя Мария.
 И сломает крест Спаситель, руки вскинувший высоко,
 И закроется, затмится мглой всевидящее Око.
 Незадачливый прохожий, обданный смолой и варом,
 Помешается, исчахнет, в пламени исчезнет яром,
 Сила зла неуязвима, до зари все длится схватка,
 И душе заблудшей церковь наваждением мучить сладко.
 Утром сгинет злая птица, с воплем полетит лесами,
 Всюду уголья роняя, и леса охватит пламя.

⁵ Район старого Тбилиси.

⁶ На самом деле Святая Нино — просветительница Грузии, канонизированная церковью.

⁷ Место близ Кутанси.

⁸ Проклятая птица, саганинская, птица несчастья и «Неверного». (Прим. авт.)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АФАНАСИЙ ФЕТ

*

ЖИЗНЬ СТЕПАНОВКИ, ИЛИ ЛИРИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Не так уж много в русской литературе поэтов признанных, но и беспощадно порицаемых, даже — презираемых. Фет — такая фигура.

Писарев пригвоздил его в «Реалистах»:

«Искренность необходима; но поэт может быть искренним или в полном величии разумного мирозерцания, или в полной ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений. В первом случае он — Шекспир, Дант, Байрон, Гёте, Гейне. Во втором случае он — г. Фет.— В первом случае он носит в себе думы и печали всего современного мира. Во втором — он поет тоненькою фистулою о душистых локонах и еще более трогательным голосом жалуется печатню на работника Семена... Работник Семен — лицо замечательное... Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois* и мелкого человека... Такова должна быть непременно изнанка каждого поэта, воспевающего „шепот, робкое дыханье, трели соловья”».

А вот — Салтыков-Щедрин:

«Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расседины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это, для тишины, отправляет в „Русский вестник”. Даже на совсем уж безобидное фетовское: «Прежние звуки, с былым обаяньем /Счастья и юной любви!..» — Салтыков-Щедрин немедленно реагирует: «...воплъ души по утраченном крепостном рае».

Или вот еще: «...закоренелый и остервенелый крепостник, консерватор и поручик старинного закала». А это чья же такая полу-шутливая аттестация, от кого исходит? От самого, вероятно, поэтичнейшего нашего прозаика — Ивана Сергеевича Тургенева.

А сколько было карикатур, сколько уничижительных эпиграмм в адрес поэта, который хотел остаться в поэзии лириком. Желание-то оказалось в ту пору, 60-е годы, странным: лирик? А почему не политик? Политик? А почему не радикал? Кажется, один только Лев Толстой в отношениях с Фетом обходился без подобных упреков.

Минуло сто лет со дня смерти Афанасия Афанасьевича Фета, и вот парадокс: нынче, помимо его лирики, что совершенно естественно, нам вдруг в той или иной мере стал интересен и Фет непоэтический, Фет — bourgeois, хозяин, помещик. Нет, он не был Энгельгардтом, который долгие годы почитался у нас классиком сельскохозяйственной науки и практики, более того, Фет был противником его теорий, но он был хозяином достаточно интеллектуальным и толковым и мог в повседневной хозяйственной суете обозначить что-то главное, характерное для своего времени. Ну а дальше оказалось вот что: оказалось, Россия в смысле сельскохозяйственной практики сто лет протопталась на месте; наверно, так, если сегодня вопросы землепользования, аренды и организации труда, о которых говорит лирик Фет, весьма и весьма для нас злободневны.

Конечно, нельзя сводить дело к одному сельскохозяйственному интересу. Только что освободившись от таких «ведущих» понятий в оценке поэзии, лирики в частности, как «монархо-патриотические мотивы» либо «пролетарская и непролетарская поэзия», едва научившись воспринимать лирику прежде всего как таковую, давайте попытаемся

Подготовка текста, послесловие и примечания Г. АСЛАНОВОЙ.

* Буржуа, собственник (франц.).

по-иному посмотреть и на поэта: как же все-таки совмещались в нем поэзия и трезвость землевладельца, настаивающего на прекровительстве законов; отчего из-за журнальных этих заметок рассорился он чуть ли не со всею литературою; какими в более чем столетней давности времена были Овечкины? и Черниченки?

Это ведь интересно? И даже — весьма.

Сергей ЗАЛЫГИН.

ЗАМЕТКИ О ВОЛЬНОНАЕМНОМ ТРУДЕ¹

Авторитет умер, да здравствует авторитет! Тем лучше: следовательно, всяк — авторитет. Вот во имя этого *всякого* решился и я писать эти заметки.

Где-то я вычитал, что помещики переводят будто бы псовую охоту, но охотников до фраз у нас с каждым днем прибывает. Фраза, это — ассигнация, давно потерявшая номинальную цену и обращающаяся за деньги только между людьми неопытными. Подобные фразы в нашей литературе сыплются градом со всех сторон. Читает их публика или не читает? Кто ее знает! Но рано или поздно придется фальшивую бумажку вынимать из обращения, и кто-нибудь за нее да заплатится. Итак, прочь фразы, в какую бы сторону оне ни гнули. Говорить о деле надо добросовестно и прямо. В заметках моих я выскажу не только факты, идущие, по-моему, к делу, но и те соображения и ощущения, которые вызвали меня на тот или другой шаг. Словом, я буду рассказывать, что я думал, что сделал и что из этого вышло. Хорошо, так хорошо; худо, так худо, лишь бы правда была. Не одна тысяча людей пойдут теперь моею дорогой. Если мой читатель еще менее меня опытен в земледелии, то я порадоюсь возможности быть ему хотя сколько-нибудь полезным, крикнув в потьмах: тут яма, держи правей, я уж в ней побывал; а если он сам дока, то ему и книги в руки, а я с особенною радостью и жадностью стану слушать его советы. Заподазривать меня в пристрастии к старому порядку или в антипатии к вольному труду нельзя. Я сам добровольно употребил на это дело свой капитал и бьюсь второй год лично над этим делом. Последняя шепка на дворе у меня точно так же куплена и привезена за деньги, как и то перо, которым я пишу эти заметки. Итак, к делу, in medias res².

Осмотр имений

Года за три еще до манифеста бездеятельная и дорогая городская жизнь стала сильно надоедать мне. Правда, в Москве проживал я только осень и зиму, а на лето ездил в Орловскую губернию, в имение сестры моей Б. Прекрасный старый сад, чудная река Зуша, шоссе в 6 верстах, хорошее соседство, кажется, чего бы еще хотеть? Но сделаться зрителем, быв всю жизнь деятелем, тяжело, и я стал сильно подумывать о постоянной деятельности. Мне пришла мысль купить клочок земли и заняться на нем сельским хозяйством; но первое условие, чтобы мне никто не мешал делать, что и как я хочу, и чтобы то, что я считаю своим, было мое действительно. Для меня всякое неопределенное состояние тягостнее всего. Мысль о подобной покупке преследовала меня все более и более, и в 1859 и 60 годах я пустился в розыски земли, подходящей под мои требования. Не стану исчислять все мои попытки. Я искал непременно незаселенной земли, хотя с небольшим леском, рекой, если можно, и готовою усадьбой, не стесняясь губернией, лишь бы не слишком далеко от моей родины Мценска. Разумеется, это *не слишком далеко* иногда, при сговорчивости с самим собою, выходило и очень далеко: в Ярославле, Смоленске, под Москвой и т. д. Попав прямо со школьной скамьи на коня во фронт, я всю жизнь не имел никакого понятия о ходе земледельческих занятий, но подумав, что этим делом правят у нас на Руси и безграмотные старосты, я махнул рукой на земледельческую школу и решился приступить к делу в качестве слепца. При мысли отдохнуть среди своих полей, где, как говорит Горааций:

Вкруг тебя с ревом пасутся коровы,
Ржет кобылица, в четверку лихая,³

меня не покидала и другая: не затевать пустой игрушки, которая не окупит положенных на нее трудов и издержек, а следовательно, надоест и отобьет охоту к занятиям, чего мне не хотелось. Я хотел хотя на малом пространстве сделать что-либо действительно дельное. <...>

В начале августа 60 года был я у родственника моего Ш., проживающего в своем имении по старой мценско-курской дороге, в 60 верстах от Мценска и в 35 от Орла.

«Ты ищешь землю,— спросил меня Ш.,— близь меня продается земля. Дорого: 80 рублей, но земля отличного качества, чернозем, 200 десятин в одной меже, от нас верстах в трех через поля, а в объезде верст пять. Строенья всего — новый, еще не отделанный домик отличного лесу, да новый скотный двор. Надо многим обзаводиться, а наличных, верно, у них нет; вот они и продают. Есть и лесок». — «Есть ли вода?» — «Колодезь, но можно по местности вырыть пруд». — «А река близко?» — «Река верстах в семи». — «Это неутешительно, однако нельзя ли посмотреть?»

Нам подали верховых лошадей, и мы отправились в недалний путь. «Видишь ли тот лесок,— сказал Ш.,— а под ним черную полосу? Это взмет на твоей земле». — «На моей, если куплю». — «Посмотри, какой чернозем,— заметил он, когда мы стали переезжать через поле, приготовленное под сев ржи,— и как славно возделана земля, поверь, никто не придерется». Действительно, лошади тонули по щиколки в пухлой пашне. Наконец завиднелся одинокий домик с соломенной кровлей и подле него скотный двор, с которого спускали стадо, когда мы подъехали к заброшенному свежую щепой крыльцу, сопровождаемые злобным лаем двух лохматых собак. Мы объявили свое желание видеть дом. Молодые хозяйские дочери повели нас по недоделанным и кое-чем меблированным комнатам с извинениями, что семейство только неделю тому назад переехало сюда и что все еще кое-как. И очень: над рамами были сквозные щели в ладонь, заложенные стружками; а заводя хозяйство, надо тут жить самому. Ну, подумал я, это все успею сделать. Мебель какая-нибудь на время есть, а там из Москвы подвезут. «Расположение комнат мне нравится», — сказал я по-французски Ш., не желая вводить продавцов в наш разговор. «Il y'a encore une cuisine ici»⁴, — отозвалась неожиданно и довольно неисправно одна из молодых хозяек, отворяя дверь. Оказалась действительно премилая кухня, там где она ничему не мешает, а между тем близко.

Вообще домик в семь небольших комнат для двоих достаточен и удобен. Не отделан, но это дело прихоти.

«Ну как тебе понравился твой будущий хутор,— спросил Ш. тем же шутливым тоном, когда мы возвращались домой.— А заметил ты табун?» — «Ну, брат, нечем похвастать!» — «Напрасно ты так говоришь. Лошади худы, но ты их видел мельком. А они хорошей породы, я это знаю».

«А как ты думаешь,— спросил я в свою очередь,— что может стоить полное устройство этого хутора, считая орудия, постройки, земляные работы, пруд, скотину, одним словом, все, без чего нельзя хозяйничать?» — «Да тысяч до 33, а может быть, и побольше». — «Сколько же он может, по-твоему, дать доходу?» — «Сочти сам: 55 десятин в поле. На этой земле надо считать 400 четвертей в продажу ржи по 3 рубля — 1.200 рублей, да ярового на 500 — из этого на рабочих». — «А какая тут цена рабочим годовым?» — «Твой продавец нанимает по 25, а тебе десяти человек довольно». — «Да ведь это отлично. Следовательно, можно получить до 1.500 рублей в год, то есть то же, что дает 25-тысячный капитал по 6 процентов. Я не гонюсь за барышами, лишь бы убытку не было».

Разговор до самой усадьбы Ш. продолжался в этом роде, и я был совершенно доволен, что наконец-таки нашел, чего искал. При вторичном осмотре в сопровождении самого продавца, с которым уже я сходил, оказалось все в удовлетворительном виде: и рогатый скот, и лошади, и сенокосы до 30 десятин, давшие в текущем году до 3.000 пудов сена. Надо было решиться. И при каких же более приятных условиях пускаться на вольнонаемную обработку земли? Почва прекрасная, рабочие дешевы, сбыт не слишком затруднительный. От добра добра не ищут. Я решился.

Покупка

Когда мы сошлись в цене с продавцом, человеком далеким от науки, но не от практики, он в виде любезности высказал мне некоторые советы, тем более что я без зазрения совести сознавался в моем неведении. Однако неведение неведением, а надо же составить какой-либо план и что-нибудь делать. Он первый подал мне мысль разделить пашню на четыре поля, указав на избыточность трехпольной системы при вольнонаемном труде. Намек этот я тотчас же принял к сведению и в настоящее время развил его в особенную систему, которая вероятно уже существует в науке и потому честь изобретения не останется за мной. Но об этом в своем месте. Накануне, можно сказать, необходимости стать лицом к лицу с самим делом я на первый раз не столько заботился отыскать для себя материальную, сколько моральную исходную точку. Надо было прежде всего иметь в руках рабочую силу, а когда она есть, можно исправить даже ошибку, не говоря уже об исполнении здравого плана. Итак, прежде всего мне нужно было определить мои отношения к рабочим. Там, где нет дружбы, признательности и т. п., отношения должны основываться на справедливости, а в деле обязательств справедливость состоит в побросовестном их исполнении. Нанимая

рабочего, я обязуюсь его тепло поместить, сытно кормить здоровою пищею, не требовать работать свыше условия и исправно платить заработки. Кроме этого мне хотелось, чтобы они чувствовали, что я дорожу их благосостоянием. Желая раз навсегда покончить с содержанием, скажу, что и сколько именно дается у меня рабочим харчей в неделю: три дня щи с салом 1 1/2 фунта на 15 человек; три дня щи с солониной по 1/2 фунта на человека; два постные дня с конопляным маслом 2 фунта — в неделю на 20 человек. Молока, если можно, по штофу на человека, хлеба и картофелю сколько поедят. Зимой соленые, летом свежие огурцы и лук. Круп ровно вдвое против солдатского пая, из которого в артели выходит хорошая каша. Едят три раза в день: за завтраком, обедом и ужином. Кроме того, каждый берет с собою хлеба за пазуху, если хочет. Эта статья, как потом оказалось, довольно важна. На днях пришел ко мне написать работник. Отчего же, спросили его, ты не остаешься на прежнем месте? или капитал (так они называют харчи) плох? «Нет, капитал ничего, да после еды хлеб запирают». И он идет искать места, где хлеб можно жевать целый день. Но исполнением обязанностей к рабочим не исчерпываются мои к ним отношения. Вопрос главный и трудный в том, должен ли я стоять к ним близко или отдаленно и действовать через посредствующее лицо, приказчика или старосту? Первый способ, которого придерживался мой предшественник, имеет свою выгоду. Если хозяин, поступив бестактно, нанесет вред экономии⁵, то платит за собственные промахи, а при посреднике он рискует расплачиваться за чужие. О жалованьи и содержании надсмотрщика, падающих на экономию, я уже и не говорю. С другой стороны, надсмотрщик идет будить рабочего, звать на работу и становить на нее Ивана, когда на нее хотелось бы Сидору, и его непременно встретят ропотом, а спросонья и бранью. Кроме того, если не послушались надсмотрщика, есть инстанция выше — хозяин; а не послушались хозяина, надо судиться. Сообразив все это, я решился взять надсмотрщика. Но хорошо решиться, а где его взять сейчас в степи? Продавец, выпросив у меня позволение оставить свое семейство на неделю в доме и отвести для меня небольшой кабинет, взялся и тут помочь мне и рекомендовал, как он говорил, доброго и честного старика Глеба. Послали за Глебом. Явился Глеб, более похожий на седого сыча, чем на человека. Ну, да тут некогда быть разборчивым! Надо с тем, что есть, приступать к делу. Я приговорил Глеба.

Лицом к лицу с самим делом пришлось мне стать 13 августа 1860 года. Вечером, когда рабочие кончили возку ржи, мы с прежним владельцем велели позвать их, чтобы с глазу на глаз свести с ними счеты, так как в качестве годовых они обязаны были дожить до условленного срока у меня и дополучить причитающиеся им деньги. Я между тем послал взять водки в ближайшем кабаке, чтобы для первого знакомства поднести всем по чарке. Наступала вторая половина августа, дел предстояло много впереди, и я второпях поселился в кабинете безо всего. Со мной не было даже слуги, а обедать я ездил верхом ежедневно к Ш. Водку привезли, но надо же было ее из чего-нибудь налить во что-нибудь. Я вспомнил про стоявший у меня рукомойник, а вместо среднего стакана нашлась порядочного объема чайная чашка без ручки, и дело уладилось. Казалось, еще легче было бы уладить дело с рабочими. «Вот я им продал имение, ребята, — сказал продавец, — и теперь, передавая все с рук на руки, я должен передать и расчеты с вами. Ну ты, Андрон, живешь до заговин (15 ноября)?» — «Так точно». — «Тебе остается получить 2 р. 20 к.? а остальные ты получил?» — «Получил». — «Ну, а ты, а тебе?» — и т. д. «Ну, а ты, Гаврило? Ты тоже до заговин?» — обратился он к рыжеватому, с прямыми волосами как солома и прыгающими глазами, дюжему мужику. «Точно так-с», — ответил Гаврило каким-то небрежно-внушительным тоном. «Ты взял у меня четверть ржи в счет жалованья?» — «Точно, взял-с, — тем же внушительным тоном, — мы не отказываемся. Никогда не можем этого сделать». — «Тебе приходится 5 р.?» — «Так точно-с — 5 р.». — «Да за рожь мы с тобой клали 2 р. 50 к. Вот тебе и следует получить 2 р. 50 к.?» — «Помилуйте-с, как же это мне, значит, задарма приходится жить?» — «Как задарма?» — «Да это уж нам отчинно обидно». — «Но ведь тебе следует 5 р.; 2 р. 50 к. ты получил рожью, да 2 р. 50 к. получишь деньгами». — «Да помилуйте-с, это нам...» — и т. д.

Кое-как эти словопрения кончились. Я взял в руки поданный мне лист, на котором были записаны имена всех рабочих с обозначением годовой платы и полученных рабочими денег. Всех годовых было пять, из которых четверо получили по 25 р. сер. в год, и только один красивый малый Иван, как значилось, получал 30 р. «Вы получаете по 25 р. в год?» — спросил я. «Точно так, батюшка». — «А ты, Иван, 30 р.?» — «Так точно-с». Умывальник между тем делал свое дело. Глеб таинственно подошел ко мне шепнуть: «Водки осталось, не прикажете ли по получашечке еще?» — «Пожалуй». Все поблагодарили, и аудиенция кончилась. Я отдал приказание касательно работ следующего дня и совершенно покойный отправился читать на сон грядущий.

Каково же было мое удивление, когда на другой день Глеб объявил мне, что у нас неблагополучно. «Что такое?» — «Да рабочие не хотят идти на работу и говорят, что не будут жить». — «Почему?» — «Да они как узнали, что Ванька получал 30 р., а они только по 25, так обижаются». Я обратился к прежнему владельцу с просьбой разрешить мне эту чепуху. Ведь это вольный труд. Никто никого не принуждал наниматься на год за известную плату. Что же тут обидного, что другой получает более меня из той же экономики? Воображаю, как бы изумился редактор журнала, если бы, взяв большую часть денег за статью, автор отказывал ему в рукописи только потому, что узнал накануне о двойной цене, платимой редакцией другому. Подобного человека даже не назвали бы бесчестным, а просто помешанным. Сказать в их оправдание, что они договаривались с одним лицом, а имеют дело с другим, — нельзя. Во-первых, им плата за работу, а не за личные отношения, во-вторых, они сами это сознают и не делают различия между нанимающими, а только требуют высшей против условия платы, потому что один по каким-либо соображениям получает такую. «Вы сделали, — сказал мне продавец, — вчера большую ошибку, объявив цену Ивана. Мужикам ничего не надо объявлять подобного, теперь их сам черт не уломает». Я подумал, что черта искать далеко, а уломал бы становой, живущий за 25 верст, да ведь мне надо приучать, а не отучать от себя рабочих. И что за радость начинать дело судебным разбирательством, тратить и так уже почти упущенное время, рассылать лошадей и людей и под конец, хотя бы дело и решилось в мою пользу, три месяца возиться с людьми недовольными? — «Что же вы мне посоветуете делать?» — спросил я. «Да я им скажу, что вы по расчету от себя набавляете помесечно против Ивана. Это выйдет коп. 40 в месяц. Всего каких-нибудь 5 р. до заговин». В сравнении с предстоящими издержками 5 р. действительно ничего не значили, но дело не в них, а в том, что почва уже зыблется под ногами. Если повар, кучер и т. п. вздумают пускаться в такую логику, то я еще могу как-нибудь заменить их на время. Все-таки это аксессуар. А вольнонаемный земледельческий труд без рабочих в последнее рабочее время — это страшный дефицит на целый год. Я воспользовался данным мне советом и скрепя сердце, против принципа, прибавил по 1 р. 20 к. на человека. Дело пошло мирно.

Необходимое устройство

Разделив, пока только в уме, свою запашку на 4 клина по 40 десятин в поле, я расчел, что, полагая по 5 десятин на рабочего, мне надо иметь 8 рабочих и 16 рабочих лошадей (крепостные рабочие, если взять в соображение господскую запашку и их собственный надел, обрабатывали в наших местах гораздо большее количество земли). Прибавьте к этому заводчиков, жеребят и подростков, всего будет 25 или 30 лошадей да 8 или 10 штук рогатого скота, всего штук 40. Это уже последнее minimum, так как вольный земледельческий (не буду употреблять более последнего эпитета, потому что только о нем и говорю) труд только и может рассчитывать на возможно-улучшенный и высший способ хозяйства. Возможным я буду называть экономически, а не материально возможный способ. Алюминий химически и материально очень возможен. Из него продают безделки. Но экономически он пока невозможен; овчинка не стоит выделки. Не забираясь на особенную высоту и отбросив четвертое поле, мы имеем в трех клинах по 40 десятин, всего 120 десятин. Порядочный хозяин при крепостных рабочих обходил свои поля удобрением в десять лет. Высота не чрезмерная, но мне приходится добиваться возможности удобрять по этому расчету 10 десятин, что, принимая самое умеренное удобрение по 360 возов на казенную десятину, составит 3.600 возов. Я застал у моего предшественника штук 50 скота, и результат — удобрена всего одна десятинка. Старый Глеб знал все прежнее хозяйство, как свое, и чуть ли не помогал прежним хозяевам. «Помилуй, Глеб, — спросил я, — да где же ваш навоз?» — «Да вот, сударь, туда да сюда, да и весь тут». — «Куда же туда да сюда?» — «Да вот на эту десятину». (Заметьте — около самого скотного двора.) «Как же от пятидесяти штук скота только одна десятинка?» — «Да помилуйте, скотину-то, нельзя сказать, чтобы зимой кормили, а бедствовали, не приведи Бог. Силы нет самому засеять и ужать; все исполу⁶ да исполу, все равно как и в нынешнем году, как вам известно. Стало быть, и хлеба-то только наполовину с грехом пополам. Риги нет, молотильного сарая тоже, а выюга по неделям не дает молотить; вот и кормили снопами, да колодезь неглубокий, и в низком месте, и промерзает, и засыпает его снегом; так, бывало, руки в кровь обдирают докапываются до воды: скотина по два дня стояла не пивши; вот весной ее за хвосты и подымали». — «Положим, что ржи мало, и на этот год мы приняли с тобой всего триста копен. Вы и в нынешнем все исполу да исполу; но отчего же у вас в этом-то году свой овес и гречиха из рук вон плохи, а кругом порядочные?» — «Да тоже неуправка-с. В прошлую

осень под яровое поднять не успели, а весной кое-как по непаханному раскидали семена да и запахали, вот оно и пропало».

Картина разлагающегося хозяйства может ли быть еще полнее? Остается только одна ступень ниже: не засеять полей и уморить скот с голоду. Не забудьте, что предшественник мой — человек в десять раз практичнее меня и выросший на полевом хозяйстве. Но вот что наделало новое хозяйство без значительного капитала для обзаведения и оборота. И на какой почве? На первойшей, можно сказать, в мире! Сообразив эти печальные факты с настоящим моим положением, я отбросил все научные требования насчет количества скота по отношению к количеству земли. Тут уже не в том дело, много ли скота, а как бы не потерять того, который есть. Ведь и мне предстоит такая же зима и те же 300 копен ржи, 100 копен овса да 50 копен пустой гречихи, которая много что даст всего 6 или 8 четвертей, — а мне их на посев и кашу надо, по крайней мере, 40 четвертей, — тот же овин, в три копны, без молотильного сарая, и тот же колодезь, который придется разрывать окровавленными руками полтора раза, а рабочего времени остается не более двух месяцев. Что же необходимо сделать для избежания бедствий и, пожалуй, драматических катастроф? Во-первых, нужна контора для прикащика и помещение для моей личной прислуги, которая должна же когда-нибудь явиться; во-вторых, молотильный сарай с кузовом для будущих молотильной и веяльной машин; в-третьих, ледник, без которого, не говорю уже о моей кухне, рабочие должны оставаться все будущее лето без мясной пищи. Ледник надо набивать льдом, а где он? Стало быть, в-четвертых, надо пруд, а при разбивке молодого сада, требующей поливки, и другой — в саду; да в-пятых, надо сейчас же сад и усадьбу окопать рвами и обсадить ракишником; по расчету выходит — верста канавы. В-шестых, нужен погреб для рабочих и картофельная яма. Ко всему этому надо, по расчету времени, приступить не только сию же минуту, но если бы возможно было — вчера.

Семейство продавца наконец уехало в город, оставив мне, разумеется за деньги, кое-какую мебель, и ко мне приехал мой слуга. Возвращаясь верхом от Ш., вижу ежедневно на моем лугу стада свиней, которые взрывают и портят его немилосердно. Вольное хозяйство без травосеяния невозможно. Поэтому в моем хозяйстве нет и не будет свиней, а это свиньи соседних крестьян и дворников. Еще до травосеяния далеко; не истребляйте хотя того, что посеяно природой! Надо отрывать людей от необходимых работ и загонять свиней. Являются хозяева с плачем и лживыми клятвами; но назавтра — те же свиньи в саду, в огороде, по лугам, та же гонка за ними и та же потеря времени, а луга испорчены.

Однажды вернувшись от Ш., вижу, полы в доме отвратительно мокры. «Или тут мыли полы?» — спрашиваю я слугу. «Помилуйте-с, это сильный дождь шел, так сквозь потолок, как сквозь решето льет; ведь потолки не насыпаны». Все это мило, подумал я, но ведь мне уехать отсюда нельзя, не устроив необходимого. Глебу впору будить рабочих, а где же ему распорядиться таким сложным делом, какое предстоит нам. И без того на вопросы мои, отчего не допахали, он, вздернув слезливо нос, отвечает: «Мочи моей нет, не слушают. Просишь, просишь: ребятушки! время запрягать, а они норовят за хлеб, а не то — за трубку». Однако потолки-то надо обить войлоками да насыпать возов сорок золы; без этого тут не проживешь до декабря. Строиться в городе и в степи — две вещи совершенно разные. Там специалист вам скажет, что делать, а подрядчик за деньги даст рабочих. Здесь придумамай сам; ошибся — сам плати за ошибку, в которую тебя из-за каких-нибудь личных расчетов втягивает рабочий; да прежде чем нанять, скажи во все стороны отыскивать специальных рабочих, которых часто во всей округе нет.

На мое счастье, неожиданно явился подрядчик копач, бессрочный солдат, Михайло, по наружности расторопный и честный. Но как судить по одной наружности? «Есть у тебя вид?» — «Могу достать у командира гарнизонного батальона». — «Доставай и приходи; без вида не возьму». Мы осмотрели местность прудов, из которых один приходилось рыть в сажень глубины, а другой только в поларшина. Условились, по дорогой по здешнему цене, по 1 руб. с кубической сажени. «Сколько же ты поставишь рабочих?» — «Человек двенадцать». — «Стало быть, и тачек тебе надо столько же?» — «Точно так». — «А сколько досок?» — «Штук сорок». — «Хорошо, ступай, да приходи поскорей, не то не успеешь вырыть прудов и канав». — «Помилуй Бог, ваше высокоблагородие, как не успеть! Только уж явите божескую милость, не передавайте никому другому работы». — «Зачем же я стану передавать, если ты ее сам делаешь? Ведь мне все равно, кто бы ни сделал». — «Ну, на этом покорнейше благодарим».

Что касается до небольших построек, и тут уже не ладилось. К моему счастью и превеликому горю всей округи, начиная от 12-ти и даже до двух верст, сводят с неистовством последние одинокие лески. Разумеется, свой я берегу как зеницу ока, а то летом придется сгореть на солнце. Срубы я купил сходно; нанял плотников и

подрядил подводы. Разумеется, последнее страшно дорого. И камень на ледник нашелся за семь верст по 4 р. за сажень да перевозка столько же. Класть печи и ледник и исполнить всю каменную работу взялся Василий, красивый, зажиточный, сметливый и в высшей степени плутоватый мужик из имения Ш. Он занимается всем и всюду поспевает. Каменную и штукатурную работу хоть во дворец, бьет коноплиное масло в большом количестве, выделявает кожи, ездит в извозы; словом, на все руки, но иметь с ним дело — пытка. Никакая логика не может выгащить его на предварительную смету или условие. Явился и Михайло копач, и к нему стала подходить артель. Давай досток, материалу на тачки и чугунных колес.

Но главным камнем преткновения явился левиафан — молотильный сарай. На него одной соломой, не говоря о решетнике и хворосте, нужно возов 200, а у меня на все продовольствие дай Бог 200. Соломы в прошлом году родилось мало; я приценялся, и с меня крестьяне просили рубль серебром за воз. Рубить и строить новый такой сарай не успеешь. Положим, с соломой материалу в нем на 300 р. сер.; да надо под него 300 подвод, а подвода стоит 30 к. сер.; да наем плотников. Следовательно, не успеешь, и страшно дорого. При ежедневных свиданиях с Ш. я жаловался ему на невозможность поспеть с молотильным сараем. «Купи у меня, — заметил мне Ш. — Мне надо молотить, а сарай мой мне мал. На хуторе (версты за две от его усадьбы) у меня есть сарай побольше, так я сделаю вот что. В том, который ты купишь молотить будут до тех [пор], пока хуторский не наденут на него как чахол, а тогда я велю твой вынуть и отвезти к тебе, поставить и покрыть. Когда мой будет готов — твой поставят в неделю. А то мой теперешний пропадет даром, и его растаскают на дрова». Мы сошлись в цене, и я поуспокоился.

Осенние хлопоты

Посреди всевозможных хлопот август и сентябрь промчались незаметно. Осими взошли прекрасные, но от свиней и лошадей отбою нет. Я пожаловался становому, и тот объявил, что если я буду добродушничать, отдавая загнанный скот, то никогда не отобьюсь от него. Камень привезен, яма для ледника выкопана в четыре аршина глубины, и артист Василий поставил брата своего класть стены. Когда рыли ледник, уже на двухаршинной глубине показалась вода, но в ясную погоду он высох совершенно. Тем не менее я заметил Василию, что он стены кладет без бута. «Помилуйте-с, да разве нам впервой! Я головой отвечаю, что ему ничего не сделается. Все равно: стены становятся на материк, и бут станет на материк». Я, к несчастью, позволил себя убедить и имел потом причину горько в этом раскаиваться. Плотник подрядчик нашелся и перевезть и поставить контуру; но людей у него мало. Надо поспешать да готовить сруб на ледник. Поэтому я нанял еще плотников помесечно по совету подрядчика и отдал их ему под присмотр. Возка лесу, работа в саду, щепы и мусор на дворе, ненужные канавы, которые надо засыпать, — необходимо взять поденщиков. Глеб говорит, что у них на Неручи много. Явились и поденщики: 1 р. 30 к. в неделю, 5 р. 20 к. в месяц. Дорого, но делать нечего, лишь бы работы подвигались. Посреди рабочих торчит если не подрядчик, по крайней мере, колonoвожатый, Алексей с вострым носом и физиономией коростеля. «Уж мы для вас постараемся, равно для себя. Вот и Глеб Михайлыч про нас известны». Хомутов и телег немного, надо будет зимой все это завести и хорошо, и вдоволь. А между тем при возке лесу всякий день то клещи пополам, то ось, то колесо. Мужик, видно, не свое ломает, а мое. Ну, да делать нечего, надо как-нибудь вертеться. Глеб все более и более жалуется на непослушание рабочих. Две сохи давно не допахивают десятины (на моих переменных лошадях). Наконец некоторые без спросу прямо с поля уходят на ночь домой за семь верст, бросая лошадь и соху на руки товарища, который и свою-то не уберет, как должно, а ушедший придет завтра утром уже на поле и примет свою лошадь готовою из рук товарища, который терял время на запряжку двух сох. Независимо от убытка, что за беспорядок и какова наглость! Если нужно, спросись и ступай, а то каков пример? Будто это вольный труд? Это воровское безначалие. Однако этого терпеть нельзя, и я выехал утром в поле, где нашел лошадь и соху Андрона без пахаря. «Где Андрон?» — спросил я остальных. «Он сейчас придет». — «Я не спрашиваю, скоро ли он придет, а где он?» — «Дошел до дому». — «Хорошо». Я поехал осматривать пашню, довольно мелкую и с огрехами (непропаханными кусками). У помещиков-хозяев не допускалась даже мысль об огрехах, за которые с виновных взыскивалось строго. Но там можно было взять во внимание, что пахарь бережет собственную лошадь, а тут — уж не мою ли, которую он бросает без призора и уходит домой? Явился и Андрон. На этот раз я объявил ему, что, если подобная выходка повторится, я не пожалею послать за становым, хоть придется целых пятьдесят верст сделать, и буду просить о примерно-строгом взыскании. На рвах, где вырывают ракитник, чтобы засыпать и сровнять канаву, я увидел поденщика Алексея

с грязною тряпкой на глазу. «Что это у тебя?» — «Да застегнул раkitником глаз». — «Давно ли?» — «Третьего дня». — «Что ж ты мне ничего не сказал?» — «Да, думал, авось ничего». — «В обед приходи ко мне». В двенадцать часов явился Алексей. «Сними тряпку». Глаз очень красен и воспален и на зрачке начинает образовываться бельмо. Человек может окриветь и непременно окривеет, если не помочь ему. «Сегодня едут в Орел, и ты поезжай. Вот тебе записка к инспектору врачебной управы, а между тем вот чистые тряпки и капли». Я вспомнил, что в полку, на пыльных степных маневрах, я и себе и солдатам нередко лечил глаза свежеею водой, в которую вливал несколько капель одеколону. В Орле я просил приятеля и соученика доктора осмотреть пациента и прописать, что нужно. Прописали мушку за ухо и какие-то капли. На третий день посланный вернулся с Алексеем, и привезли лекарства, разумеется, на мой счет. Я простриг больному затылок, налепил мушку и показал употребление капель.

Через три дня он был на работе с ясным и здоровым глазом, а через два дня затем явился Глеб с восклицаниями: «Как вам угодно, сударь! Или вы меня извольте отпустить, или Алешку прогоните. Я стал ему говорить, что пора на работу, ведь они эва какую цену луют! А он меня всячески иссрамил при всех и говорит: я тебя прежде боялся, а теперь я тебя знать не хочу и живу здесь только из-за денег». Какова логика? Как будто он делает одолжение, что берет даром деньги? В настоящую минуту, когда я уже обстрелян достаточно, я бы ограничился простым актом изгнания нелепого поденщика. Это не годовой рабочий, я с ним ничем не связан, а всех дураков учить ни времени, ни охоты не достанет. Но тогда этот факт меня возмутил. Третьего дня я его вылечил на свои деньги и, можно сказать, своими руками, а сегодня он готов на все гадости! Мне удалось усосвестить Алексея, и с этого дня он, во всю осень, изо всех поденщиков стал отличаться кротостью и трудолюбием; после он умолял дать ему весной работу.

Но вот годовой рабочий Иван, яблоко раздора в первый день между рабочими, румяный и здоровый малый, получавший больше всех годового жалованья, объявляет, что не будет доживать до срока. «Как же ты это не хочешь?» — «А если ж я болен и не могу работать?» (Я узнал, что его переманивают в город в дворники, где он и по сей день.) Денег за ним не было, и я отпустил его, избегая жалоб, хлопот и проч. Но как подрывается принцип? Куда теперь! В страшных хлопотах не до принципов, лишь бы довести дело до новой наемки. Однако, при этом обстоятельстве, я начал смутно понимать, что это не вольный труд, а что-то не то.

Контора моя воздвигается; зато сруб ледника мало подается вперед. Яков рядчик очень просто расчел, что ему выгодней отпустить своих рабочих и взять от ледника моих. Таким образом он за контору получил деньги огульно по подряду и делает дело на мой счет. «Что ж, Яков, где ж твои рабочие?» — «Да вот разошлись по дворам молотить, а как мы контору-то кончим, я вашей милости поставлю народ на ледник». — «Мы опоздаем». — «Помилуй Бог! с чего?» — Разумеется, и опоздали, и я заплятал вдвое. Где же разбираться, чей рабочий клал то или другое бревно?

Михайло копач с своею артелью пыхтит, а дело подвигается туго. Большого пруда вырыта половина, а за маленький и не принимались. Утром, у крыльца, мне попались два приземистых мужика с пушистыми светло-русскими бородами напоподобие веера. «Что вы?» — «Копачи. Слышали, что работка есть». — «Есть, да отдана вся». — «Видели, батюшка, да ведь они не управятся». — «Я и сам так думаю. Да как же быть?» — «А пусть их работают свое, а мы в саду пруд возьмемся копать». — «Для меня все равно, кому деньги платить. Я ни харчей, ничего не знаю и плачу 1 рубль с кубика (кубическая сажень)». — «Вестимо. Что ж? Мы с удовольствием». — «Да ведь надо же мне переговорить с Михайлом, а то, пожалуй, обидится». — «А что с ними говорить, коли они не управляются». — «Да ты по себе посуди. Я найму тебя теперь на пруд, ты начнешь рыть, а я другому сдам дальше. Хорошо ли это будет?» — «Вестимо. Какое ж хорошо?» — «Так надо с Михайлой столкнуться». — «А что ж с ним столкноваться?» И посмотрите на этого копача. Сейчас видно, человек бывалый и себе на уме. Что же выражают его слова? Простоту, возлюбленную косность или безнравственное презрение к чужим правам? Разумеется, Михайло и просил, и умолял оставить за ним работу, которой он, очевидно, не в силах был одолеть. А когда юхновец соглашался добровольно скинуть с кубика по 20 к., то есть стать по 80 к., Михайло стал доказывать, что на садовом пруду *климат* (почва) другой и что, только имея в виду такой легкий, торфяной *климат*, он стал на более глубокий глинистый. Как я ни старался доказать ему, что он не управится, Михайло стоял на своем. Бранил нового рядчика, валялся в ногах, плакал, словом, мұка да и только. Дело кончилось бы тем, что я остался бы без пруда, но хитрый юхновец все уладил, уступив из рядной суммы, то есть из 1 р. с кубика 20 к. в пользу Михайлы. Я ничего не терял, а выигрывал вероятность иметь два пруда вместо одного. Мы так дело и порешили, и оба юхновца стали рыть замавок под плотину. Я объявил им, что деньги

будут выдаваться по мере вырытого количества земли, а задатку я не дам ни копейки. Это им не понравилось, потому что через день или два они поджидали артель, которой надо поприготовить харчей. «Да пожалуйста хоть рубля три». — «Ни копейки: что выраешь, за то и получишь». Делать нечего; они пошли ни с чем. Рано утром на другой день я увидел их вдвоем на месте, размеченном мной под плотину. Широкие и острые лопаты ловко и, по-видимому, легко отрезывали слой за слоем и выкидывали землю. Я подумал, недаром юхновцы слывут за первых землекопов. Вечером того же дня человек доложил о приходе юхновца. «Что тебе надо?» — «Да пожалуйста, ваше благородие, хоть рублика четыре». — «Я тебе сказал, не дам ни копейки кроме того, что будет следовать за работу». — «Да мы кубика четыре, должно быть, выкидали вдвоем». — «Что ты врешь, братец, вздор!» — «Потрудитесь примерить».

Я пошел с уверенностью снова наткнуться на обычную ложь; но какво же было мое удивление, когда полуторааршинной в глубину и саженой в ширину канавы оказалось ровно восемь сажень? Предоставляю специалистам решить, в какой мере баснословно громадна эта работа. Положим, что, как говорил Михайло, тут *климат* другой, но его же работники, и даже самые досужие, выкидывали немногим более полукубика в день. Следовательно, каждый из двух юхновцев сработал чуть не вчетверо против обыкновенного работника. Это действительно орлиный труд и чисто вольнонаемный со всеми своими преимуществами перед невольным, обязательным. Такой труд, где рабочий напрягает свои силы чисто и единственно для себя, есть идеал вольного труда, идеал естественного отношения человека к труду. Но как достигнуть обществу этого идеала? вот вопрос, который не так легко разрешить. Далее мы, быть может, увидим, что труд вольного рабочего никак не подходит под эту категорию и несколько не заслуживает имени вольного, хотя за неимением другого выражения мы его так и называем. Между тем и другим трудом и по сущности и по результатам — бездна.

Возвращаюсь к простому рассказу. Молотильный сарай Ш. окончен и, слава Богу, можно разбирать проданный мне. Земля, того гляди, застынет, и тогда плохо будет становить его у меня. Но это, по условию, не моя забота, а я должен припасти хворост и решетник. Забота тоже немалая и при моих рабочих силах — труд гигантский. До сих пор не могу понять, как я с ним управился: правда, у меня были поденщики, но из пяти годовых осталось за выбытием Ивана четыре, которым пришлось всю осень подымать под яровое, и поднято таким образом 33 десятины. Пахали до тех пор, пока сошники воткнулись в мерзлую землю. Недели за две до срока Карп, крестьянин барона Т., племянник Гаврилы, крупно разговаривавшего во время приемки с моим предшественником, пришел изъяснить мне свое сожаление о том, что его требуют в тягло и не дают дожить у меня. Я был доволен Карпом как усердным и ловким малым, но требовать его из барской экономии значило заводить тяжбу из-за двух недель. Я знал, что его требует не экономия, а негодяй Гаврило, которому лень была дотянуть тягло. Воскличать о нелепой несправедливости подобных выходов считаю излишним. Я отделил в моем суждении негодяя Гаврилу от исправного Карпа, вычел у него за недожитые две недели по расчету 70 к. и дал ему от себя сверх причетов 50 к. сер. Читатель, вероятно, уже заметил мое стремление держаться середины, не допускать самоволия, разрушающего корень производства, и не забывать знаменитого изречения: «преступник прежде всего плохой счетчик», заменив в моем положении слово «преступник» словами «несговорчивый», «придирчивый», «тяжелый хозяин». Как пролабировав я между этими Сциллой и Харибдой, предоставляю на суд читателя. Замечу только, что лавировать между двумя помянутыми принципами трудней, чем между гомеровскими чудовищами. Сцилла и Харибда равно гибельны, но противоположны, как крайности помянутых принципов.

Молотильный сарай перевезен и поставлен Ш. с необычайною быстротой. Я, наконец, успел его разместить. Остается накрыть, и это по условию должен сделать Ш. Я не перестаю ему напоминать об этом. «Накрою». Но ведь это легче сказать, чем исполнить. Наступили заморозы, и сарай раскрыт. Ш. как-то приехал завтракать. За рюмкой портвейну я напомнил ему о соломе. «Везут. Сейчас будут, я их обогнал». — «Да когда же перевезут 200 или 300 копен? Помилуй, стынет. Кто же кроет зимой? Когда же перевезут всю солому?» — «Сегодня. Вот посмотри в окно, уже везут». Действительно: по дороге к моему хутору тянулась длинная вереница подвод. Рядом с первым возом ехал мужик верхом, с последним — тоже. «Кто эти люди?» — спросил я. «Старосты двух барщин». Нельзя себе представить более стройную картину сельского труда. Лошади у всех мужиков исправные, а у многих превосходной породы, от господских лошадей. Я насчитал сто подвод, и вся эта сильная вереница потянулась к сараю. Кто не понимает наслаждения стройностью, в чем бы она ни проявлялась, в движениях хорошо выдержанного и обученного войска, в совокупных ли усилиях бурлаков, тянущих бичеву под рассчитанно-однообразные звуки «ивушки», тот не поймет и значения Амфиона, создавшего Фивы звуками лиры⁷. Так

поэтому вы видите идеал в этом крепостном обозе, и вы против эмансипации? Все мы ужасно притки на подобные заключения. Но воевать с мельницами и скучно и некогда, а на вопрос, вижу ли я в этом обозе идеал, отвечу прямо — и да, и нет. В принципе — нет, в результате — да. Это заведенный порядок, старинный порядок, которому надо подражать, несмотря на изменившиеся условия. Я не хочу ни под каким видом быть китайцем, а если заведу фарфоровую фабрику, хочу, чтобы у меня так же искусно делали фарфор, как у китайцев. Как будто звание европейца возлагает на меня обязанность делать все зря, нелепо и негодно? Я этому никогда не поверю. Напротив, каждому легко убедиться, что со вступлением России в новый период деятельности заветные слова: *авось*, да *небось*, да *как-нибудь* — должны совершенно выйти из употребления и остаться в одних лексиконах с *понеже*, *поелику* и т. п. Только над этим надобно много еще поработать, а машина Ш.— стройный результат прежнего порядка. При вольном труде стройность еще впереди. Прежде труд ценился мало; теперь он стоит высоко в цене и все более и более становящиеся на его место машины не терпят малейшего невнимания, не только нерадения. Лошадь, не кормленная два дня, *авось* дотащится, а машина несмазанная и несвинченная наверное не будет работать. Кроме того, машина, этот плод глубоко обдуманых и стройных производств прилежного Запада, есть наилучший и неумолимый регулятор труда. Машина не требует порывистых усилий со стороны прислуживающего при ней человека. Она требует усилий равномерных, но зато постоянных. Пока она идет, нельзя стоять опершись на вилу или лопату и полчаса пребравиваться с бабой. Отгребаешь солому, так отгребай точно так же в двадцатую четверть часа, как и в первую, а не то она тебя засыплет. Это качество машин с непривычки пока очень не нравится нашему крестьянину. Небогатый землевладелец Г. поставил молотилку и нанял молотников. Машина так весело и исправно молотила, что Г. приходил ежедневно сам на молотку. Через три дня рабочие потребовали расчета. Г. стал добиваться причины неудовольствия, предполагая в плохом содержании или тому подобном. Наконец один из рабочих проговорился: «Да что, батюшка, немогут жить. Сами ходите под машину: ишь она, пусто ей будь, хоть бы запнулась».

Приближение зимы⁸

Свободы ищет и добивается человек на всех поприщах: политическом, общественном, умственном, художественном, словом сказать, на всех. Слово *свобода* у всех на языке и, быть может, на сердце; а между тем многие ли уяснили себе его значение? Свободу понимают как возможность двигаться во всех направлениях. Но природа не пускает меня ни в небо, ни в землю, ни ко дну океана, ни сквозь стену. Для духовного движения есть также свои океаны и стены. Интересно осмотреть остающееся в нашу пользу пространство, по которому мы действительно можем двигаться. Пространство это и обширно, и тесно,— смотря по избранному нами направлению; но куда ни пойдешь, непременно наткнешься на стену, будет ли эта стена — вечность, запертые ворота, зверь, или другой подобный нам человек,— закон бессознательной природы или сознательный закон общества.

Но нет пограничного столба со словом закона: «далее нельзя», который бы тем самым не говорил: «а до сих пор можно». Другими словами: нет обязательного закона, который бы не заставлял предполагать известное право. Вот сознание-то этого закона и определяемого им права и составляет сущность свободного существа в сравнении с несвободным. Человек, увязавший ногу между твердых тел, будет неподвижно ждать освобождения; но ни одно животное не в состоянии понять необходимости не двигаться, и не было примера, чтобы в подобном случае любое животное не сломало себе кости. Только сознание законных препятствий и связанных с ними прав дает то довольство, тот духовный мир, который составляет преимущество свободного перед рабом. Я вижу препятствие, и знаю, что если *туда* нельзя, зато *здесь* я полный хозяин. С другой стороны, свободный человек не примет молча поставляемого ему препятствия, которого он не понимает, а будет усиленно протестовать против него, во имя своего сознания. Свободный человек, понимая несвоевременность известного явления в данный момент, не станет ратовать против него в прошедшем и поймет его заслуги там. Свободный человек, несмотря ни на Венеру Милосскую, ни на Аполлона Бельведерского, не предастся культуре олимпийцев, но не станет называть за него греков дураками. Свободный не оттолкнет никакого изучения, следовательно, и изучения древности, хотя бы каракалпакской, но не забудет в то же время, что идеал всякого живого организма в будущем, а не в прошедшем. Потому-то нам и не нужно ни общинного владения, ни крепостного права, что они были да сплыли, или Бог даст сплывут. Свободный знает, что хлопотать о народности какого бы то ни было народа — то же, что убиваться из-за древесности леса. Поэтому напряженно откапывать какое-нибудь наречие для литературного и образованного круга, в то

время как лучшие представители его давно усвоили себе наречие более развитое, то же, что сказать: не ешь жаркого вилкой, потому что она орудие не народное. Кто-то отыскал в русских песнях:

Бабища кабацкая
Турьжная, бабища ярьжная,—

и долой Пушкина: то не серьезно, а вот эта гадость серьезно.

Свободный человек, поняв, например, что мы сидим в грязи, не ограничит свою деятельность праздною перефразировкой этого речения, а поищет средств вылезть из грязи. К этому первый шаг — сознание, как и насколько мы в грязи.

С этой точки обращаюсь от моего долгого отступления к продолжению моих заметок.

Что такое предложение и требование, которыми свободно устанавливаются цены, говорить я не буду, как не стану и гадать о том, каково будет отношение предложения рабочих рук к требованию на них в будущем. Я говорю здесь о настоящем и вижу, что большая часть моих соседей мало-помалу заводят вольный труд и требуют рабочих на тех же основаниях и условиях, на каких требует их и моя экономия. Около Мценска есть уже большие экономии на чистом вольнонаемном труде.

Чтобы объяснить себе условия найма рабочих, нужно сказать, для какого они времени нанимаются и кто они такие? Я уже упомянул, что мне для обработки моих полей нужно восемь человек; я нанимаю еще девятого на лето для облегчения работ. Кроме того, мне придется принимать посторонних во время уборки. Первое, что при этом кинется в глаза каждому практику, будет несоразмерно большое число годовых рабочих. Зачем же нанимать восемь годовых, когда и на лето в крайнем случае достаточно восьми. Такое замечание справедливо. Но там, где все хозяйство основано на вольнонаемных, кто поручится, что рабочие, не нашедши около себя мест, не пойдут в даль, на дороги, на юг и т. д., и тогда что же делать с открытием весны? Нанимать и сдельно? Прекрасно. Но во-первых, надо будет с потерей времени отыскивать желающих; во-вторых, никто не пойдет на чужую работу, не кончив своей, а между тем драгоценное время ушло, и вы без овса, навоза, гречихи, сена и т. д. Вольнонаемное дело у нас еще в младенчестве, и поэтому нечего удивляться, что крестьянин, не привыкший заранее рассчитывать, на всякое делаемое ему предложение, даже самое для него выгодное, отвечает одно: «Как люди, так и мы». И сколько бы вы ни перебрали людей, они все будут искать образцов; а если вам удалось склонить хотя одного, очарование снято, этот один делается *людьми*, и подражатели выползают со всех концов, даже на умереннейших против первого условиях. Надо сказать правду, наемщики, со своей стороны, хотя и не говорят громко заветного «как люди, так и мы», но в сущности поступают так же. Как бы то ни было, для спокойствия необходимо в настоящее время нанимать рабочего годового, имея преимущественно в виду его летнюю работу.

Остается рассмотреть, кто нанимается в работники. Домашняя прислуга, кучер, лакей и пр. составляют отдельный вольнонаемный класс. В счет заработной платы идет его помещение, пища и т. д. Ему прежде всего необходимо где-нибудь приютиться и затем уже получать плату, и на его труд время года не имеет влияния. Тут отношения между наемщиком и рабочим просты. Не нравится один другому, и они расходятся так же просто, как и сошлись; зато никто и не дает вперед без особых обстоятельств денег неизвестному слуге. Не таковы отношения наемщика к полевому работнику. Этот последний также землевладелец, не нуждающийся в помещении и продовольствии (я говорю о найме в земледельческой полосе); осенью ему нужны деньги на уплату повинностей или на свадьбу, и он нанимается в работники. Не коротко знакомым с делом покажется странным, что отец или брат *мало*, которого *женят*, просит на одно празднество бракосочетания весь годовой заработок жениха, а иногда и более того; но это и служит новым доказательством крайней нерасчетливости нашего крестьянина. Интересна будет статистика браков 1861 года. Свадеб было без конца. Если бы нанимающийся перебилась осень без денег, то весной он, быть может, и вовсе не пошел бы в заработки, и двое-трое стали бы ковырять у себя там, где при бабах и одного довольно. Но ему нужны деньги не в будущем, а сейчас, безотлагательно, и он идет наниматься, ставя первым условием, чтобы половина денег была ему уплачена вперед. При таких обстоятельствах всякого рода советы, как, например: не нанимайте с осени полного числа рабочих, не давайте денег вперед — бесполезны; необходимость принуждает и нанять с осени, и деньги дать вперед. Независимо от приведенных причин, заставляющих хлопотать о прочности годового условия с рабочим, есть еще одна, о которой не могу умолчать. Предпо-

жим, что рабочий не нуждается в немедленном получении денег и согласен наняться помесачно. У нас по окончании полевых работ можно иметь по 3 р. в месяц сколько угодно рабочих; мало того, рабочие с удовольствием станут по 10 р. за все шесть зимних месяцев. Но смешно было бы ожидать, чтобы рабочий месячный остался в покос и уборку за 3 р. в месяц, когда он легко зарабатывает в это время 10 р.

Итак, еще раз: самый ход дела заставляет нанять рабочего годового заблаговременно и давать ему большой задаток. Эти неблагоприятные для хозяйства условия до того изменяют сущность и качество вольнонаемного труда, что его по справедливости нельзя и называть этим именем. Деньги получены вперед и истрочены полгода тому назад; к Святой получена еще часть. Много ли затем остается на все лето, когда другие, рядом, зарабатывают гораздо более? А тут-то и наступает истинно трудовая жизнь, когда, проработав весь день на жаре, надо ночью гнать лошадей в поле и караулить их в так называемом *ночном*. Много надо философии, чувства долга и разных добродетелей, для того чтобы человек не забыл давно прошедшего одолжения и условия; и как ожидать этих выспренных качеств от неразвитого крестьянина, когда они так редки у нас и между образованными? Человек, взявший деньги взаймы, через несколько времени не только забывает одолжение заимодавца, но даже смотрит враждебно на его притязания, и не будь закона, ограждающего последнего, многие ли получили бы обратно ссуду?

Но пока я раздумывал о существующих условиях найма рабочих, нужно было приступить к самому делу. Что предложение было невелико, видно из того, что я только приискал необходимое число новых, а старых, бывших уже у меня и пожелавших остаться на следующий год, не переменял; зато цена несколько изменилась. Во избежание просьб насчет обуви (лаптей) и рукавиц я прибавил на то и на другое 1 р. 50 к. и всем годовым обязался платить 31 р. 50 к.

Михайло копач насили дорыл свой пруд, между тем как юновцы живо окончили работу; но их пруд оказался против чаяния совершенно сухим, между тем как у Михайла стала набегать ключевая вода. Необходимость заставила обречь один клин канавой в защиту от беспощадных набегов соседской скотины. Старик Глеб между тем оказался решительно неспособным вести хозяйство; я его расчел, взяв на время у Ш. хорошего мужика в старосты. Этот мужик на все приказания отвечал однообразным «слушаю, батюшка», — а в сущности, бесполезно топтался на месте не хуже Глеба. Надо было подумать о более расторопном и смышленном помощнике, и мне отрекомендовали молодого малого, проживающего в Москве. Дали ему знать, и он явился с полною готовностью приняться за дело усердно.

Прежде всего старался я объяснить новому прикащику необходимость прямых и честных отношений. «Ради Бога, изгони раз навсегда всякую ложь. Проси, что тебе надо, говори правду. Сделай замечание во случае, если найдешь распоряжение мое неудобным; но если и затем я останусь при первом приказании, исполный его». — «Слушаю».

Рабочих годовых мы наняли только шесть и затем несколько поуспокоились в надежде принанять еще двух в марте. Между новыми оказался взъерошенный чернолицый и кряжистый, хотя несколько сиротливый, Тит. На работе он с первого разу показался весьма усердным, но все у него как-то не клеилось. Лошадь ли станет запрягать, запряжет криво и косо, солому ли примется навивать, то же самое.

Ледник окончен и готов принять лед. Но где взять льду? Везти за 7 верст с Неручи — слишком неудобно. В большом пруде вода едва покрыла дно, в верхнем конце, и замерзла; но если она промерзла до дна, льда нельзя колоть, глыбы не будут отделяться. Разумеется, пошли толки вроде: «да как его колоть, не изыметь. Вишь он! его теперь прихватило». Взглянув на берега, я расчел, что около плотины глубина воды уже должна быть около двух аршин, и потому для пробы велел прорубить четвероугольник. Рабочие очевидно считали это дело нелепою затеей. Действительно, углубление было сделано почти в аршин, а воды все нет. Я уже и сам стал терять надежду; но, подумав, что весной все равно не достанешь льду, так как по местности неполный пруд должен быть во время зимы занесен снегом сажени на две, велел колоть далее. Недолго затем длилось мое неловкое положение. Еще несколько ударов топором и пешней, и один из рабочих крикнул: «Вода!» Вода точно брызнула фонтаном. Ледник успели набить более чем вполовину, а тут поднялись метели, и лед замело. <...>

Зимняя деятельность

В начале декабря наступила стужа, поднялись метели. Новые, необшитые и неоштукатуренные стены дома решительно не защищали от ветра. Зимовать очевидно было невозможно, да к тому же дела звали в Москву, куда я и прибыл около половины декабря. Здесь первую заботой моею было заказать молотилку и веялку, без которых полевое хозяйство будущим летом было бы невозможно. Знакомый мой, опытный

хозяин, посоветовал мне обратиться к г. Вильсону, у которого на механическом заводе готовятся большею частью так называемые хutorские двуконные молотилки. Я послушался совета, не медля обратился к г. Вильсону и тут же заключил с ним условие, по которому он обязался поставить мне к первому февраля хutorскую молотилку с чугунным приводом для большей легкости на три, а не на две лошади и ручную веляку, могущую в случае нужды действовать и конным приводом. В деревне между тем было поручено прикащику исправно уведомлять меня о ходе приугодительных работ по предстоящей отделке дома, которую мне хотелось окончить как можно ранее весною, чтобы быть совершенно свободным для полевых занятий. На этот конец я условился о покупке и доставке в деревню к февралю необходимых материалов: лесу, кровельного железа, кирпичу, извести (на обкладку стен), песку, который в нашей черноземной полосе добывать довольно затруднительно, и т. п. Для внутренней отделки я велел нанять столяров, а сухим ясеневым деревом мне заблаговременно назвался соседний лесоторговец, у которого я в течение осени забрал довольно различного лесного материала. Полы в доме, хотя и новые, были весьма неплотны, и я решился лучше заказать паркет в Москве. Казалось, все наперед было обдуманно и рассчитано, но, зная, как все дела у нас делаются, я никак не мог успокоиться в Москве и распечатывал каждое письмо прикащика не без замиранья сердца.

Предчувствие не обмануло меня. В начале февраля я получил довольно лаконичное извещение, что ничего из *приказанного* не делается, что столяров нанято трое и они уже напилили брусьев и фанер для дверей, но ясень оказался сырой, и всю заготовку порвало в щепки. Молотилка и веляка должны были скоро быть готовы к отправлению, и г. Вильсон, у которого, сверх полной стоимости машин, оставалось в когноте 20 р. сер. моих денег, совершенно успокоил меня насчет скорой их отправки, а равно насчет присылки в мас машиниста, который должен по условию установить машины на месте и пустить их в ход, получая у меня по 75 коп. в день харчевых. Кроме того, я обязался отправить его на мой счет в Москву. На другой день по получении рокового письма, худые почтовые лошади валяли меня с боку на бок по невообразимым ухабам московско-харьковского шоссе и через трое суток я прибыл домой. Оказалось, что прикащик ничего не преувеличил в своем письме. Я застал столяров грациозно полирующих присланную из Москвы мебель, а за ними груды потрескавшегося ясеня. Строительный материал не только не привезен, но даже и не куплен. Дороги адские. Ни плотников, ни кровельщиков нет, а между тем надо сейчас снимать крышу, переделывать стропилы и крыть железом.

Как? и это все в феврале? Да что ж делать? С крышей, при усердной работе, надо провозиться месяц, а в марте пойдут весенние дожди, потолок протечет, и вся привозная мебель должна погибнуть. Оставить же дело до июня значит обречь себя на столпотворение в продолжение всего лета. Во время полевых работ нужно жить дома, а как жить в нем, когда крыша и двери сняты, стены и потолки штукатурятся, а полы выломаны? Дополняя картину неустройства, я должен прибавить, что единственно спасительная мера перевозки хлеба к Ш. и соломы обратно от него ко мне оказалась на практике весьма неудобною. При значительной раструске дорогой мелкого и крупного корма, двойная перевозка до того была обременительна для лошадей, что я застал вообще всю скотину в самом жалком виде. На жеребятках от худобы показались даже сыпь. К счастью, я не продавал ни зерна ржи из моего небольшого запаса и тотчас же велел давать от четырех до пяти фунтов муки в сутки на каждую голову. Это усиленное, но дорогое средство спасло скотину. Плотников на крышу я нанял издельно. Лес привезли. За невозможностью в скором времени отыскать для столяров сухого ясеня, я нашел старого дубу, и работа немедленно началась.

Недаром русская пословица говорит: «на добрых воду возят». Эта пословица очевидно произошла из опыта. Если у вас есть между рабочими лошадьми замечательно добрая, будьте уверены, никакой присмотр, никакие увещания не спасут бедного животного от ежеминутных попырок. Сена ли привезть, хоботья ли насыпать, соломы ли навозить, кого взять? — рыжего. Послать куда поскорее, — на рыжем. Одним словом, бедный рыжий за все отвечает. Понятно, что в дальней дороге или на тяжелой работе всякому приятнее иметь лошадь, не требующую ежеминутных понуканий; но возить корм около дома решительно все равно, слишком или не слишком ретива лошадь. Но рыжий недаром слывет добрым, и поэтому обротъ⁹ уже сама его ищет по двору между всеми другими отдохнувшими лошадьми. При окончательном разгрома дома, я поневоле должен был прибегнуть к прошлогодней системе, то есть поселиться на жительство у Ш. и к себе приезжать ежедневно по утрам на несколько часов.

Надобно нанять кровельщиков. Мне сказали, что мценские и сходней и искусней орловских. Кроме того, необходимо было по делам побывать во Мценске: но дороги были так дурны, что я предпочел поехать туда через Орел, где надеялся сам купить кровельного железа, которое в то время страшно поднялось в цене.

Накануне отъезда я велел прикащику приготовить необходимое, по количеству железа, число подвод, и ехать с ними в Орел за материалом, считая по дурной дороге от 20 до 25 пудов на лошадь. В Орле я купил железа, велел накладывать, а сам поехал далее.

Вернувшись из Мценска, спрашиваю: «Что, привезли железо?» — «Слава Богу, привезли благополучно и сложили. Только что-то наш рыжий не весел, корму не ест, а всю дорогу шел передом (впереди обоза) и вес с лишком тридцать пять пудов». Не удивительно, что он не весел, и не ест корму. Однако пойдём посмотрим его. Я нашел бедного рыжего в общем деннике с сильнейшим отделением злокачественной мокроты из ноздрей. Очевидно, у него открылся сап.

Заведывая в продолжении пяти лет, в качестве полкового адъютанта, конным лазаретом, я волею и неволей присмотрелся к разнородным явлениям конских болезней и в особенности *сапа*, долго свирепствовавшего в нашем полку. Эта ужасная и в высшей степени прилипчивая болезнь до того упорна, что никакие врачебные пособия, ни самые энергичные меры полкового командира, при первом проявлении заразы, не могли избавить от нее полка. Самое здание конного лазарета оказывалось заразительным. Ни обмазывание известью, ни хлор, ни изысканная чистота не помогали злу. Только поход во время венгерской кампании, в продолжение которого опустевший и растворенный конный лазарет вымерзал две зимы, избавил полк от давнишнего бедствия. Сап заразителен не только для лошадей, но и для людей, приходящих в соприкосновение с больными животными, и в этом случае никакие средства не помогают. Мучительная смерть неизбежна. Мне сказывали, что в К. гусарском полку погибли два служителя при конном лазарете, которые, несмотря на строгое запрещение, завертывались на ночь в попоны с больных лошадей. Все сказанное я считал необходимым объяснить прикащику, старательному молодому человеку. Тем не менее он с какою-то полуулыбкой уверял меня, что это голова у рыжего болит и что, когда мокрота сойдет, ему будет легче.

«Однако, вот отдельное стойло,— сказал я,— загони его туда и, сделай милость, присмотри, чтоб он не приходил ни в какое соприкосновение с остальными лошадьми. Корм и водопой должны быть отдельные; иначе все лошади пропадут, и весь двор надо будет бросить». — «Слушаю». На другой день приезжаю и, представьте себя на моем месте, застаю рыжего в общем деннике. Повторяю, прикащик человек старательный и практически неглупый. Но что сделаешь против рутины? Разумеется, лошадь была тотчас же совершенно отделена от здоровых, и несмотря на уверения прикащика, что ей гораздо лучше, на третий день пала.

Много у нас было писано со всех концов России о высоко знаменательном событии прошлого февраля и о том, как принят был крестьянами благодетельный манифест, но говоря в свою очередь о прошлогоднем феврале, не могу не прибавить несколько слов от себя. Предварительных толков в образованных классах было довольно. Наконец ожидания разрешились рассылкою манифеста. Оставалось только его обнародовать, то есть прочесть крестьянам по церквам. Нельзя отрицать, чтобы большая часть людей мыслящих не смотрела на будущее воскресенье почти с тем же чувством, с каким мореходец смотрит на ярко-прекрасную зорю, обещающую перемену ветра, и на бессознательное море, которое, Бог его знает, взволнуется или не взволнуется. Однако воскресенье пришло, а море и не думало волноваться. У него даже не зарябило в глазах от лишней чарки водки. Крестьяне обычным порядком разъехались по дворам, и вероятно, каждый в своей семье, занялись истолкованием совершившегося события. Мы с Ш. встретили на пороге только что вернувшегося от обедни старосту его имения. «Что, Михайло, слушали манифест?» — «Как же, батюшка! слушали». — «Что ж? вы его поняли?» — «Как не понять! Поняли одно, что надо теперь всех слушаться от мала до велика». Приходилось мне спрашивать и других крестьян о том же. Ответы были в подобном же смысле.

Возвращаюсь к рассказу.

Нужный для построек песок отыскился в луку крестьян деревни С., смежных с хуторскими мужиками моего соседа Ш., верстах в трех от меня. До меня никто не покупал песка, как никто не покупал воды и снегу, несмотря на то, что в трех верстах оттуда и помещики и крестьяне давно торгуют белым камнем. Но то камень, а это песок. Я послал попросить у старосты деревни С. позволения брать песок и, рассчитав, как трудно добывание его в зимнее время, сам назначил за четверть 30 к. сер. Очевидно, крестьяне этой деревни, которым всего сподручнее было воспользоваться предстоящими заработками, сочли продажу и возку песка химерой. Песок мне брать позволили; но никто из крестьян и не тронулся рыть и возить его.

Зато хуторские мужики Ш. деятельно принялись за работу, и песку мне навезли немало. К концу февраля наступили оттепели, по дорогам образовались зажоры, и возка сделалась страшно затруднительною. Тогда только крестьяне деревни С. догадались, что, верно, можно и песком торговать, когда их соседям да за их же песок

платят чистые деньги. Они наотрез отказали крестьянам хуторским в песке, говоря, что уж лучше они сами будут брать деньги. Мало того, что с-ские мужики стали наперебой между собою возить песок по выдуманной мною цене, у них за эту же цену явились конкуренты за 7 верст от меня, которые, по невозможности за дурною дорогой доставлять песок одиночками, возили его парами. Как нова и дика была для крестьян мысль о ценности личного труда, я еще яснее увидел впоследствии. При сложных на него требованиях с моей стороны, мне приходилось подобным же образом и с одинаковым успехом назначать от себя положительные цены по разным отраслям труда. С открытием весны, когда крестьяне уже опытом научились брать с меня деньги, они все-таки остались при внутреннем убеждении, что торговали несуществующими ценностями, то есть, по их же выражению, брали деньги даром. Вся округа говорила про меня: «Верно, у него денег много, когда он нам их даром раздает». — «Да за что же он вам их дает?» — «А Бог его знает! Мы и сами не знаем». Я не только не давал даром денег, но платил цены весьма умеренные. Впоследствии мы увидим, что в знакомых уже крестьянам отраслях труда и промыслах они не так сговорчивы на дело и не так податливы в цене. Возить, например, хлеб на рынок мужичок готов, но ломит цену неслыханную. «Это дело — хлеб, а то — песок». Невероятно, а правда.

После долгих и напрасных поисков нашелся простой мужик штукатур. Мы поладили в двух словах, условясь в плате за квадратную сажень. Он получил 15 р. с. задатку и пошел набирать рабочих. Ш. тоже искал штукатура. На другой день явился великий краснойбай из-за Миенска, положительно уверявший, что нанятый мной мастер не в силах сделать моей работы. К стыду моему, краснойбай меня уговорил. Так как Ш. в свою очередь нуждался в штукатуре, то мы предложили первому рядчику стать на новую работу, на тех же условиях, на что он легко согласился. Но меня краснойбай жестоко наказал за мою доверчивость. Он взял, правда, небольшой задаток; но с тех пор я его не видал, и что еще хуже, я поджидал его артель в то время, когда уже нужно было работать. Разумеется, не желая прибавлять к убыткам новые убытки, я его и не разыскивал, хотя знал его имя и место жительства.

Всякая законность потому только и законность, что необходима, что без нее не пойдет самое дело. Этой-то законности я искал и постоянно ишу в моих отношениях к окружающим меня крестьянам, и вполне уверен, что рано или поздно она должна взять верх и вывести нашу сельскую жизнь из темного лабиринта на свет Божий. Но единицам добиться в этом отношении цели в настоящее время не только трудно, а едва ли возможно. Вздумав однажды утром взглянуть на работу поденщика Алексея, поглупившего ко мне по примеру прошлого года, я увидал весьма бедно одетого крестьянина, державшего на веревке тощую косматую корову, едва ли не из числа виденных фараоном во сне¹⁰. Надо прибавить, что тощий крестьянский скот, особенно лошади, в нашей стороне исключение. На это есть свои причины, о которых я, быть может, скажу в своем месте несколько слов. На этот раз мужик и его корова не представляли образов довольства. «Что тебе надо?» — спросил я мужика. «Да вот, батюшка, привел коровку к вашему бычку. Сделай божескую милость, не откажи». — «Ты откуда?» — «Да вот мы с Алексеем из одной деревни, он меня знает!»

Частые истребительные падежи скота в наших местах вынуждают быть крайне осторожным насчет сближения своей скотины с чужою. Поэтому прошлою осенью я отказал гуртовщику в просьбе прогнать по моей отаве гурт, хотя он мне за это предлагал порядочную плату. А тут неизвестная, да еще болезненная на вид корова. Несмотря на это, первым моим побуждением было уступить просьбе бедного мужика, не в пример другим. Авось так пройдет! Я знал, однако, что сделать это без всяких условий значило бы привлечь к себе на двор целую округу. Поэтому я обратился к мужику со следующими словами: «Я ни своей скотины на чужую землю, ни чужой на свою не пускаю. И всякую приведенную или пущенную сюда корову буду забирать и отсылать в стан; на этот раз, так и быть, выручу тебя по-соседски. Почем у вас бабы продают кур?» (Мне нужны были куры, и я скупал их у соседей.) — «Да кто их знает? Бабье дело». — «Однако по дорожке четвертака не продают?» — «Точно, что не продают». — «У тебя есть продажные?» — «Есть». — «Сколько?» — «Да с пяток будет». — «Ты поедешь в воскресенье мимо меня?» — «Как же, батюшка, поеду». — «Привези же мне четырех или, как ты говоришь, пяток кур, а я тебе заплачу по четвертаку». — «Слухаю, батюшка. С чего ж?» — «Да ты смотри не обмани». — «То-то, ты смотри, Митрий! не обмани, — вмещался вслушавшийся в наш разговор Алексей. — Ведь это, брат, обмануть не своего брата мужика. Не приходится». Я стал объяснять мужику, что обман все обман к кому бы он ни относился в чем оба были совершенно согласны, и в доказательство окончательного уразумения моих слов Алексей с ударением повершил: «Ведь это обмануть не своего брата мужика, это не приходится».

Просьба мужика была исполнена, а кур он мне не привез.

Приводить новых примеров понимания и исполнения условий и договоров со стороны наших крестьян я более не буду, хотя мог бы привести их сколько угодно.

Контракт

С наступлением марта явилась необходимость нанимать недостающих годовых рабочих и одного летнего на подмогу. Первым годовым цена уже была определена с осени, а с летним надо было торговаться. Прошлогодний горький опыт окончательно убедил меня, что давать задатку рабочим, без обеспечения насчет исполнения ими условий договора, нельзя. Но чем себя обеспечить? Контрактом? Что же писать в этом контракте? Говорить в нем о штрафах — нечего и думать. Ни один рабочий не пойдет к вам ни за какие деньги. После многих соображений, я выставил в контракте следующие пункты: «Обязан я (имярек): 1) вести себя честно и трезво; 2) никуда, ни под каким предлогом, без разрешения начальства, не отлучаться; 3) всякую порученную мне работу, во всякое время, исключая годовые праздники, исполнять усердно и без отговорок; 4) за порученными мне вещами смотреть старательно и хранить их в целости; 5) довольствоваться здоровою и сытною пищею и особого какого харча и содержания не требовать. А буде я вышесказанного не исполню, то подвергаю себя за то ответственности перед законом».

Написав последние слова, я невольно улыбнулся. Как будто закон, карая меня за противозаконные поступки, справляется, давал ли я подписку подвергать себя ответу перед ним, или не давал! Но при составлении контракта я более всего имел в виду тот врожденный трепет, с которым русский человек смотрит на всякую грамотку. Я не ошибся в моем предположении. Этот страх оказался так велик, что я рисковал остаться без рабочих, на что я, впрочем, и решался, лишь бы только не иметь перед собою грустной перспективы остаться с незаконконтрактowanными рабочими. С другой стороны, я был уверен, что стоило мне с законконтрактowanными рабочими прожить год, так чтобы о контракте, как о неприятном предмете, не было и помину, то я буду спасен. Но как поймать первого рабочего? Случай на этот раз помог мне. Читатель, быть может, не забыл прошлогодного исправного работника Карпа, которого негодяй Гаврила так бесцеремонно взял у меня до срока. Вот этот-то Карп явился наниматься на лето. В цене мы скоро сошлись; но главное затруднение было убедить его подписать составленный мною контракт.

«Ты согласишься, — сказал я ему, — как твой дядя в прошлом году снял тебя до срока. Теперь, чтоб этого не могло быть, я никого, кто просит вперед денег, не нанимаю без контракта. Грамоте ты сам не знаешь; сходи к дворнику на Кресты, попроси его прочесть то, что я тебе прочел; дай ему руку, он за тебя подпишет, и тогда приходи за задатком. Ты слышишь, здесь в бумаге написано то же, что ты мне обещаешь на словах. Я тебе, быть может, и на слово бы поверил; но дяде твоему не поверю, и без контракта тебя не возьму». Задатку Карп, нанявшийся за 27 р. 50 к., просил 10. После долгих колебаний контракт был подписан; оставалось только отдать деньги, за которыми он хотел прийти вечером. Между тем, тотчас же после обеда, явился дядя его, Гаврила, со словами: «Пожалуйте деньги». — «Я тебе денег не дам, потому что нанимался не ты, а твой племянник, на имя которого и написано увольнительное от помещика свидетельство. Приведи Карпа, и я при тебе ему отдам десять рублей». — «Нет, малый не может получать деньги, потому что я ему хозяин. (Этот хозяин постоянно обирает бедного Карпа, который вследствие того всегда одет весьма плохо.) Такого и закона нет, чтобы малый мог без меня наниматься». Напрасно старался я объяснить Гавриле, что теперь, напротив, нет закона, чтобы кто-нибудь мог отдавать другого в работу. Он стоял на своем: «А коли так, значит, я сниму малого». — «Ты ни отдавать, ни снимать его не можешь, потому что он нанят у меня по контракту, и я знаю его, а тебя и знать не хочу». Тут новые объяснения безопасности контракта, и за всяким разом возглас: «Оно так, да на что ж вы малого-то под *кундрах* подвели. Мы люди темные, так что нам *кундрах*. Мне *кундрах* не нужен». — «Я писал контракт не для забавы, и писал его не для темных людей, а для себя, и если он тебе не нужен, то он мне нужен, а ты если будешь приставать со вздором, то я тебя не велю сюда пускать». Вошел Карп. «Вот, Карп, если тебе нужны деньги, возьми десять рублей». — «Нет, как можно деньги брать вперед, — вдруг неожиданно заговорил Гаврила, — надо их прежде заработать, а тогда уж свое и получать. Мы денег вперед не возьмем».

Они действительно так и сделали, и взяли первые 10 р. только после Святой. Карп благополучно дождал до последнего дня срока. Гаврила более не показывался. О контракте не было все лето помину; но он произвел магическое действие бумаги (грамоты) на людей темных, хоть, в сущности, исполнение его не было гарантировано. Что бы я стал с ним делать, если бы подписавший его нарушил условия? Повел бы дело, во время уборки, судебным порядком, что ли? Предположим даже, что я выиграл бы его через два года, спрашивается: что бы я выиграл этим выигрышем?

Все это очень ясно: а тем не менее, желая усилить магическую силу грамоты, я из писаных превратил контракты в печатные бланки и в прошлую осень не иначе нанимал годовых рабочих, как по таким документам. Карп проторил темную дорогу контракта. <...>

Весенние затруднения

В начале апреля снег сошел и, несмотря на значительные холода, кое-где начала пробиваться молодая травка. Скучность зимнего корму заставляла думать о том, как бы поскорее выгнать скотину в поле. Желая осмотреть сенокосный луг, я поехал туда верхом и застал все стадо и весь табун соседей купцов К. на моем сенокосе. Пастух даже не торопился сгонять стадо. Тут только, желая отбить и загнать к себе корову или лошадь, я убедился, как трудно, если не совершенно невозможно, исполнить это одному. Подо мной была резвая и очень поворотливая лошадь, так что я легко мог и догнать и заворотить любую скотину. Но едва вы ее завернули, она огибают вас за крупом лошади, и заворачивание начинается снова, и таким образом можно вальсировать до бесконечности.

Я уже говорил о близости воды в нашей почве. Это хорошо в агрономическом отношении, но для построек невыносимо. Еще в марте, во время полной воды, пришлось выбираться из выхода под домом. Несмотря на каменные своды, вода прибывала в нем ежедневно, и наконец весь выход превратился в подземный водоем, в котором не выбранные овощи плавали в самом живописном беспорядке. Вот и земля оттаяла, а вода в выходе не убывает. Она может остаться почти на все лето, и тогда придется завалить выход и сделать новый на ином месте. Удобней всего ему быть там, где он есть, да и кто поручится, что и на новом месте он будет сухим выходом, а не колодезем? Долго думал я, как тут быть. Устроить машину неудобно: выход под самым домом. Черпать ведрами еще хуже: эта работа Данаид будет повторяться каждую весну. Наконец я как Архимед воскликнул: нашел, нашел! Лучше всего сделать подземный каменный тоннель, провести его из выхода в ближайшую садовую канаву, которую придется углубить, и этим путем спустить воду в пруд. Хотя тоннель и придется устраивать на четырехаршинной глубине, но все-таки такое устройство обойдется дешевле нового погреба. Я объяснил свою мысль поденщику Алексею, привычному ровокопу, и он взялся за условленную плату исполнить ее. Надо было прорыть глубокую канаву к самому фундаменту, и потом на четырехаршинной глубине подрываться под фундамент и под кухню, и только тогда можно было попасть на каменную стену выхода, чтобы проломать в ней отверстие. Уже при наружной работе стены глубокой канавы беспрестанно отседали и земля огромными глыбами обваливались, а когда дошли до фундамента, то и Алексея и меня начало брать сильное раздумье. Ну как и тут земля станет валиться и мы завалим фундамент на дом, да, пожалуй, подавим саперов? Судя по обстоятельствам, надо было непременно ожидать этих бедствий, и мысль о них до того меня запугала, что я дал Алексею новые деньги за то, чтоб он поскорее засыпал часть своей же работы.

Вдруг неожиданно является прошлогодний солдат-копач, Михайло. Посмотрев на нашу затею, он решительно объявил, что ему, то есть Алексею, этого не сделать. «Ну а ты сделаешь?» — «Сделаю, ваше высокоблагородие. Тут надо подпорку, и мы будем работать сидя». — «Сделай милость, работай как хочешь, лишь бы успешно. Если окончишь, получишь от меня, кроме условленной платы, особое награждение». С этими словами я уехал на несколько часов по одному делу. Вернувшись к полдню, застаю Михайла на крыльце. «Что тебе надо?» — «Ваше высокоблагородие, позвольте слово сказать». — «Хоть два». — «Оно точно, что погреб-то весь под домом, да рукав-то с каменной лестницей, ведь он нижним-то концом, то есть нижней площадкой, вышел под галдарею. Там, сказывають, воды-то, что в погребе, что на площадке, глубина одна. Я и сам видел, лестницу-то каменную высоко залило. Зачем же нам идти канавой под дом? Позвольте нам за угол обвести да привести к площадке. Вода все едино до капли должна сбежать. А фундамента мы нигде не тронем».

Эта здравая и совершенно простая мысль, не пришедшая, однако же, никому из нас в голову, привела меня в восторг.

Я не мог при всех плотниках и каменщиках не признать Михайла молодцом и не выдать ему тотчас же обещанного награждения. Тоннель, действительно, и прокопали, и выложили камнем в три дня, и вода сбежала вся.

Ай да Михайло! исполать! Никогда не забуду, как отрядно было мне среди тупого непонимания и нежелания понимать самодеятельную усердную догадку.

Песня

Погода установилась ясная и теплая. Хотя мне еще нельзя было жить дома, но я приезжал по-прежнему ежедневно сводить счета с рабочими и, сидя за работой в комнате, нередко уже отворял окно на галерею. Всем известна привычка русского ремесленника петь во время работы. Пахарь не поет; зато плотники, каменщики, штукатуры — почти неумолкающие певцы. Последнее слово напоминает очаровательный рассказ Тургенева; но я не был так счастлив, чтобы встретить что-нибудь похожее на описанных им певцов. Много переслушал я русских песен, но никогда не слышал ничего сколько-нибудь похожего на музыку.

«Грустный вой песнь русская»¹¹. Именно вой. Это даже не известная последовательность нот, а скорее какой-то произвольно акцентированный ритм одного и того же неопределенного носового звука. У женщин пение — головной визг. И то и другое крайне неприятно. Говорят, на Волге поют хорошо. На Волге я не бывал. А может быть, когда завоят на Волге, скажут, что на Урале хорошо поют. Как бы то ни было, прошлою весной я жил в мире русских песен, или, лучше сказать, русской песни, потому что меняются одни слова, а песня все та же. Она неслась с крыши, с балкона, с кирпичных стен, отовсюду, и я уже не обращал на нее никакого внимания, как некогда, живя в десяти шагах от морского прибоя¹², не обращал внимания на его шум. В плотничьей артели был красивый, сильно сложенный и щеголеватый малый. Имея дело с подрядчиком, я не знал плотников по именам и даже мало обращал на них внимания; но этого нельзя было не заметить. Невысокая поярковая шляпа с павлиньим пером так красиво сидела на густых, вьющихся белокурых волосах, образовавших под ее небольшими полями тугой и пышный веночек. Кудри эти были всегда тщательно расчесаны. Однажды, сидя у растворенного окна, я увидел этого парня, усердно пробирающего топором паз в столбе для будущей стеклянной рамы на галерее. Он затынул песню, которая тотчас обратила на себя мое внимание не напевом или гармонией — голос песни был один и тот же стереотипный, — но словами, и я начал вслушиваться.

Парень затынул известный романс:¹³

Отгадай, моя родная,
Отчего я так грустна
И сию всегда одна я
У заветного окна.

«Каково! — подумал я. — Вот оно куда пошло». А между тем я смутно чувствовал, что содержание романса, несмотря на свою незатейливость, далеко не по плечу певцу.

Романс трактует чувство девушки, волнуемой еще беспредметною любовью, в которой она не может дать себе отчета. Кто не слышал, как в устах людей, не усвоивших собственных имен русской географии, стих известной песни: «И колокольчик, дар Валдая», превращался в «колокольчик *гаргалгая*? Подобные варианты встречаются даже у институток. Чего же я должен был ожидать от крестьянина? Однако строфа вытягивалась за строфой, не представляя никаких диковинок. Наконец, дело дошло до куплета:

Лягу я в постель, не спится,
Мысли бродят вдалеке,
Голова моя кружится,
И сердечушко в тоске.

«Как, — подумал я, — справится певец с этими отвлеченностями?» Он затынул:

Лягу я в постель, не спится — э-э-эх,
Никто меня не беретъ.

Нужно же ему было объяснить, почему ей не спится, а следующий стих: «Мысли бродят вдалеке», не имеющий для него никакого значения, как ничего не объясняющий, заменен весьма понятным: «Никто меня не беретъ». Что за беда, что он в явной вражде с содержанием романса! Зато понятен.

А что ж? Дай Бог, чтобы русские крестьяне поскорее, подобно моему парню, почувствовали потребность затынуть новую песню. Эта потребность сделает им трубы, вычистит избу, даст человеческие постели, облагородит семейные отношения, облегчит горькую судьбу бабы, которая напрасно бьется круглый год над приготовлением негодных тканей, тогда как их и лучше и дешевле может поставить ей машина за пятую долю ее труда; явятся новые потребности, явится и возможность удовлетворить их. Не беда, что, быть может, еще и через сто лет русский крестьянин-земледел

не в состоянии будет сознательно произнести стиха: «Мысли бродят вдалеке»; но на пути к этому стиху он найдет много и нравственных и материальных благ, доселе ему недоступных.

Нравственное развитие не гвоздь какой-нибудь, который можно произвольно забить в народ, как в стену. Оно уживается только с материальным довольством. А нельзя отрицать заметного стремления русского крестьянина к прогрессу в последние 25 или 30 лет, — и он уже поднял много добра по этому новому пути. Это особенно заметно по костюму. Старинный зипун с кружками из шерстяного шнура на спине, без которого еще в детстве моем ни мужика, ни бабу нельзя было себе представить, исчез окончательно. Убийственно тяжелая и крайне безобразная *кичка* держится только по заходулям. Зимой, вместо обычной пеньки вокруг горла, у тулупов поднялись высокие овчинные воротники. А как это важно в поле, вы можете убедиться на деле. Попробуйте в воскресный день, когда мужики возвращаются рысью в несколько саней одни за другими, — причем замечательно, что здоровяк хозяин сидит в отличном тулупе с поднятым воротником, а бабы и мальчишки жмутся от холода в плохих шубенках, — попробуйте, говорю, остановить такого носителя воротника. Поверьте, для сведения каких-либо счетов он, подобно обозникам г. Успенского¹⁴, не станет прибегать к держанию кошельа перед грудью, представлению себя двугривенным, а товарища пятиалтынным, или строганию лучинок. Сознанная потребность теплого воротника поможет ему разчитаться, хотя и не по арифметике, но скоро и безошибочно. В прошлом году главный плотник, принесший за излечение старика отца к нам на поклон 10 яиц, уже получил в ответ не деньги, а немного чаю и сахару, чем остался гораздо довольнее.

Я отчасти сочувствую иносказательной увязнувшей колымаге, о которой была как-то речь в газете «День», колымаге с оторвавшимся и ускакавшим форрейтором. Действительно, форрейтор оторвался и ускакал, но это слава Богу. Если б он не оторвался, то вероятно сидел бы с колымагой и до сегодня в грязи. Но летая вкривь и вкось по всем направлениям, он немало обозрел местностей и поразведал дорог. Теперь при его указании стыдно будет закиданному грязью кучеру опять засесть в трясины. И не форрейтору спрашивать совета у вахлака кучера, а пусть кучер распросит хорошенько у бывалого форрейтора про дороги. Форрейторские лошади, слава Богу, проскакали через узкий мостик, кажущийся таким опасным для колымажных лошадей. Известное дело, не видывали и заноровились, и тут старая манера бить кнутом только испортит дело. Пусть-ка форрейтор несколько раз переедет мостик на своих под самым носом колымажных лошадей, так колымажные-то очнутся и сами тронут следом за передними. Все бы хорошо. Но тут еще другая беда. Хотя форрейтор в сравнении с кучером парень бывалый, но несмотря на долгую скачку вдоль и поперек, он все еще не выветрился. Сейчас видно, что они, и тот и другой, не только одной семьи, а братья родные, которым, как говорится, в немце (то есть в порядке и сдержанности) тесно. Вот форрейтор-то и вышел балагур хоть куда, он теперь может хоть с какою ни на есть особой разумом пораскинуть, а на деле до сих пор у чужих разных господ перенял только кафтан немецкого сукна, розовый галстук да папиросы. Что станешь делать с широкими натурами! Кроме крученых папирос, он до страсти полюбил: «Шпилен-зи полька!», «Бутылочку похолоднее!» А разверните-ка ему немецкие-то полы, так увидите, что под ним седло все истыкано, один войлок торчит, да что еще! Сказывают, лошадей-то он мало что не кормит, а успел где-то заложить. Старик-кучер смотрел, смотрел, слез с козел да в кабак, благо около кабака завязли. Говорят, кучер-то позапасливей и бережет мелочь в сапогах, да что-то плохо верится, где, кажется, пьющему человеку быть запасливым около кабака. Прежде, точно, и кучеру и форрейтору думать много не нужно было. Лошади были свежие, еще не умотались; чуть стали запинаться — «валяй по трем, коренной не тронь». Великое и прямое дело был в то время кнут. Но теперь форрейтор догадался, что когда лошадь заноровилась, то что ни больше пори кнутом, то хуже. А вот о другом-то таком же известном свойстве лошади они не догадываются. Иная худо зимовавшая лошадь с первого или со второго разу заноровится, так что бьются-бьются с ней да и бросят. Глядишь, поступила на хороший корм, справилась и затем тронет с места без малейшего норова. «Люби кататься, люби саночки возить». А последнего-то ни кучер, ни форрейтор терпеть не могут. Они точно не понимают, что синий кафтан — следствие исправных лошадей и что по грязной дороге и в еще более грязной избе такой кафтан — случайная прихоть, а не насущная потребность.

Выше я радовался возникающим в народе потребностям некоторых удобств. Но эти факты действительно отрадны только там, где они являются выражением более высокого уровня жизни.

В прошлом году, в сезон тетеревиной охоты, мне привелось побывать у одного из героев тургеневского рассказа «Хорь и Калиныч». Я ночевал у самого Хоря. Интересованный мастерским очерком поэта, я с большим вниманием всматривался

в личность и домашний быт моего хозяина. Хорю теперь за восемьдесят лет, но его колоссальной фигуре и геркулесовскому сложению лета ни по чем. Он сам был моим вожатым в лесу, и, следуя за ним, я устал до изнеможения; он ничего. Попал я в эту глушь как раз на Петров день. Хорь сам quasi-грамотный, хотя не научил ни детей, ни внучат тому же. У него какая-то старопечатная славянская книга, и подле нее медные круглые очки, которыми он ущемляет нос перед чтением. Надо было видеть, с каким таинственно-торжественным видом Хорь принялся за чтение вслух по складам. Очевидно, книга выводила его из обычной жизненной колеи. Это уже было не занятие, а колдовство. Старшие разошлись из избы по соседям. Оставались только ребятишки, возвышися на грязном полу, да старуха сидела на сундуке и перебирала какие-то тряпки близ дверей в занятую мною душную, грязную, кишашую мухами и тараканами каморку.

Старуха, верно для праздника, поприневолилась над пирогами и потому громгласно икала, приговаривая: «Господи Иисусе Христе!» И посреди этого раздавались носовые звуки: «сту-жда-ю-ще-му-ся». Часа в три после обеда втащили буро-зеленый самовар, и Хорь прошел в мою каморку к шкапу с разбитыми стеклами. Там стояли разные бутылки с маслами и прокислыми ягодами, разнокалиберные чашки, помадная банка со скипидаром, а рядом с нею из замазанной синей бумаги выглядывали крупные листья чаю. Тут же, на другой бумажке, лежал кусок сахару, до невероятия засиженный мухами. «Не хочешь ли, старик, я тебе отсыплю свежежогого чайку?» — «Пожалуйте. Да ведь нам чай надолго, — прибавил Хорь. — Пьем мы его по праздникам. Попьем, попьем, да опять на бумаге высушим. Вот он и надолго хватит».

Кто после этого скажет, чтобы грамотность и чай были в семье Хоря действительно потребностями?

Философия и история одной молотильной машины

<...> Во второй половине февраля, по отвратительным дорогам, обе машины, молотилка и веялка, более или менее благополучно прибыли из Москвы по назначению. Имея в виду средних рабочих лошадей, я при заказе просил г. Вильсона прислать мне привод не о двух, а о трех водилах, что он и отметил в книге при мне. Присланный привод, к сожалению, оказался о двух водилах. Делать было нечего; надо было пособить этому горю домашними средствами. В мае, по условию, г. Вильсон должен был прислать машиниста для установки машин на месте и приведения их в полное действие. Однако, май приходил к концу, а обещанный машинист не являлся, и разобранные части машин лежали нетронутые. Я написал к г. Вильсону и получил ответ, что машинист на днях должен выехать и явиться ко мне. Май и половина июня прошли в напрасных ожиданиях. Я возобновил мою просьбу и получил новые уверения в скорой высылке машиниста; но когда он и в последних числах июля не являлся, я послал уже г. Вильсону письменные вопли, указывая ему на необходимость молотить рожь для предстоящих посевов. На этот раз я не получил никакого ответа и в начале августа принужден был домашними средствами ставить машину. Не стану описывать пытки, которые мне пришлось выдержать с неискусными в этом деле деревенскими мастерами; довольно того, что машина, наконец, была установлена и худо ли, хорошо ли стала молотить. Нужно прибавить, что она ломалась почти ежедневно, а когда в конце осени наступила серьезная молотьба, то я уже и сказать не могу, сколько раз отдельные ее части перебивали в кузнице и на орловском литейном заводе. Когда *ролик*, надавливающий горизонтальное колесо привода на шестерню, после долгих и многообразных мучительных капризов окончательно сломался, я вынужден был прибегнуть к помощи соседнего машиниста-дворового. Разумеется, он нашел в машине все неудобным, условился привести все в наилучший вид, взял с собою *ролик*, обещав установить его назавтра прочным образом, выпросил задатку и уехал; через два дня мой посланный вернулся с восстановленным роликом и известием, что механик уехал за полтора верста, и когда вернется — неизвестно. Вновь повернутый ролик отлетел при втором обороте колеса, и мое драматическое положение дошло до конца 5-го акта. Но тут судьба сжалилась надо мной и привела ко мне механика-дилетанта, который и выручил меня из окончательной беды. По его указаниям исправленная и уложенная машина молотила всю зиму, хотя и не совсем оставила милую привычку ломаться от времени до времени. Легко представить, как сетовал я на г. Вильсона, от которого уже и не ждал механика. С тем я и поехал в половине декабря 1861 года в Москву, и дня через два по приезде отправился к г. Вильсону.

«Однако, г. Вильсон, вы поступили со мною безжалостно. Я измучился над вашей машиной». — «О! в этом отношении вы можете быть покойны, — был ответ. — Не вы одни на меня сетуете. Я в нынешнем году надул всех моих доверителей. Эта общая их участь в нынешнем году». Признаюсь, этот ответ так меня озадачил, что я

на минуту замолчал, но тотчас же прибавил: «Я должен вам заметить, г. Вильсон, что в настоящее время готовлю статью о сельском хозяйстве и считаю моим долгом рассказать в ней все наше дело, как оно было». — «Я вас даже сам буду об этом покорнейше просить. Тогда, быть может, войдут и в мое положение. Вот в этом ящике у меня восемь паспортов машинистов. Все они забрали вперед по семидесяти да по восьмидесяти рублей серебром и поехали ставить машины по покупателям, да вместо того размахались по своим деревням. Писал я, писал к местному начальству и пишу до сих пор, паспорта у меня; но ни денег, ни мастеров по сей день не вижу».

На такой красноречивый довод я не нашелся ничего сказать. Впрочем, г. Вильсон обещал непременно прислать ко мне машиниста в нынешнем году. Посмотрю, буду ли я на этот раз счастливее.

Федот и праздник Михаила Архангела

Хотя мимо меня, в полуверсте, пролегает старая мценско-курская большая дорога, но по случаю шоссе почтовые станции на ней упразднены, и спасительные в зимние метели старые ракиты безжалостно истребляются соседними крестьянами и проходящими гуртовщиками. Зато почти на половине пути, на самой большой дороге, сидит зажиточный, некогда богатый двор Федота. Отец Федота, бывший крепостной, откупился со своею семьей на волю, купил у барина сто десятин земли, в том числе несколько десятин строевого дуба, выстроил на большой дороге постоянный двор и на превосходных лошадях держал вольную станцию. Старик, само собою разумеется, был отличный хозяин, держал детей в страхе Божиим, и семейство при нем процветало.

Двор их я знаю уже лет двадцать пять и помню их патриархальный быт еще в то время, когда теперешний хозяин Федот и пьяный брат его, мценский ямщик, возили, молодыми парнями, проезжих на превосходных отцовских лошадях. Этот промысел перешел к ним от отца, но мало-помалу, — особенно стало это заметно в последние три-четыре года, — все у Федота пошло под гору. В праздник Федот неминуемо пьян, и добрые лошади от дурного корма и присмотра еле-еле таскают проезжие экипажи.

Как бы то ни было, за неимением почтовых, нам, при поездках в Мценск, приходится или высылать своих на подставу к Федоту, или, доехав до него, брать его лошадей.

6-го ноября мне нужно было побывать в Мценске, куда должен был приехать и Ш. Дорога от осенних проливных дождей была отвратительная; тем не менее я доехал до Федота на своих, без особых приключений. Федота не было дома, так называемая горница для проезжих была не топлена, чего в прежние времена не случалось, и я был вынужден отогреваться в общей избе, состоящей из двух старых покрякивавшихся и подпертых срубов. Трудно себе представить более грязное и запущенное человеческое жилище. Я застал двадцатилетнюю хозяйскую дочь одну, если не считать старуху-мать, от головной боли валяющуюся под грязным полушубком на лавке. Девушка, сама в грязной рубахе и не менее грязном сарафане, мела дырявый скачущий пол, покрытый перьями.

«Или кур щипала?» — спросил я ее, закуривая папироску и начиная ходить взад и вперед по избе, чтоб отогреть ноги. «Как же, к празднику, к Михайлу Архангелу. У нас престол. Уж я их щипала, щипала! В одне руки. Ишь мать-то от головы другую неделю валяется».

Проходя взад и вперед от двери к печке, я заглянул на так называемую *загнетку* (площадку перед устьем). В углу ее, небольшою пирамидой, возвышались обгорелые паленые бараны головы. «Эка вы баранов-то надушили. Куда вам такая пропасть, пять баранов?» — «Там их шесть, — отвечала девушка, — без гордости. — Как же? Праздник! Все поедят. Священники будут». Овца у нас стоит три рубля серебром, и весит около пуда, подумал я. Куда такую пропасть мяса одиноко-сидящему двору? Да и какой расход!

Девятого ноября мы с Ш. на усталых лошадях приближались, на возвратном пути, к усадьбе Федота. «Кажется, — заметил Ш., — придется нам сегодня долго дожидаться, пока соберут тройку. Федот теперь или лежит, или сидит с красно-сызым носом, и толку долго не добьешься». На пороге сеней нас встретил какой-то залихватски развеселый парень, в синем кафтане и красной рубашке. «Извольте, господа, лошадак спрашивать? В ту же минуту соберут». Про Федота мы и не спрашивали, в уверенности получить неизбежный ответ: «Отдыхает, маленько выпивши».

Каково же было наше удивление, когда в дверях перегородки показался Федот, да еще совершенно трезвый. «Что это ты, Федот, не пьян?» — спросил его Ш. «Нет, будет. Вчера точно, сильно было в голове, а сегодня не надо. Сегодня я еще ни-ни, маковой росинки во рту не было, а не то что пьян». — «А вчера-таки справил праздник? — спросил я в свою очередь. — Кто же гости-то были?» — «Да вот парень-то, что, может, видели в сенях, это мой зять с женою; кое-кто из ближних

соседей — человек пять было, может статься; да причет церковный. Как же, нельзя! Не то что кто-нибудь; надо угостить как должно. Нельзя же». — «А сколько, скажи-ка правду, стал тебе вчерашний праздник?» Как-то бойко подмигнув одним глазом, Федот наклонился ко мне и вполголоса произнес: «Рублей в пятьдесят серебром обошлось. Я тут не считаю домашнего, муки, крупы, картошек».

Вот отчего, подумал я, так тупы стали его лошади. Мало ли годовых праздников, и если каждый стоит ему хоть в половину против престольного, то денег, необходимых в хозяйстве, пропразднуется немало. Нам запрягли лошадей, и я потребовал счет, который по недостатку мелочи редко у нас бывает очищен копейка в копейку. Сосчитав мой расход, Федот лукаво поглядел на меня и скинул две косточки на счета. «Эти два рубля за мною были еще с позапрошлого разу», — сказал он. «Каких два рубля?» — «А помните, вы проезжали на коляске, да за четверку следовало три рубля, а вы мне дали ассигнацию. Я посмотрел на нее, отправя вас с малым, а там не три, а пять рублей. Думал я, ошибся ли это он или пытается меня. Верно, спросит. А вот вы и в другой после проезжаете, а не спрашиваете. Зачем же мне даром пользоваться?»

Я очень рад, что пришлось окончить мои заметки рассказом об этом отрадном факте; а то, быть может, и читателю, так же как и мне, не раз приходил в голову нижеследующий вопрос.

Вопрос

Отчего в моих заметках выступает преимущественно темная сторона нашей земледельческой жизни?

Ответ прост. Я ничего не сочинял, а старался добросовестно передать лично пережитое, указать на те часто непобедимые препятствия, с которыми приходится бороться при осуществлении самого скромного земледельческого идеала. Затруднений и препятствий много, — но где средства устранить их и сравнять дорогу всему земледельческому труду, этому главному, чтобы не сказать единственному, источнику нашего народного благосостояния? Наше правительство и наши *передовые* люди деятельно заняты разъяснением и разрешением многообразных задач, связанных с этим вопросом. Даже в литературе нельзя отрицать темного стремления по этому пути; но как странно выражается порою это стремление! Сколько, например, говорится у нас о *пауперизме* и *пролетариате*! Наши публицисты изо всех сил стараются доказать неудобство и зловедность колоссального пролетариата в государственном организме. Нельзя предположить, чтобы люди, пересыпающие перед публикой все возможные экономические теории — и в сжатых очерках, и с мелкими подробностями, — сами не понимали социально-экономических моментов народной жизни, — не понимали бы, что при редком народонаселении и огромном количестве *нови* возможно и в некоторых отношениях удобно общинное землевладение, делающееся при густом населении и малоземельности невозможным, — не понимали бы, что пролетариат — следствие, с одной стороны, густого населения, а с другой — вызываемых самою необходимостью машин, — что он седины гражданственности и не может появиться при ее зачатках. Что такое страна пролетариата, в двух словах? Страна, где руки ищут работы, а работы нет. Что такое Россия? Страна, в которой необходимейшая работа ищет рук, а рук нет. Не очевидно ли, что у нас в настоящее время забота об устранении пролетариата не что иное, как заботы ленивого мальчишки, который, вместо того, чтобы учить латинские склонения, становится перед зеркалом и говорит: «Когда я буду большой, у меня вырастут усы и борода. Усы я буду завивать, как дяденька, а бакенбарды запущу, как у папаши». Действительно, при благоприятнейших условиях к умножению народонаселения и у нас лет через 500, может быть, вырастет борода пролетариата. Но что тогда будет, никто не знает; а если тогда будут журналы, то они на досуге побеседуют об этом предмете.

С вопросом о свободе сам собою возникает вопрос об образовании. Общество может руководиться или законом произвола, или законом разумной необходимости, будет ли этот закон отыскан сверху, снизу или из середины. Но накопление знаний, обуславливающих образование, требует напряженной специальной деятельности, большею частью несомвместной с чисто материальными заботами, поглощающими всю жизнь большинства. Эта вековая истина только все более и более разрастается по мере ежедневно расширяющегося круга науки. Десятилетним Каину и Авелю достаточно было десяти вечерних уроков матери для того, чтобы выдержать полный докторский экзамен во всех возможных науках. Недаром немецкий поэт говорит:

Es gab Kein Buch in ganz Athen,
O! schreckliche Verworfenheit!
Man wurde vom Spaziergehn
Und von der Luft gescheid¹⁵.

Увы! куда девались эти удобные, покойные времена? Мальчик не успеет еще пройти доисторических фактов, как новейшая история в один день Севастополя или Сольферино наготовит их ему столько, что бедняк с ними и в неделю не управится. Ясно, что полное умственное образование, равно как и богатство, не каждому доступно по его материальным и моральным средствам. Эти роскошные плоды, возбуждающие общую деятельность свою хотя бы и отдаленною красотой, растут на ветвях дерева, под ласкающими лучами солнца, и уже оттуда зрелые и плодотворные падают к корню. Государственное хлебное дерево единовременно и распускается, и цветет, и оплодотворяется, и завязывает плоды, и выманивает их до окончательной зрелости. Как же, однако, тут быть? Не мы первые и не мы последние живем на свете. Есть же государства благоустроенные, где местные законы вытекли из исторической необходимости и где эти законы глубоко уважаются массой народа, массой, которая между тем никак не может похвастать, чтобы в ней повсеместно было развито образование. Стало быть, там у них есть еще какая-нибудь сила, вследствие которой скромный листок подчиняется общей гармонии растительности, чтобы в свою очередь прийти, быть может, через все ее фазы до зрелости сочного плода? Есть, и эта сила — не столько научное образование, доступное немногим, сколько *воспитание*, доступное всем. Перенося наше сравнение из мира растительного в мир человеческих возрастов, мы тотчас увидим, что образование доступно человеку зрелому и невозможно в ребенке, которому между тем воспитание необходимо.

Воспитание есть та нравственная почва, в которой кроется корень истинного образования. Без этой почвы самый образованный человек нередко является каким-то ученым дикарем, в котором, вопреки всем данным науки, бессознательно бродят неукротенные и неуравновешенные инстинкты. Образование живет в области мысли и знания, воспитание совершается в нравах. К чему лукавить? Образование нередко в своих тенденциях враждебно воспитанию. Одинаково ли с воспитанием смотрит образование, например, на рыцарскую месть за личное оскорбление? А представьте себе целый народ, в котором бы совершенно замерло это чувство чести, и поверьте, что самый образованный человек отвернулся бы от этой всеобщей и безвозмездной потасовки.

Благогатые плоды вечно творческого духа все ниже и ниже собственной тяжестию наклоняют к корню плодоносные ветви. Но на все свое время и свой черед. На безвременьи — ничего не бывает. Было время, когда верхушки нашей народности должны были оплодотворяться цветом иностранной цивилизации; тогда нам еще рано было думать о плодах, мы еще гордились ранними цветами, хотя много в них впоследствии оказалось пустоцвету. Еще в очень недавнее время титул человека *воспитанного* был лучше рекомендацией. Но теперь верхние побеги начинают сгибаться под наливающимися плодами, и в атмосфере высшей интеллигенции одного титула *воспитанности* недостаточно. В этом кругу надо уже самобытно действовать, а благовоспитанный человек только никого не толкает, ничего не ломает, никому не мешает, а для самодеятельности может еще не иметь достаточных способов. Жизнь в этой сфере, кроме воспитания, требует от человека умственного образования. Зато для нижних ветвей в свою очередь наступает время расцвета и оплодотворения, которое совершится тем проще и естественнее, что за семенной пылью не нужно обращаться в чужой сад, а она найдется тут же на родном дереве.

Наступило время, настоятельно требующее общего народного *воспитания*. Здесь не место подробно рассматривать признаки и сущность воспитания, заключающиеся преимущественно в непоколебимом уважении к законности, личности и собственности. Остается только спросить, какими путями можно, с большею вероятностью, достигнуть желанной цели? Чтобы разрешить этот вопрос, надо сделать другой: что такое воспитание? Рядом с сознательным образованием воспитание при своем начале есть привычка свободно действовать в кругу ясно обозначенных неизменных законов, привычка, переходящая со временем в природу. Ребенку до тех пор неизменно говорят: не клади локтей на стол, не зевай в обществе, не толкайся, не становись к другим спиной, — пока это не станет у него второю природой и ему самому не будет совестно и неловко нарушение этих правил. Только тогда можно ожидать, что он поймет, как нехорошо оскорбить другого невниманием и невежеством. Итак, первое средство к народному воспитанию — положительные и бдительно охраняемые законы. Вы хотите правильного, свободного и нерутиного сельского хозяйства. Прекрасно! Действительно, тут малейший успешный пример весьма важен и может повести к благотворным последствиям. Я только что начал сеять яровую пшеницу, а уж один работник, видя успех, просил у меня семян для своего домашнего хозяйства. Оградите же честный труд от незаконных вторжений чужого произвола. Тут не нужно никаких крупных мер. Объявите самый небольшой штраф за каждую загнанную на полях скотину, например хоть 25 к. серебром с лошади, штраф, без которого скотина не может быть возвращена хозяину и т. д., и поверьте, что через год слово *потрива*

исчезнет из народного языка. Но положительные нелицеприятные законы, внушающие к себе уважение и доверие — только один из многих путей к народному воспитанию. Рядом с ним должны прокладываться и другие, для внесения в народные массы здравых понятий, взамен дикого, полуязыческого суеверия, тупой рутины и порочных тенденций. Лучшим удобнейшим проводником на этих путях может, без сомнения, быть *грамотность*. Но не надо увлекаться и забывать, что она не более как проводник, а никак не цель. Говорите: нужно во что бы то ни стало *воспитание* — это главное. Нам стыдно уже поступать в этом деле так же опрометчиво, как поступали некогда невоспитанные и равнодушные родители, которые совали указку в руки первому пьяному пономарю или французскому кучеру.

Тяжел и высок нравственный подвиг духовных воспитателей народа. Этим воспитателям предстоит наперед глубоко проникнуться сознанием предстоящего подвига и простым людям объяснять понятным для них языком простые законы чистой нравственности, оставя на время схоластические тонкости в стороне. Тогда Федоты перестанут гордиться язычески-невоздержным празднованием престола, далеко превышающим их средства и потому разорительным для их семейства, которому они не могут дать человеческое воспитание.

ИЗ ДЕРЕВНИ

Кому следует гласно обсуждать возникающие вопросы новой земледельческой деятельности¹⁶

Вот и еще земледельческий год, канувший в вечность. Он отошел в нее, тихий, безмолвный, бессловесный, преданный своей тяжелой, земной, кротовой работе. Даже и этот последний эпитет не вполне выражает ее бесследность. Работа крота, быть может, на много лет обозначается рядом насыпей, а труд земледельца с концом сезона исчезает бесследно. Как весной было голое поле, — так и осенью осталась та же голая степь. Какая разница — тот же год на литературном, политическом или социальном поприще? Тут диковинок не перечтешь, и все они на виду, на глазах у всех! Но все эти дикие явления остаются чужды нашей смиренно-земной деятельности.

«Что же у них там? — скажете вы. — Застой, неподвижность, равнодушие?» Не беспокойтесь. Крестьянское дело, затронув всех, всех тронуло с места. Всё говорит, действует, мечется, лезет из кожи. Работа — общий и едва ли не исключительный помысел. Рабочий — единственно модный человек. Он — герой нашего времени, и знает это хорошо. За ним скажут во все стороны, и его стараются завербовать всеми средствами: кто паром под скогинку, кто земелькой под яровое, кто четвертью ржи до новины, кто водкой и, наконец, чистыми деньгами. Ясно, что при подобной деятельности землевладельческое дело становится постоянным предметом разговоров, соображений, планов и т. д. Что у кого болит, тот про то и говорит. Откуда же то странное явление, что землевладельческое дело, за некоторыми исключениями, не заявляет себя в печати, в которой между тем подняты все другие вопросы? Я не говорю здесь о каком-либо вопросе сословном, как, например, дворянском, в противоположность крестьянскому. Речь идет о чисто землевладельческой или, пожалуй, земледельческой деятельности. Подумаешь, что первостепенный вопрос о рабочей силе у нас никого не интересует? Согласитесь, этого быть не может. Не потому только, что это было бы позорно, просто потому, что не естественно. Почему же молчат землевладельцы?

Говоря о землевладельцах, я имею в виду общие интересы обеих, пока еще недоумевающих, сторон: дворян и крестьян. Те и другие пока единственные землевладельцы в России, и последние, с каждой, можно сказать, минутой яснее и яснее понимая все благо совершившегося преобразования, все более и более зреют для нравственной солидарности с другим классом землевладельцев. Но, говоря о печатном обсуждении землевладельческих интересов, поневоле должно под землевладельцами почти исключительно разуметь дворян. Стало быть, дело стало не за умением писать, а также и не за отвагою. Откуда же препятствия? Со стороны журналов? Но неужели лично заинтересованная сторона не нашла бы у себя средств для особого органа? Допустить этого нельзя, а между тем таинственное молчание продолжается.

Дело в том, что большинство крупных землевладельцев служит, и потому поставлено в невозможность не только писать о собственном деле, но и разуметь его основательно. Нельзя требовать, чтобы человек и служил где-нибудь в Мадриде, и основательно следил за своим делом в Самаре. А если нельзя утверждать, что все крупные землевладельцы непременно на службе, то от этого не легче: они все-таки не живут по деревням, и волей-неволей плохие судьи в собственном деле. Кому же писать? Остаются средние и мелкие землевладельцы. Что касается до крупных, то

кrome замеченного нами явления, в этой среде, как и везде, наша русская жизнь любит подчас необъяснимое. Известно воспитательное влияние среды на человека. Понятно, почему итальянец знает толк в статуях, а черкес — в лошадях. А у нас не диво землевладелец первой величины, который в течение одного часа на одном конце кабинетного стола приходит в негодование над деревенскими счетами, отражающими в себе неизбежные последствия общих экономических реформ, и углубляется затем на другом конце того же стола в выбор и сортировку журнальных статей с социалистическим оттенком. У нас бывают еще социалисты, воспитанные в преданиях откупа. Не наше дело порицать или оправдывать подобных господ, но невольно обращаешься к ним мысленно с вопросом: господа! если вы действительно так далеко отошли нравственно от своей среды, почему не разрываете вы окончательно всех материальных с нею связей? Подобный акт с вашей стороны был бы натурален, а теперь вы только плохие деятели и самые некомпетентные судьи собственного дела.

О мелких землевладельцах в деле публичного обсуждения земледельческих вопросов нечего много распространяться. К несчастью, не многим из них, остающимся в первобытной среде, удалось воспользоваться необходимою степенью общей образования, и, кроме того, самая деятельность их по тесноте своего круга исключает все нововведения, сопряженные с материальными пожертвованиями. Остается сравнительно самый многочисленный круг средних землевладельцев, и здесь-то людям с общим образованием следовало бы не отказываться от гласного обсуждения земледельческих вопросов, более или менее удовлетворительное разъяснение и решение которых так тесно связано с общим благосостоянием.

У средневековых немцев человек, поставленный вне покровительства закона, назывался *vogelfrei*. Это не римский *capite minor*¹⁷ и не русский опальный. Над подобным человеком всякий мог тешииться, как ему угодно. Было время, когда присяжный русский литератор тешился подобным образом над помещиком. Но и в то время нельзя было смотреть на это иначе как на детскую забаву уже по одному тому, что большая часть производительной почвы находится в руках этого класса, и нельзя никакими риторскими воркованиями зашептать эту жизненную силу, как невозможно заклинаниями заставить самую мелкую звезду опоздать хотя на миг против календаря. А как ведет себя присяжный русский литератор в настоящее время, об этом мы поговорим в следующей главе.

Литератор

Казалось бы, в минуту благодетельных преобразований и на заре новых, не менее живительных, когда каждая русская грудь вздыхает свободнее и каждая десная в народе поднимается для крестного знамения, литератор станет уяснять темному человеку его грядущий путь. Ничуть не бывало! Вот вы, например, на отдаленном конце России, отклонились от всех партий и предались какому-либо специальному занятию — положим, земледелию. Всякое нововведение имеет для вас прямое и важное значение только в приложении к нашему делу. Вы спасены, вы укрыты от волнения мелких страстей и самолюбия? Вы спокойны. Ничуть не бывало! Приходит почта — вы вскрываете периодические издания и бросаете белый взгляд на их страницы. Конечно! Вы непременно наткнетесь на такие диковинки, что вам сделается вдруг и грустно, и смешно, и стыдно, и противно. Перед вами выступает ваш собеседник, русский литератор, во всей красоте своего безобразия.

Было бы странно от органа общественного самосознания требовать пассивного безмолвия перед тем или другим нововведением. Но обсуживать и судачить свысока — два дела разные. Литератор (слава Богу, нет правила без исключения) считает своим присяжным долгом отвечать на всякий вопрос: *veto*. Вас коробит это детское *veto*, и вы только благодарите Провидение, что дела идут своим прямым ходом. Как выражение сознательной косности, *veto* литератора еще не оскорбляло бы нравственного чувства, но оно возмутительно своим притоком, — струею демократизма, в самом циническом значении этого слова. Надобно сказать, в нашем простом народе нет ни малейших признаков этой струи. Это тот мотив, который в парижском театре для черни заставляет блузников выгонять чисто одетого человека из партера огрызками яблок. Только этою струей можно иногда объяснять в литераторе то упорное непонимание самых простых вещей, о которых резонерство ребенка еще не может дать надлежащего понятия. Например, в отношениях между нанимаемыми и нанимающими; рекомендуется ли первым точность в исполнении договора и уважение к хозяевам, а последним снисходительность и человеколюбие к первым, — кажется, чего бы яснее и проще? Но литератор (какой бы он был литератор, если б он понимал такие простые вещи?) разом становится в ораторскую позу и восклицает: «А еще стремятся к уравнию сословных прав! Отчего же не рекомендовать того же тем и другим?» Литератор обязан не видеть, что тут дело идет не о сословиях, а о

положениях, из которых вытекают отношения лиц. А между тем известный вопрос: «Почему курица на улице, а не улица на курице», без сомнения, придуман остроумным мальчишкой на смех, и не нашлось достаточно тупоумного, чтобы задать такой вопрос серьезно.

Дорожают ли квартиры, литератор тотчас хватает крупного домовладельца и целые годы хлопочет только о том, под каким бы соусом почернее подать его читателям. О том же, что по законам естественным ни одной вещи нельзя продать по произвольной цене и что на повышение и понижение цен влияют тысячи причин, литератор и знать не хочет: он литератор.

Фантазия древних недаром избрала эмблемой мудрости сову, которая только тогда поднимается на своих беззвучных крыльях для ночных поисков, когда смолкает и замирает день с его жизненным блеском и шумом. Глаза науки, как и глаза совы, не созданы для того, чтобы видеть днем, а для того чтобы в ночи, мрачной для всех, отыскивать свою добычу. Витая в своем безмолвном мире, наука, по существу своему, не может заботиться о том, какое приложение получит ее открытие в жизни общей. Наука существует для науки, как благо для блага, истина для истины. Но какое до этого дело литератору? Ему не нравится известный вывод науки, он с размаху прибавляет к ней эпитет *скарредная* и радостно плещет в своем шумном ручейке.

Возникает ли вследствие распространяющегося круга вольнонаемной деятельности вопрос об изменении паспортной системы во избежание разных неурядиц, — вместо того, чтоб обесудить дело со всех сторон, литератор восклицает: «Помилуйте! к чему это? это вздор! это все пустяки!» Заходит ли речь о штрафах за порубки и потравы, без чего земледелие было бы окончательно невозможно при новом порядке вещей, у литератора уже готова фраза: «Эх, господа! laissez passer, laissez faire!»¹⁸ Это напоминает тех мужиков, которые говорят помещику: «Помилуйте, батюшка! на что нам новое положение! Мы вашей милости будем работать, как работали. Какие нам уроки?» — «Как? По-старому? Стало быть, и число дней, и подводы по-старому?» — «Нет, кормилец! Какие подводы и дни? Это по-новому, а уж работа — по-старому». Зайдет ли речь о важности изучения древних изящных произведений, и тут раздастся голос: «По чистоте форм и новые не уступят старым (тут и Пушкин пригодится), а по ширине идей новые создания превосходят старые. Что касается гибкости и стройности мышления, то этого результата можно, с меньшим усилием, достичь и другими путями». Что уж тут значит *ширина идей*, одному Богу известно, а на деле это выходит мочальный хвост, который для назидания прицепляют к произведению. Этот мочальный хвост литературы потянулся у нас по всем отраслям искусства и даже жизни. Мы ничего знать не хотим. Нам давай поучительную музыку, такую же поэзию, живопись, скульптуру — словом, все поучительное. Одна хореография отстала. Не думаю, чтобы новейший канкан был особенно поучителен... Виноват, виноват! Вот непростительный промах. К канкану-то, напротив, и сводятся все современные искусства, с тою разницей, что все остальные обязаны говорить о том, чего не следует делать, а канкан вочию показывает, что именно требуется. Гоньба за мочальным хвостом производится до того усердно и добросовестно, что в драме, в статуе, в картине нет уже ни драмы, ни статуи, ни картины, а торжествует один мочальный хвост с кислым запахом рогожи. <...>

Равенство перед законом

Мы только что имели случай коснуться вопроса об уравнивании, к которому, очевидно, стремится наше законодательство. Но никакое уравнивание не в силах сгладить естественного различия общественных отношений между отдельными лицами. Идеал равенства именно и заключается в соблюдении полной справедливости среди возможного колебания отношений. Сегодня я нанимаю, завтра меня нанимают, и справедливость требует, чтоб я удовлетворял требованиям закона и в том и в другом положении.

В уяснение вопроса приведу два факта из собственного опыта. Для не читавших моих прошлогодних статей о вольнонаемном труде* скажу, что на хуторе моем ни один рабочий не нанимается, не представив увольнительного вида от своего начальства и не дав руки на подпись печатного условия с моею конторой, где он получает двойную бирку для отмены забираемых денег. В конце ноября 1861 года явился дюжий, краснощекий и прекрасно одетый рабочий, Василий, изъявляя согласие наняться на год за 40 р. с условием получить при наемке 20 р. задатку. «Ну, Василий! ты знаешь, что я не нанимаю без увольнений от местного начальства». — «Эфто, батюшка, нам не важность». — «Так принеси свидетельство, тогда подпишем контракт и получишь задаток».

* Русский Вестник 1862 года №№ 3 и 5. (Прим. А. Фета)

Через два дня Василий явился со свидетельством, за подписью старшины, с приложением волостной печати. Условие с конторой тотчас было написано, и оставалось вручить 20 р. Отъезжая в Москву, я спросил Василия, не может ли он обождать задатка несколько дней, и, получив согласие, поручил прикащику выдать ему деньги. В Москве получаю уведомление, что Василий на третий день по моему отъезду взят у нас со двора земскою полицией за то, что, нанявшись уже к подрядчику на железную дорогу, он получил от него 20 р. сер. задатку. К счастью, от нас задаток не был ему выдан. Контракт с моей конторой и свидетельство волостного старшины, за казенною печатью, еще по сей день у меня. При свидании со знакомым членом губернского присутствия я показывал ему документы, настаивая на принятии каких-либо мер для предотвращения на будущее время подобного беззаконного лжесвидетельства со стороны старшины (случайно, не нашего мирового участка). Из заявления моего ничего не вышло.

Этот факт невольно приводит мне на память другой. В пятидесятых годах, в должности полкового адъютанта, я был на высочайшем смотре. Многосложная бумажная отчетность, продолжительные конные учения, осмотр ординарцев и уборных унтер-офицеров во дворец, церковные парады и репетиции занимали почти все часы суток, так что спать доставалось с час после обеда, да с 12 до 2-х ночи. Тут приносилось из дивизионного штаба так называемое словесное приказание в несколько листов, которое тотчас же нужно было диктовать циркулярно эскадронным писарям, украсив и значительно дополнив подробными распоряжениями полкового командира. Можно себе представить, как зато дороги были два ночные часа сна. Но судьба и в них мне отказала. В полку у нас служил юнкером сын значительного и богатого польского помещика. Юнкера этого по просьбе отца на днях перевели в другой, одного с нашим оружия, полк. В первую же ночь по приезде государя, когда я, сбросив мундир, упал на кровать, слуга доложил о каком-то барине, и в комнату вошел полный, почтенный господин, в черном фраке и белом галстуке. По фамилии я узнал отца юнкера. Господин не позволил мне встать с постели, извинился в позднем посещении, и, взяв стул, сел у моей кровати. После долгих прелюдий он стал убедительно просить, чтоб я сыну его выдал билет на Вольнь.

«Извините, милостивый государь, этого и полковой командир в настоящее время сделать не вправе. К тому же сын ваш теперь не нашего полка». — «Знаю, господин адъютант. Но войдите в наше положение: сыну необходимо побывать дома, а новый полковой командир еще не знает его со стороны его нравственности, но я надеюсь, что сын мой успел зарекомендовать себя в ваших глазах». — «Если бы требовалось моего частного доверия, я бы ни на минуту не задумался. Но нужна моя официальная подпись с приложением казенной печати, и на это, как я уже объяснял вам, я никакого права не имею. Ну, если с сыном вашим что-нибудь случится, окажется официальная прикосновенность к следственному делу?» — «Помилуйте, мы дворяне, люди чести!» — «В этом я вполне уверен, но...» Но тут вошел слуга со словами: «Словесное приказание из дивизии». «Извините! Надо на службу. Давай одеваться!»

На следующую ночь повторилось то же; на третью — буквально то же. Не знаю, как бы я теперь постарался избавиться от любезного гостя, но тогда я ни за что не решался оскорбить его невниманием. Между тем он пытал меня лютою пыткой и все-таки не получил незаконной бумаги. Попадись юнкер с моею незаконною подписью, никакая сила не избавила бы меня от суда и приговора, вследствие которого меня навек лишили бы возможности делать подлоги. Я бы пропал за одно превышение власти, а вот с волостного старшины — подлог как с гуся вода. Где же тут равенство перед законом?

Тою же осенью, перед отъездом моим, соседний крестьянин привел в контору восемнадцатилетнего женатого малого Семена в годовые рабочие за 38 р. и получил задатку 20. На другой же день я увидел Семена на работе. Он как-то беспокойно ворочался, и черные глазки его бегали, как зверьки. Было ясно по всему, что экономия не приобрела в нем капитального рабочего. Что же? подумал я. Где ж набирать все молодых? Год как-нибудь дотянем. Между тем через неделю прикащик донес мне, что рабочие обижаются работой нового товарища. И лошадь ему запряги, и воз утяни веревкой; словом сказать, ему надо дядек. Это действительно неприятно для исправных рабочих. Но чем помочь беде? Я проворчал что-то и вскорости уехал в Москву.

В феврале первое, что я услышал по возвращении, были жалобы на Семена: мало того, что ничего не делает, но, как ни попросится домой, прогуляет три, четыре дня и даже неделю. Таких прогулов за ним в конторе насчитался целый месяц, и в настоящую минуту не было его на хуторе уже с неделю. «Нет,— подумал я,— так невозможно этому делу продолжаться», — и тотчас поехал к мировому посреднику объяснить все обстоятельства. Посредник принял самое живое участие в моей просьбе, записал ее в книгу и стал рассчитывать, сколько следует Семену за прожитое время. «Я сам нанимаю по восьми рублей в зиму,— заметил он,— а так как Семен прогулял целый месяц, то ему следует получить семь, а вам из задатка приходится

обратно тринадцать». Зная, как трудно получать в подобном случае деньги обратно и настаивая на взыскании, главным образом для примера, я просил посредника взыскать только одиннадцать рублей, а вернувшись домой, велел объявить Семену, что он мне более не нужен и что посредник требует его. Семен исчез. Прошло более месяца, а денег я не получал. Между тем Семен, нанявшийся (вероятно ли это?) за восемь рублей серебром на лето у соседнего мужика, попался хозяину с украденными у него же хомутами. Поблагодарив судьбу, избавившую меня от дальнейшей практики Семена, я тем не менее решился во что бы ни стало добиться следующих мне в возврат денег и часто обращался за этим к посреднику. Передаю один из наших разговоров.

«Когда же я получу эти несчастные деньги?» — «Я давно сделал должное распоряжение. Сами знаете, какая затруднительная с этим возня. Вероятно, он уже и на новом месте забрал деньги, следовательно, и нового хозяина поставил в подобное вашему положение. Я приказал сельскому старосте отдать его в третье место и полученным задатком удовлетворить прежних нанимателей». — «Это легче приказать, чем выполнить. Если до вас дошел слух о новых проделках Семена, то, вероятно, и все наниматели в округе знают про них. Кто же согласится нанять его теперь, да еще и денег дать вперед? Скажите откровенно, какую цену дадите вы рабочему с подобною рекомендацией?» — «Откровенно признаюсь, не только не дам, не возьму ничего, чтобы принять его в имение. Однако же вы понимаете необходимость *как-нибудь* уладить это дело?» — «Совершенно понимаю, и мы постараемся *как-нибудь* его уладить. Позвольте сделать вам один вопрос. Предположим, что я отказался бы уплатить рабочему заслуженные им по договору деньги, и он пошел бы к вам на меня жаловаться: как бы вы поступили?» — «Очень просто. Распорядился бы, чтобы деньги эти непременно были с вас взысканы в пользу рабочего». — «Но могло бы случиться, что у меня не нашлось бы наличных денег?» — «Все равно. Земская полиция продала бы вашу лошадь, корову, овцу и все-таки удовлетворила бы законное требование рабочего». — «Все это совершенно законно и справедливо, но позвольте мне сделать последнее замечание. Вы наш общий судья. Рабочий и я в двух данных случаях предстоим перед судом вашим в совершенно одинаковом положении. Считаете ли вы нас равноправными? Если считаете, то откуда являются две меры и двое весов?»

Но этот разговор наш прекратился. Справедливость требует добавить, во-первых, что посредник через два месяца препроводил ко мне 11 р. сер. и, следовательно, *как-нибудь* уладил дело. Во-вторых, разговор наш происходил весной, а летом обнаругован циркуляр, возлагающий на начальников губерний заботу о неуклонном исполнении рабочим договоров. Циркуляр этот принес уже пользу делу и подает надежду, что законодательство определит хотя главные отношения между нанимателями и нанимаемыми и что положительный закон избавит всех от тяжелой необходимости улаживать эти дела *как-нибудь*.

Гуси с гусенятами

Когда Колумб поставил свое яйцо, все присутствовавшие нашли, что это слишком просто, хотя за минуту находили, что это было бы слишком хитро¹⁹. Притча эта будет повторяться вечно и преимущественно между людьми, не привыкшими близко подходить к делу. Такие люди не хотят понять, что самые простые вещи вместе и самые трудные. Мы уже имели случай говорить о модном в наше время вопросе касательно народности или ненародности той или другой меры, того или другого закона. Признаемся откровенно, вопрос этот, понятный в отношении к прошедшему и настоящему, решительно непонятен в отношении к будущему. Если меня спросят, народны ли в Орловской губернии квас, кичка и полушубок? Я не запнусь отвечать положительно; но если спросят, народны ли кохинхинка, петух-брамапутра и присяжные? Я решительно стану в тупик. Спросите мужика на косье, давно ли он косит рожь и овес с помощью тех граблей, которые привязывают к ручке косы и называют *крюком*, и давно ли ему бабы выносят на работу картофель? Он посмотрит на вас как на шутника и ответит: «испокон веку». Он скажет, что нельзя косить рослого хлеба без крюка, и будет совершенно прав. А вы знаете, что и крюк, и картофель введены очень недавно. Нам становой рассказывал, что лет восемь тому назад в одном имении поставили первую в округе молотильную машину. По неопытности рабочих, случились два-три членоповреждения, и барщина наотрез отказалась работать при машине. А вот теперь молотильные машины сделались не только общим достоянием, но необходимым помощником молотыбы, и становому приходилось усмирять барщину, которая отказывалась молотить за неимением в хозяйстве молотильной машины.

В настоящее время все земледельческое население России занято приложением к практике новых постановлений о потрвах. И этот вопрос не ушел от точки зрения народности. Не решаясь на резкий приговор в деле грядущего, постарайтесь, по крайнему разумению, разъяснить себе этот вопрос. Порядок должен быть сохранен

во что бы то ни стало. Но можно сохранить его и новыми, и старыми мерами: либо штрафом, либо палкой. Верит ли народ в действительность первой меры? Верит и выражает эту веру пословицей: «Не бей дубиной, а бей полтиной». Мало того, народ до такой степени убежден в радикальности новой меры против зла, с которым он сроднился и которым дорожит, что вы каждый день можете слышать возгласы: да после этого нам и жить нельзя, после этого надо умирать. Итак, в настоящее время понятие о действительности штрафов народно, а только самая мера не народна. Вот один из тысячи примеров.

Прошлою весной я нанял двух пастухов. Старого отставного солдата и так называемого подпаса, малого лет тринадцати или четырнадцати, приведенного отцом. Старик оказался совершенно хилым, а малый отъявленным лентяем, нерадивцем и сквернословом, нередко смущавшим спокойствие остальных рабочих. Значительные задатки были с самой весны по грустным условиям нашего дела выданы тому и другому, и худо ли, хорошо ли, приходилось до поздней осени перебиваться с такими хранителями скота. Замечу мимоходом: старшему пастуху платится в лето рублей 25. Один из наших соседей, вздумав отказать среди лета неисправному пастуху, послал разыскивать нового по всей округе и нашел только одного, который за вторую половину лета запросил 50 р. Ясно, что этот последний был уже не пастух, а человек зажиточный, который сказал себе: «Уж если дадут 50 р., то я свое дело брошу и наймусь».

Вот красноречивое доказательство тому, что рабочие руки у нас бывают разбираемы нарасхват, без остатка! Не упустим из вида, что все рабочие отправившиеся в прошлом году из наших краев на заработки в южные губернии, вернулись домой по случаю тамошней засухи и неурожаев.

Но возвращаясь к пастухам. Вследствие неожиданной вражды коров к лошадям, вражды, кончившейся значительными жертвами, я отделил табун от рогатого скота, и оба пастуха по взаимному условию стали чередоваться у отдельных стад. Не говорю о старике: он делал что мог, и осенью я вынужден был за совершенною негодностью переменить его; но здоровый и сильный малый все лето отличался такими выходками, которые и самого хладнокровного хозяина вывели бы из терпения. То лошадьми, то коровами он перепутал и стравил несколько десятин лучшего моего овса, несмотря ни на какие увещания, вытравил до земли осеннюю отаву клевера (вследствие чего, может быть, к весне он совершенно вымерзнет) и, наконец, расщипал, обезобразил и стравил значительное количество сена, сложенного скирдами. Вследствие жалоб моих на подпаса, сделано было с него взыскание мировым посредником в виде пяти ударов розгами, но это не помогло. Еще до общего Положения о потравах в нашем округе установлен был штраф, одинаковый за всякое пришлое животное, от птены до свиньи. Штраф этот был неизменные 20 к. сер. с головы. Потравы, причиненные мне подпаском, очевидно, не могли подходить под этот штраф, а требовали бы, по своей значительности, особой оценки. Но в этом, как и в большей части подобных случаев, доходить, по выражению крестьян, *до большого* — слишком тяжело; а потому по вопросу о штрафах более прилагается теория утрашения, чем теория возмездия. Как бы то ни было, к концу осени отцу малого приходилось дополучить рублей пять, и посредник уполномочил меня не додавать ему одного рубля в виде штрафа.

Не могу умолчать об одном довольно характеристическом эпизоде с тем же подпаском. Рискуя более или менее потерпеть потраву собственных клебов, я во избежание еще неприятнейших столкновений с соседями при наемке полагаю непременно условием: ни под каким видом не выпускать моего скота за чужой рубеж, и сторожу лично быть в ответе за причиненные там убытки. В один прекрасный осенний вечер слышу, что подпасок распустил наш табун по ржаному соседскому полю, покрытому копнами, стравил и растерзал три копны и пойман сторожем на месте преступления. Улика была налицо: поэтому сторож не задержал ни одной лошади, а на следующее утро отец подпаса явился ко мне.

«Что тебе надо?» — «Да вот мальчишка мой вчера грешным делом стравил у О-ва три копны ржи». — «Так что ж? Какое мне до этого дело? Вы травили, вы и разделяйтесь». — «Вестимо, кормилец, наш грех. То-то я к вашей милости! Пожалуйте деньжонок. Ведь сторож, того, говорит, привези-поставь новые копны, а эти себе возьми. С малого-то что взять? Оттаскал его за виски, да что ты поделаешь? Виски-то понадрал, а колосьев-то не вставишь. Да где их теперь разваживать, копны-то? Надобеть деньги отдать». Экой исправный сторож! — подумал я. — Видно, у них там большой порядок, когда за семь верст от усадьбы копна не пропадай. «Да ведь, любезный друг, твой малый еще не зажил и того, что уже забрано тобой». — «Явите божескую милость! (И на колени.) Мы вашей милости заслужим...»

Ну как тут не дать? Дал. Вечером того же дня спрашиваю: «Что? кончили наши-то со сторожем?» — «Кончили». — «Как?» — «Да старик купил два штофа водки; оба пьяные напились — и только». — «У О-ва, стало быть, от этой водки копны-то обростут, что ли?» — «Стало быть, обростут».

Тем дело и кончилось. Перед самым отъездом в Москву, мне пришлось снова философствовать с отцом подпаса. Накануне отъезда докладывают о его приходе. Выхожу в переднюю. Он бух на колени. «Что тебе надо? Да встань ты сперва, а то и говорить с тобой не стану. Что тебе надо?» — «Не встану, отец мой... Не встану, кормилец». — «Да что такое?» — «Да вот, батюшка! Сынишка-то, потрава-то... Так сделай божескую милость! Ведь завтра едешь в Москву».

Я было в суете и забыл о рубле штрафа, который был назначен посредником. Да и что было помнить-то? Какое может быть удовлетворение в рубле серебром при убытке на сотню рублей. «Послушай, любезный! Ты ставил своего сына ко мне с тем, чтобы беречь мое добро, а ты сам знаешь, сколько он мне наделал убытку? Чья же это вина? Если б я тебе неисправно платил или не давал твоему парню чего-нибудь по условию, а то теперь что ж я могу сделать? Ты знаешь, я и тебе говорил, и посреднику жаловался. Что ж проку-то?» — «Да ты бы его, батюшка, за виски, да вот как! А мало того, кнутом бы его. Я б тебе в ножки поклонился. Я на этом не ищу. Спасибо доброму человеку, что поучил». — «Да я с тебя денег не возьму, чтобы бить твоего сына. Это твое дело его учить, а не мое. Ведь вам же с ним хуже будет. Вот на будущий год кто его, такого негодя, возьмет в работники?» — «Вестимо, батюшка, что так. Да ты уже яви божескую милость, не вели прикащику вычитать целкового».

Надобно было избавиться от гнусных валяний в ногах, надобно было согласиться и на эту уступку. Вот вам и народный взгляд на денежные штрафы! Взгляд далеко не частный, а общий, для объяснения которого не нужно особенной философии. Дело просто. Всем нам необходимо получить веру в неподкупность и неумолимость закона. Коль скоро человек, наделавший вам оскорблений или убытков, у вас в руках, то вы можете на месте с ним расправиться, а если вы передаете дело возмездия в другие руки, то с той уже минуты страдальцем делается не виновный, а обвинитель. Что же, однако, делать? Что должно следовать в жизни из такого воззрения?

Впрочем, посмотрим, не бывают ли случаи, когда штрафы встречают большую симпатию в нашем крестьянине?

Содержатели постоянных дворов на Крестах (в версте по прямому направлению от моей усадьбы), как все русские дворники, большие охотники водить домашних животных, не соображаясь с пастбищами. Земли у них только под усадьбами и огородами. Отсюда прямое следствие: скот и птица их вечно таскаются по чужим дачам, которыми окружены их дворы. Надо заметить, что этих дворов не мало и содержатели люди очень достаточные, имеющие возможность сообща держать исправного пастуха; но им кажется удобнее пускать скот на волю Божию, а что из того выйдет, до того им нет дела. Так, по крайней мере, было до нового порядка вещей. Прошлою весной работал у меня подрядчик Алексей с плотничью артелью. В условии нашем не было обозначено окончательного срока работам, что и вынуждало меня частенько наведываться, каково-то они подвигаются. Сам Алексей — малый, что называется, *себе на уме* и, как большая часть подобных типов, — не последний балагур. От него-то, между прочим, узнал я, что он нанял десятин десять прекрасного лугу, примыкающего к нашему леску и находящегося, как и наша дача, в ближайшем соседстве с Крестами. Сенокос был нанят, действительно, очень выгодно: тем не менее я не мог не высказать Алексею сомнения насчет безопасности нанятого им клока. «Что будешь делать, батюшка? Хошь и далеко от нас, а я уж посажу на лето своего старика». Действительно, после Вешнего Николы я нередко видал его отца у опушки леса и невольно присматривался к этому оригинальному типу. В околотке он успел, заслуженно или незаслуженно, приобрести репутацию знахаря, умеющего расчистить колодец, укрепить плотину и т. п. (кажется, гораздо более на словах, чем на деле). Тем не менее в своей странной сборной одежде, с внушительным выражением лица и с длинной дубинкой в руках, он казался созданным в степные сторожа и напоминал собою стариков-сторожей по степным малороссийским баштанам (огородам).

Однажды утром, выйдя в молодой сад, где садовник хлопотал около прививков, я увидел на прилегающей к саду пшеничной зелени шесть гусей с целою вереницей гусенят, весело пощипывавших пшеницу и направлявших шествие от Крестов к нам. Надобно было всячески избавиться от подобных посетителей, и садовник, по указанию моему, направил их в водосточную канаву, руслом которой все стадо в самое короткое время добралось до пруда в саду. Кликнув мальчика, я поручил ему не выпускать гусей на берег, а садовника послал на Кресты сказать хозяевам гусей, чтобы они немедленно явились за своею собственностью. Отдать гусей даром было невозможно. К чему же была бы вся эта ловля? Надо было взять штраф. Но какой? В настоящее время, как мы уже заметили выше, мера штрафных взысканий — очередной земледельческий вопрос. В теории разрешить его весьма легко. Следует возвести штраф до чувствительных размеров для нарушителей порядка, а с другой — надобно, чтобы штраф был сподручен для взыскания. Мы говорим здесь только о появлении животных на чужой даче, независимо от побоев и потрав, оценка которых,

равно как и следующее за них взыскание, идет своим особым порядком. Итак, в теории, стоит только найти среднюю пропорциональную цифру возможно большей и возможно меньшей пени, и дело сделано. Нормою той и другой величины может служить самая ценность животного. Но на практике такой вопрос, как это в настоящее время и делается, может быть разрешен только на основании местных данных, ибо нередко то, что дорого в одном уезде, ни по чем в другом: двадцать копеек, произвольно назначенные нашим посредником, были в большей части случаев мерой спасительною. Но мера эта, очевидно, не могла бы стать положительным законом. Возможно ли и справедливо ли, чтобы почти безвредная утка, стоящая вся в нашей стороне 15 к. сер., оплачивалась двадцатью копейками, заодно со свиньей, стоящей пять р. сер., или прожорливою и неуловимою крестьянской лошадыю, стоящей 60 р. сер.?

Все эти вопросы, о которых в настоящее время идут прения между специалистами, приходилось мне разрешать в первый раз на практике в приложении к гусям. Прежде всего я твердо решился во что бы то ни стало не отдавать гусей даром, хотя бы пришлось отправлять их на подводе за пятнадцать верст к посреднику, которому тоже от них радости мало, потому что надо было их до времени кормить и беречь. Словом сказать, я решился уязвить дворников так же больно, как они неоднократно уязвляли меня своими *животами*. По букве посредничьего положения, мне следовало получить за 20 гусенят и 6 гусынь по 20 к. сер. за голову: всего 5 р. 20 к. сер. Возможно ли это, когда все стадо не стоило и половины этой суммы, к тому же и не успело причинить почти никакого вреда зелени? Я сделался адвокатом дворников и вспомнил классическое: *partus sequitur ventrem* (плод следует за утробой). Тотчас же гусенята превратились на суде моем в простые атрибуты гусыни. Итак, следовало только получить за 6 голов 1 р. 20 к.; но и тут адвокат воскликнул, что весной гусыня едва стоит 20 к. сер. и что дело этим путем, пожалуй, дойдет до комического посылания подвод к посреднику. Как же быть? Назначу по гривеннику. Всего, за 6 голов — 60 к. сер. И дешево и сердито! И действительно, все еще сердито. Столичные жители, привыкшие считать деньги значительными кушами, не поверят, что в настоящем случае и 60 к. сердито. Тут вдруг, уже у моего адвоката, мелькнула мысль: весной во всяком дворе несутся куры, и хотя в продаже свежие яйца ходят по гривеннику десяток, однако всякий хозяин гораздо легче расстанется с этим десятком, чем с гривенником.

«Скажи им, чтобы за шесть гусей несли шестьдесят яиц и что без этого нечего им и ходить». Через полчаса двое малых в красных рубахах, как-то переминаясь, стали приближаться к садовой канаве. «Что вам надо?» — «Да вот гуси-то». — «А шестьдесят яиц принесли? (У ребят ничего не было в руках.) Нечего с вами и толковать». — «Да это, батюшка, и гуси-то не наши». — «Не ваши? Так нечего разговаривать. Ты пройди-ка к пруду, — обратился я к старшему, — да взгляни, может, и твой густь найдется. Через час их тут не будет: так и скажи своим». Мы подошли к пруду. «А гуси-то все наши-и-и!» — запел старший. — «Сделайте милость», и пр. «Я тебе сказал, через час их тут не будет. Да, может быть, они вам не нужны; а то бы ты сейчас принес шестьдесят яиц». — «Побегу».

Немного времени спустя повар принял счетом шестьдесят яиц; мальчик погнал гусей домой, а я вышел из сада на постройку. Алексей тесал бревно. Отец его, опершись на дубинку, стоял над ним с обычным внушительным выражением лица; другие плотники алексеевой артели неподалеку тоже готовили лес.

«Вишь мошенники, елеси! — заметил Алексей, когда я наступил ногой на обдelyваемую им балку. — Какими сиротами прикидываются, как с них приходится! Уж дай вам Бог доброgo здоровья, что хоть вы их проучили, а то ведь за лето-то они бы нас разорили». — «Разорили бы, разорили!» — добавил внушительно старик отец, еще ниже опуская седые брови.

Итак, вот новая народная точка зрения, к которой мы будем иметь случай подойти поближе.

В какой мере возможно у нас требовать нововведений²⁰

В одном из петербургских журналов случилось нам когда-то прочесть следующие строки: «Гибельное влияние на наше земледелие имели следующие причины: 1) отсутствие умственного развития в народе, 2) упадок его энергии, 3) крепостное состояние, 4) недостаток оборотного капитала, 5) неразвитость торговли и промышленности, 6) плохое состояние путей сообщения, 7) слабое развитие городов, 8) незначительная степень населенности и т. д.»

По нашему простому пониманию, вся эта тирада — образец преднамеренного или невольного смещения понятий, где в виде причин выставлены последствия, а главная и, быть может, единственная причина зла попала только в восьмой номер,

именно: «незначительная степень населенности», против которой только два средства: или вековое терпение, или немедленная эмиграция. Народонаселения искусственно не выгонишь, как спаржу на парю. Неужели нужно повторять *tritum pertritum*²¹, что в природе нет богатства в экономическом смысле без содействия человеческого труда; что огромный золотой остров у полюса, куда не может забраться человек, совершенно бесполезен, и все равно, существует он или нет; что где нет рук, там нет и богатства, нет не только оборотного, но никакого капитала, нет торговли и промышленности, не может быть ни путей сообщения, ни сильных городов, ни хорошей администрации, ни высших потребностей, ни энергии, ни умственного развития, а есть одна непроходимая бедность, беспомощность и перебивание изо дня в день, как у первобытных кочевников. Стоит наступить неурожайному году, и люди валяются, как мухи, на свою хлебобороднейшую землю. Нам все толковали о пролетариате, точно будто мы страдаем под бременем этого зла. Да, господа! где же этот пролетариат, ищущий на Руси работы и не находящий ее? Покажите хоть один экземпляр этого класса. Вот, третьего дня к соседу моему заезжал становой и жаловался, что, живя в огромном селе и имея под руками всеведающих сотских, ни за какие деньги не может достать бабу в кухарки. «Слава Богу, что у меня жена (прибавил он) умеет сама стирать, а то хоть с голоду умирай. Да и точно (продолжал становой), что за неволя бабе идти теперь в чужие люди, когда она целую зиму прядет, тклет да денежки у печки зарабатывает? Холстина-то, с 1 1/2 да 2 копеек за аршин, стала 6 да 7 копеек. А тут к весне свой же мужик наймет ее пеньку мять, а там сажать, полоть, греть да вязать, так она около дому сыта и за лишним рублем в месяц не погонится». Вот это факт. Вы нам суете развитие, а вы нам кухарку-то дайте! Нет рук! Нет рук! Вот наш постоянный припев.

А вот вам другой факт. Прошлым летом вдруг, ни с того ни с сего, почти вся наша округа поднялась переселяться в Тобольскую губернию, и первые загадали идти *на вольную степь* крестьяне огромного села С., получившие в надел всю барскую землю, без остатка в пользу владельца. Тем не менее они от нее отказывались, лишь бы пустили их *на вольную степь*. Слух об их переселении облетел округу, и все крестьяне решили идти *на вольную степь*, не зная, разумеется, что это такое.

Естественные условия жизни — лучшая школа. Вот пусть-ка крестьянин, и в 250 лет не забывший шатаний Юрьева дня, повладеет десять лет собственным полем лично, а не на безобразном общинном основании, да вложит в родимую землю свой пот и труд, тогда посмотрим, возьмет ли он втрое больший клочок *на вольной степи*. Пусть он заведет свой сад, своих пчел да свяжется возрастающими потребностями с ближайшими рынками и торговыми путями — тогда отдайте ему Юрьев день и будьте уверены: он так же мало им воспользуется, как богатый столичный домовладелец. Община понятна и разумна как общество, но как владение — она не более как книжничество, если не фарисейство. Россию не раз упрекали в до-геродотовской методе строиться из бревен на живую нитку. Хороша бы она теперь была, обстроившись из камня до окончательного размежевания!

О других будто бы причинах — а в сущности последствиях низкого уровня земледелия — и говорить не стоит, например, о дорогах и полицейском надзоре. Мало ли есть хорошего в странах с густым населением? Да это хорошее нам пока недоступно. В Германии вы протянули руку за пыльной придорожной сливой, а сторож уже кричит: «Halt!»²² — и хватает ослушника за ворот. Вы ломаете в лесу ветку или подымаете еловую шишку, а лесничий уже кричит: «Halt!», целясь в ослушника из нарезного штуцера. У нас утром целая волость мучилась, достраивая на степи несчастный осиновый мостишко, а к вечеру около него в тине завязнул мужик с возом, и ось в грязи сломалась. На двадцать верст кругом пособить некому, а топор про случай припасен в возу. Удивительно ли, что погибающий начнет ломать первое перило или мостовину, не размышляя о том, что следующий за ним пугник уж окончательно погибнет? Да какой консерватор поступит в подобном случае иначе? Признаюсь, если бы меня в подобном положении окружали обе английские палаты, увещевая не нарушать общественного порядка, я бы под их красноречие еще с большим ожесточением рубил нужную мне балку. Будь мост вечный, каменный, с хорошими вьездами и будкой со сторожем, тогда другое дело! И незачем рубить, и не позволят. А у нас, даже без надобности, руби плеча, благо до Бога высоко, а до царя далеко. Немцы все делают и берегут руками да капиталом, а мы достигай того же нравственным уровнем.

В прошлогонных «Московских ведомостях» выставляли на вид факт конкуренции волов с железной дорогой. За границей это действительно немыслимо. Но у нас, где иной торговый капитал не оборачивается и разу в год, разница нескольких дней и недель в доставке не может идти в соображение. Если это правда, и волы требуют с меня за извоз дешевле чугунки, за что же я заплачу лишнее в пользу того или другого способа перевозки? Разве в виде премии за искусство? Но торговля и благотворительность — два дела разные. Вечный опыт показывает, что никакая регламентация

не может соперничать результатами с конкуренцией. Доказательство — наши почты. Давно ли почтовое ведомство само просило о заметках насчет неисправностей? Что же? Его закидали заметками, а толку нет по очевидной причине: кто бы ни взялся гонять почту, несмотря ни на какие льготы со стороны правительства, не сведет концов. Нельзя человеку, дошедшему до нуля, сказать: лезь в минус.

Должно согласиться, что во всяком жизненном явлении выражается не одна какая-либо причина; но в хаотическом беспорядке кричат все факторы вместе, как настоящие еврей-факторы²³ у офицерского порога в Польше или Малороссии. Тут и причины и следствия равно дают себя чувствовать.

Два брата Ш-вы, один — в Москве, другой — в Мценске, содержат постоянные дворы и подряжаются доставлять вещи через извозчиков туда и обратно. Нынешний год, за неделю до отъезда из Москвы, я отправил через московского Ш-ва ко мценскому на свое имя два экипажа и вещи. Приезжаю во Мценск — экипажей нет, хотя они должны прийти на шестой день, иначе извозчик в убытке. Зато мне говорят: не оставляйте экипажей у Ш-ва. Он запил, и у него такой беспорядок, что заезжие извозчики возами обломают экипажи, и вы ни с кого не получите. Справедливость последнего замечания я испытал над экипажем, доставленным мне из Москвы, в прошлом году, и потому по приезде в деревню со вторника масленицы до чистого понедельника меня беспокоила мысль, что я опоздаю послать к Ш-ву и не успею принять мер против крушения. Наконец, блины кончились, рабочие сползлись в понедельник утром, и приказик с двумя из них отправился на двух парах в город. В среду вечером в сильную метель посланные вернулись. «Что? цело?» — «Ничего нет. Не приходили». — «Может ли это быть? Слишком две недели!» — «Там был извозчик из Москвы, так говорит: знать, не скоро ваши экипажи будут. Он видел у Ш-ва на дворе: так зашитые в рогожах стоят. Московский-то Ш-в запил». Порядок! один запил на одном конце, другой — на другом, а люди проездили даром 120 верст и потратили деньги и корм понапрасну.

Мы говорили о нашей общей бедности. Иной *метафизик* в яме спросит: что такое бедность? *Отец* на это отвечает: неимение того, что есть у всех добрых людей. *Метафизик* недоволен и говорит: бедность — есть неимение необходимого. С этой точки зрения, Диоген богаче Александра и Россия богаче расчесанной, разукрашенной и упорядоченной Европы с ее полями, мостами, садами и училищами.

На такое определение богатства и бедности мы только спросим метафизика: не фразы ли это? И возможно ли, чтобы человек голодал, тонул в грязи, мучился и между тем не чувствовал тягости своего положения? «Не сознает — так не чувствует». Должно сознаться, результат почти оправдывает *cercle vicieux*²⁴ метафизика. В неразвитом народе можно рассчитывать только на его слабости, а не на человечески законные потребности. Раз из-за неудавшегося квасу мои рабочие подняли шум, а дайте им дурного качества мясо или сало, они докажут, что отличают хорошее от дурного. Что же едят они в своей семье, это дело другое. Кабаки растут не по дням, а по часам; суммы за *дешевку* собираются громадные. Мяса в нашей стороне нельзя поставить дешевле трех копеек за фунт. Не угодно ли кому открыть, вместо кабаков, мясные лавки с говядиной по одной копейке за фунт? Много ли будет покупателей? Да! Это низкая степень развития, но она все-таки результат, а не причина бедности. Не от того я беден, что у меня нет кареты, а наоборот. Но не по метафизическому понятию, а по простому будничному сравнению многие называют Россию богатой. Неудивительно, что иностранцы, выдавшие одних бар, въезжавших в их столицы шестернею в собственных экипажах, кричали о баснословном богатстве русских. Неудивительно, что французские журналы, по поводу распродажи картин Анатолия Демидова, и теперь кричат, завидуя огромным суммам. Но ведь подобные отдельные явления — не Россия, тем более не двигатели земледельческого прогресса. Пусть не считают нас непоследовательными. Говоря о главном земледельческом факторе (извините!), мы не отстаем от нашего тезиса. Для правильного, предусмотрительного хозяйства у нас ни на что не хватает рук. Это не дает права высшей правительственной или частной интеллигенции сидеть сложа руки. Она обязана предусмотрительно и ревниво наблюдать, чтобы хотя наличные силы не пропадали даром. В этом смысле, если только дело пойдет разумно, эманципация труда, между неисчислимыми последствиями, должна заставить города поменяться ролью с деревнями. При старом порядке город был единственной целью всякой интеллигенции, а деревня не более как гнусным средством. В деревне скупилась, терзались, дрались и подвергали себя строгой лозе иностранных наставников, лишь бы приобрести возможно более шансов для городской деятельности. Деревня была училищем, чистилищем для вшествия в городской рай. Наступила иная пора, и меньшинство городов должно занять настоящее место в отношении к большинству деревень. Гостиная и зала пусть будут в деревне, а город может и должен быть классною, кладовою колониальных и панских товаров, базарною площадью, архивом, сторожкой и т. д. Прежде и в отношении

социальном делали то же, что в земледельческом. Распахивали *нови*. Теперь, господа! новой нет, а надо по старым бороздам пускаться с новыми усилиями. Надо приложить к делу умственную гимнастику.

Надо недостаток рук заменить машинами.

Разве это не делается? Посмотрите по большим дорогам! Сколько везут машин из Москвы и из-за границы! В губернских городах появились магазины земледельческих машин и орудий. Но зато сколько с ними и бед! Кому за ними смотреть? Кому их ладить? Сколько капитала в виде этих машин пропадает и еще будет пропадать на Руси даром! Опять стена безрукости и бедности. Не будем говорить о недостатке специального образования. Предположим, что есть у нас механики, ветеринары, счетоводы, пчеловоды и т. п. Возьмем чистый доход с моей фермы и спросим: что она может уделить всем этим господам, даже при решении не получать ни копейки с основного капитала? И какой образованный специалист может довольствоваться приходящимся ему дивидендом? Опять роковая стена. На основании одних этих данных видна несостоятельность надежд наших кабинетных агрономов на так называемые образцовые фермы. Хорошо этим фермам быть образцовыми, имея за собой капитал Общества. Отчего не произвести отличного овса, которого десятина выручит 60 рублей, если на нее потрачено 120. Такой образец не маяк, а фалшфейнер, заманивающий на кораблекрушение. Даже при подобных условиях ферма Московского Земледельческого Общества²⁵ не удержалась и сдана из профессорских рук в частные. На что нам эти фермы? А наши-то хозяйства разве не образцовые пробные фермы, на которых каждый пробует ворочать дело на все стороны? Один метит в немца, другой — в американца, а третий присматривается к приемам русского мужика, коли заметил, что у мужика известная отрасль хозяйства идет исправнее, чем у него. На днях по поводу одного коннозаводского вопроса я был у соседа К. Я попал к нему в полдень, то есть в час окончания утренних работ.

«Дома барин?» — «Никак нет». — «Где же он?» — «На гумне». В это время мимо меня с гумна возвращались три работника верхом на трех лошадях, каких я еще не видывал между барскими разгонными: огромные, сильные, здоровые и, как бочки, сытые. Я ничего не понимал в подобном явлении и только про себя пробормотал: «Волшебство!» Барина побежали искать, а я отправился в его кабинет.

«Ну, батюшка! — воскликнул я невольно, когда К. показался в дверях. — Рабочие лошадки у вас прелесть! Как вы это делаете?» — «Овсом». — «Да разве можно кормить рабочих лошадей своим овсом, не разорившись вконец?» — «Нельзя». — «Стало быть, вы сознательно хотите разориться?» — «Нет. Я всю зиму делал то же, что мужики. Я извозничал и даже брал с посторонних полкопейкой на пуд хлеба дешевле мужиков. Работал, правда, немного себе в убыток; зато видите, в каком состоянии лошади и в каком виде я сам». К. показал на полушубок и валенки. «Без этого нельзя, — прибавил он. — В ночь, в полночь не ленюсь, бегу ощупывать вернувшихся лошадей: что холка? что плеча? что спина?»

Если это не химерическое пересыпание денег из правого кармана в левый, так хорошо. Главное, хорошо то, что всякий пробует все возможное. Один поступает по расчету, другой — по рутине: посмотришь — результат тот же. Рядом с моими полями — поля О. У меня четыре поля, у него еще три. У меня бурьян по залежи, и у него тоже. Только я забросил четвертую часть пашни вследствие арифметического расчета, а он забросил свое за невозможностью управиться. Я предвидел стену и не пошел, а он не захотел на нее взглянуть и уперся в нее. Тем не менее бурьян и у него растет точно так же, как будто входил в арифметические вычисления.

Однако, к какому окончательному выводу придем мы с вопросом *о мере, в какой у нас можно требовать нововведений?* Вспомним не раз «Водолазов» дедушки Крылова. В глубь моря полезем — утонем; по берегу будем таскаться — обнищаем; а держась середины — авось поправимся и хоть немного наловим жемчугу. Впрочем, человечество так устроено, что всегда и без нас найдутся охотники, не спросясь броду, нырнуть в воду. Вспомним судьбы всевозможных акций и акционеров. Нельзя отрицать великой заслуги подобных водолазов. Над их нравственными или материальными могилами история пишет: «Сюда не надо ходить». Но целый народ без остатка не может и не должен нырять подобным образом, очертя голову, на авось. Странно спрашивать, нужны или не нужны нововведения, когда все, кто волей, кто неволей, несется по самой их быстрине и когда сама нужда заставляет им сочувствовать. Только не будем искать таких нововведений, которые неминуемо припрут нас к стене. Вот хоть бы моей экономии — необходима зерносушилка, а я настроил дешевых крестьянских овинов, да и пачкаюсь с ними. Что же делать? Не строить же барщинскую, дорогую и несостоятельную ригу? А мало-мальски удовлетворительной зерносушилки нет. Вся Россия кричит: дайте зерносушилку! а ее все нет. Другие орудия нужны не одним нам — вот они и изобретаются и усовершенствуются иностранцами. Зерносушилка нужна только нам. Гнилой запад в это дело не

вмешивается, а гноим-то свой хлеб — мы. Вот тут всякое поощрение со стороны ревнителей земледелия будет уместно. Назначьте хоть миллион премии за практическую, всем доступную по цене зерносушилку, и премия в первый же год окупится одним зерном, пропадающим на дорогах к ригам и овинам. Такая премия будет полезнее мнимо-образцовых ферм и иных затей в подобном роде. Попробуйте выставить значительную премию на всемирную конкуренцию, и у нас через год будут зерносушилки. Прежде всего будемте здоровыми людьми. *Mens sana in corpore sano*²⁶. Хуже всего эта болезненная, узкогрудая раздражительность.

Судьба сводила меня с некоторыми представителями немецкой науки. Какие они все здоровые, свежие, хлеб с солью! А уж какие милые, снисходительные к непосвященным — и говорить нечего. Никогда не забуду вечерних бесед с одним из светил астрономии²⁷. Какое высокое наслаждение ходить по незнакомым пространствам и неведомым путям, опираясь на опытную руку матерински-снисходительного вождя, любясь в то же время благородно-человечную личностью, не утратившею ни одного интереса, отдавшись главному! В противоположность таким явлениям один из наших талантливейших писателей²⁸ рассказывал мне на днях свою встречу с замечательным типом нашего ученого. Заранее прошу извинения раскащика, если не сумею передать слышанного его же словами. «Я всегда, — начал раскащик, — представлял себе этот тип таким, каким, наконец, встретил его. Жидкие, плоские, бледно-желтые волосы, узкие плечи и ввалившаяся грудь, сухие ножки иксом, голос и выражение лица птичьи. Весь вечер этот человек иронически подсмеивался над людьми, которые в состоянии тратить время на шатание по лесам и болотам с ружьем за птицами. Этому господину непонятно удовольствие проскакать на лихой лошади, врубиться в неприятельский фронт, перенестись вплавь через Геллеспонт. Он не поймет ответа русского мужика, пришедшего добровольно служить в течение двух месяцев на одном из Севастопольских бастионов. На вопрос: «А что твои домашние теперь думают?» — мужик отвечал: «Когда бы домашние знали, как тут хорошо, все бы сюда пришли». Этот ученый воображает, что может устраивать судьбы народов, а не подозревает, что ему самому одно место на свете — богоугодное заведение, один костюм — больничный халат и колпак».

Если в известных явлениях нашей жизни низкая степень развития и является наглядною причиной отсталости, или, лучше сказать, преградой на пути усовершенствований и нововведений, то, как мы сказали, это не изменяет нашего главного положения. Источник зла — все та же малонаселенность с ближайшим своим последствием — бедностью. Видя быстрые успехи колоний в новых частях света при сходных с нами условиях, мы не должны упускать из виду, что европейские колонисты вносят в новую страну силу, энергию и средства образованности уже как готовый материал, выработанный в метрополиях богатством, совокупностью труда и густотой населения. Вот если бы кочующие народы похвастали где-либо высокими специальными школами, земледелием, садоводством, архитектурой, торговыми городами и путями, мы бы уверовали в отрешенную силу какого-то с неба сваливающегося образования.

В наши дни эфемерных общефилософских галлюцинаций эфемериды забрались и в положительную область земледелия, и у нас нет недостатка в обольстительных рекламках, в которых цифрами доказывается возможность в настоящее время наживать миллионы при вольнонаемном труде. Господа! Вы бесцеремонно величаете неученого сельского хозяина невеждой; что же, вместо того чтобы торговать мнимо-спасительными книжечками, не возьметесь вы сами за дело и блистательно не наживете миллионов?

Пожелаем же себе любви к труду, ясных понятий о главной цели каждого из нас, строго охранительных законов, возбраняющих раз навсегда вторжение постороннего произвола в наши законные действия, взаимного доверия, основанного на той же строгой законности отношений, а главное — здоровья.

Еще молотилка. Есть ли какой контроль над бесцеремонностью в отношении к чужой собственности?

Заглавие показывает, что из мира общих спорных положений мы переходим в мир неоспоримых фактов. Приведут ли они читателя к убеждениям, сходным с нашими или к противоположным, мы тем не менее считаем нелишним их обнаружение. В прошлогодних записках я довольно подробно описал все мытарства, через которые заставила меня пройти выписанная от г. Вильсона молотилка. Рассказ остановился на том, что привод машины требовал, вместо двух, четырех лошадей и ломался едва ли не ежедневно. Так ли, сяк ли, урожай 1861 года был, хотя со страшными мучениями, перемолочен частью цепами, частью убогою машиной. Мы слышали отговорку г. Вильсона, показывавшего паспорта машинистов, разбежавшихся по своим деревням с забранными задатками, и слышали его обещание выслать ко мне непременно машиниста в конце мая 1862 г., на условии, чтобы последний

получал по рублю в день во все продолжение работы. Надо отдать справедливость молотилке г. Вильсона (хотя он и наделал мне около 1.000 рублей невознаградивого убытку): она, можно сказать, вполне удовлетворительна; но зато самая дорогая и сложная часть машины — привод — никуда не годится. Оборони Боже от него всякого человека! В наших степных хозяйствах чугунные машины, да еще состоящие из цельных литых частей, убийственны. Приводы к молотилкам должны быть деревянные, составные. Сломался зуб — вон его! Каждый рабочий может вбить такой же деревянный запасной, и делу конец. А тут выломился зуб — тащи все десятипудовое колесо на завод и переливай его, а тою порой сиди у моря да жди погоды. Таков общий недостаток чугунных приводов. Но привод г. Вильсона, кроме того, по своей конструкции, которую здесь объяснять не буду, не выдерживает давления при нашей даже самой правильной работе, хотя, предназначенный для русских, должен бы быть рассчитанным на вечное *авось* русского человека. Трудно описать, что делалось с приводом г. Вильсона. Ломалась то одна, то другая часть, и спасать машину являлись всевозможные знахари, подвергавшие ее самым разнообразным искусам, бывшим в открытой вражде с элементарными законами механики. Где нет сознательного разума, является клятва и божба, и эти люди клялись на чем свет стоит в истинах, подобных следующей: *«Чтоб облегчить экипаж, надо уменьшить колеса»*. Они клялись, а я находился в положении философа, который видит несостоятельность чужой системы, но не в силах составить своей. Ну, делайте, как знаете. Они делали — и о, Боже! что выходило!

Зная по горькому опыту, что г. Вильсон,

— смеясь, все клятвы пишет
Стрелю острой на воде²⁹,

я с весны заказал соседнему машинисту такой же деревянный привод с горизонтальным чугунным колесом, какой он делал для своей экономии.

Как у нас нет ни телеграфов, ни комиссионеров, ни специалистов, то мы ничего наверное не знаем, а земля только слухом полнится. И до нас с соседом дошел слух, что в Ельце чугун лучше и гораздо дешевле орловского. Отправили за чугуном в Елец за 180 верст. Оказалось, цена чугуна та же; но рассчитав дальний провоз и двухнедельную задержку посланных на завод, вещи обошлись нам почти вдвое дороже против орловского. *«Не всякому слуху верь»*.

На этот раз г. Вильсон сдержал слово. В начале июня, в мое отсутствие, забежал к нам часа на два его машинист и объявил, что, во-первых, менее как по два рубля в день не останется (зри уговор), а во-вторых, не станет ладить молотилку, если ему не дадут ее в том виде, в каком она была на заводе.

С тем и уехал. Наступил август — время ржаного сева. Нужны семена. У соседа привод, близнец моему, уже работает, а мне оставалось только к вильсоновской молотилке приладить деревянный привод. Нынче да завтра, будет готов, и уж не знаю, как я наколотил ржи на семена старым приводом. Наконец один из чугунных зубьев главного колеса не вытерпел давления, и машина стала. Обстоятельства заставляли меня на несколько дней уехать в Воронежскую губернию. Погода стояла райская. *«Теперь ни старой, ни новой машины, — говорю я прикащику, собираясь в дорогу. — Надо, не упуская погоды, молотить наймом»*. — *«Почем прикажете давать с копны? С меня просят по восьми копеек, да я не решаюсь дать более семи»*. — *«Давай по пятнадцати»*. — *«Помилуйте! с нас просят по восьми, а мы станем давать по пятнадцати?»* — *«Да, да! Словом, на мою ответственность»*. С тем и уехал. Во всю дорогу, туда и обратно, погода не изменялась. Проездом по деревням только и слышна была лихорадочная стукотня цепов. Как не молотить до упаду в такую погоду! Чем ближе я подвигался к цели поездки, тем пышнее становился урожай и поневоле напоминал стихи:

Уже румяна осень носит
Снопы златые на гумно³⁰.

Разумеется, первым вопросом по возвращении было: *«Много ли обмолотили?»* — *«Ничего»*. — *«Отчего?»* — *«Да, обещались по восьми копеек придти народу сколько угодно, а тут, по вашему приказанию, давал по пятнадцати — никто не пошел. Все себе спешат»*.

Тем временем привод поспел. Пошли рыть землю, старый станок вынимать, вкапывать, и вот стоит наложить ремень на вильсоновскую молотилку, и дело пойдет как по маслу. Но тут, увь! одно непредвиденное обстоятельство мелькнуло у меня в голове. Привод делан для барабана с зубьями, а вильсоновский барабан, с билами, требует вчетверо более оборотов. Доморощенные механики, мы с соседом взяли по листу бумаги да по карандашу и стали взапуски рассчитывать обороты того и другого привода. Результат вышел тот же: с новым приводом вильсоновская машина должна

идти вчетверо тише, чем следует — и не молотить, а только мять да путать хлеб. Пойдем пробовать! Опыт подтвердил наши мудрые, но — увы! слишком поздние вычисления. Судьба и услужливый сосед и тут выручили. У него оказались два станка с зубчатыми цилиндрами, из которых он одним снабдил меня. Опять вырывать старый и вкапывать новый станок. Теперь вся машина новая, и дело пойдет на лад. Мастер получил *на чай* и остался доволен, а я в десять раз довольнее. Через три дня, к ужасу моему, прикащик объявляет, что главное колесо на одном месте оборота прыгает. Бегу, смотрю: прыгает. «Стой! Стой! За мастером! А то все полетит вдребезги». Остановили, и пятнадцать рабочих ничего не делают, то есть пьют, едят и жалованье получают. Явился мастер, весь выпачкался в масле и дегте, и объявил, что можно пускать. Пятницу прочинились, а в субботу опять запрывало. Слава Богу! В понедельник справим и будем работать. Но мастер закапризничал и запил. Как быть? Под влиянием велеречивого Вахха, он объявил наотрез, что не может теперь устанавливать машину. «Я,— говорит,— забыл им сказать, чтобы мазали верхнюю шейку в ходовом колесе: они не мазали да истерли ее. Теперь ни веретено, ни подшипники не годятся. Я не поеду». — «Что же делать?» — «Тут есть, говорят, по соседству, такой мастер». — «Это тот, что в прошлом году забрал вещи и деньги да уехал в Елец?» — «Нет, помилуйте-с! То человек совсем не обстоятельный, а это настоящий мастер. Он мужик, но еще отец его был машинистом, делал тележку-самокат». — «Посылай за ним сейчас». Привезли мужика, которому и живописец и скульптор дорого бы дали за позволение взять его в модель сатира.

Надо было разобрать машину, и сатир с таким адским озлоблением принялся за дело, что я ежеминутно ожидал окончательного истребления привода. Вот все разобрано, повыдергано. Действительно, ни веретено, ни подшипники негодны. Они съели друг друга. Подшипники можно купить готовые, а веретено (двухпудовой железный брус) должно быть не только обварено на стертом месте, но и отбчено на станке. Воскресенье я напрасно прождал мастера-строителя, понедельник мы провозились с сатиром, и только во вторник вечером я очутился в Орле у ворот литейного завода П-на. Главного механика не застал дома и, напрасно прождав его часа два, отправился на усталых лошадях в почтовую гостиницу, передав помощнику испорченное веретено и просьбу к знакомому мастеру. — «Будьте покойны».

Однако я не успокоился и рано утром послал узнать о судьбе веретена. «Никак не могут раньше будущего понедельника взяться за эту работу, так как они на срок делают блоки для домашнего театра». — «Извощик здесь?» — «Здесь». Скачу на завод. «Пожалуйста!» — «Не могу, не могу». — «Для знакомства». — «Не могу, не могу. Ради Бога, не просите». — «Войдите в мое положение. Рабочие гуляют. Вам это трехчасовая работа, а я должен ехать домой с пустыми руками и в понедельник гнать нарочного семьдесят верст. Только в среду, дай Бог, уладить машину. Ведь это две недели лучшего времени пропало!» — «Не могу, не могу!» Делать нечего. Вернувшись в гостиницу, я стал ходить взад и вперед по комнате, раздумывая: как тут поступить? Служитель принес кофей. Я спросил, не знает ли он, как пособить моему горю. «Прикажете позвать фактора? Он здесь в коридоре во всякое время обретается». — «Позови». Вошел рябой мещанин, с тем выражением, которое бывает у трактирных половых, когда они объявляют, что есть все, что прикажете. Фактор сказал, что приведет такого кузнеца-слесаря, каких в России наредкость и который мне все дело мигом обделаает. «Хорошо, веди слесаря да заезжай на моем извошке на завод за веретеном».

Завод в трех верстах от гостиницы, и это за утро третий конец, следовательно, — восемнадцать верст. Явился слесарь. Кто изобразит все внушительное величие синей сибирки, красного носа и чувства собственного достоинства? «Будьте покойны. Представим вещь в настоящем виде. Я мастер. Без хвастовства могу сказать — мастер. Покойному государю Александру Павловичу чинил экипажи. Извольте справиться, имею медаль на анненской ленте». — «Что же это будет стоить?» — «Всего пять рублей». — «Когда может быть готова?» — «В четыре часа пополудни». — «Раньше нельзя?» — «Никоим родом». — «Ведь надо на станке отточить». — «Помилуйте! Неужели мы выпустим из рук недоделанную вещь? У нас при заведении свой станок. Всего дела-то на полчаса». Я отдал мастеру веретено, а фактору — на водку. В то же утро, заехав в заведение садовых и некоторых земледельческих орудий, я, слово за слово, передал хозяину мой недавний разговор с мастером. «Да вы плюньте ему в рожу», — воскликнул неожиданно хозяин. — «Какой у него токарный станок? У нас в целом городе один только и есть на литейном заводе». Был третий час дня. По условию работа должна была быть скоро готова. Поеду, подумал я, к слесарю: увижу, по крайней мере, что там делается.

Приезжаю по адресу. Длинный, грязный двор. Налево — жилой дом, направо — сарай с хламом, в глубине — невзрачная кузница, и ни живой души. Вхожу в кузницу, сопровождаемый ожесточенным лаем цепной собаки, и первый предмет, попадающий на глаза, — мое веретено в первобытном виде, сунутое в тлеющие угольки

горна. Хорошее начало! Иду на крылечко дома. Стучусь. Ответа нет. Повторяю удар. Выходит толстая баба. «Где хозяин?» — «Отдыхают». — «Позови». — «Сейчас». Минут через десять в кузницу явился преображенный хозяин, пьяный, пошатывающийся, в каком-то фантастическом, поварском костюме с кожаным фартуком. За ним явились два замазанных оборванных парня. Один стал разбуравливать ступки у нового стана колес, а другому хозяин сильным голосом крикнул: «Дуй!» Началась перековка инструментов. Опыт показал, что от подобного мастера нельзя отлучиться, и я дал себе слово остаться до окончания работы. Три битых часа простоя я над мало-помалу отрезвлявшимся Вулканом.

Довольно за это время перебивало посетителей. Заметнейшими и почетнейшими оказались солдаты пожарной команды. «Что ж ты? Скоро там?» — кричал один из них со двора, в то время как другой, присев в самой кузнице на нивом колесе, просил: «Ребята, нет ли трубочки покурить?» — «Ты у ребят-то попроси». — «Ну! А ты чего клещами-то сбоку берешься. Разве так можно? Эх вы! Ты вот как, во! Видел? А то где ее сбоку удержать? Ведь это не что-либо такое». — «Да ну! Скоро ль ты взаправду там? — кричал снова голос со двора. — Я уж давно мерину ногу-то поднял». — «Эх право! Ну его там, сбегай да оторви ему подкову». — «Что это, где у вас утром пожар-то был? За Полесской площадью, что ли?» — «Да, за Полесской. Таки продрало».

В это время малый, отдиравший подкову, снова уселся вертеть колесо. «Что это, — вмешался он, оскалив зубы, — у вас на Дворянской-то ось, что ли, под бочкой, знать, лопнула? Эх вы, команда!» — «Какая там ось? Грядка соскочила. Да что-й-то у тебя у самого на затылке-то? Точно губы красные? Обжог, что ли?» — «Какое обжог? Золотуха была. Два года ломала. Уж и допекла же, проклятая. Мало ли я от нее постранствовал». — «Полно дуть-то, да и ты брось вертеть да бери кувалду». — «Так! Бей! Еще! Бей!»

Я заметил плеву между обваренною шейкой и новым железом. «Ведь ты плохо проварил, любезный!» — «Помилуйте! Одно слово! На целом сдает, а тут веку не будет. Сами изволили видеть, не железом обвариваю, а сталью. На заводе вам такого материалу не поставят. Одно слово». — «Где же точить-то?» — «Да вот, у нас через улицу станок». — «Через полчаса остынет?» — «Остынет».

Я уехал и через полчаса вернулся. «Готово?» — «Готово». — «Где ж точить-то?» — «Да мы у того же П-на в полчаса отточим. Он не смеет нам отказать, мы ему сами не отказываем».

Тут я увидел, что обманут самым мошенническим образом. Но делать было нечего. «Садись! Поедем!» П-кий механик принял мастера-самозванца, как и следовало ожидать, весьма нелюбезно. Никакие увещания не помогали, и только по моей просьбе кузнецу дозволили воспользоваться токарным станком без содействия заводских рабочих. Оказалось, что самозванец не только не умеет точить, но не может даже вставить бруска в станок, а когда лошадь тронула привод и он положил точительный крюк на железо, я ожидал, что он и меня и себя убьет. Солнце село. Работы нашей для опытной руки оставалось не более как на один час; но при такой обстановке можно было ожидать только несчастья. Видя, что дело пошло на каприз и личность против кузнеца со стороны механика, я бросил самозванца на заводе и поехал к главному хозяину заведения с просьбой уладить дело. Сейчас же поскакал нарочный с приказанием сдать дело своему рабочему, а я поехал в гостиницу обедать. Лучше поздно, чем никогда. Часов в 8 вечера явился мой первейший в России мастер, неся тяжелое веретено. «Извольте сударь, взглянуть. Без хвастовства могу сказать. Работа — одно слово! Что ж? Ребята на заводе, в одно слово, сами говорили: нам так ни за что не сделать!» Я сам видел, как рабочие не могли удерживать смеха, глядя на его приемы. «Уж подлинно, рублик серебреном на чаек заработал у вашей милости».

Не говоря ни слова, я отдал ему деньги по условию и указал на дверь. К свету я был дома, где меня ожидал сатир и — увы! — пятнадцать болтавшихся без дела рабочих. Если разборка машины была решительная, то как назвать сборку? Сатир долбней колотил по колесам, ломил их рычагами и, по-видимому, хотел все раздробить. «Помилуй, что ж ты загоняешь клинья, а ни разу не прикинул по ватерпасу?» — «Тут ватерпас не пользуется». — «Хоть бы мелом понаметил, где неверно». — «Тут мел не пользуется». Я отвернулся и ушел, и долго еще меня провожали удары долбни: бух! бух!

В пятницу утром пришел прикащик: «Пожалуйста машину пробовать». Попробовали: пошла молотить, как ни в чем не бывало. Сатир без всякого восторга смотрел на успешный результат своей системы, получил деньги и уехал. Вот и подумал я: кузнец, действительно, — нахальный обманщик, а и за того слава Богу. В субботу с раннего утра молотилка опять пошла работать. В одиннадцать часов явился прикащик. У меня сердце так и обмерло.

«Что?» — «Да слава Богу! Бог помиловал. Чуть, чуть она меня не убила. Я лез подмазать на ходу большое колесо (это запрещено, но их не урезонишь), как она вдруг хватит надо мной, а малого-таки водилом сшибло. Спасибо, не больно убилась». — «Да что такое?» — «Как раз на самой сварке веретено лопнуло».

«Посылай опять за мастером, а я в воскресенье опять в Орел. Знать, суждено пропадать двум неделям лучшего рабочего времени».

Сельским хозяевам, вероятно, памятна в № 264 «Московских ведомостей» 1862 года статья г. Михаловского, в которой он жалуется на непростительную небрежность гг. Сосульникова, изобретателя зерносушилки, и Корчагина, механика, принимавшего заказы на изобретенную им машину?

Кто бы и что бы ни говорил в оправдание гг. Сосульникова и Корчагина, дело для г. Михаловского разыгралось самым плачевным образом.

Вместо заказанной им машины, он через два месяца и десять дней после срока получил железный хлам, за провоз которого с него взяли втрое против действительной цены. Деньги за машину 175 рублей и все хлопоты пропали даром; да весь хлеб, около 4.000 четвертей, оставшись в сыром виде, не мог поступить в продажу. Ведь это, в большей части случаев, равняется конечному разорению. Таких примеров безнаказанного произвола над чужим имуществом у нас не перечесть. Прошлым летом крестьяне деревни 3-щи, везшие с завода партию сахару в Москву, свернули с шоссе в свою деревню и распродали сахар в собственную пользу.

Вот кстати! Когда я дописывал последние слова, мне объявили о прибытии из Мценска несчастных московских экипажей. Привез их обратно ехавший из города знакомый крестьянин. Я велел расшить рожи. По счету все оказалось цело, но верх тарантаса от удара перекосялся. Этого мало. Тарантас пришел к нам зашитым, а между тем по вскрытию рожи оказалось, что московский извозчик расшивал его и ехал в нем всю дорогу. Новый трип на спинке и локотниках замаслен грязным полушубком, а клеенка под ногами стерта и исцарапана сапожными гвоздями. Стало быть, кроме провоза, я заплатил тридцать рублей за то, что мне сделали убытку на пятьдесят рублей. Желательно бы знать, есть ли какой-либо контроль над подобными проделками, контроль не на словах, а на деле? Отчего в Париже вы поручаете что вам угодно первому уличному комиссионеру без всякого опасения, а у нас никому ничего доверить нельзя? Не говорите о низкой степени образования. Это фраза несостоятельная перед ежедневным опытом. Разве у нас в образованных и, пожалуй, по преимуществу образованных слоях не то же самое? Тут не невежество виной, а безнаказанность. Разве литература наша не делает с первым попавшимся именем того же, что извозчик сделал с моим тарантасом? Уважение к незыблемой силе закона, уважение по преданию и привычке, всосанное с молоком матери, — вот основа и сущность воспитания. Мы все большую часть дурно или, пожалуй, вовсе не воспитаны. Но об этом после.

I 31

Обращаясь снова с моими заметками к читателю, я прежде всего желал бы забыть, что существуют на свете какие-либо книги и вообще печать. Моею книгой должна быть непосредственно окружающая меня среда, моею риторикой — очевидная, не украшенная правда, какова бы она ни показалась с той или другой точки зрения. Только из такого простого и свободного отношения к предметам возникает для меня наслаждение трудом. Несмотря на бесконечное разнообразие своих проявлений, жизнь всюду верна самой себе и, не зная ничего второстепенного, всюду переполнена вопросами первой важности, отрицание и уничтожение которых в известной среде равнялось бы уничтожению самой жизни среды, то есть ее смерти. Правда, во всяком организме есть явления более наглядные и крупные, пульсы более очевидные, но это нисколько не умаляет значения самых отдаленных и малозаметных точек организма. В каждую из них главный пульс непременно донесет ту же влагу, здоровую или нездоровую, какая находится в главном сосуде. И наоборот, у сердца может биться здоровая кровь только при здоровом состоянии всех оконечностей организма. Отравите оконечность — и сердце отравлено. Внутренний смысл разнообразных явлений один и тот же, на какой бы точке ни представились они наблюдателю. В организмах целых государств труд наблюдения значительно уменьшается тем, что один и тот же орган является и корнем, и плодом, и причиной, и следствием. Если законодательство, с одной стороны, причина и корень данных жизненных явлений в государстве, и в то же время — плод и следствие тех же явлений, то и промышленная деятельность, с другой стороны, представляет такое же слияние корня с плодом.

Пишущего эти строки судьба поместила в центре земледельческой деятельности во время самых капитальных гражданских преобразований. Великая реформа так ярко отражается на всем окружающем, что только слепой или нежелающий видеть может не замечать вновь складывающегося строя жизни. По малому знакомству с предметами мы вообще склонны отделяться фразами вроде: «Петр Великий велик, Шекспир глубок, крестьянская реформа благодетельна». Высказавший подобную краткую, но сильную речь чувствует себя правым и как мыслитель, и как человек сердца. Некоторые идут далее, они видят в новом положении только случайную

форму, а не реформу, и вообще относятся к нему с высоты величия как к маловажному событию. Такие господа, очевидно, остались в ожиданиях. Сущности дела они не понимают и ждали, что, по крайней мере, будет: «Валяй в колокола! Черт возьми, уж коли торжество, так торжество!» И вот, ни одного лишнего удара в колокол — как же тут на слово поверить, что торжество совершилось? Попробуйте уверить немецкого подмастерья, что бал был блестящий и по обстановке и по результатам. Для него только тот бал истинное торжество, с которого его вывели *мит шкандален унд тромпетен*³². Бессознательно подмастерье прав. Бал не мог быть порядочным балом, если на нем был терпим подобный господин.

Но перейдем к самым фактам. Прошлою весной я подрядил двух соседних плотников выстроить мне кормовой сарай с условием приступить к работе тотчас после сева. Сев давно кончился, а плотников нет. Нарочные получили обычный ответ: «нынче да завтра придем», и это продолжалось почти до «покосу». Наконец является давно знакомый Иван. «Что ж это ты, Иван, делаешь? Время ушло, а сарай и не начинали». — «Что, батюшка! Виноваты. Справимся Бог даст. Все времечко и лошадок позамучили, навоз возили». — «Да откуда же у вас столько навозу?» — «Как же, батюшка! третий годок ни одна душа навозу не вывозила». — «Отчего?» — «Да все это сумление имели насчет земельки-то. Бог ее ведает, наша ли она, барская ли, а то, может, и еще там что толковали промеж себя. И сумлевались навозить-то. А теперь видят, что дело-то плохо, ну и понатужились с навозом-то. Уж ты, батюшка, прости Христа ради!» — «Да ведь половина-то навозу у вас за два года даром погорела». — «Вестимо погорела даром — два лета пролежала. Грех такой вышел. Народ темный». Этот разговор может показаться ничтожным, и указывает, по-видимому, только на неясное понимание крестьянами их новых отношений к земле; но если допустим, что колебание было между ними общее, и оценим пропавший в каждом дворе навоз только в 7 р., то дойдем до громадной цифры, которая еще не вполне выразит, во что это колебание обошлось народному хозяйству.

Таким образом, и по написании уставных грамот³³ народ продолжал не доверять своим новым отношениям к поземельной собственности, а между тем очевидно, что он сразу поверил в свои усадьбы. Вот уже третий год усадьбы эти отстраиваются и украшаются с небывалым до сих пор усердием. Если дело будет продолжаться таким образом, то все деревни в скором времени будут перестроены заново. Прибавьте к этому, что в нашей стороне почти нет деревни, в которой бы крестьяне, эти исконные и прирожденные враги всякого дерева и всякой канавы, не прорыли вдоль улиц под дворами водосточных канав и не усадили бы их ракичками. Этого мало. Вера в поземельную собственность, проникнувшая, наконец, в крестьян, превратила личное поземельное владение в любимую мечту и высший идеал зажиточного и более развитого крестьянина. Где бы вы ни спросили, на большой или проселочной дороге, кто это строит такой славный двор, вы непременно получите в ответ: это купил землю и выселился из деревни бывший староста, бурмистр, печник и т. п. Излишне указывать на отрадную сторону этого явления. Крестьяне убедились, что усадьба — их неотъемлемая собственность, для которой никто ничего не обязан им давать, и они сами умножили, обновили и украсили эту собственность. Они ревниво берегут ее от подозрительных лиц и в случае пожара с утроенною против прежнего деятельностью хлопчут о возрождении родного пепелища. Этого мало: никогда наши дороги, мосты и переправы не были в таком удовлетворительном состоянии, в какое они пришли в последние два года. Несчастья на мостах, по причине их неисправности, почти немыслимы; съезды и весенние водомоины на дорогах всегда исправлены, и — о чем прежде не было и слуху — на топких местах сельских улиц и дорог намощена, хотя и грубая, щебенка. Когда крестьянин не верил в свое право на землю, он, как умел, охранял только результат своего труда, то есть растущие на земле произрастения — увечил и убивал гуся на своей капусте, лошадь на своем поле; теперь, кроме продукта, он бережет и свое право на землю. Как бы ни были съедены и стоптаны его луга или жнива — попробуйте загустить на них вашу скотину: она мгновенно будет загнана, и вы неминуемо заплатите законный штраф. Между этими двумя, по-видимому сходными, явлениями — различие в сущности неизмеримое. Но все это инстинктивное сближение с собственностью и соединенными с нею отвлеченными правами представляет совершенно новый элемент, которому еще предстоит равномерно пролиться и на весь быт крестьянина, в котором до сих пор можно было заметить самое темное отношение и в большей части случаев даже непостижимое равнодушие к собственности. О правильном и сознательном ведении хозяйства не могло быть и речи там, где под стенами столиц до сих пор встречается такая первобытность, какой позавидовал бы и степной патриарх, не имеющий никакого понятия о рыночном сбыте. Привожу со всевозможною точностью поразивший меня на днях разговор между мною и подмосковным крестьянином-хозяином Звенигородского уезда.

«А каков у вас в нынешнем году был урожай?» — «Что, батюшка, облагодарил Господь, слава те Господи! Овсы такие, что никто и не запомнит». — «А рожь?» — «Да и рожь, должно быть, хороша». — «Как, *должно быть*? Сколько же у тебя родилось копен на десятине?» — «Да у нас разве десятины: у нас полосками». — «Велика ли полоска-то?» — «Да кто ж ее знает? Разве она мереная? Ведь это, батюшка, есть такие, что хватают: у меня столько-то родилось, да столько-то. А у нас этого нет. Что родилось — все наше. Мы ничего не считаем и не меряем. Ссыпали овес, стали лошадь кормить; нынче, может, и полмеры засыпал, а завтра побольше или поменьше — кто его знает. Значит, весь он в ней — в лошади-то — будет. И рожь также мелем да едим. Должно быть, овина два нажали с полосы-то».

Я замолчал, убежденный, что у Иова счетоводство было в гораздо лучшем состоянии, чем у звенигородских крестьян. Надо заметить, что если в нашей стороне, в сущности, и много сходства с описанным бытом, но подобные явления уже невозможны. Зато рядом с ревнивым ограждением своих полей от чужих потрав уживается совершенное равнодушие к убыткам от своей скотины. По тщательно связанным и сложенным копнам ходят коровы и втрое растреплют и затопчут овса против того, что поедят. Это ничего, *своей живот*. Сплошь и рядом лошадь перепачкает и пересорит отвезенный ворох ржи и насмерть обьестся тут же. «Что станешь делать? Господь наказал!» <...>

Мир

«Антип! Теперь обед. Скажи сельскому старосте, чтобы сейчас собрал сюда стариков». Через полчаса сухопарый, высокий и ядовито золотушливый мужик Ермил, опустя быстрые глазки, окруженные красными веками, и низко кланяясь, вошел в комнату, со знаком сельского старосты на серой свите, и птичьей фистулой объявил о приходе стариков. «Пусть войдут».

Дверь в сени отворилась настежь, и черные и серые кафтаны, внося запах дыма и соломы, стали, переваливаясь и переминаясь, наполнять горницу. «С приездом, батюшка, милость вашу!» — «Проходите, проходите сюда, вот сюда», — говорил я, указывая вдоль перегородки. Порядок и тишина водворились.

«Как теперь рабочая пора, — начал я, — то ни вам, ни мне долго толковать некогда. Я слышал, вы раза два объявляли посреднику желание идти на выкуп. (Лица принимают сдержанное выражение.) Так или нет?» — «Точно, батюшка, мы было прежде и того». — «А теперь, значит, раздумали и остаетесь на издельной повинности? Стало быть, нам и толковать не об чем. А я думал сдать вам и остальную землю». (Лица невольно выказывают удовольствие.) «Нет, батюшка, с чего ж. Что тут зубы-то чесать. На выкуп так на выкуп». — «Да ведь как хотите. Не я просил, а вы». — «Точно, точно». — «То-то, ребята, вы хорошенько подумайте. Ведь посреднику некогда с нами в жмурки играть. Он скоро сюда будет. Было бы что ему объявить. Вот мы с вами переговорим, вы выйдете да промеж себя потолкуете, а тут и посредник подъедет». — «Что ж, батюшка, мы от выкупа, то есть, тово...»

Стоящий против меня черномазый, с орлиным носом и острыми глазами, плотник Панкрат, очевидно, влиятельный оратор, нетерпеливо мечет голову направо и налево, причем плоские волосы скобки косицами слезают ему в лицо, и как бы отмахивается от несвязных и нерешительных слов мира. «Что понапрасну зубы-то чесать. Согласны охотой, — вот что». — «Согласны, согласны». Даже в сенях какое-то опоздавшее эхо повторило: «Согласны». — «Остальную господскую землю я согласен отдать вам на года, на сколько сами пожелаете, хоть на десять лет, по той цене, какую вы сами назначали, — по 6 руб. кругом». — «Покорно, батюшка, благодарим. Дай Бог вам доброго здоровья». — «Но ведь надо нам, ребята, прежде постараться разверстать угодыя. И вам и мне не приходится владеть чересполосицей». — «Что ж? точно».

«Теперь, ребята, я хотел с вами потолковать толком. Вы сами хозяева, и неплохие. Скажите, какова за лесом к речке земля, на которой теперь пшеница?» — «Земля навозная, первый сорт». — «Лес и усадьбную барскую землю я оставляю за собой; стало, за вашим наделом земли тут останется немного и в этом имении вся сила в мельнице. Так али нет?» — «Точно, батюшка, так. Уж и говорить нечего». — «Вы видите, что я с вами ссориться не желаю». — «Какое, батюшка? Много довольны». — «Но нельзя же мне и с арендатором ссориться. А если он будет на вас обижаться, так, пожалуй, и мельницу бросит. Поэтому я хотел вам сказать, не сойдете ли вы с усадьбами на землю за лесом». — «Помилуйте, батюшка, да это нам на веки вечные разориться надо». — «Постойте, постойте. На свете всякое добро покупное и наживное. Я не насильно вас гоню, а я спрашиваю: не будет ли вашего согласия? Ну, что может стоить перенести за версту крестьянский двор? От силы 100 р. сер. Я согласен вам дать на всякий двор по 150 р.» — «Нет, батюшка, нам сесть туда — разорится вконец. Там улицу заливать будет, там погребка будут весной полны воды. Там конопляника в 20 лет не заведешь. Там съезду

на реку нет». — «Съезд сделаю». — «Там снегом забивать будет. Там скотина, как со двора — на чужое поле. По миру пойдем».

С каждой новою попыткой уяснить дело и достигнуть согласия неудовольствие и видимый ропот возрастали. Наконец, оратор Панкрат встряхнул скобкой и со сверкающими глазами сказал: «Что вы теперича нам ни давайте, а надо, не во гнев вашей милости, правду сказать. Если да вы оставите нас на прежнем месте, то мы должны за вас век Богу молить, а если переведете на новое место, то должны целый век вас проклинать». При последнем слове он сделал знак, как будто втыкает указательный палец в землю.

«Ну постойте, постойте! — перервал я оратора, убедаясь, что на этом пути толку не будет, да и к чему мне бросать 2—3 тысячи рублей даром, чтобы навлечь на себя неудовольствие и ропот. — Ведь мне-то все равно, где бы вы ни сидели. Я не о себе хлопочу, а об арендаторах. Они только водочною продажей сильно обижаются». — «Знаем, батюшка, что это и вся беда-то от них. Им лишь бы себе-то получше поустроиться, а мужик-то хоть пропади. А мы какая им помеха? В полулю воду мы же их выручаем да пособляем». — «Не в том дело, ребята, а в водочной продаже». — «Да пропадай она пропастью. Мы подписку дадим, чтоб ее и повек у нас не было. Заведи кабаки, так от них, пожалуй, неравен час, и деревня слетит, а теперь их кругом, куда ни сунься. Нужно мне ведерку водки, схватил лошадь, да слетал. Подписку, подписку дадим». — «Мало этого, ребята, оставлю вас на месте, а станем контракт писать насчет аренды земли, скажем, что владеть вам землею до первой водочной продажи по деревне. Станете водкой торговать, и контракт вдребезги». — «Да пропадай она пропастью, эта водка! Сказано: не будет ее, так и не будет». — «А не будет, так оставайтесь на прежних усадебных землях». — «Вот, батюшка, много довольны», и т. д.

«Теперь, стало быть, ваша милость, — замечает седобородый старик, — отдаете нам всю землю по 6 р. сер. кругом?» — «Я уже сказал, что отдаю, как вы сами желали». — «Ну, а как же с островом-то, что под мельницей? Ведь на нем чистый песок, только и есть, что будто лоза растет, так нам обидно будет снимать его по 6 р.» — «Да я и не сдаю его вам, я сдаю то, что вы сами возьмете». — «Да уж вы позвольте нам там хворостику порубить на плетни». — «Пожалуй, рубите и хворост, но вы знаете, что большие деревья нужны бывают арендаторам. Так уговор лучше денег. Если хоть одно дерево кто срубит, сейчас и вас, и скотину вашу с острова прогоню, и за каждую курицу — штраф». — «И-и, сохрани Господи! — ни одной крупной лозиночки не вырубим. За это отвечаем». — «Да уж вы, батюшка, заставьте вечно Бога молить, — восклицает оратор Панкрат, — пожалуйста нам уж и остров по контракту. Ведь нам без него никаким родом нельзя быть. Дело не дело, а все скотинка послуняется». — «Там от рабочей канавы заливное местечко есть, так у нас там капустники были. Уж позвольте и капустниками попользоваться». — «Да ведь сказал, что позволяю вам пользоваться островом, стало, и капустниками будете пользоваться, коли станете честно, безобидно жить. Только там есть и арендаторские гряды, так те уже за ним и стунутся». — «Что ж, не замай его пользуется».

«Да только, — опять перебивает Панкрат, — пожалуйста нам остров-то по контракту». — «Зачем же? Я даром даю вещь, да еще и контракт буду писать на нее?» — «Да ведь это, мы, батюшка, ведь из чести просим. Сделайте милость». — «Вы из чести просите, а я из чести даю, пока у нас дело будет идти на честности, а станете нечестно жить, пеняйте на себя, вперед вам говорю». — «Да ведь мы из чести просим. Оно точно, покуда мы у вашей милости, обиды нам не будет, а ну как Бог, часом, по душу пошлет да нас тогда обидят, значит, что ж мы тогда, со скотинкой пропасть должны?» — «Если вы честно станете жить, то никто вас не тронет. Я ли, другой ли кто будет, песчаный остров никому не нужен. А пустить вас на шею арендатору по контракту не могу». — «Да ведь мы из чести». — «Ну, ребята, теперь нам не об чем больше толковать, ступайте да потолкуйте промеж себя. Посредник скоро будет, так чтобы нам в словах-то не разбиваться. Ступайте».

«Да вот что, батюшка, — затянул седой старик, озираясь одними глазами на мир, без поворота головы, — наша-то земляка за усадьбами больно сумнительна». — «Весной ее часто заливает, да и песком переносит. Как пойдет это лед по хлебушку, так ажно (даже) волосы на голове шевелятся», — прибавил оратор Панкрат. Последняя фигура, видимо, понравилась, и отовсюду послышалось: «И волосы шевелятся! индо волосы шевелятся!» — «Да ведь сойти на другое место не хотите, а этой землей владеете исстари. Отчего ж она век была хороша, а теперь стала дурна?» — «На то была воля господская, а только весной ажно волосы...»

Видя, что конца этому не будет, я прекратил совещание до приезда посредника. Не успела толпа вывалить за дверь, как на порог появился бывший кучер Азор, дворовый, брат сельского старосты, такой же золотушный, только поменьше брата ростом, отъявленный негодяй и ленивец. Он-то и завел было в деревне самовольно водочную продажу. «Что тебе надо?» — «Да к вашей милости. Как я теперь должен

ни при чем остаться, то не пожалуете ли мне усадебной земельки под избу». — «А тебе кто позволил торговать водкой?» — «Я у мира спрашивался». — «Да разве мир мог тебе позволить без согласия владельца? Да и стоило ли тебе из-за пустяков заводить всю эту гадость?» — «Помилуйте, как же не стоило. Я на Святой продал сорок ведерок, да от каждого попользовался по рублю серебром».

Признаюсь, последний аргумент меня сильно озадачил. Перед таким фактом всякое красноречие немее. Этот дрянной человек никакими усилиями не может (продолжая быть дрянным) приобрести в продолжение целого года и 20 рублей, а тут он в одну неделю без труда заработал вдвое.

«Да ведь тебе в третьем годе, при уставной грамоте, дана была усадебная земля». — «Точно так. Да теперь как братья-то поделились, так они ее за себя взяли. А мне теперь некуда». — «Кто ж теперь виноват, что ты свою землю отдал. Другой ничего не получит, а тебе, за водочную торговлю, давай вдвое. Ступай». — «Сделайте милость». — «Ступай, ступай!»

Не успел Азор исчезнуть за дверью, как через порог переступили пожилой дворовый с женою и тотчас повалились в ноги.

«Говорите, что надо. А будете тут валяться, выгоню вон!» Оба мгновенно вскочили. Я знал, что у этих просителей водятся деньжонки. «У нас, батюшка, на барском дворе собственная избенка и клеть». — «Мне вашей избы не надо, берите ее с Богом». — «Мы вот, не пожалуете ли нам усадебной землицы: хатку поставить?» — «Земли вам никакой не следует. Затем и размежевываются, чтобы чересполосицы не было. А так как вас всего двое, то я за землей не постою. Когда посредник приедет, то я объявлю ему, что даю на вашу долю земли к крестьянскому наделу. А примет ли вас мир в селение или нет — это уж не мое и не посредниково, а мирское дело. Чем у меня-то в ногах валяться, вы бы миру-то поклонялись да попросили, чтоб он вас принял. Ведь я на вашу долю прирежу земли в поле, — так нельзя же вам сидеть среди хлебов, а надо прибавиться к деревне, а кроме миру никто не волен распоряжаться». — «Не принимает он нас, отец родной!» — «Что ж я-то тут могу сделать? Попросите хорошенько; авось как узнает, что я даю вам землю, он и согласится». — «Уж и не знаем, как его просить-то. Ведь с ним — не с вашей милостью. Вы-таки пожалеете, а ведь мир...»

В это время рослая четверка вороных фыркнула у сених, и посредник с письмоводителем, вышед из коляски, показали в дверях горницы. «Ну что, — спросил Семен Семенович, — толковали?» — «Толковали, и, кажется, они согласны и на размежевание, и на выкуп, и на аренду. Только теперь подняли вопрос о собственной земле, которую будто полая вода смывает и портит посевы». — «Значит, я хорошо сделал, что приехал. Я ведь их знаю. Мы сейчас сядем с вами в коляску, возьмем сельского старосту на козлы и поедем осмотреть их землю». — «Помилуйте, мне совестно. Ваши лошади устали». — «Не беспокойтесь. Во-первых, они сильны, а во-вторых, привыкли и не к таким переездам».

Через четверть часа мы уже проезжали шагом по крестьянскому клину, вдоль которого, действительно, оказалась изложина с легким следом песку по чернозему.

«Где же размывает клин?» — спросил посредник старосту, сидящего на козлах. «Да вот это самое место. Весной ажно волосы на голове шевелятся...» — «Действительно, тут десяток на шесть длиннику, да на осьминник поперечнику видно, что вода заносит песок. Стало быть, десятины две можно считать не совсем удобными, хотя у вас тут же отличный хлеб родится. Ведь я знаю», — заметил посредник. «Годами точно, что родится». — «Ты хочешь сказать: один только год за все время смыло хлеб на этом месте, так тогда же вы тут и ту плотину выстроили?» — «Точно так. Ее еще покойник выстроил. А теперь ее всю льдами разломало — страсть!» — «Чтобы соблюсти полную справедливость, вы могли бы уступить крестьянам две десятины вполне удобной земли, кроме этой», — заметил мне посредник. «Вполне согласен и скажу об этом землемеру».

Вернувшись к флигелю, посредник позвал не расхивившийся еще мир, и результат был почти тот же, что и после моего с крестьянами совещания. Посредник не вмешивался ни в какие подробности наших взаимных соглашений. Желая разом покончить дело и по возможности удовлетворить крестьян, я обещал дать им значительное количество лесу на мнимое обновление плотины, охраняющей их дачу от песчаных наносов. Ясно было, что плотина была пуфом, для получения даром лесу (в настоящее время лес срублен, а о плотине нет и помину), но я хотел дать лесу — и дал. Из приходящихся добавочных с крестьян 1.100 р. я сбавил им 200 р., а уплату 900 р. рассрочил на 3 года. Благодарности не было конца. Выпив стакан чаю и пригласив меня на следующий день к себе, посредник уехал.

Облака, начинавшие принимать розовые и фиолетовые оттенки, свидетельствовали о приближении вечера. Мне захотелось пройти на мельницу пешком, и я поневоле должен был избрать кратчайший, но эквилибристический путь по лавам высокой плотины, даже не огороженным перилами.

Под ногами моими, на сливе, сидели мальчики с удочками; я остановился посмотреть на их охоту, то у того, то у другого, за взмахом леси, мелькала белобрюхая плотичка или полосатый пискарь. Ивана Николаевича нашел я среди его обычной деятельности и далеко не в таком внушительном костюме. «Ну, что-с? Как ваше дело с мужиками? Семен Семенович только что проехали». — «Ничего. Кажется, дело идет на лад. Да ведь вы знаете, тут ни за что отвечать нельзя. Сейчас скажут одно, а через час запоят другое. Тогда только скажу, чем кончилось, когда бумаги будут подписаны». — «Я все боюсь, чтобы сельский староста не стал их разбивать. Он самый богатый во всей деревне, даром что в серой свитке, и ему, должно быть, хочется одному, помимо всех, снять барскую землю». — «Я ведь им отдаю остров под скотину, — даром, разумеется. Так все просят, чтобы отдать по контракту». — «Этого вы, ради Бога, не делайте. Пусть пользуются, Бог с ними! Но отдать вещь даром по контракту — это и себя и нас связать по рукам и по ногам. Они тут и с мельницы-то выживут. Нет-с, как вам угодно, только вы этого не делайте. Непривязанный медведь не пляшет».

Не желая и самого очаровательного вечера тратить в бездейственном созерцании, деловой Иван Николаевич уговорил меня пройтись к старому руслу рабочей канавы, чтобы показать мне казенный столб с печатью, доказывающий несомненные права мельницы на известный подъем воды. Проходя мимо одного из мучных амбаров, мы увидели выбегающую из него молодую и щедушную коровенку, у которой, вероятно за излишнюю прыткость, правый рог был связан веревкой с правой передней ногой. Это заставляло корову с каждым шагом наклонять и отклонять голову. Несмотря на то, коровенка уплеталась довольно поспешно из растворенного амбара, а вслед за нею в воротах показался дюжий рабочий с тяжелым железным ломом в руках. Парень замахнулся своим наступательным орудием, и не знаю, что случилось бы с коровой, если б он опустил на нее лом. «Не бей, не бей ее, — крикнул Иван Николаевич, — а только прогони до ракитника. Изволите видеть, как повадился? От человека и до скота», — прибавил он, как-то махнув рукой в сторону коровы и придавая голосу неотразимую убедительность.

Стояла засуха. Заря догорала. Сильно пылящее стадо возвращалось с поля. Казалось, будто спустилась на землю и ползла по переулку к реке темная гряда туч, из которых местами торчали одни равнодушные головы рогатого скота и тревожные силуэты овец. Но вот все это с ревом и бляением разбрелось по дворам. Там и сям отсталые коровы стояли у брода по колени в воде, согнувшись мордами со своими опрокинутыми в реке двойниками. По мере того как дневной шум смолкал и воздух становился чище, шум мельницы более и более воцарялся в ночной тиши. На юго-востоке, будто крупный алмаз, засветилась Венера. «До свидания, Иван Николаевич». — «Нет, помилуйте-с. Выкушайте стаканчик чайку».

Войдя в чистую, опрятными обоями оклеенную комнату флигеля Ивана Николаевича, мы застали у открытого окна на столе кипящий самовар со всеми принадлежностями вечернего чая. Свежие сливки были до того густы, что едва лились из молочника. Стенные часы, с портретом музыканта Черни, пробили десять. «Пора домой, Иван Николаевич!» — «Позвольте, я вас провожу. Мне надо все равно забежать на мельницу».

«Экие чудесные ночи стоят, — обоняние!» — воскликнул он, сойдя с крыльца и охваченный лунным светом.

Перебравшись на свой берег тем же полувоздушным путем, я пошел спать.

Скажите: *Экой вздор!* иль *bravo*
Иль не скажите ничего³⁴.

Пушкин.

Наши первые записки из деревни совпадали с обнародованием крестьянской реформы. То были первые весенние дни свободы со всеми неразлучными спутниками. 19 февраля было днем не возрождения, а истинного рождения. Россия, долгое время болезненно носившая зреющий организм свободы, наконец произвела на свет не недоноска, а вполне развитого младенца, вздохнувшего в первый раз. Тем не менее это был младенец, и кто мог знать, не искалечат ли его на первых порах многочисленные бабушки и нянюшки, и не оправдается ли пословица о семи няньках? — Да, то были первые весенние дни. Русская грудь вздохнула мягким, свежим воздухом, но двинуться, — ехать было некуда. Торные зимние пути быстро таяли под ногами, весеннее половодье сносило одни старые мосты и гати за другими, и тоскливый взор путника видел одну невылазную бездорожицу. В картине, списанной в то время с нашего скромного хозяйства, многие узнали собственную обстановку, зато другие всеми силами старались выдать фотограф за памфлет и донос. Наши записки в течение долгих лет служили неистощимой темой свистков и дешевой карикатуры.

Дети, взглянув на барометр и догадываясь, что скоро их не пустят на улицу, готовы были разбить безмятежный инструмент, точно он виновник приближающейся грозы. С тех пор прошло около 10 лет. Все обошлось благополучно. Правительство, пропуская мимо ушей вакхические возгласы и намеки непрощенных нянюшек, не решилось испытывать над новорожденной свободой утопических, нигде в мире не существующих приемов воспитания, а придержалось общеизвестных приемов, оправданных наукою и опытом. Оно прежде всех поняло, что замена частного произвола личной свободой безотлагательно требует сугубого ограждения личности и собственности положительным законом, незыблемости договоров, полноправности частного хозяйства, права гласного обсуждения своих нужд и т. д. Все это своевременно было понято правительством, и результат вышел громадный.

За последние 10 лет Россия прошла по пути развития более чем за любое полустолетие прежней жизни. Современник Екатерины удивился бы менее, воскреснув в 1860 году, чем умерший в этом году и воскреснувший в 1871. Быстрота развития изумительная, но она делает нас слишком требовательными по отношению к поступательному движению и в то же время приучает удовлетворяться одним номинальным существованием предметов нового порядка, не давая времени осмотреться, в какое соотношение эти новые, прекрасные вещи пришли с окружающим их миром и могут ли они в настоящем соотношении приносить ожидаемую пользу. За примерами ходить недалеко: их можно представить до пресыщения. Железные дороги протелели из конца в конец Европейской России, закрывая местные почтовые станции. В то же время судебные камеры, заменившие прежние уездные суды и полицейские управления, разбросались по всему уезду. В результате оказалось, что двойное благодеяние сподручного местного Суда и быстрого почтового сообщения, но неполной организации последнего, приводит край к двойному затруднению. Уездные суды, удаляясь от уездных почтовых контор, разбежались по селениям, а сельские почтовые конторы ушли из селений и исчезли в уездной. Из почтовых вагонов на подоконники станций выбрасывают простую и просительскую корреспонденцию, за которую никто не отвечает. Приема казенной и денежной корреспонденции на станциях вовсе нет. Прежде вы ее возили за 7 верст, теперь ступайте в уездный город за 70. Чуть не за полвека Гоголь смеялся над почтмейстером, читавшим частную корреспонденцию. Теперь ему пришлось бы смеяться над начальниками станций и телеграфистами, которые не читают и не берут чужих журналов в вечную собственность. Куда тут кричать: *не распечатывай!* Распечатывай сколько угодно, да хоть через месяц брось на подоконник, с которого малограмотные и безграмотные хватают и увозят в неведомые страны чужие письма и журналы. Основываясь на положительном законе, публика требует от судьи скорого удовлетворения ее справедливых просьб. Судья один отвечает за свои решения, а исполнители, т. е. судебные приставы, ни за что. Но вот решение состоялось, а волостной старшина ничего не делает по исполнительному листу. Истец ропщет на новые суды, а что станет делать судья в чужом ведомстве? Крестьянский самосуд — во многих отношениях превосходное учреждение, но почему же он один должен пользоваться безапелляционностью, подлежа обжалованию только в кассационном порядке, сводящемся к единственному вопросу: присутствовал ли старшина при постановлении приговора? Ежедневные вопли крестьян у дверей мировых судов доказывают неудовлетворительность такого порядка. Мы с вами проматываем свою собственность — мы правы. Мы идем в волость и берем у третьего лица работу на всю рабочую силу, хорошо известную волости, и проматываем полученный задаток — мы опять правы. Но мы идем в ту же волость и заведомо берем такую же одновременную работу у четвертого лица, которое не может знать о нашем первом обязательстве. Ясно, что в день исполнения договоров выходит хаос. Воздерживаясь от дальнейших примеров, заметим только, что устранение неудобств в приведенных случаях не требует никакой ломки или новых расходов со стороны общества, а легко осуществимо небольшими исправлениями недосмотров, явившихся вследствие быстроты поступательного движения. Последнее условие, т. е. безденежность полезных мер, мы считаем до того существенным, что вне его готовы обзвать вредной химерой всякое, в сущности, благое начинание. Привыкшие в столицах к громадному, непрестанному движению капиталов не хотят понять, каким образом целая необъятная местность, без различия сословий, в продолжение месяцев сидит без копейки. В подобное время предусмотрительный хозяин, с улыбочкой самодовольствия, скажет вам: соль есть, сахар есть, свечи и керосин есть — и я покоен. Представьте же себе, что жители этой местности узнают о намерении вашем облагодетельствовать их новым налогом — и вы поймете, в какой мере они сочтут вас благодетелем.

Нам и на этот раз хотелось бы сохранить за нашими записками характер фотографии. Если первые отражали порядок хаоса (если в хаосе мыслим порядок), то настоящей придется отражать хаос порядка. Это уже большой шаг вперед. Наша жизненная соеда совершенно видоизменилась к лучшему, но ее новый характер еще

не успел окончательно определиться. Мы все Робинзоны, все ищем новых путей и средств к производству тех самых вещей, которые когда-то так легко производились по рутине. Таких путей в настоящее время множество. Сами по себе они не новы, но не торны только потому, что сама почва повернулась под ногами. Что при крепостном труде было выгодно — при вольном убыточно. Практика, как бы на зло теории, указывает на два рядом уживающихся рода промышленности: *коммерческий* и *крестьянский*. В первом труд ценится непомерно высоко, во втором — ни во что. Такую аномалию необходимо понять. Что такое положение дела вытекает из существенных условий нашей промышленной жизни, этого не хотят или не умеют понять наши регламентаторы, и подобный недосмотр часто приводит к самой жалкой и напрасной затрате капитала в ущерб делу. Так, например, громадное конопляное производство стало исключительной монополией крестьян, главной опорой их благосостояния, тогда как при вольнонаемном труде оно не мыслимо. Нынешней весной один из наших деятельных агрономов попробовал посеять 8 десятин конопли. Конопля на жирной земле родилась дивная, но тут же сгнила на корне. Осенью ни за деньги, ни исполу, ни на других еще более выгодных условиях до нее никто не дотронулся. Агроном махнул рукой и говорит: «Довольно! Поучился. Другу и недругу закажу». В нашей местности крестьяне охотно берут десятину под овес, платя за нее от 6 до 8 рублей. Попробуйте нанять такую землю и обработать ее наймом не в убыток. Мы пробовали. Дуализм нашего народного хозяйства требует крайнего к себе внимания и не позволяет успокаиваться кабинетными выкладками насчет известных мер на том основании, что-де одному выгодно, стало быть, и всем выгодно. Нам еще долго будет выгодно делать многое кое-как, мы даже не прибавим: к сожалению. Такое сожаление предполагает, что мы не то, что мы на самом деле. Не так смотрят на дело наши регламентаторы из двух противоположных лагерей.

Вы им указываете на известное зло только потому, что явилась возможность на него указать. Они сами знают, что зло вековое, хотя встречаться с ним неприятно. А вы, как нарочно, на него указываете. Уничтожить его нечем. Средств на это под руками нет, а то давно бы их употребили. Между тем неприятное впечатление произведено вами. Вы автор этого дурного впечатления. Если нельзя уничтожить зла, надо уничтожить впечатление, — сказать: что зла нет, что его выдумал NN, и все пойдет в прежнюю колею с отчетами о полном благоденствии. Правда, этот испытанный прием напоминает голову индейки под лопухом, но зато прост и удобен. Такова старая школа. Не менее оригинальны приемы *новых людей*. Если им не нравится известное явление, то перед ними не смейте заикаться, что оно неизбежно, а потому и своевременно. Обозвав явление злом, они не ограничиваются требованием за него к суду одной современности. Они разыщут его корень у Иоаннов, Бориса и т. д. и докажут, как бы было отлично, если бы Екатерина поступила не так, как поступила. Они знать не хотят, что прошедшее не более как невозвратный призрак, к которому подходить с современными понятиями добра и зла, по малой мере, — смешно.

«Как? — воскликнут регламентаторы. — Две меры и двое весов для одного и того же дела в руках различных производителей? Где же равенство?» Извините, господа! Мы только позволяем себе заметить, что поставляя две вещи, основанные на разнородных факторах, одну вместо другой, вы впадаете в арифметическую ошибку, могущую отозваться большим недочетом в народном хозяйстве. Вы полагаете, что достаточно видеть зло, чтобы точчас устранить его. А жизнь говорит: беда беде рознь и помощь помощи рознь. <...>

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Очерки Фета печатались двумя циклами под заглавиями «Заметки о вольнонаемном труде» и «Из деревни». Заглавие настоящей публикации «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство» заимствовано из письма И. П. Борисова к И. С. Тургеневу. Предисловие и очерки «Осмотр имений», «Покупка», «Необходимое устройство», «Осенние хлопоты» впервые опубликованы в журнале «Русский вестник» (1862, № 3).

² К самому главному (*лат.*).

³ Цитата из оды «К Гросфру» в переводе А. Фета.

⁴ У нас здесь еще кухня (*франц.*).

⁵ Здесь: крупное помещичье хозяйство.

⁶ Вполовину, пополам (*устар.*). Здесь: аренда земли за половину урожая.

⁷ Амфион — в греч. мифологии сын Зевса и Антионы, близнец Зета. По одной из версий мифа братья по велению Зевса получили власть в Фивах. После этого они принялись за возведение городских стен. Зет носил и складывал камни, а Амфион игрой на лире приводил их в движение и заставлял ложиться в установленные места.

⁸ Очерки «Приближение зимы», «Зимняя деятельность», «Контракт», «Весенние затруднения», «Песня», «Философия и история одной молотильной машины», «Федот и праздник Михаила Архангела», «Вопрос» впервые опубликованы в журнале «Русский вестник» (1862, № 5).

⁹ Недоуздок, конская узда без удил и с одним поводом — для привязи.

¹⁰ Фет вспоминает сюжет из библейской истории Иосифа (Бытие 41: 1—4).

¹¹ Строка из поэмы Пушкина «Домик в Коломне».

¹² В 1854—1855 годах лейб-гвардии уланский полк, в котором служил Фет, располагался на Балтийском побережье.

¹³ Романс А. Л. Гурилева на стихи Е. Краузе.

¹⁴ Речь идет о героях рассказа Н. В. Успенского (1837—1889) «Обоз».

¹⁵ Во всех Афинах не было ни одной книги, /О! Ужасное небрежение! / Умными делались / Из воздуха и на прогулках (нем.).

¹⁶ Очерки «Кому следует гласно обсуждать возникающие вопросы новой земледельческой деятельности», «Литератор», «Равенство перед законом», «Гуси с гусенятами» впервые опубликованы в журнале «Русский вестник» (1863, № 1).

¹⁷ Ущемленный в правах (лат.).

¹⁸ Свобода предпринимательства (франц.).

¹⁹ «Однажды, когда он (Колумб.— Г. А.) приглашен был к столу Фердинанда и Изабеллы, один из присутствующих, завидуя чести, оказываемой чесальщику шерсти, лукаво спросил его, как он думает: открыл ли бы кто другой новый свет, если бы он не родился? Колумб не отвечал прямо на этот вопрос, опасаясь сказать о себе слишком много или слишком мало. Но, взяв яйцо, обратился к присутствующим с вопросом, не может ли кто поставить его на стол. Никто не мог этого сделать. Тогда Колумб, разбив носок, поставил яйцо на стол, сказав своим противникам, что выдумка не велика, однако никому прежде его в голову не приходила. Аллегория была понята и впоследствии сделалась ответом каждого избранника, открывающего полезную истину» (Лам ар тин. Колумб, или Открытие Нового Света. Спб., 1854).

²⁰ Очерки «В какой мере возможно у нас требовать нововведений», «Еще молотилка. Есть ли какой контроль над бесцеремонностью в отношении к чужой собственности?» впервые опубликованы в журнале «Русский вестник» (1863, № 3).

²¹ Буквально: тертый, перетертый (лат.). Здесь в значении: избитая истина.

²² Стой! (Нем.)

²³ Фактор-комиссионер, исполнитель частных поручений.

²⁴ Порочный круг (франц.).

²⁵ В 1818 году было основано Императорское Московское общество сельского хозяйства. Несколько лет спустя при нем была учреждена Земледельческая школа, а в окрестностях Москвы организованы опытные хутора, на фермах которых проходили практику учащиеся школы.

²⁶ В здоровом теле здоровый дух (лат.).

²⁷ В 1855 г. в Дерпте Фет познакомился с немецким астрономом И. Г. Медлером (1794—1874).

²⁸ Л. Н. Толстой.

²⁹ Неточная цитата из стихотворения Батюшкова «Разлука».

³⁰ Цитата из стихотворения Державина «Осень во время осады Очакова».

³¹ Этот очерк (без заглавия), а также очерк «Мир» впервые опубликованы в журнале «Русский вестник» (1864, № 4).

³² Со скандалом и ревом труб (нем.).

³³ Уставная грамота 1861 года — документ, который устанавливал размер надела временнообязанных крестьян по «Положениям» 19 февраля 1861 года и повинностей за пользование им, а также фиксировал сведения о разверстании, перенесении угодий и т. п.

³⁴ Неточная цитата из поэмы «Езерский».

Этот очерк (без заглавия) впервые опубликован в журнале «Заря» (1871, № 6).

Афанасий Афанасьевич Фет вошел в русскую литературу как замечательный поэт-лирик, и до недавнего времени его прозаическое наследие почти не было известно широкому читателю. Между тем оно во много раз превышает стихотворное и весьма разнообразно по жанрам. Особое место принадлежит деревенским очеркам, с частью которых мы только что познакомились. Вот краткая их история.

Летом 1860 года Фет купил на юго-западной окраине Мценского уезда Орловской губернии хутор Степановку. Свой первый сельскохозяйственный сезон он начал весной 1861 года — «в самую минуту хаотического брожения двух разнородных элементов земледельческого труда: крепостного и вольнонаемного», когда отсутствие четкой правовой основы и социальных гарантий порождало общую растерянность и неразбериху. Фету начинать было особенно трудно: он не имел ни опыта, ни знаний в области земледелия; превратить кусок голой степи в цветущий уголок с высокодоходным хозяйством помогли ему «практический смысл», по выражению В. П. Боткина, и громадное трудолюбие. В письме 12 августа 1861 года Боткин писал Фету: «Я не думаю, чтобы поэтическое воображение было в большом ладу с практической деятельностью. Но несмотря на все это, — я не могу передать тебе, как меня радует твое фермерство. Не говорю уже о том, что это есть единственное практическое понятие, которое

может ужиться с поэтической душой. Всякая другая практическая деятельность противна ей до нестерпимости*.

Одним из первых читателей «Заметок о вольнонаемном труде» стал И. П. Борисов, друг и родственник поэта. О своих впечатлениях он писал И. С. Тургеневу 25 декабря 1861 года: «...нельзя Вам заранее не поведать о восхитительной статье Фета: «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». Ничего не выдуманно, все истинная правда. Но все это передано неподражаемо, фетовски**».

Первые четыре очерка увидели свет в 1862 году в мартовском номере журнала «Русский вестник», в майском появились еще тринадцать. Выступления поэта в печати в совершенно новом для него жанре и необычайная актуальность тематики сразу же привлекли внимание читающей публики. В июле Фет пишет Боткину из Степановки: «Радуюсь, что статья моя находит в Москве сочувствие. Здесь со всех сторон слышу благосклонные отзывы. Не знаю еще, соберусь ли продолжать и в каком направлении***». Продолжение между тем последовало: под заглавием «Из деревни» записки печатаются опять в «Русском вестнике» (1863, № 1, 3; 1864, № 4). Друзья не только одобряли вышедшие очерки, но и требовали работы над новыми. 26 января 1863 года Тургенев писал Фету: «Дайте также продолжение Ваших милейших деревенских записок: в них правда — а нам правда больше всего нужна — везде и во всем****». «Непреренно наляг на статью „Из деревни“, — настаивал Боткин в письме 15 ноября 1863 года. И снова в письме 24 марта 1865 года: «Пишешь ли ты «Из деревни»? Вчера я слышал похвалы, и какие! — этим статьям от людей, не подозревающих, что я тебя знаю*****». Переписка Фета и его современников свидетельствует, что у автора очерков «Из деревни», вопреки нашим недавним хрестоматийным представлениям, было немало единомышленников. 22 июня 1864 года Борисов сообщает Тургеневу: «Фет «Из деревни» продолжает, и круг его читателей и почитателей гораздо шире, чем у поэта*****».

В 1868 году публикация очерков продолжилась в журнале «Литературная библиотека» (№ 2), и последняя подборка в 1871 году — в журнале «Заря» (№ 6). В течение девяти лет Фет написал и опубликовал 51 очерк. Из Парижа Тургенев писал ему 8 января 1872 года: «...с удовольствием прочту Ваши письма «Из деревни» — если они будут написаны «sine ira et studio»***** (без гнева и пристрастия. — Г. А.). Но цикл «Из деревни» был завершен.

В последующие годы Фет не раз возвращался к публицистике, печатаясь чаще всего в газете «Московские ведомости». И опять сыпались на него удары литературных и идеологических противников. Что же заставляло старого и больного поэта с таким упорством вступать в полемику вокруг крестьянского вопроса в 80—90-е годы? В одной из статей, отвечая на критику газеты «Новое время», Фет писал о себе, что «человек, вынужденный... исполнять в продолжение 11 лет должность участкового мирового судьи, которому пришлось раздвигать нуждающимся в хлебе крестьянам его участка собранные им деньги и затем устроить на эти деньги во Мценском уезде земскую больницу, по сей день существующую, такой человек не может быть ни совершенно незнаком с крестьянским бытом, ни равнодушным к их благосостоянию»*****.

Настоящая публикация (это примерно треть очерков; полностью они готовятся к печати) позволяет читателям наконец самим оценить незаслуженно забытое прозаическое произведение Фета.

Текст печатается с сохранением некоторых особенностей орфографии и пунктуации, характерных для литературного стиля середины прошлого столетия.

* ОР ГБЛ, ф. 315, оп. 2, к. 6, ед. хр. 25.

** Фет А. А. Стихотворения, поэмы. Современники о Фете. М. 1988, стр. 365.

*** ОР ГБЛ, ф. 258, к. 1, ед. хр. 66.

**** Фет А. А. Стихотворения, поэмы. Современники о Фете, стр. 358.

***** Цит. по: Фет А. Мои воспоминания. Ч. II. 1890, стр. 63.

***** Тургеневский сборник. Вып. IV. Л., 1968, стр. 388.

***** Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма в тринадцати томах. Письма. Т. 9. М.—Л. 1965, стр. 209.

***** «Московские ведомости», 1891, № 302.

П. СОРОКИН

*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ

4. Положение власти

Здесь не место доказывать, что коммунистический строй у нас установился не случайно. Как я доказываю в ряде своих статей и работ (см. мои статьи «О влиянии войны», «О влиянии голода» в «Экономисте» за 1922 г., «Милитаризм и коммунизм» в «Артельном деле» за 1922 г. и мою книгу «Голод как фактор» и особенно в подготовляемой к печати работе о «Коммунистическом обществе, его основных чертах, его опытах в прошлом, причинах и следствиях»), тот строй общества, который мы имеем эти годы, имел не раз место в истории разных народов, от Египта и Ассирии-Вавилонии, Спарты и Рима, Византии и ислама до строя инков, таборитов, государства иезуитов, Франции времен революции и Наполеона, Австрии Иосифа II, Пруссии Фридриха II, России Петра I Великого и т. д. Разной была только степень приближения этих обществ к предельному коммунистическому обществу.

Основными причинами — родителями — такого общества были всегда две причины: война и голод и обеднение масс при наличии имущественной дифференциации. Чем сильнее (при прочих равных условиях) количественно и качественно поднимались «независимые переменные» войны и голода, тем резче деформировалась общественная организация в сторону так называемого коммунистического, или этатического, или государственно-капиталистического типа с полной централизацией, неограниченным объемом опеки, вмешательства и регулирования властью поведения и взаимоотношений граждан, с ничтожным объемом автономии поведения последних, иначе говоря, тем сильнее область публично-правовых отношений вытесняла из всей области отношений долю отношений частноправовых.

Мы на протяжении всей истории были народом милитарным, воевавшим много, часто и в большом масштабе. Мы же на протяжении нашей истории были народом голодным, не вышедшим из полосы хронических голодовок даже в 19 и 20 века.

Мудрено ли поэтому, что уровень этатизма, или коммунизма, у нас стоял всегда высоко. Он выражался в гипертрофированной централизации старого режима, в его абсолютизме и деспотизме, в отсутствии у нас автономии лиц и групп, в отсутствии «свободы и прав личности».

Мировая исключительная война с следовавшим за ней расстройством экономической жизни, недоеданием и голодом, повышением уровня этатизма, или военно-голодного коммунизма, во всех воюющих странах должны были у нас довести его до максимума. Ибо мы долгие все воевали и понесли максимальные потери, ибо у нас сильнее всего развалилась экономика, ибо, наконец, посеяны войны и голода у нас пали на подготовленную всей нашей историей благоприятную почву.

Эти силы определенно поворачивали «маховое колесо» истории в сторону этатизма-коммунизма, и последний должен был расцвести у нас пышным цветом. Он был «плоть от плоти, кость от кости» всей нашей истории, отмеченной печатью голода и войны, а следовательно, и их «функцией» — этатизмом-коммунизмом.

Так и случилось. Особенно интересно и назидательно здесь то, что начало коммунизации-этатизации и в политической, и правовой, и экономической области было положено руками царского правительства (военные положения, ограничения прав личности, права собственности, частной торговли, контроль промышленно-торговых дел, права реквизиции и национализации с 25 октября 1915 г. и т. д.). «Рубикон» был перейден еще им. Шуйца царских министров по приказу истории делала то, что отрицала их десница.

Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

Подготовка текста, примечания и послесловие В. В. САПОВА.

Война и голод росли. Сильнее поворачивалось и колесо истории в сторону этатизма-коммунизма. Царское правительство не поспевало за процессом, пыталось сопротивляться и... было отшвырнуто.

Временное правительство в лице своего высшего экономического совета и министерства продовольствия продолжало линию этатизации-коммунизации. При нем, особенно в области экономической, были установлены все начала принудительного коммунизма. И здесь Временное правительство делало то, чего оно само субъективно не хотело. Большевикам ничего нового не пришлось вносить, кроме введения классового пайка да дальнейшей уравнилельно предельной централизации и коммунизации. Все главное было сделано до них и без них.

Но и Временное правительство отставало. Оно, как и царское, противилось дальнейшему росту этатизации, коммунизации и поравнения. Рядом с этим оно пыталось управлять демократически, а не деспотически, что требовалось историей.

За это «противоречие» повороту исторического колеса было отшвырнуто и оно. Власть должна была перейти к тем, кто этому повороту не противодействовал.

Такой группой стали большевики. Они «гениально примазались» к историческому процессу. Они были рупором конвульсии общества, вызывавшейся войной и голодом. И они победили... Не могли не победить. Поступи по их методу царизм — он не только не был бы сброшен, но вышел бы более сильным и абсолютным из переделки. Вынесенная «маховым колесом» истории — войной и голодом — власть большевиков в это время действительно опиралась на плечи огромных солдатских, рабочих и крестьянских масс. Она действительно была солдатско-рабоче-крестьянской властью.

Началась оргия этатизации, национализации, коммунизации... Это был ужас... разгром... гибель... Но власть шла в ногу с историей и с голосом последней, олицетворившимся «голосом народа».

Так дело шло до 1919 года.

К этому времени все было поделено и «поравнено», вплоть до последней пары белья и столовой ложки. Старая буржуазия погибла. Имущественная дифференциация (кроме самих коммунизаторов) исчезла. Настало равенство в общей бедности.

Этот факт исчезновения имущественной дифференциации был первой «независимой переменной», толкавшей колесо истории в обратную сторону. Ибо (прошу это принять на веру) голод и нищета только при наличии имущественной дифференциации имеют своей «функцией» деформацию общественной структуры в сторону этатизма-коммунизма. (Отсюда понятно, почему все эпохи коммунизации вызывали в виде реакции декоммунизацию таких обществ, если они не погибали в этой переделке.)

Бесслабная коммунизация сама таким путем приводила к гибели «коммунизма». Этот поворот колеса выразился в росте недовольства тех же масс режимом и Советской властью. Начались бунты и восстания рабочих, солдат и крестьян. Они росли и множились. Беспощадный террор не мог задушить и остановить их. Не будь продолжения гражданской войны — ультиматум истории, поставленный позже Советской власти, был бы поставлен раньше. Но война задерживала его и вместе с тем замедляла «вырождение власти», начавшееся с момента окончания «пердела». С этого времени именно началась дегенерация «рабоче-крестьянской» власти в простую тиранию, потерявшую половину своей народной опоры. В 1920 г. наконец кончилась и война... отпала вторая причина, толкавшая колесо истории в сторону коммунизма. Начался обратный поворот, и... началась окончательная трагедия коммунизма и советовласти.

История теперь поставила решительный ультиматум «гениально примазавшимся» проходимцам. Он гласил: «или декоммунизируйся, или будешь сброшен», как были сброшены предыдущие правительства, пытавшиеся сопротивляться повороту колеса в сторону коммунизма.

Сначала власть пыталась противиться неизбежному... Но колесо с роковой силой поворачивало обратно, поэтому бунты и мятежи — крестьянские, рабочие и матросские (Кронштадт) — росли. Они стали угрожающими, и... власть отступила. Нашлась. Опоздай она в своем сопротивлении еще на несколько месяцев — ее судьба была бы решена...

Ультиматум был принят, и началась... декоммунизация, концессии, аренды, продналог и... новая экономическая политика. Началось отступление по всему фронту коммунизма. Начали «сжигать то, чему поклонялись, и поклоняться тому, что сжигали». Приступили к восстановлению капитализма, требуемого историей. За год сдали все позиции коммунизма... Теперь его нет... остался лишь его перегар и копоть...

Власть отставала и отстает от требований истории, но не очень... В этом секрет ее существования до сих пор...

Но чем дальше, тем более это отставание растет и вырождение продолжается, ибо не всякий разрушитель может быть создателем, а затем — неудача всего коммунизма, естественно, отшатнула от власти и остатки народных масс.

Сейчас мы находимся в следующей стадии.

Мир и общая бедность энергично требуют деформации общества в сторону антиэтатизма. Нужно энергичное восстановление народного хозяйства, нужен частный капитализм и правовой строй как его предпосылка.

Основное препятствие к этому — власть и ее тиранически-идиотская политика. Власть сама по себе уже препятствие, ибо ее преступления не забыты, ее вероломства известны, доверия к ней нет, капиталы при ней не идут, серьезная организация производства, требующая вложения капиталов, невозможна. Далее, ее тупоумная и бандитская политика «защиты своих интересов» и «своего бытия» все более и более связывает хозяйственное возрождение и разрушает остатки национальных богатств.

Власть, помимо желания, тормозит поворот колеса истории, стала противоречием ходу исторического процесса, а потому? А потому сейчас 97% населения ее ненавидят. А потому... эта ненависть все более и более растет. А потому... бьет последний срок ультиматума истории: в течение 2—3 лет она должна или безоговорочно водворить капитализм, отказаться от террора, деспотизма и ввести правовой строй, или... она будет свергнута, как ее предшественники.

Что власть избереет, я не знаю. Но знаю, что если вновь не будет войны и будет расти сытость, сказанное случится... От этого не спасет ее ни 400-тысячная армия преторианцев — отрядов особого назначения, — ни армия курсантов. Знаменательно то, что и здесь уже начали загораться огоньки мятежей. Не удивлюсь, если власть — в случае отказа решительно идти на самоуничтожение — будет сброшена именно штыками этих отрядов. История умеет выкидывать злые шутки.

Если же власть категорически примет ультиматум — то и этот выход не устраняет, а только отсрочивает ее падение. Достаточно будет водвориться начаткам правового строя, появиться одной вольной газете, ослабеть террору... и на другой день власть будет забаллотирована или устранена небольшой группой заговорщиков, опирающихся на общее сочувствие народных масс. Такова трагическая дилемма, перед которой очутилась власть, дилемма, в обоих случаях сулящая ее падение. С той лишь разницей, что в первом случае мы пойдем к ее ликвидации путем, способным при достаточной гибкости власти растянуться на 4—6 лет, во втором — «революционно-анархическим» путем. Только война или какая-нибудь мировая катавасия могут спасти ее...

Такова динамика истории и ее «философия» за эти годы... Начав с «ореола рабоче-крестьянской власти», гениально примазавшаяся группа проходимцев истории кончила дегенерацией и неслыханным позором и бесчестьем.

Россия ненавидит ее сейчас сильнее, чем старый режим в самые бесславные времена последнего. Да и за что любить ее какому бы то ни было классу! Исполнила ли она хотя бы одно из своих заманчивых обещаний?

Она дала вексель на постройку нового идеального общества. Вместо этого в крови и пожаре построила душную казарму, нищую, разбойничью, деспотическую, в которой население задыхалось и вымирало. Дано было обещание освободить трудящиеся массы от эксплуатации. Вместо этого осуществили государственное рабство, в тысячу раз превосходящее эксплуатацию частнокапиталистического общества. Прокламмирована была «диктатура пролетариата». На ее месте оказалась диктатура авантюристов, вышедших из буржуазных семейств, никогда не работавших на заводе (Ленин, Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Красин, Радек и т. д. — все из буржуазных семей) и не имеющих ничего общего — ни по жизни, ни по воззрениям, ни по вкусу, ни по стремлениям — с пролетариатом. Обещано было равенство. Вместо него выросло небывалое неравенство, сверхимператорские привилегии власти и бесправие всего населения. Крестьян поманили землей и якобы дали ее им. Извините, земля помещиков была захвачена крестьянами до октябрьской революции, а большевистское «наделение» землей сами крестьяне оценили в следующей поговорке: «Большевики нам сказали:

Земля-то ваша,
А что с нее, то наше».

Ту же мысль народ выразил и в следующей переделке «Интернационала»:

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но урожаем — никогда.

Действительно, весь урожай, временами вплоть до последнего зерна, власть отбирала и отбирает. Не легче положение крестьян и сейчас. С них дерут десять шкур: надо же как-нибудь добывать средства на мотовство власти, на сотни тысяч ее агентов, на роскошь заграничных послов, на поддержку сотен коммунистических газет, на III Интернационал, на подкупы, на небывалое воровство и т. д. Народу была

обещана сытость. Народ получил голод и... бифштекс из ребенка. Ugbi et ogbi провозглашено было просвещение народа. Вместо этого произошла «ликвидация грамотности» (см. ниже). Обещан был «мир». Народ получил зверскую гражданскую войну и миллион убитых. Прокламировано было экономическое развитие страны. Оно свелось к полному разгрому всего народного благосостояния. Утешали страну введением свободы. Она выразилась в терроре, в ЧК, в сотнях тысяч расстрелянных и в полной опеке мысли, слова и действия.

Вместо духовного процветания одарили невежеством, преступностью и развратом. Вместо отстаивания национальных интересов дали раздел России и потерю ее территорий. Укрепили национальную культуру? — Сделали все, чтобы затоптать и уничтожить ее в пучине «интернационализма». Разрушали традиции, просвещение, церковь, религию, поэзию, интеллигенцию, культурные силы, семью — словом, сделали все, чтобы вытравить из истории лик России и русского народа. Их распинали всячески. Приносили в жертву всему, вплоть до Кемаль-паши и Афганистана, до армян и болгар. В завершение всего стали продавать Россию оптом и в розницу первому капиталисту, который согласился бы дать им несколько тысяч рублей... И так всюду... и тот же сплошной дефицит, одни голые минусы в любой области...

За что же любить такую власть? И как же ее не ненавидеть народу, на своей спине понявшему эти истины...

«Приходи хоть сам черт — и то будем рады» — так формулируется народная любовь к современным трагическим шутам истории...

Четырех лет оказалось достаточно, чтобы выявилась всему миру подлинная природа этих мнимых «вождей человечества»...

Не «герои», а просто жалкие скоморохи, сплошь измазанные кровью... человеческой кровью... человеческой...

(Пользуясь случаем ответить кратко гг. «сменовеховцам». В газете «Накануне» они, после моих докладов в Берлине и Праге, принялись без меры лгать и инсинуировать по моему адресу. В частности, г. Дюшэн пишет, что «четыре года раскаявшийся Сорокин держал обет молчания», что как только попал за границу — «его прорвало» («Накануне», № 175).

1. Сорокин в своем письме решительно ни в чем не каялся перед Советской властью и не говорил в нем ни одного слова похвалы по ее адресу¹.

2. Письмо было написано не из тюрьмы, а на свободе. Тюрьма пришла позже.

3. г. Ленин и большевики сделали из него «шум» — это их дело. Я же ни словом, ни действием для этого «шума» и их лживых комментариев повода не давал. Запретить их — я не мог².

4. Все 4½ года моего пребывания в России я не молчал, а говорил — устно и печатно — буквально то же самое, что говорил в докладах и говорю в этой книжке. Я знал, что мне за это грозит, но... говорил, ибо видел в этом свой долг. Вот это-то и дает мне моральное основание говорить, а не молчать за границей. [Господин] Дюшэн хочет доказать? — Их больше чем нужно. 1) Пусть он раскроет I—II тт. моей «Системы социологии», написанные и изданные в 1919—1920 гг., в годы террора. Там — в тексте и в примечаниях — он найдет черным по белому напечатанным все то, что я говорю здесь. Если же он раскроет другие мои статьи, напечатанные за эти годы в «Экономисте», в «Артельном деле», «Утренниках», «Вестнике литературы», там он найдет все, вплоть до определения «сменовеховцев» («паразиты паразитов»). 2) Десятки аудиторий, вплоть до публичных коммунистических митингов, могут хорошо удостоверить, как я «молчал». О том же могут свидетельствовать и гг. «красные профессора» (энгели, свягловские, серебряковы, боричевские и т. д.). 3) Еще резче об этом «молчании» говорят десятки статей «Красной газеты», «Петроградской правды», «Известий», «Под знаменем марксизма», где гг. коммунисты, начиная с «самого» Ленина, обрушивались на меня в специальных статьях всевозможной бранью («лидер самой непримиримой части профессуры», «крепостник», «дипломированный лакей поповщины», «идеолог контрреволюционеров», «советский П. Струве» и т. д. и т. д.)³.

¹ Речь идет о письме П. Сорокина в редакцию газеты «Крестьянские и рабочие думы» (Великий Устюг), опубликованном 29.10.1918 года и перепечатанном «Правдой» 20 ноября 1918 года под заглавием «Отречение Питирима Сорокина».

² П. Сорокин имеет в виду статью В. И. Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина» («Правда», 21.11.1918) (см.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 188—197; и выступление Ленина на вечере, устроенном в его честь, где он вкратце пересказал содержание вышеуказанной статьи /«Правда», 22.11.1918/).

³ С резкой критикой П. Сорокина В. И. Ленин выступил в статье «О значении воинствующего материализма» («Под знаменем марксизма», 1922, № 3). Именно там Сорокин назван дипломированным лакеем поповщины. Поводом явилась работа П. Сорокина «О влиянии войны» («Экономист», 1922, № 1).

Очевидно, такое внимание, и такие эпитеты, и столь много специальных статей обо мне «молчанием» не могли бы быть вызваны. Почему отстранили меня от преподавания и, наконец, выслали? Тоже за молчание?

Если г. из «Накануне», их «кормильцы» и «сродственники» немножко желают считаться с фактами, они впредь не будут повторять свой вздор. Если же они предпочитают гегелевское «тем хуже для фактов» (но quod licet Jovi, non licet bovi)⁴, то пусть себе врут на здоровье. «Мели Емеля — твоя неделя». По человечеству поведение этих лакеев понятно, ибо «всякий пес должен охранять господина своего, лаять на его врагов» и тем зарабатывать себе кусок хлеба.)

Не всегда ли так бывает при кровавых революциях? Изучите внимательно подлинное лицо последних и вы увидите, что... почти всегда. И. Тэн это хорошо понял. Мы, не понимавшие раньше, теперь поняли, после пяти лет пристального смотрения в лицо сфинкса Революции, после многих могил, после «ума холодных размышлений и сердца горестных замет».

Многие, не видевшие это лицо вблизи, еще не понимают. И, пожалуй, не поймут до тех пор, пока сами не испытают...

Тогда поймут...

5. Политическая жизнь и партийные группировки

О политической жизни в западноевропейском смысле слова говорить не приходится. Раз нет ни одной неправительственной газеты, раз нельзя устроить ни одного политического собрания, союза, общества, то, конечно, легальное проявление политической активности исключено. Нелегальное же затруднено до максимума беспощадным террором и хорошо организованным сыском.

На поверхности общественной жизни видна только коммунистическая партия, ее организация, бесчисленные митинги, ее газеты и устраиваемые ею собрания и заседания. Публика на последние сгоняется в принудительном порядке под страхом больших и малых наказаний за неявку... Выступить с критикой власти на таких собраниях — значит идти на арест. Голосовать против заранее заготовленной резолюции — значит очутиться в ЧК или ГПУ. С другой стороны, голосовать «за» резолюции коммунистов аудитория обычно не хочет. В силу этого установилась весьма оригинальная практика, объясняющая «секрет» «единогласно вынесенных» коммунистических резолюций; обычно следует вопрос: «Кто против?» Так как «против» поднять руку опасно, то собрание молчит. «Резолюция принята единогласно» — следует решение власти. Допусти тайное голосование — резолюция была бы единодушно отвергнута. Спроси председатель: «Кто за?» — не поднялось бы также ни одной руки. Но эта проформа признается вредной и потому обычно ограничиваются вопросом «кто против?».

Так фабрикуются у нас «единогласные» резолюции.

Однако не всегда так благополучно дело кончается. Аудитория иногда не выдерживает, и ее «прорывает». Находятся смельчаки, которые под общее сочувствие аудитории выступают с резкой критикой. Временами и сама аудитория «бунтует», протестует, обкладывает агентов власти крепкими словами. Изредка дело кончается стаскиванием с трибуны правительственного оратора. Понятно, такие смельчаки и аудитории платятся за это: арестом, ссылкой, а раньше... и расстрелом... В последнее время такое неповиновение проявляется чаще и чаще... И в деревнях, и в городах. Не раз случались большие неприятности с самими «вождями» коммунизма. Все это заставило их стать более осторожными. Большие собрания устраиваются теперь только тогда, когда приняты все меры предосторожности, т. е. когда обеспечено присутствие на собрании достаточного штата сыщиков и преторианцев власти, заставляющих собрание вести себя тихо и в случае эксцессов способных тут же вмешаться. Население на такие меры начинает отвечать... непосещением собраний. Это явление становится массовым, несмотря на репрессии, и делает самые репрессии все более и более неприменимыми: все 100 миллионов населения не посадишь в тюрьму...

Такое удушение политической активности вызывает к жизни и другое явление: превращение самых деловых собраний в маленькие политические демонстрации, с одной стороны, с другой — рост искусства выражать лояльно самые нелояльные чувства. Аудитория изощрилась в понимании речи: простого намека достаточно, чтобы слушатели вас поняли.

Следует отметить, что публика в последнее время «смелеет». Давно ли еще считалось опасным называть друг друга «господином», а не «товарищем». Теперь и в трамвае, и в собраниях вы сплошь и рядом на название «товарищ» слышите: «Какой я вам товарищ! Убирайтесь со своим «товарищем» к черту!» Слово это стало ругательно-ироническим. Еще более это относится к таким словам, как «коммунизм», «интернационал» и т. п.

⁴ Что позволено Юпитеру, не позволено быку (лат.).

Всякий кредит партии коммунистов потерян. Ни одному благому обещанию их не верят. И обратно, все антиправительственное и антикоммунистическое ловится жадно, чутко, лихорадочно.

Всякая неудача власти, даже там, где она бьет само население, вызывает радость, злорадство, веселье. Провал в Генуе и Гааге доставил немало приятных минут. Словом, все корни этой партии исчезли. Ниже я подробнее остановлюсь на этом.

Теперь перехожу к характеристике политических группировок современной России.

Первое, что здесь следует отметить, это исчезновение старых партийных водоразделов. Все старые партии, по существу, кончились и потеряли свой вес и значение. Если не считать ничтожного круга лиц — верных старому, — то теперь нет ни старых монархических, ни старых социалистических партий. Действительность столь существенно изменилась, что в старом виде все партии перестали существовать. Партия социал-демократов-меньшевиков — кончилась потому, что не стало пролетариата — оставшаяся часть его деклассировалась, — и потому, что социализм вызывает к себе резко отрицательное отношение. С правом или без права, грехи коммунизма сваливаются и на социализм. По той же причине потеряла почву и партия социалистов-революционеров. Крестьянство — класс, на который эта партия опиралась, — в итоге коммунистической революции стало резко антисоциалистическим, сделалось поборником собственности и... консервативности. «Социализация земли» теперь для него одиозна, неприемлемы и другие пункты старой программы с.-р. Последней приходится или резко измениться, расставшись с социалистическими-революционными пунктами программы, или... стать политически бессильным кружком... Партия кадетов исчезла потому, что в значительной мере исчезли те средние интеллигентные слои, идеологом которых она являлась. Непригодными стали и другие пункты этой партии, рассчитанной на совершенно другие условия. Октябристы и торгово-промышленная партия кончились потому, что не стало ни класса крупных землевладельцев, ни старой буржуазии, интересы которых они представляли. Партии монархистов исчезли потому, что не стало монарха, раз, субсидий и привилегий, два, не исчезла еще и одиозность к старому режиму, три. Если монархисты и будут существовать, то совершенно преобразившись; раньше они не обязаны были привлекать сочувствие населения заманчивыми пунктами программы и хорошим содержанием ее по существу: правительственные субсидии и поддержка заменяли все это. Теперь нет ни субсидий, ни поддержки. Теперь нужно завоевывать симпатии населения, а завоевать их диким содержанием старых программ нельзя, нужно резко их изменить. Помимо всего, положение их отягчается и тем, что нет монарха и подходящего имени для этой роли.

Словом, старые партии кончились...

Место их теперь занято простым делением всей страны на две основные партии: на партию коммунистов с их подголосками и партию антикоммунистов, легально и политически неорганизованную. Это деление сейчас вытеснило все остальное. Оно доминирует над всем и вся.

Первая партия великолепно организована. Она имеет в своем распоряжении все финансы государства, власть, весь аппарат управления, почту, телеграф, телефон, железные дороги, весь транспорт, печать (ибо других газет, кроме коммунистических, нет), 400 000 отрядов «особого назначения», т. е. отрядов ЧК, преторианцев, содержаемых за счет государства, хотя и не являющихся целиком коммунистами, отлично организованный сыск и т. д. — словом, она имеет все средства физического и духовного воздействия на массы. Не стесняясь в средствах, опираясь на беспощадный террор, используя все ресурсы государства, она управляет всей обезоруженной — духовно и материально — массой населения.

Число членов этой партии «спартиатов» сейчас исчисляется в 420 тысяч. Было 600 с лишним, но за последний год часть была исключена, часть — большая — сама вышла из партии. Процент коммунистов даже среди рабочих ничтожен. По данным Всер. центр. сов. профсоюзов, в октябре 1922 г. из 576 000 членов в союзе металлистов коммунистов было лишь 3612 (0,16%), в союзе текстильщиков лишь 1—1½%, в союзе деревообделочников — 2%, в союзе рабочих городских предприятий — 2—2½%, в остальных союзах 1 коммунист приходится на 500—600 членов.

Про крестьянство и говорить нечего. В нем коммунистов почти нет. Эти 400 000 коммунистов состоят сплошь из самих правительственных агентов, часть коих составляют бывшие рабочие, ставшие губернаторами и теперь ничего общего не имеющие с рабочим классом. Кроме того, к ним примыкают «сочувствующие» разных толков, начиная с их рептилий — «сменовеховцев». По социальному положению последние группы состоят из подкупленных и оплачиваемых лиц и групп вроде заграничных «сменовеховцев» с их газетой «Накануне», вроде множества других хорошо живущихся агентов Внешторга, дипломатических миссий, просто шпиков и наконец — часть высокооплачиваемых слепцов и новых бюрократов. Сюда же относится и часть новой буржуазии, вышедшей из рядов коммунистов, разбогатевшей грабежом и потому боя-

щейся резкого и быстрого падения данной власти. Число всех таких сочувствующих едва ли превышает — при самом щедром подсчете — 700—800 тысяч.

Общее количество всего этого коммунистического стана не больше 1 млн — 1 млн 200 тысяч, т.е. меньше 1% населения.

Все остальное население прямо или косвенно находится в противоположном стане. Оно стоит в мягкой или резкой оппозиции к власти, к коммунистам и их подголоскам.

Если наивный западноевропеец спросит себя: как же возможно, чтобы один процент властвовал над 99% населения, — то ответ он получил уже выше. Приняв во внимание сказанное там — он перестанет удивляться. Изучив историю — он увидит много других подобных примеров; наблюдая же факты окружающей его жизни, хотя бы разгон пятью вооруженными лицами сотен невооруженных и бегство тысяч от десятка выстрелов, — он должен вполне понять такую «аномалию». Но та же аномалия говорит и о том, что такая власть и такой режим не могут быть длительными и прочными.

Коммунистов ненавидят, их рептилий, особенно «сменовеховцев», просто презирают. «Паразиты паразитов» — таково их краткое определение. На месте власти я бы не тратил столь большие суммы на их содержание. Могу заверить, что расходы совершенно не оправдываются сменовеховскими доходами. Никакой значительной поддержки власти они не в состоянии оказать; объективно же они разлагают ее.

Общая ненависть и оппозиция к власти скрепили и связали все остальное население в одну группу, начиная от монархистов и кончая социалистами. Их частные различия отодвинуты на десятый план этим общим сходством — единством врага. К тому же ведут и другие условия: проснувшееся национальное чувство, опасение за судьбы народа, свободы, просвещения, национальной и общественной культуры. Еще сильнее связывает их беспощадное преследование всех некоммунистов, всех направлений, не приемлющих власти и режима. Современные процессы против с.-р., церковников и т. д. окончательно делают и сделали общей ближайшую основную задачу — ликвидацию власти. Находится общий язык. Монархист и демократ начинают сближаться и понимать друг друга. «Пока есть общая цель — нужно идти вместе, а там успеем разойтись» — такова современная психология этого антикоммунистического стана. Люди — в отличие от эмиграции — обращают внимание на то, что их соединяет, а не на то, что их разъединяет.

Потенциально огромная, включающая 99% населения, эта оппозиция, однако, совершенно политически не организована. Отсутствие печати и возможности устроить собрание, беспощадный террор и сыск, обезоруженность и т. д. мешают выполнить эту организацию. Остается — стихийное сплывание ее да устройство небольших нелегальных ячеек отдельными группами. Такие ячейки, разных оттенков, начиная с эсеровски-меньшевистских и кончая монархическими и особенно беспартийными, имеются, хотя и в небольшом количестве и объеме. Основное значение, конечно, принадлежит этому стихийному сплыванию, а не отдельным кружкам.

В итоге всего этого создалась атмосфера, начиненная порохом, способная при малейшем поводе взорваться. Мешает этому, помимо указанных причин, голод и истощенность населения. Нужно сначала немного подкормиться и накопить энергию... Пока этого нет, происходит стихийное давление масс на власть, заставляющее последнюю «эволюционировать», и чем далее, тем быстрее. Так, вероятно, дело пойдет и дальше... В течение 2—3 лет режим должен резко измениться, если не будет войны и новых голодовок. Если же власть будет «упираться» — она будет сброшена. В какой форме — я не знаю, да это и не важно. Если «эволюция» пойдет — конечный итог ее тот же: с водворением нового строя власть упадет как «короста». Ее преступления население не может ни забыть, ни простить.

Сказанное объясняет, почему я не хочу ни войн, ни голода. Губя страну, они поддерживают, а не ослабляют власть. Чем прочнее будет мир, чем скорее будет расти «сытость» населения, тем быстрее будет «эволюция» и тем скорее будет конец «коммунизму» и данной власти...

Кто же придет на ее место? Какой политический строй водворится? Какая партия будет у власти?

Придет на ее место власть крестьянская, и править будет новая партия — партия, выражающая интересы крестьян-собственников, партия умеренно-демократическая, с сильно выраженным мелкобуржуазным кооперативным началом.

Кто персонально будет лидером таких групп — я не знаю. Вероятно, новые лица, ибо старые имена сильно забыты в современной России. Какой *in concreto* строй водворится: республика или монархия, и каких видов, — я тоже не знаю. Да это меня и мало заботит. Дело не в ярлыке, а в содержании. А это содержание говорит, что прочной будет только власть, осуществляющая интересы крепкого крестьянства. Ее политика не может быть ни политикой старого режима, защищавшего прежде всего дворянские интересы, ни политикой новой власти, защищающей только свои инте-

рессы. «Новое никуда не годно, старое тоже нехорошо, нужно что-то среднее» — так население формулирует суть дела.

Это «среднее» и будет умеренно демократической политикой крестьянской власти. А какие она формы примет — это вопрос второстепенный. Думаю, однако, что вероятнее формы республиканские. Почему? 1) потому, что недостатки старого режима не забыты, *2) потому, что и сейчас не видно в России сколько-нибудь значительной монархической группировки и соответственных симпатий, 3) нет подходящего кандидата, пригодного по своим качествам занять это место в данный исключительно тяжелый момент, 4) в силу этого едва ли целесообразно и по существу связываться с определенной династией, 5) президент с широкими полномочиями даст все плюсы монарха без его минусов, неизбежных в таких условиях.

Эти соображения заставляют меня считать более вероятным ярлык «республики» на нашем политическом фасаде.

Если спросят меня, почему я так определенно высказываюсь за будущую власть как за крестьянскую, я отвечу: потому, что сейчас нет в России других сколько-нибудь социально весомых групп. Пролетариат и раньше составлял у нас ничтожный процент — теперь его почти нет. Крупные землевладельцы — ликвидированы. Старая буржуазия, и раньше слабая, — тоже. Новая еще не успела превратиться в значительную силу. «Средние слои и интеллигенция» — и раньше незначительные — разгромлены. Остается крестьянство, абсолютно тоже несколько ослабленное, но относительно — по сравнению с другими слоями — усилившееся и на своих боках путем горького опыта кое-что усвоившее, в частности понимание своих интересов, связь судьбы государства со своей судьбой и необходимость играть игру, называемую «политикой» и «борьбой за власть». Оно поняло и многое другое: свое значение и роль как класса, отличие своих интересов от интересов пролетариата и других групп, необходимость политической организации и т. д.

Почва для последней готова в меньшей мере. Редкие зародыши союзов появляются. За классовой идеологией крестьянства дело не станет. Она уже создается. Остается ждать легальных возможностей для широкой и серьезной политической организации. Она придет. А вместе с ней — и первая.

Я знаю те громадные трудности, которые стоят на пути политической организации крестьянства. Но опыт других стран показывает, что они преодолимы.

В итоге в России, как и в Европе и даже в Австралии после мировой войны, можно ждать выступления на сцену политики крестьянства как новой силы и... да будет позволено сказать, «Крестьянского Интернационала» в противовес пролетарским и капиталистическим.

Это нужно, и поскольку он не будет проводить «политику диктатуры» и «пролетарского большевизма», это целесообразно. В этом Интернационале немалую роль суждено играть и русскому крестьянину.

«Сие буди и буди».

6. Морально-правовые изменения

«Каждый поступок и каждое слово, брошенное в этот вечно живущий и вечно творящий мир, это семя, которое не может умереть», — писал Карлейль. В применении к данному случаю эти слова означают, что совершаемые нами действия не проходят бесследно для нас самих, но рикошетом влияют на все наше поведение. «Функция создает орган» — гласит биология. Наши поступки рикошетом видоизменяют наш организм, нашу душу и наше поведение. Тем более это относится к актам и поступкам, прививаемым войной и революцией.

И война, и революция представляют могучие факторы изменения поведения. Они «отвивают» от людей одни формы актов и «прививают» новые, передевают человека в новый костюм поступков.

Являясь противоположностью мирной жизни, они прививают населению свойства и формы поведения, обратные с первой... Мирная жизнь тормозит акты насилия, убийства, зверства, лжи, грабежа, обмана, подкупа и разрушения. Война и революция, напротив, требуют их, прививают эти рефлексы, благоприятствуют им всячески. Убийство, разрушение, обман, насилие, уничтожение врага они возводят в доблесть и заслугу: исполнителей их квалифицируют как великих воинов и бесстрашных революционеров, вместо наказания одаряют наградой, вместо порицания — славой. Мирная жизнь развивает продуктивную работу, творчество, личное право и свободу; война и революция требуют беспрекословного повиновения («повинуйся, а не рассуждай», «подчиняйся революционной дисциплине»), душат личную инициативу, личную свободу («дисциплина», «диктатура», «военные суды», «революционные трибуналы»), прививают и приучают к чисто разрушительным актам, отрывают и отучают от мирного труда. Мирная жизнь внедряет в население переживания благожелательности, любви к людям, уважения к их жизни, правам, достоинству и свободе. Война и революция выращивают и

культивируют вражду, злобу, ненависть, посягательство на жизнь, свободу и достоинство других лиц. Мирная жизнь способствует свободе мысли. Война и революция тормозят ее. «Где борьбу решает насилие — все равно: насилие ли пушек или грубое насилие нетерпимости, — там победа мудрых, положительная селекция по силе мозга и самая работа мысли затрудняется и делается невозможной».

Освободиться от этих влияний войны и революции никому не дано. Они неизбежны. Следствием их является «оголение» человека от всего костюма культурного поведения. С него спадает тонкая пленка подлинно человеческих форм поведения, которая представляет нарост над рефlekсами и актами чисто животными. Война и революция разбивают ее. Объявляя — это особенно относится к революции — моральные, правовые, религиозные и др. ценности и нормы поведения «предрассудками», они тем самым: 1) уничтожают те тормоза в поведении, которые сдерживают необузданное проявление чисто биологических импульсов, 2) прямо укрепляют последние, 3) прямо прививают «антисоциальные», «злостные акты».

Вот почему всякая длительная и жестокая война и всякая кровавая революция деградируют людей в морально-правовом отношении.

К тому же они ведут и иначе: через голод и лишения, когорыми они обычно сопровождаются. Создавая и усиливая нищету и голод, они тем самым усиливают в поведении этот стимул, толкающий голодных к нарушению множества норм морали и права в целях утоления первого. Словом, эти следствия войн и революций «биологизируют» поведение людей в квадрате. Целиком же взятые, война и революция представляют школу преступности, основные факторы криминализации людей. «Функция создает орган», акты зверства оскотинивают их исполнителей рикошетом.

Подробное доказательство этих положений дается мной в подготовляемой к печати работе «Социология революции» и в III томе «Системы социологии». Читая древние описания древних революций, видишь, как «история повторяется» и в этом отношении. Приведу для примера сокращенное описание Керкирской революции Фукидида: «Война делается учительницей насилия... Смерть предстала во всех видах... Отец убивал сына, людей отрывали от святынь и убивали возле них... Керкирцы убивали всех, кто казался врагом [демократии], некоторые (под этим предлогом, это всегда так бывает. — П. С.) были убиты из личной вражды, кредиторы — должниками. И обычное значение названий заменили личным именем. Безрассудная дерзость стала считаться мужеством, предусмотрительная медлительность — трусостью, рассудительность — обличем труса, внимательность ко всему — неспособностью к делу, безумная решительность — за свойство настоящего мужа, осторожное обдумывание — за предлог уклониться, кто вечно недоволен — тот заслуживает веры, кто ему возражает — тот человек подозрительный. Кто затеял коварный замысел и имел удачу, тот умный, а кто разгадал это — еще умнее, кто же сумел обойтись без того и другого — предатель и трус. Восхваляли того, кто умеет сделать дурное раньше другого... Родственное чувство стало менее прочной связью, чем партийное товарищество, требовавшее риска без оговорок. Верность скрепляли не божеским законом, а совместным преступлением. Отомстить за обиду считалось важнее, чем претерпеть ее. «Клятвы не соблюдались»... Большинство соглашались скорее, чтобы их называли ловкими плутами, чем честными простаками; последнего названия стыдятся, первому радуются... Таким образом, вследствие смут явилось извращение нравов» — и т. д. (Thucydides. III. 81—85). А вот отрывок из описания Ипувером современной ему Египетской революции за 2000 лет до Р. Х.: «Правда выброшена, попраны предначертания богов, земля бедствует, повсюду плач, области и города в скорби... Встаем рано, а сердца не облегчаются от тяжести. Широка и тяжела моя скорбь. Приди, приди, мое сердце, и объясни мне происходящее на земле... Земля перевернута. Злобные обладают богатствами. Почтенные в горе, ничтожные в радости. Умались люди, повсюду предатели...» — и т. д. (Тураев. Древний Египет. 60—1).

Эта «биологизация» поведения людей и «переоценка ценностей» — обычное явление при всех кровавых революциях. Эллвуд прав, говоря, что в революциях и в войнах «всегда есть тенденция возврата к чисто животной деятельности вследствие разрушения бывших привычек. Итогом может быть полное извращение социальной жизни в сторону варварства и дикости, ибо борьба, как одна из самых примитивных форм деятельности, стимулирует все низшие центры активности. Поэтому революционные периоды создают благоприятные условия для грубости и дикости в человеке, сдерживаемые с такой трудностью цивилизацией. Применение насилия начинает процесс одичания, разрушительный для высших ценностей», — и т. д. (Ellwood. Introduction to social Psychology, ch. VIII).

Правда, и в войне, и в революции есть обратная сторона: жертвенности и «положения души за други своя», подвижничество и героизм, но... эти явления — достояние единиц, а не масс. Они редки, исключительны, тонут в море противоположных явлений, и потому их роль ничтожна сравнительно с «биологизирующей» и «криминализирующей» ролью войны и революции. Затем «полагание» здесь сопровождается убийством, и это убийство аннулирует ценности самопожертвования.

Раз таково влияние последних вообще, не является исключением отсюда и последняя война вместе с революцией. Напротив, они ярко подтверждают правило.

В итоге войны и особенно революции Россия превратилась в «клоаку преступности». Население ее в сильной степени деградировало в моральном отношении. Особенно значительная деградация в молодом поколении. Таковы дальнейшие «завоевания» войны и революции. Фактов для подтверждения сказанного имеется, увы, в вполне достаточной мере.

Первой категорией подтверждений служат явления: террора, диких разнузданных разрушительных действий индивидов и масс, колоссальный подъем зверства, садизма и жестокости взаимных убийств и насилий. Из подобных явлений создается и состоит так наз. гражданская война. Неубийца — стал убийцей, гуманист — насильником и грабителем, добродушный обыватель — жестоким зверем.

В мирное время все эти явления не имели места и не могли его иметь. Простое убийство вызвало отвращение. Палач — омерзение. Психика и поведение людей органически отталкивались от таких деяний. Три с половиной года войны и три года революции, увы, «сняли» с людей пленку цивилизации, разбили ряд тормозов и «оголили» человека. Такая «школа» не прошла даром. Дрессировка сделала свое дело. В итоге ее не стало: ни недостатка в специалистах-палачах, ни в преступниках. Жизнь человека потеряла ценность. Моральное сознание оупело. Ничто больше не удерживало от преступлений. Рука поднималась на жизнь не только близких, но и своих. Преступления для значительной части населения стали «предрассудками». Нормы права и нравственности — «идеологией буржуазии». «Все позволено», лишь бы было удобно — вот принцип смердяковщины, который стал управлять поведением многих и многих.

Отсюда все указанные явления. Отсюда зверства гражданской войны, отсюда — террор ЧК, пытки, расстрелы, изнасилования, подлог, обман и т. д., которые залили кровью и ужасом Россию за эти годы.

Что все это как не прямое подтверждение огромного морально-правового декаданса.

А вот и более конкретные данные, говорящие сухим языком цифр. В Петрограде в 1918 г. было по меньшей мере 327 тыс. (ровно 22% населения) воров, кравших в форме карточки общественное достояние, вырывавших последний кусок хлеба из рта ближнего.

В Москве таковых было 1 100 000, т. е. 70% населения. Уровень моральных требований так опустился, что на такие факты смотрят «сквозь пальцы». С точки зрения морального сознания они составляют квалифицированную кражу.

Беру далее официальную статистику уголовного розыска г. Москвы, дающую не преувеличенную картину.

Если принять коэффициент каждой группы преступлений в 1914 г. за 100, то движение преступлений в 1918—1919 гг. в Москве выразится в таких цифрах:

Кражи	315
Вооруженный грабеж	28 500
Простой грабеж	800
Покушение на убийство	1600
Убийство	1060
Присвоение и растрата	170
Мошенничество	370

Не правда ли, веселенькие цифры!

Идем дальше. По данным Народного комиссариата путей сообщения, за 1920 г. зарегистрировано на железных дорогах 1700 хищений багажа. Похищено 109 800 пудов грузов, т. е. в месяц пропадало 100 тысячепудовых вагонов. Короче, по сравнению с довоенным состоянием хищения здесь увеличились в 150 раз! Недурные завоевания революции.

Детская преступность в Петрограде по сравнению с 1913 г. выросла в 7,4 раза.

Прибавьте к этому мошенничества с пайками, подделывание ордеров, незаконные полочки, беспринципную спекуляцию, небывалое грандиозное взяточничество, достигшее фантастических размеров, кражи из продовольственных складов («У нас взятки на каждом шагу», заявил Ленин в 1921 г.⁵ Куклин, комиссар Петрокоммун, утешал рабочих, жаловавшихся на утечку продуктов из Петрокоммун, тем, что крадут не очень уж много, только... 20% всего. Недурное утешение!). Присоедините сюда сотни тысяч произвольных «национализаций», «реквизиций» агентами власти в свою пользу, тысячи и сотни тысяч «легальных» убийств и расстрелов для захвата бриллиантов и др. ценностей, миллионы разнообразных злоупотреблений, от обыска до убийства, невероятно возросшее число грабежей, налеты на квартиры, тысячи изнасилований, кражи из домов, с полей, огородов, массовый рост уголовного

⁵ В своем докладе на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 года В. И. Ленин сказал: «У политически просвещенного народа взятка не будет, а у нас она на каждом шагу» (Ленин В. И., Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 172).

бандитизма и т. д. и т. д. — и вы поймете, почему не является преувеличением квалификация России за эти годы как «клоаки преступности», почему можно и должно говорить о громадной криминализирующей роли войны и революции.

Катастрофический голод 1921—1922 гг. в голодных областях еще более повысил число преступлений по сравнению с 1920 г.

С началом голода — в Поволжье, на Дону, в восточных губерниях и т. д. — кражи и грабежи резко стали подниматься. Это видно хотя бы из следующих цифр:

Число возбужденных в судах дел

Губернии	В 1920 г.	В 1921 г.
Астраханская	10 800	11 520
Уфимская	13 000	18 000
Саратовская	25 000	27 000
Симбирская	30 500	31 200
Самарская	37 000	39 000

1922 г. в этих же губерниях даст еще большие цифры.

Рост здесь вызван голодом, но сам голод — следствие войны и революции, поэтому этот богатый урожай преступлений приходится считать «заслугой» последних.

Ту же деморализующую роль этих факторов можно легко проследить и в других областях поведения. Возьмем область половых отношений.

Революция, объявляя многое «предрасудком», т. е. разбивая ряд тормозов поведения, сдерживающих проявление примитивно-биологических импульсов, разбивает и те тормоза поведения, которые ограничивают свободу удовлетворения половых инстинктов. Отсюда рост половой вольности при всех революциях. Так, в Париже число внебрачных детей, еще в 1790 г. не превышавшее 23 000, в последующие годы революции достигло 63 000. В течение двадцати месяцев после закона о разводе (1792 г.) суды постановили 5994 развода, а в VI году число их превысило число браков. «13—14-летние дети вели себя так, что их слова и поступки были бы скандальными и для 20-летнего человека...», «Узда половых инстинктов была ослаблена. Летом разыгрывались сцены человеческой животности и озорства». «Девки открыто занимались на бульварах своим ремеслом» и т. д. (Taine. *Les origines de la France contemporaine*. 1885. III. 108, 499).

То же повышение половой вольности и преступлений половых имело место и в революции 1848—1849 гг. (См. Oettingen. *Moralstatistik*. 1882, 240, 311).

То же и у нас в годы революции 1905 г. (1906—1909 гг.). То же повторилось и теперь.

У нас он проявился с необычайной силой, захватив прежде всего молодое поколение, у которого моральные тормоза, естественно, слабее. Большая «заслуга» в этом принадлежит прежде всего партии коммунистов, энергично принявшейся бороться с «мещанско-буржуазным предрасудком». Отдельные ее члены, вплоть до занимавших очень высокие посты в Нар. ком. просвещения, взялись за эту борьбу «экспериментально», путем публичного развращения институток и гимназисток...

Позицию коммунистов характеризует хотя бы тот факт, что еще в данном году сам Ленин в ответ на мою статью усмотрел в этом великую заслугу коммунистов: «освобождение от буржуазного рабства». Да, освобождение, несомненно, но чего? — Половых органов, а не людей. (См. статью Ленина в «Под знаменем марксизма», № 2—3, 1922.)⁶

В итоге этой «политики» и всей обстановки молодое поколение начало жить половой жизнью раньше, чем по физиологическим условиям это можно делать безнаказанно, вольность его приняла здесь огромные размеры, эксцессы приняли массовый характер, преступления и злоупотребления — также, а в связи с этим — и половые болезни. Особенно огромная была роль в этом деле Коммунистических союзов молодежи, под видом клубов устраивавших комнаты разврата чуть не в каждой школе. Большое значение имели и «детские колонии», «детские приюты», «детские дома», где вольно и невольно дети развращались.

(Мудрено ли поэтому, что дети двух обследованных колоний в Царском Селе оказались сплошь зараженными гонореей. Летом этого года один врач рассказал мне такой факт: к нему явился мальчик из колонии, зараженный триппером. По окончании визита он положил на стол миллион рублей. На вопрос врача, откуда он взял деньги, мальчик ответил спокойно: «У каждого у нас есть своя девочка, а у девочки есть любовник — комиссар». Эта бытовая сцена довольно верно рисует положение дела.)

⁶ Речь идет об уже упоминавшейся выше статье В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 33). Это отклик на статью П. Сорокина «О влиянии войны...» («Экономист», 1922, № 1). Ленин писал: «Если г. Сорокину 92 развода на 1000 браков кажутся цифрой фантастической, то остается предположить, что либо автор жил и воспитывался в каком-нибудь настолько загороженном от жизни монастыре, что в существование подобного монастыря едва ли кто-нибудь поверит, либо что этот автор искажает правду в угоду реакции и буржуазии».

Представление о положении дел дают хотя бы следующие цифры. Девочки, прошедшие через распределительный центр Петрограда, откуда они распределяются по колониям, школам и приютам, почти все оказались дефлорированными, а именно из девочек до 16 лет таковыми было 96,7%; из девочек до 9 лет — 8%!! Цифры комментария не требуют.

Я специально занимался обследованием состояния молодого поколения в 1919—1920 гг. в Петрограде и его окрестностях. Картина вскрылась весьма тяжелая во всех отношениях. Жившее в годы анархии, в атмосфере войны, убийств, насилия, обмана и спекуляций молодое поколение естественно впитало в себя целый ряд привычек нездорового характера и обратно — не усвоило многих форм поведения, необходимых для здорового общежития.

В деревне дело обстоит лучше, но также малоутешительно.

Война и революция не только биологически ослабили молодежь, но развратили ее морально и социально.

Сходное, как мы видели, случилось и со взрослыми. Деградируя морально во многих отношениях, они, подобно молодому поколению, не избежали ослабления тормозов, сдерживавших половую вольность. Подтверждением сказанному служат цифры разводов и продолжительность браков, с одной стороны, сильное распадение семьи — с другой.

Процент разводов сильно повысился. В 1920 г. в Петрограде он достиг цифры 92,2 на 1000 браков — коэффициент необычный для Петрограда и превосходящий коэффициенты всех столиц Европы. (Соответственные цифры для Берлина равны 41,7, Стокгольма — 35,5, Брюсселя — 34,6, Парижа — 33,3, Бухареста — 28,7, Христиании — 24,9, Вены — 18,1.) Из каждых 100 расторгнутых браков 51,1 были продолжительностью менее одного года, из них 11% менее месяца, 22% менее двух месяцев, 26% — менее шести. Отсюда понятно, почему я называю современные браки в России «легальной формой нелегальных половых связей».

Множество семейных организмов распалось. Новые оказались хрупкими, непрочными и быстро исчезающими.

Словом, и в этой области мы видим обычные следствия войны и революции. Одним из результатов такой половой вольности является громадное распространение венерических болезней и сифилиса в населении России (около 5% новорожденных — наследственные сифилитики, около 30% населения заражены этой болезнью).

Рядом с этим количественным ростом преступности мы видим ее качествен- ный рост: переход от некровавых и несадических форм преступности к кровавым и зверским. Наблюдая гражданскую войну, борьбу сторонников власти с ее противниками, мы видим с той и другой стороны невероятные акты жестокости и садизма, редко имеющие место в обычных войнах. Люди озверели и свои жертвы убивали не просто, а с изощренными пытками (см. коллекцию таких фактов в однобокой книжке М. Горького «О русском крестьянстве»); прежде чем убить пленника, его подвергали десятку пыток: обрезали уши, вырезали у женщин груди, отрубали пальцы, выкалывали глаза, вбивали под ногти гвозди, отрезали половые органы, иногда закапывали жертву в землю, привязывали ее к двум согнутым деревьям и медленно разрывали, защемляли половые органы и т. д., и т. д.⁷ На наших глазах воскресло средневековье! Оно воскресло в факте коллективной ответственности. За преступления одного убивали десятки и сотни лиц, не имеющих к нему никакого отношения. За покушения на Ленина, Урицкого и Володарского были расстреляны тысячи людей, не имевших к ним никакого касательства. За одного «бандита» делалась ответственной вся его деревня и нередко сжигалась артиллерией целиком. За виновного члена семьи расстреливались последние. За выстрел в агента власти убивались десятки «заложников», сидевших в тюрьмах обширной России. Институт «заложничества» стал нормой, «бытовым явлением» нашей действительности... Поистине воскресли первобытные времена и нравы в 20 столетии.

Рост кровавой преступности сказался и на характере уголовных преступлений. Как только перестали круглые сутки граждане дежурить у ворот домов — такая повинность существовала в 1919—1920 гг., — сразу же начались в Петрограде, Москве и других городах массовые грабежи и убийства. В прошлую зиму ночью было опасно идти по улицам, не рискуя — в лучшем случае — быть раздетым. Кражи в квартирах резко поднялись. Причем — что важно — преступники не только грабили, но зверски убивали людей совершенно бесцельно, без пользы для целей грабежа...

⁷ Брошюра М. Горького «О русском крестьянстве» вышла в 1922 году в издательстве И. П. Ладьяжникова (Берлин). В Советском Союзе до последнего времени не переиздавалась. Недавно ее напечатал в сокращении журнал «Огонек» (1991, № 49). «Коллекция фактов» зверской жестокости времен гражданской войны, которую собрал в ней Горький, действительно ужасна. Но в целом Сорокин прав, называя книгу Горького однобокой.

Подобные факты, подтверждая рост кровавой преступности, лишний раз говорят о сильнейшей моральной деградации. Наконец, о том же говорят и многочисленные факты людоедства и даже убийств с целью пожирания убитого, имевшие место в этом году...

Голодовки бывали не раз в 19 веке в России, но людоедства не было, или оно носило совершенно единичный характер. Теперь мы дожили и до него. Причина его лежит не только в голоде, но в развинчивании всех моральных тормозов, вызванном войной и революцией.

С 1921 г., когда наметилось возвращение к нормальным условиям жизни, когда отпала гражданская война, появились и первые признаки морального оздоровления страны, стали оживать угасшие моральные рефлексы, а вместе с ними — и борьба за восстановление нравственности. В 1922 г. эта «реставрация» продолжалась и дала себя знать в ряде явлений: в уменьшающейся половой вольности, в попытках самого населения бороться активно с убийствами, кражами, грабежом, в растущей строгости моральной оценки взяточничества, спекуляции, обмана и т. д. Но это только начало... Нужны еще годы и годы, чтобы хоть сколько-нибудь залечить глубокие раны, нанесенные душе народа войной и революцией. А есть ряд явлений, которые могут быть исправлены только исчезновением молодого поколения, рожденного в грехе войны и революции!*

* Е. Д. Кускова и Петрищев нашли эту характеристику преувеличенной и выступили с возражениями. Увы! в возражениях они не опровергли ни одного факта, ни одной цифры и не противопоставили ничего кроме «протяженно-сложной словесности». Единственно что фактически Е. Д. Кускова пыталась оспаривать — это % сифилитиков. По ее мнению, % их с 2% довоенного времени возрос до 8—10%, а не до 30%. К сожалению, требуя от меня «источников», она сама не указала иного источника, кроме неизвестного «компетентного специалиста». Удовлетворю ее требование «источников». Цифры 30% сифилитиков и 5% рождающихся сифилитиками взяты мной из «П. правды». Таковы же цифры, даваемые проф. Г., специалистом, занимавшимся изучением этого вопроса. Что они не преувеличивают зло, это следует из того, что на съезде венерологов в 1922 г. в Петрограде фигурировали такие цифры в отношении венерической заболеваемости населения Петрограда, как 90% всего населения. Далее, в заседании, состоявшем из профессоров военно-медиц. академии и медиц. ин-та, где я читал доклад летом 1922 г., ни один из присутствовавших не нашел мои цифры преувеличенными. Даже в моск. «Правде» в августе—сентябре этого года в статьях по этому вопросу один из писавших давал цифры более высокие, чем г. Кускова и ее неизвестный «специалист». Я уж не говорю, что в Петрограде на эту тему я имел разговоры не с одним, а с рядом специалистов. Наконец, если в Риме после войны половая заболеваемость поднялась в 3—4 раза, то неужели же в России, с гражданской войной и без медицинской помощи, она поднялась во столько же раз, а не более?

Сказанное, полагаю, показывает, что мои источники куда серьезнее, чем «компет. специалист» моего оппонента.

Укажу заодно и другие источники цифр, приведенных в тексте этой главы. Цифры о преступлениях взяты из «Красной Москвы», кн. Васильевского о голоде (он большевик), из разных номеров «Правды», «Известий», «Крас. Газеты» и др. официальных источников, преуменьшающих, а не преувеличивающих их. Цифры преступности детей из № 1 журнала «Психиатрия и неврология» (1922 г.). Цифры о движении браков и разводов из V вып. «Материалов по статистике Петрограда» (изд. «Губ. Стат. Бюро» Петрограда). Цифры о % дефлорированных из источника Нар. Ком. Просв., который я не назову по понятным причинам, но что они верны — это, напр., может подтвердить М. Горький, которому эти цифры также известны. Картина состояния молодого поколения, лично мной изучавшегося в 1919—1921 гг., не только не преувеличена, но смягчена скорее. В докладе, прочитанном мной среди педагогов г. Петрограда, помогавших мне в собирании материала, эта картина не вызвала ни одного возражения. А они-то знают положение дел куда лучше, чем г. Кускова и Петрищев. Последний сам в России в «Новостях» писал о браках 11—13-летних детей как о современном бытовом явлении. Почему он теперь забыл об этом? Может быть, потому, что и эти браки он квалифицировал как «здоровое и не внушающее опасений явление». Но... едва ли кто согласится с ним в этой оценке, кроме российских Кандидов.

В виде возражений далее мои оппоненты противопоставляют мне отдельных лиц или отдельные школы, например, «трех дочерей В. М. Чернова» и «Алферовскую гимназию». Не отрицаю, что такие лица и школы есть, но ведь я говорю не об индивидуальной, а об общей картине. Смешно поэтому противопоставлять общим лицам... «трех неиспортившихся дочерей В. М. Чернова».

Настаивая на этом повышении — и очень резко — морального разложения, я вместе с тем категорически протестую против нелепого толкования моих слов, приписанного мне г. Петрищевым, что будто бы, по моему мнению, в России не осталось ни семьи, ни брака и царит универсальный разврат. Предыдущие строки говорят о сильном моральном распаде. Насколько он силен — указывают цифры, но... только наивный или неграмотный читатель может истолковать их так, как истолковал г. Петрищев. За такую нелепость я не отвечаю и к ней не имею отношения. Я был бы рад, если бы мои оппоненты убедили меня в том, что я преувеличиваю деградацию. Но, увы, кроме «словесности» и «трех дочерей В. М. Чернова», они ничего не смогли противопоставить. Это багаж очень и очень... легкий. Не следует быть излишним пессимистом, но нехорошо быть и «блаженным россиянином», теперь еще готовым в кровавой революции и в зверстве видеть... прекрасную Дульцинею Тобосскую. Что извинительно для Дон-Кихота и Кандида, то неизвинительно для публицистов, выступающих с опровержениями.

7. Народное просвещение и наука

Казалось бы, в чем, в чем, а в этой области уж никак нельзя упрекнуть революцию и Советскую власть. Не было ли объявлено *inibi et orbi*, что в области просвещения за эти годы сделаны чудеса, что безграмотность ликвидирована, что образование народа поднялось на громадный уровень, что власть во главе с просвещенным Луначарским (у нас его называют Луна-паркским и Лупанарским) обнаруживает исключительно заботливое отношение к ученым, покровительствует науке, искусству и интеллектуальному творчеству! Не посылались ли чуть ли не ежедневно по радио об этом широкоэшелонные рекламы: «всем, всем, всем». Не писали ли об этих чудесах десятки корреспондентов! В каждом доме — «клуб», в каждой избе — «читальня», в каждом городе — университет, в каждом селе — гимназия, в любом поселке — народный университет и по всей России сотни тысяч «внешкольных», «дошкольных» и «подшкольных» образовательных учреждений, приютов, очагов, детских домов, садов и т. д. и т. д. — такова картина, которая нарисована была иностранцам. Казалось бы, дело так и обстоит. Не значит ли в «Статистическом ежегоднике» за 1919/20 г., что в России было 177 высших школ с 161 716 учащимися, 3934 школы II ступени с 450 195 учащимися, школ I ступени с 5 973 988 учениками; сверх того 1391 профессиональная школа с 93 186 учащимися, 72 школы для дефективных с 2391 учащимся, 80 рабочих и народных университетов и факультетов с 20 483 слушателями, плюс 2070 дошкольных учреждений с 104 588 воспитанниками, 2936 детских домов с 141 890 детьми, 46 319 библиотек, читален и клубов, 28 291 школа для ликвидации безграмотности, 3479 народных домов, 263 студии, 534 музея и выставки!

Какое богатство! Чуть не вся страна превращена в одну школу и университет. По-видимому, она только и делала, что училась, обеспеченная во всем, в том числе и в преподавательских силах!

Нужно ли говорить, что все это фикция, одно бумажное изобретательство, невозможное дедуктивно для голодной страны и не соответствующее сути дела фактически.

В действительности за эти годы произошла не «ликвидация безграмотности», а «ликвидация грамотности», не расцвет школы, а ее разрушение, не прогресс науки, а ее декаданс, не культурно-образовательный подъем, а деградация.

Объяснимся.

В 1918—1919 г. власть действительно в количественном отношении размахнулась. На бумаге было открыто много школ, клубов, университетов и т. д. Но только на бумаге. Фактически дело свелось к устройству под именем «университетов» ряда митингов с партийными ораторами, говорившими о «текущем моменте», разбавленными 2—3 преподавателями гимназий, обучавшими начаткам арифметики и грамоты. Сходный характер носили и другие просветительные учреждения. В большинстве случаев и этого не было, а просто ограничивалось дело открытием школы на бумаге или устройством «митинга» с «танцдолькой» или спектаклем. Подлинная картина рисуется хотя бы из следующих официальных данных, относящихся к московским высшим школам, обеспеченным преподавательскими силами. В 1917 г. здесь в университете, технических, сельскохозяйственных и коммерческих высших учебных заведениях числилось 34 963 учащихся и кончило из них 2379, в 1919 г. там же числилось 66 975 учащихся, вдвое больше, а кончило — 315, т. е. в 8 раз меньше...

Что это значит? Это значит, что 66 975 уч. — фикция. И в Москве, и в Петрограде в 1918—1920 г. аудитории высших школ были пусты. Обычная норма слушателей у рядового профессора была 5—10 человек вместо 100—200 дореволюционного времени, большинство курсов не состоялось «за неимением слушателей».

Мудрено ли, что кончило из 66 000 315. В статистических же данных в это время мы читали о десятках тысяч студентов в университетах и других высших учебных заведениях. Читали и удивлялись, почему их нет в аудиториях и не видно в здании школы!

Так же «блестяще» обстояло дело и во всех других школах. Сейчас эти фикции рассеялись. Почитайте официальные газеты (других у нас нет) — и чуть не в каждом номере начинаете встречать отчаянные голоса о полном разрушении школы.

Фактическая картина такова.

В начале этого года (1922) был составлен годовой бюджет государства. Он исчислен был в 1 800 000 000 зол. рублей. Из него на военное дело ассигновано было 1 200 000 000 рублей (мы не милитаристы), на все остальное 600 000 000 рублей, из коих на все дело просвещения отводилось... 24 000 000 рублей. Из 3-миллиардного бюджета в 1923 г. на народное просвещение уходило около 400 000 000 настоящих золотых рублей, а из 1 800 000 000 бюджета теперь 24 000 000 и то мнимых золотых

рублей. Эта цифра — и абсолютно, и относительно — рисует подлинное положение дела ясно... Ввиду колебания советских денег из годового бюджета ничего не вышло, но пропорция средств государства, тратимых на образование, осталась близкой к этой сумме.

Не будет удивительным поэтому, что в феврале этого года власть решила закрыть все высшие учебные заведения России, кроме пяти на всю страну. Только энергичное вмешательство профессуры помешало осуществить эту радикальную «ликвидацию высшей школы».

Поистине «догорели огни, облетели цветы». Сейчас нет даже фикции для саморекламиривания власти как великого просветителя России. «Возвышающий обман» кончился. Реальная же проза такова. Сам Луначарский в октябре 1922 г. признал, что число лиц, окончивших высшие школы, сократилось на 70%, средние на 60%, низшие — на 70%.

Низшая школа в 70% не существует. Здания школ, не ремонтировавшиеся за эти годы, развалились. Нет освещения. Нет топлива. Нет ни бумаги, ни карандашей, ни мела, ни учебников, ни книг. Нет и учителей. Эти «мученики революции», не получавшие по 6—7 месяцев тех грошей, на которые прожить абсолютно нельзя, частью вымерли, часть поступила в батраки, часть стала нищими, значительный процент учительниц... проститутками, а часть счастливых перешла на другие, более хлебные места. В ряде мест вдобавок крестьяне неохотно дают детей в школы, так как «там не учат Закону Божию». Вот подлинное положение дела. Если бы вы, как я, прочли ряд конфиденциальных правительственных докладов, из них вы получили бы кошмарную картину. Власть блестяще провела «ликвидацию грамотности». Молодое поколение сельской России должно было бы вырасти совершенно безграмотным. Если это случилось не вполне, то не в силу заслуг власти, а в силу проснувшейся в народе тяги к знанию. Она заставляет крестьян своими силами помогать беде кто как может: в ряде мест они сами приглашают профессора, учителя в село, дают ему жилье, питание и детей для обучения, в других местах таким учителем делают священника, дьячка и просто грамотного односельчанина. Эти усилия населения мешают полной ликвидации грамотности. Не будь их, власть осуществила бы эту задачу блестяще. Сейчас, как известно, все почти низшие школы лишены субсидий от государства и переведены на «местные средства», т. е. власть не стыдясь лишила всю почти низшую школу всяких средств и предоставила дело населению. На военное дело у нее есть средства, есть средства на богатые оклады спецов, на подкуп лиц, газет, на пышное содержание своих дипломатических агентов и на финансирование «Интернационала ном. 3», а на народное образование — нет! Больше того. Ряд школьных помещений сейчас ремонтируют для... открываемых винных лавок!

Поистине недурные ревнители народного просвещения! Через три года история сдула с них все фальшивые рюмьяна и фиговые листки, и теперь они стоят оголенные...

Если молодая Россия будет не вполне безграмотной, то только благодаря своему населению. Пока же уровень грамотности на нашей родине значительно понизился. Sic transit gloria mundi⁸.

Средняя школа? Ее положение, пожалуй, еще печальнее. Над ней так много экспериментировали, что от этих экспериментов, помимо других причин, она не могла не развалиться. В самом деле, с 1918 г. каждое полугодие приносило новую радикальную реформу. Не успели еще очередную реформу реализовать, как из бесчисленных канцелярий Наркомпроса и Главпрофобра вылетала новая реформа, аннулирувавшая предыдущую. И так все пять лет.

В итоге остатки педагогического персонала были сбиты с толку и не знали, что делать.

Далее, в силу тех же общих причин: отсутствия денег, ремонта, топлива, учебных пособий, преподавателей, как и учителей низших школ, обреченных на голод, частью вымерших, частью разбежавшихся, — средняя школа на те же 60—70% не существует. Как и в высшей школе, здесь сверх того было ничтожное количество учащихся. В условиях голода и нужды дети 10—15 лет не могли позволить себе роскошь учиться: приходилось добывать кусок хлеба продажей папирос, стоянием в очередях, добычей топлива, поездками за провизией, спекуляцией, службой и т. д., и т. д., ибо родители не могли содержать детей; последним приходилось помогать семье.

Немало содействовала падению среднего образования и практическая бесполезность его в России за эти годы. «Зачем учиться, — ответил мне один из учеников, вышедший из школы, — когда вы, профессор, получаете паек и жалованье меньше, чем получаю я». (Он поступил в «Стройсвирь» и получал там действительно лучший паек и содержание.)

⁸ Так проходит мирская слава (лат.).

Мудрено ли, что в таких условиях те немногие, которые кончали школу II ступени, выходили довольно безграмотными. В алгебре дело не шло дальше квадратных уравнений, в истории знания сводились к истории октябрьской революции и партии коммунистов, всеобщая и русская история выключены были из преподаваемых предметов. Когда такие окончившие поступали в высшую школу, то значительная часть из них попадала на «нолевой факультет» (т. е. лиц, совершенно неподготовленных и скоро выбывавших из школы), для остальных приходилось образовывать подготовительные курсы. Не мог не понизиться в силу этого и общий уровень студентов. В 1921—1922 гг. большинство средних школ было закрыто. Остальные — за небольшими исключениями — переведены на «местные средства», т. е. лишены государственной субсидии и возложены на плечи населения.

«Бесплатное обучение» отошло в область предания. За учение введена плата в 40—60 руб. золотом (сейчас около 300—400 миллионов новых руб.), совершенно недоступная населению.

Дело несколько можно было бы улучшить открытием частных школ. Но это не разрешается. Власть поистине становится «собакой на сене», которая и сама не ест, и другим не дает.

Таковы итоги в этой области. И здесь полное банкротство. Шуму и рекламы было много, результаты те же, что и в других областях. Разрушители народного просвещения и школы — вот объективная характеристика власти и в этом отношении.

Перейдем к высшей школе. Когда-то аудитории университетов и других высших учебных заведений были полны, теперь они сильно пустуют. Вместо 177 высших учебных заведений, фиктивно существовавших в 1919—1920 годах, теперь число их пало до 24—27 на всю Россию, по всем отраслям. Закрылись не только все вновь открытые «университеты», но и часть существовавших раньше, например, Ярославский лицей, Стебуровский институт, Бестужевские курсы, II университет и т. д.

И в оставшихся учебных заведениях ученая и учебная жизнь не кипит, как раньше, а просто «агонизирует».

Это объясняется, во-первых, отсутствием средств. «Меценаты просвещения» не отпускают хотя бы необходимый минимум средств на высшее образование. Благодаря этому почти все высшие институты не отапливались в эти годы. Мы все читали лекции в нетопленных помещениях. Чтобы было теплее, выбирались небольшие аудитории. Напр., все здание Петроградского университета пустовало. Вся учебная и ученая жизнь сложилась и ютилась в общежитии студентов, где был ряд небольших аудиторий. Теплее — и для большинства лекций не тесно.

В силу того же обстоятельства здания не ремонтировались и сильно разрушены. Вдобавок в 1918—1920 гг. не было света. Лекции читались в темноте; лектор и слушатели не видели друг друга. Было счастьем, если иногда удавалось раздобыть огарок свечки. В 1921—1922 гг. свет был. Отсюда легко понять, что такой же недостаток был и во всем другом: в приборах, в бумаге, в реактивах и лабораторных принадлежностях; о газе забыли думать. О животных для опытов (кроликах, морских свинках, собаках и т. д.) — тоже. Зато в человеческих трупах недостатка не было. Одному ученому ЧК даже предложила «для пользы науки» доставку трупов только что убитых. Первый, конечно, отказался. Не только у рядового ученого, но даже у таких мировых ученых, как акад. И. П. Павлов, собаки умирали от голода, опыты приходилось делать при свете лучины и т. д. Словом, материально высшие школы разрушались и не могли нормально функционировать, не получая минимального минимума средств. Понятно, все это делало занятия весьма трудными и малопродуктивными.

В 1921/22 учебном г. в некоторых школах стало чуть-чуть лучше; появился по крайней мере свет. Для нас, русских ученых, и это слишком много.

Столь же печальным было положение профессуры и студентов. Самыми ужасными в этом отношении годами для профессуры были 1918—1920 гг. Получая ничтожное вознаграждение, и то с опозданием в три-четыре месяца, не имея никакого пайка, профессура буквально вымирала от голода и холода. Смертность ее повысилась в 6 раз по сравнению с довоенным временем. Комнаты не отапливались. Не было ни хлеба, ни тем более других «необходимых для существования» благ. Одни в итоге умирали, другие не в силах были вынести все это — и кончали с собой. Так покончили известные ученые: геолог Иностранцев, проф. Хвостов и еще кой-кто. Третьих унес тиф. Кой-кого расстреляли. Моральная атмосфера была еще тяжелее материальной. Немного профессоров найдется, которые не были бы хоть раз арестованы, и еще меньше, у кого несколько раз не производились бы обыски, реквизиции, выселение из квартиры и т. д., и т. д. Прибавьте к этому многообразные «трудовые повинности» в форме пилки дров, таскания тяжелых бревен с барж, колки льда, дежурства у ворот. Для многих ученых, особенно пожилых, все это было медленной смертной казнью. Так погибли акад. Шахматов, акад. Тураев и многие др. В силу

всех этих условий ученые и профессора стали вымирать с такой быстротой, что, напр., заседания совета университета превращались в перманентные «почитания памяти». На каждом заседании оглашались 5—6 имен отошедших в вечность. Раскройте VI и VII книги «Русского исторического журнала» — и вы увидите, что они почти сплошь состоят из некрологов.

Такое положение дел заставило наконец власть смиловаться. После долгих хлопот она согласилась дать «академический паек», вначале мало отличавшийся от красноармейского и потом уже несколько улучшенный.

С этого момента материальное положение профессуры улучшилось. В настоящее время этот паек состоит из: 40 фунтов хлеба черного в месяц, 4 фунтов масла, 15 фунтов селедок (или иногда мяса), 12 фунтов крупы, 6 фунтов гороху или фасоли, $2\frac{1}{2}$ фунтов сахара, четверти фунта чая, 2 фунтов соли, раньше еще давали 1 фунт мыла и табак, теперь отменили. Когда такой паек выдавали регулярно — что, увы, часто не имело места, — ученые чувствовали себя вполне довольными, особенно малосемейные; многосемейным приходилось хуже. (Увы! сейчас — в декабре, — оказывается, паек снова уменьшили. Сахар и чай выкинули совсем, а масло редуцировано до $\frac{2}{3}$.)

Этим пайком жило и живет до сих пор огромное большинство ученых. Денежный гонорар, получаемый за лекции, так ничтожен, что в счет не идет. Только с апреля 1922 г. власть сочла необходимым дать сверх пайка еще «денежное довольствие», колеблющееся сейчас от 125 до 25 мил. рублей в месяц, в зависимости от категории ученого.

Громадное облегчение с 1921—1922 гг. составила далее великодушная помощь ученых других стран, особенно Чехословакии (пользуюсь случаем выразить им и от себя, и от имени своих коллег глубокую благодарность), а также помощь АРА, Нансеновской миссии и Христианского союза молодежи. Благодаря всему этому ученые РСФСР, по крайней мере столицы, сейчас имеют минимально физиологический паек, необходимый для покрытия расходуемой энергии. Минимальный — не выше. (Сейчас и это под сомнением!) И сейчас «уровень жизни» русского ученого, кроме «спецов», не выше, а ниже «уровня жизни» западноевропейского пролетариата... Но прожитые годы не прошли бесследно. Они надорвали силы многих, поэтому вымирание продолжается и сейчас, хотя в более медленном темпе...

Что касается «моральной атмосферы», то она по-прежнему тяжела. Хотя террор и ослаб, но весьма относительно. Год тому назад еще по так наз. «Таганцевскому делу» расстреляно было более 30 ученых, в том числе такие величины, как лучший знаток русского госуд. права проф. Н. И. Лазаревский и один из крупнейших поэтов России Н. Гумилев. Не прекращаются обыски и аресты. Теперь к этому присоединилась массовая высылка профессуры, сразу выбросившая за границу около 100 ученых и профессоров. Власть «заботливо печется об ученых и науке»...

Еще более ужасным было и остается материальное положение студенчества. В 1918—1920 гг. число студентов было фактически ничтожным. В Петроградском университете за эти годы едва ли было более 300—400 фактически занимавшихся студентов, несмотря на то, что в 1919—1920 гг. в него были влиты Высшие женские курсы (Бестужевские) и Психоневрологический институт. Студенты ничего не получали и принуждены были добывать пропитание работой на стороне...

В 1920—1921 гг. положение немного улучшилось. Значительная часть студентов стала получать паек от $\frac{1}{2}$ ф. до 1 ф. хлеба в день плюс 1 ф. сахару, 5 ф. селедок, 1 ф. соли, 5 ф. крупы и $\frac{1}{2}$ ф. масла на месяц. На это прожить трудно, но жили. Часть занималась заработками на стороне. В 1921—1922 гг. этот паек чуть-чуть был улучшен, но зато к концу 1921 г. был оставлен только для коммунистов плюс сочувствующих им. Остальная часть студентов была лишена его вовсе и зарабатывала пропитание — летом выгрузкой тяжестей в порту в Петрограде, службой и другой физической и умственной работой. Но не все могут ее найти, и поэтому положение большинства стало бы отчаянным, если бы на помощь не пришел Христианский союз молодежи, устройством бесплатных обедов они помогли и помогают значительно.

С этой осени положение студенчества становится еще более серьезным. Все, кроме коммунистов, не только перестают получать что-либо, но должны платить за право учения плату — около 500 миллионов рублей, — недоступную 97% студентов.

Таков итог «просвещенной» политики власти в этой области.

Еще хуже моральные условия студентов-некоммунистов. Власть смотрела и смотрит на них как на врагов. Аресты и обыски студентов идут пачками. Сейчас к ним присоединились высылки внутрь и вне России. Вдобавок и студенчество, и профессура отданы во власть «коммунистическим» ячеекам. Правда, те и другие героически борются с ними, но от этого не становится легче. В 1920—1921 гг. власть ввела «комиссаров» в высшие учебные заведения. Эти безусые мальчишки нагло отбирали печати от ректоров — мировых ученых, — вмешивались в их действия,

отменяли их акты, словом — показывали свою власть. Наблюдая подобные сцены, когда такой безусый хулиган давал выговор старику — крупному ученому, — трудно было сдержаться, не протестовать и не испытывать смертельной боли... Но к протестам власть оставалась глухой, а чаще всего отвечала на них новыми арестами. И, однако, все эти меры насилия не сломали воли и силы духа и профессуры, и студенчества. Те и другие с героизмом отстаивали свое достоинство и права, науку и культуру. Отстаивали, платились за это и продолжают платиться.

Теперь пару слов о составе профессуры и студенчества. До 1920 г. власть была занята другими «фронтами». Отпадение гражданской войны позволило ей открыть борьбу с высшей школой и усиленно «реформировать» ее и по характеру наук, и по составу профессуры и студентов.

Уже с 1919 г. началась эпопея «реформ» и «обновления» высшей школы. Как и в средней, здесь каждое полугодие приносило новую реформу и усиливало развал. Было бы долго рассказывать обо всем этом. Основное задание в изменении преподавания сводилось к «коммунизации». В специальном декрете в 1920 г. было объявлено, что «свобода научной мысли» — предрассудок, что все преподавание должно вестись в духе марксизма и коммунизма как последней и единственной истины. Профессора и студенты ответили на это протестом. Тогда власть подошла к делу иначе. Введены были шпионы, обязанные следить за лекциями, а вслед за тем решено было выгнать особенно непокорных профессоров и студентов. Прошлой осенью ряд профессоров (в том числе и пишущий эти строки) были отстранены от преподавания и переведены в «исследователи», вместо них были назначены «красные профессора», т. е. безграмотные люди, не имеющие ни трудов, ни стажа, но верные коммунисты; уволены были выборные ректора и деканы, вместо них назначены были в качестве ректоров и членов президиума те же коммунисты, не имеющие никакого отношения — за немногими исключениями — к науке и академической жизни. Устроен был специальный Институт красной профессуры для фабрикации в шесть—восемь месяцев «красных профессоров». Но и этого оказалось мало. Тогда власть перешла к оптовой высылке из России и внутрь России неугодных ей ученых. Этой осенью, как сказано, выслано больше 100 профессоров, в числе коих оказался и пишущий эти строки.

Сходное было проделано и со студенчеством. Уже в прошлом году, а особенно теперь, изданы были правила о приеме студентов. Согласно им в высшую школу могут поступать только лица, командированные «комячейками», «партией коммунистов», «партшколами», «рабфаками» и «красными профсоюзами», т. е. только коммунисты и сочувствующие им. Остальная молодежь может попасть только в том случае, если останутся незанятыми вакансии и если внесена будет плата за учение в 500 миллионов руб. в год! Наиболее выдающиеся лица из студентов-некоммунистов исключены либо высланы — внутрь или вне России.

Как видно отсюда, власть весьма серьезно принялась за «чистку школы». Надо же ей с кем-либо воевать. Раз нет войны настоящей, приходится воевать со школой.

Именно сейчас достигла апогея эта борьба «на идеологическом фронте». Основной и единственной целью высшей школы признана подготовка правых коммунистов и последователей религии Маркса—Ленина—Зиновьева—Троцкого. Словом, разгром учинен полный, особенно гуманитарных факультетов. Следует думать, что он принесет «блестящие» плоды русскому просвещению и науке!

Такого разгрома история русской науки и мысли не знала. Эпоха Магницкого, одна из самых темных эпох в нашей истории, — идеал по сравнению с нашим временем. Она идеал и по сравнению с той безграничной опекой мысли, которая — особенно сейчас — проводится нашими «ревнителями свободы». Все, чуть-чуть не согласное с догмой коммунизма, преследуется. Газеты, журналы, книги допускаются только коммунистические или по вопросам, не имеющим отношения к социальным проблемам. (Из газет я узнал, что власть уничтожила и мою книгу «Голод как фактор», печатавшуюся в России.)

Введены цензурные комитеты, хоронящие все инокомыслящее. Цензура времен Николая I — ничто по сравнению с современной. Чтобы дать представление о том, что она не разрешает, достаточно привести один-два примера. У одного беллетриста в рассказе, напр., вычеркнули фразу: «Сестра милосердия стояла в непринужденной позе и курила папиросу». На вопрос, почему же вычеркнули фразу, цензор ответил: «Красная сестра милосердия не может стоять в непринужденной позе в порядке революционной дисциплины... Переделайте ее в белую сестру милосердия, тогда разрешу». Ныне высланному профессору Кизеветтеру запретили печатание абсолютно академической рецензии о последних работах проф. Платонова и Преснякова по русской истории. Причиной запрета было то, что автор «хвалит эти работы, а коммунист проф. Покровский ругал их, значит, хвалить нельзя».

Спасает положение дела только безграмотность цензоров, порой допускающих действительно вредное для коммунизма... Опека... опека... и опека... школы, печати, лекций, публичных лекций и дебатов... Рядом с этим подкуп лиц и писателей... «Наиболее непокорных из вас вышлем, остальных купим» — такова формула политики власти сейчас. И покупают, платят сейчас, напр., по 400—600 мил. за лист беллетристики, лишь бы писал в угодном для власти духе... Писатели «Божьей Милостью» на это не пойдут, псевдописатели идут: есть-то надо. Не будем кидать в них камни. Такова забота власти о науке, просвещении и духовном творчестве. Делается все, чтобы разгромить остатки сил и ценностей!

Но... велика сила жизни... Она ломает все препоны. Несмотря на все эти меры гасителей Духа — он живет, творит и собирается жить.

Тяжелы условия жизни студенчества, и все же оно каким-то чудом умудряется заниматься. Не так, как раньше, в довоенное время, но все же много, очень много для нашего времени. Жажда знания — настоящего — огромна, и она творит чудеса. Даже рабфаки и значительная часть коммунистов, попав в высшую школу, вкусив «от Духа Свята», быстро «линяют» и становятся серьезными работниками. И здесь власть предполагает, а судьба располагает.

Есть жажда знания, воля к знанию и энергия его получить, защищать и охранять, несмотря на все.

Больше того. В итоге бесцеремонного насаждения правительственной идеологии коммунизма результаты получаются обратные. Вместо интернационализма студенчество охвачено сейчас чувством национализма. Вместо коммунизма — идеологией индивидуализма, собственности и антикоммунизма. Вместо атеизма и материализма — идеализмом и религиозностью. Вместо сочувствия к власти — презрением к ней и ненавистью.

То же и среди ученых. Если в 1918—1919 гг. их работа замерла, то с 1921—1922 гг. она снова возобновилась. Для русских условий то, что делают русские ученые сейчас, очень много. Выходит, несмотря на рогатки цензуры, ряд трудов, печатается ряд журналов, начали работать научные общества, устраиваются съезды — словом, научная работа не замерла... И не замрет... Не замерло и книгоиздательство. Вопреки всем препятствиям книги все же выходят, и среди них немало антикоммунистических. Если в них и не все сказано *expressis verbis*⁹, то читатель понимает теперь и намеки. И что удивительно! Книги стоят несколько миллионов экземпляров, но раз книга дельная, а не набившие оскомину творения Маркса и гг. коммунистов, она раскупается нищей страной... Многие голодают телесно, чтобы не голодать духовно...

Дух страны жив еще, несмотря на его удушение властью. И если эта задача ей не удалась до сих пор, то тем более не удастся теперь. Больше того, чем сильнее она будет вгонять принудительно свою «догму» в голову населению, тем меньше будет иметь успеха. Даже и молодые коммунисты не оправдывают вполне ее надежд. Кто знает механику социальных процессов — тому это понятно...

Что касается, наконец, множества дошкольных и внешкольных учреждений, то об них много говорить не приходится. Они почти все перестали существовать. Нет больше ни «народных университетов», ни «клубов» (вместо них открыты в большом количестве игорные клубы), ни библиотек, составленных в свое время из конфискованных книг, ни детских колоний, детских очагов, приютов, садов и домов. «За отсутствием кредитов» почти все они закрыты, дети вышвырнуты на улицы, библиотеки либо расхищены, либо не функционируют, народные университеты умерли... История умеет смеяться, и временами очень ехидно... Впрочем, для «втирания очков» и «парада» перед наивными иностранцами кое-что, специально с этой целью, имеется... Кто будет изучать русскую жизнь из окон отеля, купе вагона и со слов любезных с иностранцами официальных «гидов», может написать очередную благоглупость на эту тему — одну из многих, которые нам пришлось читать там с горькой улыбкой...

Я не жалею о закрытии этих учреждений, особенно детских. Не жалею потому, что закрытие означает уничтожение фабрик, калечивших детей физически и духовно, подготовлявших из них больных, сифилитиков и преступников. Этого «добра» и так у нас много. Не беда, если его будет поменьше.

То же *mutatis mutandis*¹⁰ могу сказать и о других учреждениях, носивших громкие имена, совершенно не соответствовавшие их сущности...

Теперь вместо всего этого власть открывает кабаки. Это название более подходит к закрытым учреждениям. Оно правильнее характеризует и власть как «просветителя». «Кабатчики» и «физические и духовные отравители народа» — это звучит адекватно. А я всегда предпочитаю адекватность «нас возвышающему обману».

В заключение предлагаю г. Горькому, Барбюсу, Б. Шоу и многим другим *intellectueles* проверить правильность сказанного, раз, а проверив и найдя все верным,

⁹ Решительно, прямо (*лат.*).

¹⁰ С определенными изменениями (*лат.*).

подумать и ответить себе, не играли ли они роль наивных дураков или вредных идеалистов, распевая гимны «вождям коммунизма»? Не причинили ли они ряд объективных зол, исходя из высоких субъективных мотивов? Не ввели ли они в заблуждение многих и многих, веривших им, когда они гасителей духа возводили в ранг «освободителей человечества», антропидов — в сверхчеловечески, проходимцев истории — в гениев, темных дельцов — в вождей нового мира?

Серьезно подумать об этом — долг каждого честного и уважающего себя писателя.

8. Религиозная жизнь страны

И здесь объективные результаты революции получились как раз обратные тем, которые она ставила в лице коммунистической власти. Вместо падения религиозности и «религиозных суеверий», в общем и целом произошел подъем их... Вместо смерти религии и церкви — их оживление и воскресение... Кто знает историю революций, тот не удивится этому результату. Не то ли же самое произошло хотя бы во время и после Английской революции 17 века, в течение и после Французской революции 1789 г.? Сходное происходило и раньше при революциях, кроме тех, которые кончались гибелью народа... Тогда подъема религиозности могло и не быть и часто не было.

Таков новый «парадокс» истории...

В самом деле, разве не странно, что огромная работа, направленная на уничтожение «религиозного мракобесия», громадные усилия, сделанные революцией в направлении разрушения церкви и насаждения «религии разума», дают как раз обратные результаты? Однако это так... И странным такое явление покажется только для тех псевдопросвещенных дилетантов, которые в религии видят одни суеверия, в церкви — институт, созданный для эксплуатации народа, а социальную роль религии сводят к «одурманиванию народа жрецами в интересах правящих классов»... Если же в религии видеть институт, появившийся органически с первых времен человечества и существующий до сих пор, если понять, что религия и церковь — аппараты, необходимые для всякого здорового общества, если учесть, что они — одни из могучих средств «социального контроля», если роль религии рассматривать как роль могучей силы, создающей, укрепляющей и расширяющей человеческую солидарность, представляющей одну из основных связей, скрепляющих массу индивидов в одно целое, делающей возможным сохранение «коллективного единства народа», его лица, его истории и жизни, — а все это так и обстоит в действительности, работы Ф. де Куланжа, Кидда, Дюркгейма, Бугле, Элвуда и др. нам это показали ясно, — то будет вполне понятно, почему революция, не кончающаяся гибелью народа, влечет подъем религиозной жизни последнего...

Этот подъем (*horribile dictu*¹¹, гг. мнимые «ура-рационалисты») представляет один из важных символов оздоровления народа от кризиса. Он знаменует, что общество, дезорганизованное революцией, где все связи, скреплявшие его, порваны, единство разрушено, снова оживает, что оно снова объединяется и сплачивается из «рассыпанной храмины» в живую единую целостность, что в нем снова воскресают подлинно гуманитарные формы поведения и взаимоотношений его членов и умирают звериные виды взаимоотношений, развязанные революцией... Словом, это означает, что человек для человека снова становится богом, а не волком, как при революции.

Раз огромна разрушительно-биологическая и озверяющая роль революции — более сильно должно действовать и противоядие в виде религии, если народ не погибает от кризиса.

Отсюда — подъем религиозности при и после революций, не кончающихся гибелью общества.

Если этого «симптома выздоровления» нет, это один из верных признаков декаданса общества.

К счастью, он налицо в современной России. Вкратце положение дела здесь таково.

Всякому, знакомому с религиозной жизнью России до революции, известно, что православная церковь обладала очень многими дефектами. Синод был департаментом правительства, священники — в значительной мере чиновниками-бюрократами, приход — простой административной единицей, паства — массой, отданной в опеку духовных чиновников и бюрократически объединенной в приходы. Живой религиозной связи паствы друг с другом и с духовенством почти не было; живого духа было мало... Перед нами было «ведомство православного исповедания», а не действительная православная церковь...

Грянул гром революции. После октябрьского переворота пришла сильнейшая атеистическая пропаганда, а вместе с ней — и отделение церкви от государства, и

¹¹ Страшно сказать (*лат.*).

гонения на веру, церковь и духовенство... Не будь последних явлений, неизвестно, какое течение принял бы ход дел. Отделение и гонения решили вопрос... Церковь, приходы и духовенство лишены были всякой государственной субсидии. Тихое и сытое житье священников кончилось... Им пришлось бедствовать, пахать, косить, работать физически — словом, попасть в положение рядового крестьянина, если даже не худшее. Отныне перед пастой был уже не чиновник, не «жирный поп», а свой брат труженик, с одной стороны, преследуемый мучник — с другой, духовный пастырь и советник — с третьей. Это быстро повело к замене прежней формально-бюрократической связи священника и паствы связью живой, действительно религиозной. С другой стороны, лишение церквей и приходов всяких государственных субсидий заставило самих прихожан «раскошеливаться» и самим им заботиться о «благолепии храмов», о покрытии расходов и вообще о поддержании религиозной жизни и культа. Раньше все это было чужим делом, выполнялось помимо паствы... Теперь хозяйном оказалась она сама... Такие расходы, заботы и труды волей-неволей связали членов прихода друг с другом, с духовенством и с церковью. Чужое дело стало своим. Приход из административной единицы стал живым религиозным единством. С третьей стороны — ужасы и бедствия были столь громадны, что «душа» нуждалась в сверхчеловеческом утешении, успокоении и облегчении... Где же его найти широкой массе как не в церкви и религии! Наконец, сделали свое дело и религиозные преследования. Мученичество, как и кровь, как известно, скрепляет не только палачей, но и жертвы... Все это вызвало и не могло не вызвать оживление религиозной жизни в первые же годы революции. Неудачи же последней, ставшие понятными и массам в 1920—1922 гг., еще более усилили этот подъем.

В итоге, кроме части молодежи, гл. обр. городской, и то уменьшающейся с каждым месяцем, это оживление охватило все классы населения, не исключая и пролетариата; сильнее женщин, чем мужчин, сильнее стариков и пожилых, чем молодежь. На глазах воскресла живая душа православной церкви.

Это проявилось в сотне симптомов. В то время как все и вся разваливалось, церкви ремонтировались. В то время как слушатели коммунистических митингов таяли, число молящихся в церкви, сильно упавшее в 1917—1918 и даже в 1919 гг., все более и более росло. Ряд церквей стали полны народом. Крестные ходы стали собирать по 40—50 тысяч населения, а в Петрограде и Москве — свыше сотни тысяч. Из 700 000 населения Петрограда летом 1921 г. в церковной процессии участвовало по меньшей мере 200—250 тысяч. Накануне были коммунистические шествия 1 мая. Как они были жидки, безжизненны и ничтожны по сравнению с этой лавиной!! Контраст был весьма знаменательным.

Подъем религиозности охватил и почти все слои русской интеллигенции — в массе традиционно-атеистические или враждебные церкви. Часть — верхи — стали мистиками. Ряд профессоров — Лосский, Гревс, Карсавин и др. — церковными проповедниками. Другие, не впадши в мистицизм, поняли здоровую социальную роль религии и ее ценность. Третьи стали дорожить ею как средством сохранения социальной связи и исторического лица. Четвертые стали на ее сторону из жалости, из симпатии к мученичеству. Пятые — из ненависти к большевикам. Не представляет отсюда исключения и студенчество, традиционно атеистическое. Когда 3 февраля этого года мне пришлось говорить речь на акте университета перед 3—4-тысячной аудиторией студентов всех высших учебных заведений Петрограда, когда я в ряду других «контрреволюционных» задач молодого поколения говорил о необходимости религиозного отношения к жизни, о социальной роли религии, о глупости «ура-атеизма» и т. д., то и в этих частях речи, как и в других, овации аудитории прерывали меня через каждые две-три фразы. За такую речь шесть лет назад жестоко бы освистали: тогда она была психологически невозможной... Если бы, далее, вы побывали на религиозных диспутах этим летом, устраивавшихся коммунистами вкуче с «Живой церковью», вы видели бы битком набитые аудитории, собиравшие тысячи людей. Наблюдая же отношение аудитории к коммунистам и представителям «Живой церкви», вы недвусмысленно усмотрели бы в этом подъем религиозности и симпатии населения: коммунистам не давали говорить, несколько раз их стаскивали с кафедры, представителей «Живой церкви» прерывали возгласами: «изменники», «иуды», «за сколько серебреников продались коммунистам», «чскисты», «предатели», «ваши рясы и руки в крови», «вон», «долой» и т. д. И что характерно — такие возгласы шли как раз из рядов рабочих и простого народа...

В церковных аудиториях, где происходит обучение Закону Божию (исключенно-му из школы), нет недостатка в учениках. На исповеди начиная с 1920 г. ходит все большее и большее число не только некоммунистов, но и коммунистов (часто тайком от партии). Легализация браков путем венчания в церкви также растет... Словом, я мог бы привести сотни симптомов этого подъема... Только небольшая часть молодежи, выросшей в годы революции, в возрасте 13—17 лет ставшей «коммунистами», осталась в стороне от этого подъема. Она пока архиатеистична. Молодое же поколение, более юное, прошедшее детство в ужасах революции, напротив, вырастает весьма

религиозным и приводит в отчаяние современную власть, коммунистов и руководителей народного просвещения.

Оздоровело и духовенство. «Жирного попа-чиновника» больше нет. Перед вами или скромный труженик, в поте лица добывающий свой хлеб и выполняющий в меру своего разумения религиозные обряды, или, реже, труженик и живой подлинный религиозный руководитель народа, его веры и жизни, советник в делах совести, утешитель в горе, учитель нравственности и просветитель разума. И вдобавок — мученик.

История поставила трудный экзамен нашему духовенству. Оно его — в общем и целом — сдает удовлетворительно... Этот подъем охватил не только православную церковь, но и католиков, и евангельских христиан, и религиозных сектантов, обитающих в России. Особенно сильно это заметно на евангельских христианах...

События 1922 г. — ограбление церковей, процессы против церковников, арест патриарха Тихона, расстрелы священников во главе с митрополитом Вениамином, насильственный захват церковного управления в виде создания «Живой церкви» и Высшего церковного управления¹² — не только не ослабили, но усилили этот подъем. Все шаги власти разбить насилием и хитростью религию были грубой ошибкой с точки зрения ее интересов. Это теперь, по-видимому, начинает понимать и сама власть. Этим объясняется ее приказ прекратить дальнейшие судебные процессы против духовенства и прихожан.

Измышления власти о том, что духовенство и паства не хотели давать церковные ценности голодным — сплошная ложь. Этот вопрос не возбуждал никаких споров в церкви. Спор шел лишь о том, можно ли давать эти ценности правительству, не пойдут ли они на совсем иные цели. Верующие хотели реализовать их сами и сами раздать полученную пищу голодным. Соглашались они делать это и через АРА¹³ или другие организации, внушающие доверие. Дать же ценности в руки власти — не хотели, и вполне основательно. По ее практике знали, что по адресу голодных большая часть ценностей не дойдет: будет разворована, потрачена на Интернационал, на агитацию, подкуп агентов и т. д. События вполне подтвердили это недоверие. Голодным действительно достались крохи этих ценностей. Большая часть их исчезла неизвестно куда. Власть, конечно, не могла мириться с такой позицией. Церковные ценности прежде всего нужны были ей. Голодные были лишь благодидным предлогом. Золотого фонда осталось немного, деньги до зарезу нужны — и отсюда вся бешеная кампания власти, весь поток ее лжи, наветов, измышлений, которым в России никто не верил и не верит.

Началось насильственное изъятие. Верующие стали на защиту. Произошел ряд кровавых столкновений, прямых схваток, убийств... Пришлось власти мобилизовать своих преторианцев, насилием и оружием сломить сопротивление... Это было сделано. Для устрашения нужно было терроризировать и верующих, и духовенство. Начались массовые аресты, «судебные процессы» и расстрелы... Верующие и тут не остались пассивными. В первые дни процесса против Вениамина и др. церковников в Петрограде огромная толпа собралась около Дворянского собрания, пением «Достойно есть» и «Кирие елейсон» встречала подсудимых, расшиблен был лоб св. Введенского, «продавшегося коммунистам»... Но что могла сделать неорганизованная и невооруженная толпа с армией чекистов. Она была окружена последними, и 2000 человек было арестовано... В следующие дни Михайловская площадь была оцеплена, и туда не пускали никого. Сходное происходило и в других городах России... Судебная комедия была проделана. Обвиняемые вели себя поистине героически: так, как вели себя лучшие религиозные мученики... Кровь была пролита... Но она еще сильнее связала верующих — вот объективный результат этих мер.

Рядом с ними власть предприняла и другие. Ей надо было захватить управление церковью. Этому мешал прежде всего патриарх Тихон. Он был арестован. Но ареста мало, нужно его отстранить. Тогда был пущен в ход отвратительный шантаж человеческой кровью: посланы были к нему несколько ренегатов-священников с требованием, чтобы он отказался от своей власти: если он не откажется — 11 приговоренных к расстрелу московских священников будут казнены, если откажется — будут помилованы... Кошмары из «Бесов» Достоевского менее ужасны, чем этот

¹² «Живая церковь» — одно из направлений так называемого обновленческого движения внутри православной церкви, начавшегося в 1922 году. Во главе «Живой церкви» и созданного ею Высшего церковного управления стояли протоиереи Александр Введенский, Владимир Красницкий, священники Александр Боярский, Евгений Белков, псаломщик Стадник и другие. На поместном соборе 1923 года, организованном живоцерковниками, были утверждены «реформы» церковной жизни, в том числе закрытие монастырей и ликвидация святых мощей. Хотя многие священнослужители поддерживали обновленческий раскол, массы народа сохранили верность «тихоновской» церкви.

¹³ АРА (Американская администрация помощи), Нансеновский комитет и Христианский союз молодых людей — организации, оказавшие огромную помощь Советской России во время голода 1921—1922 годов. Этим организациям П. Сорокин посвятил свою книгу «Голод как фактор».

ультиматум. Тихон не отказался... Он, лишенный свободы и возможности управлять, указал, что шантажисты могут овладеть патриаршей канцелярией и... только... Из этого была создана легенда об отказе патриарха Тихона, о передаче власти Высшему церковному управлению, самочинно созданному из этих священников-шантажистов с прибавлением ряда таких же «прохвостов»¹⁴. Из них-то и была попытка создать т. н. «Живую церковь» — орудие разложения православной церкви и превращения ее в «агитотдел» коммунистической пропаганды. Я знаю лично большинство главных деятелей этой «Живой церкви» и Высшего церковного управления. Кроме одного или двух лиц — все они морально низкие люди, беспринципные карьеристы, с рядом постыдных действий в прошлом, короче, типичные проходимцы. Одно или два лица из них лично чистые люди, пользовавшиеся даже влиянием среди верующих, пошедшие в это дело по глупости и теперь потерявшие всякое уважение со стороны своих бывших почитателей...

Из всего этого, конечно, ничего не вышло. «Живая церковь» превратилась в предмет ненависти и насмешек. Высшее церковное управление во главе с св. Красницким — большим негодяем — никто не хотел признавать. Тогда власть пошла дальше. Усилив гонения и террор, она объявила: духовенство и приходы, которые откажутся признавать власть Высшего церковного управления и будут бороться с «Живой церковью», лишаются зданий храмов и всех предметов культа, находящихся в них. «Они принадлежат государству (хорошее отделение церкви от государства!), и власть вольна их давать кому угодно!» Такая мера была пущена в ход за две недели до моей высылки из России. Что из нее получилось — я пока не знаю. Уверен, однако, что власть будет бессильна провести вполне эту меру, часть приходов может фиктивно признать Высшее церковное управление, часть предпочтет закрытие храмов, если только власть на это решится.

Объективно и здесь, кроме проигрыша, для власти ничего не получится. Чем сильнее будет преследование — тем интенсивнее будет подъем религиозности в православной церкви.

Что же касается «Живой церкви», то она, «не расцветши, отцвела». Главные ее деятели — св. Красницкий и епископ Антонин — успели уже перессориться друг с другом, ссора привела к официальному расколу и образованию рядом с «Живой церковью» — «Церковного возрождения», обе группы начали яростную борьбу друг с другом, в этой борьбе намечаются новые расколы среди ничтожной кучки всех этих «живых» карьеристов — словом, «Живая церковь» уже успела умереть, а «мертвая» православная церковь, несмотря и вопреки преследованиям, живет и оживает...

Сейчас лицо православной церкви сливается в одно целое с национальным лицом России. Власть и силы, действующие через нее, хотели и хотят стереть и уничтожить то и другое, затоптать их в грязь истории, утопить в серой мгле темного Интернационала, хотя Россия сделать проходным двором для единичных и массовых проходимцев, тараном, послушно пробивающим дом других народов, но... по-видимому, это не удалось... Сорвалось...

Мы тяжело изранены, но живем и поправляемся.

9. Изменение народной психики и идеологии

Пережитый трагический опыт не прошел даром. Слишком велики потери, огромны жертвы, ужасны лишения, чтобы они ничему не научили... «Нет худа без добра», хотя это «худо» и не покрывается «добром» в форме положительных результатов опыта... Масса народа кое-что поняла, кое-что усвоила. Ее поведение и психика теперь существенно отличаются от довоенного состояния. Это мы видели уже выше... Очертним кратко основные изменения в этой области...

Во-первых, выше было указано, что народ стал более безграмотным в школьном смысле, но... тяга к знанию и интуитивное понимание явлений, приобретенное на «своей шкуре», в школе жизни, тяжелым опытом, сильно возросли.

Это сказывается и в интенсивном желании — особенно среди крестьянства — усвоить новые, более совершенные технические приемы ведения хозяйства, земледелия и других практических дел... Старая рутина разбита. У выделившегося крестьянина-отрубника вы встречаете теперь книжки по ведению сельского хозяйства, «Справочник агронома» и т. д. На беседы дельного агронома стекается большая

¹⁴ Имена этих священников — Введенский, Красницкий, Калиновский, Белков и псаломщик Стадник. Первый их визит в Донской монастырь к находившемуся в то время под следствием патриарху Тихону состоялся 12 мая 1922 года и не дал никаких результатов. 18 мая они вторично посетили патриарха Тихона, который на этот раз согласился передать церковные дела митрополиту Агафангелу, которого назначил своим преемником. Вместо этой передачи означенные выше священники организовали собрание «Живой церкви», на котором приняли решение о созыве поместного собора.

аудитория. В ряде мест сами крестьяне организуют (если власть не мешает, что, увы, обычно) краткосрочные курсы по той или иной отрасли сельского хозяйства. Нет недостатка в слушателях таких же курсов, устраиваемых такими же организациями и школами. Есть желание использовать машины в работе.

Усилилась тяга к грамоте. Я указал уже, что крестьяне сами, своими силами, всячески стремятся сделать детей грамотными, грамотных посылают учиться дальше. Этот же факт подтверждается раскупкой книг. Книга в России сейчас стоит дорого. от 2—3 мил. до 10—15 мил. рублей том. Россия голодна: нет хлеба. И, однако, книги расходятся, если они действительно дельные книги. Обнищание компенсируется возросшей жаждой знания. Человек голодает физически, чтобы хоть сколько-нибудь утолить духовный голод, дать ответ себе на «проклятые вопросы», поставленные жизнью. Расходятся не только брошюры, но и толстые томы, не только по техническим, но и по социальным вопросам. Достаточно указать для примера, что толстый журнал «Экономист» (закрытый властью), книжка которого стоила ряд миллионов рублей, выпускавшийся в количестве 4000 экз., расходился начисто в течение одной-двух недель. Другие издания расходились не так быстро, но все же расходились. Издательства хоть и с трудом, но ведут свое дело и существуют. Не расходятся только «коммунистические» издания, набившие всем оскомину и надоевшие до смерти. Их приходится рассылать за казенный счет или в принудительном порядке. Есть и среди них исключения, но единичные.

На публичных лекциях и диспутах, исключая коммунистические, надоевшие до смерти и потому наполняемые курсантами и другими частями в «военном порядке», аудитории не пустуют. Они посещаются. Их, конечно, мало, они идут только в больших городах, но и это симптом. Устрой их в деревнях, народу было бы полным-полно. Беда лишь в том, что нельзя и некому их там устраивать...

В учебных заведениях аудитория внимательна. Несмотря на ряд тяжелых условий, делающих занятия невозможными, молодежь все же каким-то чудом ухищряется учиться.

Словом, десятки и сотни симптомов говорят об этом росте импульса к знанию. Потенциально он столь значителен, что, не будь обнищания, не будь тысячи рогозат, ставимых властью на пути к знанию, не будь самой власти, служащей огромным препятствием к просвещению, в пять-шесть лет можно бы было сделать очень много — при умном руководстве и средствах можно было бы значительно наверстать потерянное и догнать народы, ушедшие далеко вперед... Но увы!.. Этих условий нет, и потому приходится двигаться шагом...

В результате пережитых событий значительно расширился и умственный кругозор народных масс. Они стали интересоваться многим, что раньше их не интересовало. Они поняли, что «от жизни не уйдешь», что «в свою конуру не спрячешься», что многие явления «задевают» самым резким образом... «Революция», «социализм», «коммунизм», «государственное целое», «права человека», «судебные гарантии», «церковь и вера», «концессии и займы», «собственность», «устройство государства», «Генуя», «Гаага», «капитал» и т. д., и т. д., т. е. тысячи кардинальных вопросов политического и социального бытия касались и касаются массы самым прямым образом, решение их испытано и испытывается на своих «боках», польза или вред — также. Мудрено ли поэтому, что массы познакомились со всем этим, вольно или невольно не могли не интересоваться ими, не обсуждать и не думать над ними, не научиться многому. Естественно, что социально-политический их уровень поднялся... Теперь с крестьянином вы можете говорить о многом, иногда о довольно специальных вопросах (валюта, концессии и т. д.). Он вас понимает. Больше того, на опыте, своей шкурой испытав пользу или вред ряда решений, он во многих случаях даст вам в простых словах совершенно правильное решение и прогноз, часто более правильный, чем «книжные» мудрствования оторванного от реальности интеллигента.

(Горький в своей постыдной, нечестной книге вопреки себе подтверждает это. «Пользы нам от фокусов этих нет, а расход большой людьми и деньгами. Мне подковы надо, топор, гвоздей, а вы тут на улицах памятки ставите — баловство это. Ребятишек одеть не во что, а у вас везде флаги болтаются», — говорит у него мужик... Разве он не прав перед интеллигентом Горьким? Разве он не прав и в следующем: «Если бы революцию мы сами делали — давно бы на земле тихо стало и порядок был бы»... Да если бы было поменьше «вождей», т. е. антропоидов, оторванных от жизни, перед которыми так лебезит Горький, ужасы революции были бы действительно более скромными.

Кстати, Горький, оплевавший теперь русское крестьянство, делал это и раньше. Тем необъяснимее для меня и для других бывших на обеде в честь Уэллса была его реплика, превратившая мою речь, пытавшуюся хоть немного открыть Уэллсу глаза на роль наших «вождей» революции и на их мерзости. «Во имя уважения к русскому народу такие речи здесь неуместны», — прервал меня Горький. До сих пор не понимаю, что это значило.

Очередное лицемерие просто или лицемерие для спасения репутации «вождей» и втирания очков Уэллсу? Был бы рад получить ответ от г. Горького.)

Словом, в этом отношении мужик вырос. Теперь его не проведешь, как раньше, «хорошими словами». Во многом он теперь отлично разбирается и многое понимает.

В связи с этим он вырос и в других отношениях, в частности в понимании зависимости своей судьбы от судьбы целого. Психология «моя хата с краю», «мы пензенские, и до нас не доберутся» теперь едва ли возможна. Невозможной поэтому становится и та безучастность к судьбе государства, общества и народа, которая резко выявлялась в недавнем прошлом... Раньше это вызывалось наличием «хозяина-начальства». Последнее само отстраняло население от активного участия в политико-социальных делах и обрекало его на пассивную роль. И население, привыкшее жить под опекой «попечительного начальства», предоставляло дело его усмотрению.

Теперь «хозяина» нет... Существующие «хозяева» за таких не считаются. Это просто налетчики, временно орудующие до прихода настоящей власти. Ждать от них порядка — пустое дело. Приходится самим заботиться об этом и думать крепко-накрепко «государеву думу»... Как избыть беду? Как снова наладить жизнь? Какой порядок навести? Какой строй учредить? Кого выбрать в государственные люди?

Словом, сама историческая обстановка повелительно возбуждает самостоятельность населения, его инициативу, активность, сознание...

С другой стороны, те же события научили сдерживать групповой и классовый эгоизм, беспардонную и бесшабашную активность. Горький опыт научил и крестьянство (о других слоях не говорю, ибо они разрушены), что безграничное преследование узкоклассовых интересов в конце концов не только вредит целому, но и интересам этих классов, что на одной диктатуре пролетариата или крестьянства не выедешь, что не они только «соль земли», не одни они «трудящийся народ», но столь же полезную работу выполняют и другие классы, вплоть до «эксплоататоров-буржуев». Изменился и самый взгляд на последних. В значительной мере понято теперь, что «капиталист» не только и не столько «эксплоататор», сколько организатор хозяйства. Название «буржуй» в сильной мере потеряло свою одиозность. «Без буржуя не проживешь» — так формулируется народом эта мысль... Пропала или сильно ослабла и мистическая вера в полезность бесшабашного творчества, производимого без знания руками рабочих и крестьян. «Семь раз отмеряй и однажды отрежь», «мало ли что он рабочий, да коли он ни черта не смыслит, какой толк из его работы», «надо делать с сознанием, надо иметь «спорковку», «дело мастера боится» — так выражается эта мысль.

Резкие изменения произошли и в психике «интеллигенции». Я думаю, что история старой — типичной — русской интеллигенции кончилась. На место ее приходит новая, с новым психическим укладом. Она будет, и отчасти уже есть, более деловой и более знающей, чем старая интеллигенция. Она будет менее романтической и менее идеалистической, но более полезной объективно; при всем богатстве идеализма старой интеллигенции, при ее невежестве и романтизме, толку было не очень много. «Много было хороших слов, много героических поступков, но мало было объективно полезных дел. Большая часть энергии гнила зря, а нередко из героизма получался объективный вред». Новая интеллигенция рождается более прозаической. Не будет задаваться «несбыточными мечтами», реже в ней будет подвижничество и самопожертвование, но она будет лучшим «спецом», раз, и свои специальные обязанности будет выполнять серьезнее, два. Изменилось ее положение и в третьем отношении. «Кающийся дворянин» давно исчез; в революции исчез и «буржуа», или обеспеченный представитель либеральной профессии, чувствовавший все же какую-то вину перед народом, какую-то неловкость за свою обеспеченность. Не стало больше обычного деления на «интеллигента», «обязанного перед народом», и опекаемого «меньшого брата», которого надо «просвещать», «учить», ставить на путь истины, который идеален сам по себе, но погибает в невежестве эксплуатации. Этот взгляд на «меньшого брата» сверху вниз, эта романтически-сентиментальная концепция сожжена революцией безвозвратно. Она теперь чужда и народу, и интеллигенции. Складывающиеся отношения менее сентиментальны, но более здоровы. «Никакой вины у меня перед тобой нет, ни в чем я не грешен и не в чем мне каяться. Я такой же, как ты. Ты делаешь одно дело, я — другое. Мы можем друг другу быть полезными. Я обязан делать одно дело, ты — другое. Если каждый из нас будет делать свое дело по-настоящему — все отлично. Если нет — плохо и неизвинительно ни для тебя, ни для меня» — такова приблизительно эта новая платформа отношений в схематическом виде. Старый романтически-сентиментальный и в то же время аристократический по природе подход интеллигенции к народу и раньше был довольно нелеп. Теперь он психологически невозможен. Романтизм, сентиментализм и жертвенность слуги революции с психологией интеллигента. Не нужны они и народу. «Ты мне ляды-то не точи, а говори дело» — вот что скажет он любому врачу, инженеру, технику,

если они свое дело не будут делать, а будут заниматься «высокой политикой». Такая картина выясняется уже и теперь. Молодежь идет гл. обр. в специальные учебные заведения и меньше — в общие, в гуманитарные. Она стремится быть прежде всего «практиком». Далее, о каком «покаянии» и «ответственности перед народом» может идти речь у этой молодежи, выходящей гл. обр. из этого народа, знающей его быт, жизнь и нравы. Психология «виновных» и «кающихся» ей органически чужда.

Короче, интеллигенция будет более «мещанской», «более прозаической», но более деловой и социально полезной.

Я лично (*horribile dictu*, опять) всецело приветствую такой уклон. Приветствую потому, что западноевропейское «мещанство» считаю более культурным явлением, чем нашу «интеллигентность» марков волоховых, «трех сестер» Чехова. «героических натур» Тургенева, «лишних людей» нашей литературы, «вождей» и «сверхчеловеков» революции и «интеллигентность» многих и многих маниловых, ноздревых и чичиковых от культуры. Былой культ нашего «антимещанства» был в значительной мере проявлением нашей некультурности, безграмотности и псевдосознательности. Хорошо им было баловаться нашим пресыщенным нищенанцам, чайльдгарольдам, студенческой богеме и всевозможным «эстетам» и *intellectueles*...

Нам не до того... Нам жить надо, и «с жиру беситься не приходится».

Так же смотрю я и на «утилитарно-практический уклон» новой интеллигенции. Буду рад, если она «американизируется», приобретет практичность американцев и их «мещанство», с другой стороны, напротив, меньше будет заниматься стихокропательством, «выработкой миросозерцания» (масса интеллигентов всю жизнь этим занималась и умирала, так и не выработав «миросозерцания», а текущие дела делала скверно), пустым «философствованием», балетом, театром («ах, Художественный театр!»), музыкой («ах, Скрябин, божественно!»), выставками картин, футуризмом и тысячами «измов». Спецы по призванию будут это дело делать. Дилетанты же не станут зря тратить энергии. У нас нет хлеба, мы вымираем, а потому нам сейчас не до «пирожных». Конечно, «не о хлебе едином жив будет человек», но... не без хлеба. Будет хлеб, будет и остальное. Сытая «мещанская» Европа создала духовных ценностей не меньше, а больше нас. Не впадайте в самообман и смешную гордость... евразийцев! Все это «парадоксы», но... русло жизни поворачивает именно к этим «парадоксам». И отлично...

Рядом с этими формальными изменениями произошли изменения идеологии и по существу. Главнейшие из них таковы.

Появилось сильнейшее чувство (и сознание) национализма. Таков реальный плод усиленной прививки «интернационализма». Ответом на тысячи попыток вытравить национальную культуру, национальное сознание, национальный лик, традиции и быт; ответом на усиленную пропаганду интернациональных идей; реакцией на бесчисленные оскорбления национального достоинства и ценностей, чинившиеся гг. «интернационалистами»; защитительной мерой против опасности гибели народа и государства и перехода из главных актеров истории на роль безликих статистов; ответом на засилье иностранцев и инородцев в революционной русской жизни; ответом на эксплуатацию русского народа этими «интернациональными подонками всех стран», — вот чем является современный рост национального сознания.

Раз Россия и русский народ превращены были в проходной двор, где лицо наше топталось каблуками интернационалистов всех стран, раз Россию стали растаскивать по кускам, раздирать на части, взрывать изнутри, грабить отовсюду, раз среди «распинающих» оказались и враги, и вчерашние друзья, раз бывшие окраины стали смотреть на русский народ сверху вниз, раз все его покинули, все изменили, все обманули, раз теперь ей грозит участь колонии — все разгромлено, разорено, и за все «битые горшки» должен платить тот же русский «Иванушка-дурачок», — раз Россия при благосклонном участии бывших союзников начинает продаваться «оптом и в розницу», превращается «из субъекта в объект», то должно было наступить одно из двух: или гибель, или резкая реакция защиты. Симптомом последней и служит рост глубоко подсознательного национального чувства, охватившего все слои.

Не удивляйтесь, если он в некоторой степени имеет зоологические формы. И это неизбежно. И даже целесообразно с точки зрения интересов выживания. Неизбежно потому, что слишком по-зверски обращались с русским народом «интернационалисты», слишком мало было выказано иностранцами и инородцами гуманизма и жалости и слишком много бессовестного хищничества, шакализма и дипломатической хитрости, которая «мягко стелет, да жестко сплет». Народ понял, что ему не на кого надеяться, кроме [как на] самого себя. Целесообразно потому, что с ним также обращаются «зоологически». Когда тигр и шакал вас рвут, глупо усовещивать их, надо бить... или погибнешь. То же и с целым народом. Разве он, вплоть до серого мужика, не понимает, что его рвут, одни бесцеремонно, другие «вежливенько», под аккомпанемент «хороших слов» и улыбок? Разве он не оценивает все эти соглашения с большевиками и всевозможные концессии и т. д. словами: «своих помещиков

прогнали, теперь приходят другие», «за наш счет хотят греть руки и большевики, и иностранцы», «ну подождите же?»..

Не удивляйтесь же, если национализм сильно пронизан зоологизмом. Он понятен и... целесообразен, хотя, быть может, и очень некрасив.

Частичным проявлением этого зоологического национализма служит острый антисемитизм, охвативший все слои русского народа, еще недавно бывшие евреефилами. Им заражены почти все — от верхов интеллигенции до глухой деревни, от русских коммунистов (не удивляйтесь) до монархистов. «Протоколы сионских мудрецов» читаются и в верхах, и в забытой деревне. Они одобряются, им верят, их хвалят. Здесь завязался один из самых тяжелых и трагических узлов русской истории, сулящий много хлопот и бедствий той и другой стороне. Причиной такого явления служит чрезвычайно выдающаяся роль, сыгранная значительными массами евреев в углублении нашей революции и в расцвете нашего коммунизма. Не говоря уже о «вождях», огромное большинство которых (Зиновьев, Троцкий, Каменев, Стеклов, Свердлов, Радек, Красин, Урицкий, Володарский, Литвинов, Иоффе и т. д.) были евреями, большинство «командующих позиций» во всех комиссариатах было занято и занимается ими же. При большей изворотливости они, далее, менее пострадали экономически, чем русские. Значительная часть богатств перешла в их руки. Благодаря той же практической сноровке и помощи сородичей они менее голодали. Ряд самых одиозных функций в значительной мере выполнялся ими же. С наступлением нэпа они же — почти исключительно — оказались «капиталистами», «богачами», захватившими в свои руки фактически почти всю и государственную, и кооперативную, и частную промышленность и торговлю. Прибавьте к этому то, что население Петрограда, Москвы и др. городов сейчас (благодаря отливу еврейства из местечек в центры) сильно семитизировано, что еврейство лучше питается, лучше одето, лучше живет, что русский на всех командующих позициях, во всех комиссариатах, кроме ГПУ (где сейчас мало евреев), видит евреев, что даже состав студентов высших школ преимущественно еврейский (в медицинских школах 60—70%, в других ниже: «процентная норма наоборот», так говорят об этом в России), учтите все это — и рост антисемитизма будет понятен. Я не антисемит, но такое положение считаю ненормальным. Я никогда не защищал ограничения прав еврейства, но не могу признать правильным и ту фактическую привилегированность его, и ту фактическую эксплуатацию русского народа, которая выполняется сейчас значительными массами еврейства.

Я не стоял за «процентную норму», но нахожу ненормальным, чтобы при наличии специальных еврейских высших школ, содержимых за счет государства, в общих высших школах 60—70% учащихся были евреи.

Должен прибавить к этому, что поведение многих и многих евреев, даже не коммунистов, а просто дельцов, в смысле хищничества и шакализма было безобразным.

Я знаю, что глупо эту вину части еврейства переносить на весь еврейский народ. Я знаю жертвы евреев, погибших на посту защиты интересов России. Но народная массовая психика иначе рассуждает. Она видит тени и забывает светлые блики. Если же эти тени обширны и более часты, чем светлые полосы, тогда тем неизбежнее ее односторонность. Народу не легче от того, что есть антибольшевики-евреи — подлинные друзья России. «Раз они сами не могут справиться с ними, остается нам самим бороться как сумеем и как можем. Мы боремся и будем бороться — не на жизнь, а на смерть — с русскими большевиками и их подчиненными. Так же беспощадно будем бороться с евреями, коммунистами и их подручными! Пусть другие евреи за это не пеняют на нас!» Такова приблизительно массовая психология, ее настроение, ее решение и ее «оправдание»...

Повторяю, здесь русская революция завязала один из самых трудных и трагических узлов, грозящий большими бедствиями. Нужно скорее с чистым сердцем и совестью той и другой стороне принять все меры, могущие его разрешить социологически, а не «зоологически». Вопреки мнению тех, кто думает, что ликвидация большевизма с этой точки зрения опасна, я отвечаю: чем дольше будет держаться данный режим, тем антисемитизм будет глубже и шире, тем сильнее будет расти «зоология».

Рядом с чертой национализма столь же резко выступает вторая черта современной массовой идеологии. Это — глубокое отвращение ко всем идеологиям коммунизма и даже социализма,

благодаря крови, огню и полному разгрому России, к которым привели коммунизм и коммунисты, все подобные идеологии дискредитированы в корне и надолго.

Если раньше они легко прививались ко всему населению, кроме аристократии и буржуазии, если русская интеллигенция была — в массе — социалистически настроенной, то теперь дело обстоит наоборот. Теперь Россия «иммунитетна» к таким учениям. Слово «коммуния» стало одиозно ругательным. Сильно дискредитированы и все те рецепты, идеологии и течения, которые имели и имеют какую-либо связь с коммунизмом.

Идеология и настроение в современной России — в массе — резко «индивидуально-собственнические». Институт частной собственности у нас не имел раньше «большого кредита», на него смотрели как на зло; в нем видели источник бедствий, апологетов его не было, фигура частного собственника не вызывала симпатий. Теперь наоборот. Этот институт оценен и даже переоценен; иначе расценивается собственник, иначе смотрят на капиталиста.

«В борьбе обрел народ право собственности», а не коммунизм... Появился и крепкий органически-почвенный жилистый собственник. Им является крестьянство, стихийно потянувшееся на хутора и отруба, им является и «новая буржуазия», вышедшая из рядов коммунистов, им является по поведению и психике половина современных коммунистов — крепких собственников *in spe, in futurum*¹⁵, им являются все категории «спецов» и «новой бюрократии», им является и большинство интеллигенции.

«Мелкобуржуазная стихия» (на языке власти) широким морем разлилась по «коммунистической» России, бушует и рвет последние остатки коммунистических построек. И не только их: она заодно поглотила и все былые предубеждения русского общества против собственности, и все его симпатии к социализму-коммунизму...

От коммунизма последних лет теперь уже нет ничего, кроме золы, копоты и тиранического правительства. Русский народ переварил стадию анархии, переварил коммунизм, остается переварить теперь только неограниченный деспотизм...

С коммунизмом и социализмом покончено... и надолго. Не только имя Ленина и наших коммунистов, но имена Маркса и др. теоретиков социализма большинством русского народа долгие годы будет вспоминаться недобрым словом. (Недаром за последний год начинают выкидывать шутки с небольшим числом оставшихся памятников революции: в Одессе весь рот и бороду Маркса намазали пшеничной кашей, которой питали почти год население, и написали: «ешь сам».) Таковы шутки истории.

Вместе с указанными выше чертами все это говорит о резкой деформации психики русского народа.

Она изменилась. Но не в том направлении, в каком хотели гг. коммунисты.

Заключение

Таково вкратце современное состояние России и ее народов. Мы видим, что война и революция «славно поработали». Подводя итог доходам и расходам, приходится сказать, что первые совершенно не покрывают вторые. Опустошения громады и частью непоправимы. Приобретения есть, но они невелики.

Не будь войны и революции, Россия теперь была бы незнакома. Начиная с 90-х годов 19 века мы развивались во всех отношениях — и в материальном, и в духовном — с такой быстротой, что наш темп развития опережал даже темп эволюции Германии. Росло экономическое благосостояние населения, сельское хозяйство, промышленность и торговля, финансы государства находились в блестящем состоянии, росла автономия, права и самостоятельность населения, могучим темпом развивалась кооперация, уходили в прошлое абсолютизм, деспотизм и остатки феодализма. Исчезала безграмотность, народное просвещение поднималось быстро, процветала наука, полной жизнью развивалось искусство, творчество духовных ценностей было громадным *in extenso*¹⁶ и глубокоим по интенсивности.

Не будь войны и революции — Россия в 1922 г. была бы процветающим духовно и материально государством.

Но пришли эти явления — и блестящее развитие было прервано. Не только остановлено, но отброшено назад на одно-два столетия.

Россия сегодняшнего дня и Россия 1922 г. без войны и революции... какой контраст! Целая пропасть между ними! Целые века!

Понадобятся десятилетия, чтобы залечить раны, стать Россией 1922 года без войны и революции. Вот почему я не могу больше быть ни трубадуром, ни романтиком войны и кровавой революции. Вот почему я тихо и печально улыбаюсь, когда слышу славословия последним. Вот почему я скептически воспринимаю всякую — пассивную и рафинированную — радость и восторги перед революцией... Когда же я вижу многих и многих, искренно мечтающих о приходе революции, я говорю: «Жаль, что человечество плохо усвоило уроки истории. Эти дети играют огнем, который сожжет их же самих, и больше всего именно трудовые классы; они вызывают вихрь, который разнесет смерть, убийства, зверства, голод, болезни, опустошения по всей стране, вихрь, в результате которого больше всего пострадают именно народные массы». «Следствием его, по верным словам Лебона, будет... заключение общества в смиренную куртку... Разнузданная чернь, вооруженная, жаждущая мщения и разъяренная; пики, ножи и молотки; угрюмый притихший город; полиция у

¹⁵ В зародыше, в будущем (*лат.*).

¹⁶ По охвату (*лат.*)

семейного очага; подозрительность ко всякому мнению; подслушанные речи... подмеченные слезы... сосчитанные вздохи... выслеженное молчание... вообще везде шпионство и доносы... неумолимые реквизиции... вынужденные займы... обесцененные бумаги... война на границе... Безжалостные проконсульства... Жестокосердные комитеты безопасности... — вот плоды социальной революции»¹⁷. И сверх того... смерть, смерть и смерть... Смерть во всех видах... смерть лучших... смерть и ужасы...

Не приемлю теперь я кровавой революции и войны и из-за их методов, ибо знаю, что метод голого и кровавого насилия по своей природе ничего, кроме разрушения и регресса, дать не может.

«Дух разрушительный вовсе не есть дух созидающий», это теперь мы поняли.

Не приемлю я их и по этическим мотивам. Если бы даже война и революция давали положительные плоды, что, увы, почти не бывает, эти плоды «не стоят чистой слезы одного ребенка!» Жизнь людей здесь служит кирпичами, их кровь — цементом, их страдания — штукатуркой, ужасы и зверства — краской — таков революционный (и военный) метод постройки социальных зданий. Не одна жизнь и слезы взрослых, но десятки тысяч детей живыми кладутся в фундамент такого здания, безжалостно давятся, душатся, расстреливаются, мрут голодом, убиваются тифом, сифилисом, холерой, цингой и др. болезнями, дробятся их нежные кости, искажаются не только их тела, но и души... Это дорого... Слишком дорого...

Вот почему я отныне «почтительнейше возвращаю билет на вход в царство кровавой революции» (и контрреволюции).

Пусть не подумают, что эти строки говорят о том, что революция меня лично обидела, что я много, по-видимому, лично потерял в ней... Нет. Кроме жизни и иллюзий, мне терять было нечего. Я был беден — таковым остаюсь и теперь. Я сын рабочего и крестьянина — стало быть, не мог потерять привилегий. Я не был ни «аристократом», ни «буржуем», ни чиновником — стало быть, и здесь я ничего не мог потерять... Жизнь моя — при мне еще. Честь моя и совесть — также. Единственная потеря — иллюзии. Были они и у меня... Одной из них было романтическое представление о революции и желание ее прихода... Теперь я видел ее. Пять лет был я в ее вихре, пять лет внимательно смотрел в ее лицо... Увидав его, я стал изучать лица бывших «глубоких» революций. И понял: это лицо зверя, а не сверхчеловека, Антихриста, а не Бога, вампира, а не освободителя...

Я знаю, что многие «взрослые дети», «чистые сердцем», из трудовых классов, не испытывавшие революции, не поверят этому. Но в ответ расскажу один эпизод. В 1917 г., в октябре, мне пришлось выступить с речью в одном полку. Я убеждал солдат не идти за большевиками. Я рисовал им те гибельные результаты, которые принесет большевизм. Я делал это ради исполнения долга, но я знал, что сейчас они мне не верят и не поверят. Зная это, я кончил свою речь словами: «Я знаю, что вы мне не верите сейчас. Но прошу вас запомнить следующее: был человек, который вас предупреждал. Он исполнил свой долг. Запомните эти слова. Через год-два вы их вспомните. Вспомните и... тогда поверите. Но будет уже поздно...»

В 1919 г. я сжал на пароходе... Вдруг ко мне подходит один мужик, истощенный, грязный, оборванный... «А ведь я вас узнал,— тихо сказал он мне. — Помните, вы выступали в нашем полку... Много раз я вспоминал ваши слова. Дураки были мы, большие дураки... Оправдалось все, что вы говорили... Теперь взяли за ум... да поздно... Поверили, весь русский народ поверил, да поздно...

Когда увидят подлинный лик кровавой революции эти «неверующие» — поверят и они. Но я не хотел бы, чтобы они за эту веру заплатили ценой революции... «Да минет их чаша сия»... Впрочем, увы, история не всегда идет так, как нужно... Она слепа... А Провидение, если оно есть, плохо бодрствует... Но «да минет их чаша сия».

Глубокую болезнь испытал и испытывает еще русский народ. Горькую чашу страданий выпил он до дна. Распял себя за свои и чужие преступления... Стал «Сыном Человеческим», принявшим на себя грехи мира... Теперь он искупил эти грехи. Теперь он чист... чище многих народов, согрешивших, но не пострадавших так. Чист... Готов и к смерти, и к новой жизни.

Много раз за эти годы я думал: не пробил ли смертный час нашей истории? Не бьет ли полночь исторического заката русского народа? Не перед смертью ли он омылся в страданиях?

Теперь вижу, что нет. Большой выздоравливает, кризис проходит, и впереди дорога жизни, а не смерти... Знаю, не розами покрыт грядущий путь. Он тернист, ждуг на нем бездны новых страданий, унижений, оскорблений и трудностей... Крутые кряжи, опасные перевалы и разбойничьи засады ожидают путника...

Но не будем падать духом. Возьмем с собой ценности Знания, готовность к Труду и лишениям, напряженную волю к Добру и светлую Надежду... С ними не пропадем...

¹⁷ Лебон Гюстав (1841—1931) — французский психолог и социолог. П. Сорокин приводит цитаты из его книги «Психология социализма», переведенной на русский язык (СПб. 1908).

С ними снова выберемся из мрачных пропастей крови и смерти на широкую и столбовую дорогу истории.

«Сие буди и буди».

«Зырянский проповедник»

«Что бы ни случилось со мной в будущем, я уверен, что три вещи навсегда останутся убеждениями моего сердца и ума. Жизнь, как бы ни тяжела она была, — это самая высшая, самая прекрасная, самая чудесная ценность в этом мире. Превратить ее в служение долгу — вот еще одно чудо, способное сделать жизнь счастливой. В этом я также убежден. И наконец, я убежден, что ненависть, жестокость и несправедливость не могут и никогда не смогут построить на земле Царство Божие. К нему ведет лишь один путь: путь самоотверженной творческой любви, которая заключается не в молитве только, а прежде всего — в действии».

В этих словах Питирима Сорокина сконцентрирован «конечный вывод мудрости земной», к которому он пришел в результате пережитого им опыта революции и гражданской войны в России. Эти слова стали своеобразным девизом всей его жизни, недаром он их по крайней мере трижды цитирует в разных своих книгах. В предисловии к одной из них он рассказывает историю своего «катастрофического», если воспользоваться его же собственным термином, обращения.

«В 1918 г., — пишет в одной из своих книг на английском языке П. А. Сорокин, — правители коммунистической России объявили на меня охоту. В конце концов я был брошен в тюрьму и приговорен к расстрелу. Ежедневно в течение шести недель я ожидал смерти и был свидетелем казни моих друзей и товарищей по заключению. В течение следующих четырех лет, пока я оставался в коммунистической России, мне довелось испытать многое; я был свидетелем беспредельного, душераздирающего ужаса от царящей повсюду жестокости, смерти и разрушения. И именно тогда я занес в свой дневник — в качестве «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» — следующие строки...»

Нравственный переворот, пережитый Сорокиным, по своей сути тот же самый, который пережили в свое время авторы «Вех» (разумеется, с учетом как личных особенностей первоначального мировоззрения и индивидуального темперамента, так и обстоятельств времени и места). До революции и в короткую пору безграничных демократических свобод отношение П. А. Сорокина к веховцам и вообще к представителям русской религиозно-идеалистической философии было в лучшем случае ироничным. В статье «Национальность, национальный вопрос и социальное равенство» он приводит дефиниции «национального» из сочинений С. Л. Франка, П. Б. Струве и Е. Н. Трубецкого. Все эти дефиниции он признает бессмысленными: «Читатель! Вы понимаете? — Я, каюсь, — нет. Впрочем, я понимаю одно, что в эти фразы можно всунуть любое содержание: и Бога, и Сатану. Так пишут философы».

Теперь же, после пережитого нравственного переворота, Сорокину предстояло в конце концов занять место в одном ряду с ними.

Но «убеждения сердца» не сразу пришли в гармонию с «убеждениями ума». Еще и в 1920 году П. А. Сорокин предлагал изгнать философию из области социологии. Зная теперь обстоятельства его жизни в эти годы, можно с большой долей вероятности утверждать, что Сорокин переживал тогда мучительный процесс внутреннего раздвоения. И если в автобиографии он ни словом не упоминает о нем, это вполне понятный результат мемуарной ретроспекции, пропускающей сквозь сито позднейшего и вполне сложившегося мировоззрения только окончательные итоги и отсеивающей все промежуточные сомнения и колебания. Но есть немало документальных свидетельств, что эти сомнения и колебания существовали. Первая его статья, написанная в 1917 году по поводу Февральской революции, начиналась словами: «Давно желанное совершилось. Старая власть и старый порядок, сковывавшие жизнь великого народа по рукам и ногам, — пали». Будучи секретарем А. Ф. Керенского, П. А. Сорокин вскоре убедился, что страна приближается к пропасти; вместе с Ф. Ф. Кокошкиным он был сторонником жестких мер и требовал от правительства их принятия. Большевицкий переворот Сорокин воспринял как контрреволюцию: к власти, по его мнению, пришли «преторианцы». Но еще и «из стен каземата» Петропавловской крепости в январе 1918 года он послал свое приветствие журналу «Русское богатство» (справлявшему свой двадцатипятилетний юбилей, оказавшийся одновременно и поминками, так как вскоре журнал был закрыт), заканчивающееся оптимистической тирадой: «...как ни темна ночь, все же впереди огни. Не умрет трудовая Россия. Не умрут и великие идеалы свободы и социализма».

1918 год оказался самым бурным в жизни П. А. Сорокина. В плане научном он был исключительно непродуктивным; достаточно открыть любую библиографию Сорокина, чтобы убедиться: 1918 — пусто, нет даже ни одной рецензии (вышла, правда, статья в коллективном сборнике, но и она была написана годом раньше).

Едва освободившись из Петропавловской крепости, Сорокин связался в архангельскую «авантюру». Есть сведения, что его прочли в состав нового правительства Северного края после свержения там власти большевиков, но до Архангельска он не добрался и вместо министерского кресла угодил в застенки великоустюжской ЧК, в лапы «сумасшедшего» комиссара Кедрова. Спасло его лишь «чудо»: статья В. И. Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина», написанная по поводу его знаменитого «отречения». В тексте этого документа есть слова, на которые следует обратить особое внимание. Отказываясь от звания члена Учредительного собрания и объявляя о своем выходе из партии эсеров, П. А. Сорокин объяснял свое решение так: «В силу чрезвычайной сложности современного внутреннего государственного положения я затрудняюсь не только другим, но и самому себе указывать спасительные политические рецепты и брать на себя ответственность руководства и представительства народных масс».

Трудно сказать, было ли «отречение» со стороны П. А. Сорокина лишь маневром, попыткой утопающего ухватиться за соломинку или же оно написано совершенно искренно, — наверное, здесь было и то и другое. В любом случае этот документ нельзя расценить иначе как свидетельство глубокого мировоззренческого кризиса, что в конце концов привело ученого к отказу от позитивистской веры в бесконечный «прогресс» и к призыву следовать «заветам Достоевского», то есть ступить на «путь религиозно-нравственной, деятельной любви человека ко всем людям, ко всему живому, ко всему миру, любви безусловной и постоянной».

Он еще много книг написал словно по инерции, как верный ученик своих учителей — М. М. Ковалевского и Е. В. де Роберти (чему в немалой степени способствовал его переезд из Европы в США, где почва для русской религиозно-идеалистической философии была гораздо менее благоприятной, чем, скажем, во Франции, и где она, тем более на английском языке, пожалуй, только и могла пробиться в «социологической» упаковке).

Жизнь и судьба П. А. Сорокина сложились так, что прошло почти тридцать лет после его «обращения», прежде чем он смог вплотную приступить к разработке и пропаганде идей «творческого альтруизма». Только с 1959 года, когда П. А. Сорокин по возрасту вышел на пенсию, он всецело посвятил себя деятельности в созданном им незадолго до этого Гарвардском центре по изучению творческого альтруизма. Известный в Америке филантроп Эли Лилли пожертвовал на нужды Центра более ста тысяч долларов, и за короткое время Центр выпустил 12 томов научных трудов, в каждом из которых значительное место занимают работы самого П. А. Сорокина.

...Когда 12 февраля 1968 года в Уинчестере (США) скончался П. А. Сорокин, во всем мире появилось множество некрологов и посвященных ему статей. Наиболее точные слова о мировом значении «зрянского проповедника» принадлежат, на мой взгляд, нашему соотечественнику философу-эмигранту В. Н. Ильину:

«Питирым Александрович Сорокин, — писал Ильин, — создатель гигантской антитезы марксизму, все более и более начинающему встречать решительное сопротивление не только людей мысли и науки, но и просто рядовых грамотных и порядочных людей. Этим последним покойный профессор П. А. Сорокин предоставляет настоящий арсенал мощного и великолепно сконструированного духовного оружия против монструозной доктрины, развернувшейся как темный провал у ног новейшего человечества и его культуры...»

Важно отметить, что количественно и качественно антимарксистская мысль представлена в особенности русскими учеными и мыслителями. Самым сильным из них следует в наши дни назвать проф. П. А. Сорокина, очень характерного русско-американского ученого, воздвигшего против марксистского наводнения грандиозную плотину из творений столь же мощных по количеству, сколь и первоклассных по качеству. Все они, естественно, написаны на английском языке, но по своему религиозно-альтруистическому, глубоко христианскому духу, конечно, войдут, в свое время переведенные на русский язык, в сокровищницу русской социологической науки и социологической философии».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДРА СПАЛЬ

*

ГЕНИИ И ГУЛЛИВЕРЫ

Природа нашего смешного

Великие идеи разбиваются о малые, о множество малых идей, и умирают от голода дети.

Николай Вавилов.

...Горький принес «Шута» — юмористический журнал. Замятин сказал: у русских мало юмора. Горький: «Что вы! Русские такие юмористы!.. Смешно Луначарский рассказывал, как в Москве мальчишки товарища съели, зарезали и съели. Долго резали. Наконец один догадался: его за ухом резать нужно. Перерезали сонную артерию — и стали варить! Очень аппетитно Луначарский рассказывал. Со вкусом».

Корней Чуковский, «Дневник».

Евгений Замятин прав: у русских мало юмора. Совсем нет. Зато они находят смешное там, где иностранец лишь пожмет плечами. Начиная с 1917 года к русским в этом смысле присоединились и другие народы, вошедшие в состав Советского Союза.

Юмористику заменяет у нас абсурд. Ибо если, по Шекспиру, жизнь — театр, то у нас это — театр абсурда. И абсурдизм своей жизни мы обожаем, купаясь в нем, как в великой русской реке Волге, которую сами не чистим, но и никаким иноземцам чистить не дадим, потому что у нас там лежат затонувшие сокровища Стеньки Разина, а иноземцы за прочистку хотят взять все вычищенное. Дудки! Пусть и совсем зарастет великая русская, а сокровищ своих не отдадим!

Чистый же юмор у нас весь помещен «ниже пояса». И это весьма мощный пласт смеховой культуры, свободный от злобного сатирического начала. Причем матерное, заметно украшающее анекдоты, далеко не всегда низменно, часто оно — выше пола, если говорить о широчайших сферах его применения и особой выразительности, которую оно придает тому, чего нельзя выразить.

И славные наши анекдоты — не юмор, потому что смеешься не из-за того, что смешно, а из-за того, что похоже... Политические же анекдоты — отдушина для одураченных и проигравших, это скорее трагифарс.

А что смешного в комедии «Ревизор», построенной на привычном абсурде происходящего. «Тридцать пять тысяч одних курьеров» стали возможны лишь в социалистической столице, но для героев Гоголя это фантастика абсурда, которую, однако, провинциалы принимают за подлинность столичной жизни. Да и кто тут, кроме Гоголя, смеется? И смеется ли сам Гоголь, который потом все доказывал, что он в Хлестакове не смешного человека хотел вывести, а обычного. Хотя обычное-то у нас и есть самое смешное.

Но есть у нас весьма интересное качество... Двое подвыпивших мужичков идут по Марьиной роще. И один другому говорит: «Слышь, Вася! Чегой-то, я смотрю, начальство тебя не любит». «Да, Петя! Не любит меня начальство ни фига... — Помолчав, добавляет: — А чего меня любить? Я такое гов-но!» Полагаю, это не самоуничижение (неуважение к себе), а нутряная способность к самоиронии как средству защиты.

Есть еще до конца не изученный феномен так называемого одесского юмора, который с русской литературой никак не смешивается, но в русскоязычной среде воспринимается с удовольствием, потому что в абсурд русской жизни вписался без натяжки.

Конечно, «правые крайние» сильно раздражены этим юмором. Не из-за слишком ли торжественного отношения к себе? Но русскому народу такого рода обидчивость присуща, слава Богу, лишь на уровне общества «Память». И если это не так, то пусть мне объяснят, отчего мы особенно нежно относимся к иностранцам, которые так долго жили среди нас, что начали понимать, над чем мы все время смеемся. Разве не ощущаем мы к ним род благодарности за то, что они поняли, в чем соль нашей жизни? Мы демонстрируем абсурд, как родного ребенка, ожидая восхищения и похвал. Ведь абсурд нас и не обманывает и одновременно утешает. Как искусство.

Но вот, скажем, каламбур, при всех даже возможностях русского языка, не прижился. Каламбур — это не русское, а европейское, головное. не от сути слова, а от его формы.

Могут еще указать на поэта Алексея Константиновича Толстого. Но приведу пару строчек из «Бунта в Ватикане» — это что такое?

Взбунтовались кастраты,
Входят в папины палаты:
«Отчего мы не женаты?
Чем мы виноваты?»
.....
Говорит им папа: «Дети,
Было прежде вам глядети,
Потеряв же вещи эти,
Надобно терпети!»

Если и юмор, то, как видим, «ниже пояса». Да и большинство эпиграмм носит те же черты.

Но у графа А. К. Толстого есть весьма интересное для нашей темы произведение — «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», с эпиграфом из летописи Нестора: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». Граф пишет всю историю нашу в восьмидесяти трех строфах, а рефреном идет Несторов парадокс о порядке. Мы и сейчас говорим это, не так ли? Хоть у нас при Сталине и завелся было порядок, но мы, как привыкли от Гостомысла, никакого порядка долго не терпим, максимум до кончины порядкового правителя. Как и при Грозном было и при Петре:

Хотя силен уж очень
Был, может быть, прием;
А все ж довольно прочен
Порядок стал при нем.

Но сон объял могильный
Петра во цвете лет,
Глядишь, земля обильна,
Порядка ж снова нет.

Нет, и не сатира это, а самоирония, любующаяся исконным хаосом и приглашающая всех желающих посмеяться вместе с нами.

Вернусь к Пете с Васей, о которых много думала, еще и еще раз проверяя, правильно ли я вывожу из их беседы самоиронию.

Иронист всегда инстинктивно разыгрывает из себя дурачка, дабы не оказаться в дураках на самом деле. Те же Вася с Петей — перед нами классический пример Ивана-дурака, вобравшего в себя черты всех иронистов русского племени. Они не боятся выставить себя в невыгодном свете. Зато, попав впросак, переживают это гораздо легче, чем их серьезно относящиеся к себе братья.

Два слова о сексе. Прав писатель М. Чулаки, говоря, что если кого раздражает популяризация «культурного» секса, то пусть сделает его смешным. А с другой стороны, зачем его делать смешным, когда он у нас и так смешон. Всегда в России говорили о сексе с ухмылками, непристойностями, почти никогда — всерьез и торжественно, разве что с глазу на глаз. Еще можно было говорить о любви, о чувствах, но о сексе говорить всерьез всегда в России считалось пошлым. Никогда в

России секс не был отделен от стыда, но это скорее стыд достоинства, а не ханжества, как нам втолковывают сегодня.

Иронией пронизано все и вся.

Но, вглядываясь пристально, заметишь людей, глухих к иронии. Это вожди по природе. Л. Н. Толстой называл их еще «некоторыми испорченными людьми русского народа»... Именно тяга к лидерству вынуждает их относиться к себе торжественно. Они не удовлетворяются, как иронисты, знанием себе цены про себя. Им необходимо всему честному миру доказать, что они очень хорошие, лучше других, даже лучше, чем кажутся (игра на повышение).

Эти люди, лишённые защитительной самоиронии, уязвимы более других, у них нет пространства за спиной для отступления в случае конфуза. Часто они, потерпев фиаско, сламываются. Вот ирониста сломать трудно. Тот же Вася, оконфузившись кругом, возьмет и скажет: «Ну вот, я же говорил вам, что я — гóв-но!» — и тем даже поднимет себя в глазах окружающих. Ему было куда сделать шаг, он мудр мудростью столетий.

Сталин боялся выходить к народу не только из-за страха покушения. Может, сильнее боялся он всенародного конфуза. Есть кадры, где он идет к трибуне мавзолея: он страшно напряжен, скован, кажется, что больше всего боится споткнуться... Сталин мог быть ироничным, но лишь по отношению к другим. Самоирония иногда изображалась им, но это было даже страшнее гнева, поскольку в действительности более всего походило на угрозу, выраженную казуистически.

Но что делать нам с определением того юмора, о котором упоминает Чуковский в своем «Дневнике»?

* * *

Как хорошо, что я за всю жизнь ничего себе не ломал и не вывихивал. Вообще я мало болел в жизни.

А. Луначарский.

Время и мне покончить с миром... но я умру здесь, беснуясь, как крыса, которую отравили в норе... Меня ждет та же участь, какая постигла это дерево, — я умру прежде всего головою.

Джонатан Свифт.

В статье Марка Адданова «Луначарский» (1926) упоминается работа «Революционные силуэты». Приведу фрагмент:

«Самые... горячие комплименты автор... приберег для «чарующей, ни с чем другим не сравнимой, подлинной социалистически высокой личности Владимира Ильича», его «аль-фреско колоссальной фигуре, в моральном аспекте решительно не имеющей себе равных... Его гнев тоже необыкновенно мил. Несмотря на то, что от грозы его, действительно, в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть и сотни, он всегда господствует над своим негодованием, и оно имеет почти шутовскую форму. Этот гром, «как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом»...»

Прочитав это, я некоторое время пребывала в оупении — не может быть!.. Еще ни у одного из соратников Ленина не встречала я столь костенящую холодом, разоблачительную параллель между веселостью и занятием палача. Удивительно ли после того, что какой-то там съеденный мальчик так развеселил нашего «философа»?

Я все искала, откуда же людоедская веселость, пока не поняла: да от пошлости и бездарности. Плюс еще какое-то нравственное нездоровье, вполне выявившееся в пьесах, в том же «Королевском брадобрее», впервые опубликованном в 1906 году в петербургском издательстве «Дело».

Сюжет кратко таков: некий король хочет овладеть своей дочерью Бланкой и требует на это благословения церкви; а если кто возражает, того казнят. Король призывает дочь и объявляет ей о своем намерении.

Король

Так так-то, дочка.
Я мог бы разломать тебя. Я мог бы
Взять плоть мою и бичевать тебя,
Как виноватую собаку! Только

Ведь свадьба наша будет вскоре: кожу,
 Девицью белую испортить
 Пред свадьбой не хочу.

Король грозит зажарить возлюбленного дочери на медленном огне, так, чтобы дочь могла «расширенными ноздрями нюхать обжаренного мяса аромат»... Девушка сходит с ума.

Бланка

Ты — Вельзевул. *(Хочет.)* А, ты не думал, глупый,
 Что я тебя узнаю? — но назвала
 Тебя я именем твоим. На, ешь.
(Разрывает платье на груди.)
 Ешь тело, грудь кусай, грызи, пей кровь!
(Хочет.)

На счастье, королевский брадобрей «быстрым движением бритвы перерезает королю горло. Голова отваливается». Брадобрей «садится на его грудь, размахивая кровавой бритвой», хочет еще отрезать королю нос и уши, говорит, что сделал бы то же самое, будь он брадобреем у самого Господа Бога...

«Было бы странно, — замечает М. Алданов, — если б автору этой пьесы не вверили в сов. России дела воспитания юношества».

Мировоззрение Луначарского антииронично. Юмор же его даже не тот, что «ниже пояса» (ниже пояса — все еще человек), а тот, что «ниже человека», — адские игрища.

Сам он в статье «Что такое юмор?» писал: «Вообще говоря, смех всегда означает собою победу человека над тем фактом, над которым он смеется... если вы не смеетесь, а негодуете, это значит, что то, против чего вы негодуете, признаете важным, трагичным...» Но сам-то над съеденным мальчиком смеялся! Значит, факт его гибели не признавал ни важным, ни трагичным.

Скажут: что она прицепилась к одному-единственному эпизоду с этим мальчиком? Но такой эпизод — один — перевешивает целую идеологию вместе с обслуживающими ее умственными заморочками.

Или Луначарский исключение? Нет, судя по рассказу Василия Субботина «Весельчаки». Случайно прочитав стенограмму пленума ЦК 1927 года, автор с удивлением отметил этот странный юмор. На пленуме было затчено письмо крестьянина Смоленской губернии, старого бедного человека, которого за строптивость причислили к кулакам. И вот он пишет, что ему пришлось перетерпеть, просит помощи. «Судя по репликам, — пишет Субботин, — на заседании присутствуют Сталин, Троцкий, Зиновьев, Калинин, Рыков, Микоян... Поражает совершенно неадекватная реакция на происходящее, на то, о чем говорится в письме. Чтение рассказа о злоключениях доведенного до отчаяния, лишенного всяких прав, наконец затравленного человека то и дело прерывается общим... взрывом хохота собравшихся на заседание вождей. Так хохочут, так глумятся над своей жертвой, над ее жалобами уголовники, самые отъявленные бандиты».

Луначарский не исключителен. Исключительна лишь его литературская пошлость. Вот этого смеющегося над человеческой бедой Зиновьева Луначарский в «Революционных силуэтах» называет «чрезвычайно гуманным и исключительно добрым, высокоинтеллигентным», который лишь «словно немножко стыдится таких свойств» (последнее особенно трогательно).

Упомяну и слова Абрама Терца из «Спокойной ночи», романа про сыщиков и разбойников, про КГБ, француженку, Синявского и Даниэля: «Я думал в ужасе первые дни (после ареста. — А. С.): почему они все время смеются?.. Сведущие люди... мне растолковали, что смех следователя... призван повергнуть объект исследования в пучину всеисилия власти и собственного ничтожества... Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Попался?!»

И если правда, как пишет современный философ, что «смешное — это, в общем-то, осознанное, побежденное, а потому прощенное зло»¹, то в случае со смачным и смешным рассказом Луначарского про мальчика кого простил Луначарский? Голодных его товарищей, которые?.. Или самого мальчика-жертву? Или тех, кто мальчиков до такой жути довел?..

Нет. Юмор «ниже человека» вообще не вписывается в человеческие определения, хоть философские, хоть обыденные. Это смеются сверхчеловечески, невозможные в себе все человеческое ради... Чего же? Разве есть что-то, стоящее таких жертв?

¹ Л. В. Карасев, «Парадокс о смехе» («Вопросы философии», 1989, № 5, стр. 56).

Ирония же имеет весомое отличие от других смеховых стихий: она исходит из глубочайшего страдания и сострадания — и, как правило, от людей, которые, уменьшаясь, предстают великими.

* * *

Работал он для одного правителя, который каждый день менял планы... сказал про него Микельньюло своему другу: «Ум этого правителя точно флюгер на колокольне, от всякого ветерка вертится»... В Риме одному вельможе пришла в голову фантазия прослыть архитектором, и построил он для статуй ниши с кольцами вверх... он спросил Микельньюло, что в них поместить, а тот ответил: «Подвесьте к каждому кольцу по связке угрей».

Джорджо Вазари.

Назвать вам одержимых? Пожалуйста: Микеланджело. Взгляните на фрески Сикстинской капеллы. Посмотрите как следует на сивилл, и вы увидите, что эта фреска сделана пророком. Работая, Микеланджело говорил с самим Богом.

Эмиль Антуан Бурдель.

Но Микеланджело, увы, приходилось общаться не только с Богом.

У ваятеля было немного друзей. Его замкнутый характер хорошо иллюстрируется эпизодом падения с лесов «Страшного суда»: повредив ногу, он забился в свое жилище и, несмотря на мольбы друзей, долго никого к себе не пускал, пока лекарь не пробился в эту нору потайным ходом и не вылечил мастера чуть не насильно. Такое звериное одиночество потрясает в человеке, особенно если этот человек — Микеланджело, создатель сивилл и титанов. И почему-то вспоминается «жалкий» человечек из Достоевского подполья, его сумрачное «не лечусь... назло!».

Общение с властью предержавшими вызывало в нем постоянное раздражение. Он отказывал королям Европы. Но хуже, когда речь шла об очередном папе, который не уважал права предшественника на завершение заказанных им работ, спеша заказать свое... Менее того заботило его состояние художника, вынужденного бросить незаконченную работу, чтобы взяться за вновь заказанную.

В грубых деловых письмах Микеланджело ирония возникает из глубины муки, потому она космична, а не комична. От чтения его писем — познабливает.

Письмо 34-е, которое я хочу привести, связано с отношениями между пятидесятилетним Микеланджело и папой Климентом VII, у которого появилось желание соорудить некую гигантскую статую папы, о чем он постоянно через священника Франческо Фаттуччи напоминал. Микеланджело о колоссе — молчал. Папа вновь напоминает о статуе, которая, по его мнению, должна быть составлена из нескольких кусков (абсурд для того времени, когда не было железобетона и все каменные статуи высекались из монолитов), иметь в высоту сорок локтей, стоять на площади Сан Лоренцо, спиной к дому Стуфа, а лицом к палаццо Медичи, возвышаясь над ним. Микеланджело старался не замечать дурацкой идеи с колоссом. В очередном письме Фаттуччи пишет: «Прошу вас, ответьте мне, что вы думаете относительно колосса, ибо наш владыка удивляется тому, что вы ничего не отвечаете». И вот, видя, что игнорировать эту тему далее невозможно, Микеланджело пишет:

«34 (СССХСІХ)

<Флоренция, 6 (?) декабря 1525>

Мессер Джован Франческо. — Если бы у меня было столько сил, сколько я получил радостей от вашего последнего письма, я полагал бы, что могу закончить, и к тому же быстро, все те вещи, о которых вы мне пишете. Но так как столько сил у меня нет, я сделаю то, что смогу.

Что касается колосса в сорок локтей, о котором вы мне сообщаете, что он должен стоять, или, вернее, быть поставлен на углу садовой лоджии <палаццо> Медичи напротив угла <дома> мессера Луиджи делла Стуфа, то я об этом думал, и немало, как вы мне это и предлагаете. И мне кажется, что на этом углу ему не место, так как он слишком загроздил бы улице. На другом же углу, где находится лавка цирюльника, он был бы, по-моему, гораздо более уместен, так как перед ним была бы площадь и он не создавал бы столько помех для улицы. А так как снос названной лавки будет, пожалуй, не допущен из-за дохода с нее, я подумал, что названную

фигуру можно было бы сделать сидящей. И в сидячем положении она оказалась бы настолько высокой, что, если сделать ее внутри полый, как и полагалось бы делать ее из нескольких кусков, вся лавка цирюльника в ней поместилась бы и не пропала бы арендная плата. И к тому же, чтобы названная лавка имела, как она имеет и сейчас, откуда выпускать дым, мне кажется, хорошо было бы названной статуе дать в руку рог изобилия, полный внутри, который будет служить ей дымоходом. Далее, так как у меня голова этой фигуры внутри полая, как и другие ее члены, то мне кажется, что и из этого можно извлечь некоторую пользу. Там, на площади, живет зеленщик, большой мой друг, который мне сказал по секрету, что сделает в этой голове прекрасную голубятню. Мне приходит в голову еще одна выдумка, которая была бы еще лучше, но для этого пришлось бы сильно увеличить фигуру; и это возможно, поскольку и башни строятся из кусков. А выдумка эта заключается в том, чтобы голова ее служила колокольной для <церкви> Сан Лоренцо, которая очень в ней нуждается. И если загнать в нее колокола и если бы звук выходил у нее изо рта, казалось бы, что названный колосс вопит о всепрощении, особенно в праздничные дни, когда звонят чаще и в более крупные колокола.

Что касается доставки мрамора для названной статуи так, чтобы об этом никто не знал, я предполагаю доставлять его ночью и как можно лучше запакованным, чтобы его не было видно. Некоторая опасность возникнет у ворот, но и для этого мы найдем выход; в худшем случае нам остаются ворота Сан Галло, в которых калитка открыта до утра. <...>

Ваш Микельанжело, скульптор из Флоренции.

После этого папа уже не досаждал мастеру. Лишь позволил себе в письме Микеланджело от 23 декабря обиженно заметить, что его план с колоссом был серьезным намерением, а не шуткой.

Но разве Микеланджело шутил? В чем мощь этой иронии?

Письмо спонтанно, автор не размышлял, полагаю, в какой форме выразить негодование при виде досаждающей глупости. Но интересно, из каких элементов составилось здесь ироническое? И нет ли аналогов? Лежит ли тут в основе принцип, который Эразм Роттердамский в своей «Похвале Глупости» выводит в название, декларируя метод еще до его применения? Думаю, нет. В «Похвале Глупости», литературном произведении, программная стиливая установка — на повышение ничтожного, то есть чистая ирония, некий канон иронического литературного жанра. Эразм Роттердамский восхваляет глупость столь блистательно, столь искусно, что его превосходство над восхваляемым видно и дураку.

В письме литературная задача не ставилась. Но странно — эффект удивительный. Почему?

В письме Микеланджело идет игра на понижение: автор притворяется, что поверил замыслу папы, — и одновременно игра на повышение... Но (самое интересное) — что тут повышается? Ведь не папа же, он даже не упомянут. И не проект, ибо он не восхваляется. Повышается здесь... сама фигура, причем в прямом смысле.

Простак скульптор поддерживает грандиозную идею, обдумывает место статуи, обсуждает ее размеры и возможности практического применения. А под завязку, преувеличив фигуру до размеров колокольной, предлагает протащить ее в малую щель — в калитку ворот Сан Галло...

Но с чем же сравнить иронический прием 34-го письма? Перебирала многое из известного мне в литературе, все боялась ошибиться, поскольку снова и снова упиралась... в «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя.

В самом деле, разве Гоголь в «Мертвых душах» ироничен в классическом смысле? Разве он героев намеренно и неумеренно возвышает, придавая им качества, заведомо у них отсутствующие? Нет же. Гоголь понижает себя, что есть основной принцип самоиронии, он предстает меланхоличным, наивным простаком, с любопытством разглядывающим интересную для него жизнь, ее стиль, подробности, разных людей с их повадками, словечками, глупостями и достоинствами, которых лицо равнодушной, а проще сказать, бездарное, — не разглядит за их малостью, то есть за собственной величиной. Ирония в «Мертвых душах» никогда не доходит до сарказма.

Гоголевский принцип можно проиллюстрировать примером из нашей литературной жизни. Нередко работа профессиональных пародистов не так смешна и выразительна, как сам оригинал. Поэтому выигрывает часто не пародист, а коллекционер нелепостей. Гоголь — несомненный коллекционер, любовно собирающий в «Мертвых душах» коллекцию персонажей, обычаев, образов речи, необычных характеров. И, понизив себя до уровня своих героев (как гениальный Микеланджело понизил себя до заурядного папы), Гоголь так органично входит в эту роль (ведь автор — еще один герой поэмы), что искренне способен восхититься и способностями прожорливого господина средней руки, и дамами как просто приятными, так и приятными во всех отношениях, и двумя вечно стоящими на каком-нибудь углу

России мужиками, размышляющими о том, куда какое колесо может докатиться. Это заразительно. Честное слово, меня интригуют все персонажи поэмы, включая этого автора, у которого перо дрожит и не может описать дам города NN, так они... неописуемы. Даже Собакевич нравится с его знанием того, на что устрица похожа, и с неким воображаемым человеком, который специально для Собакевича сидит и облепливает сахаром лягушку, чтобы Собакевич сказал, что он ее все равно есть не будет. И главное, ведь и Гоголю нравится отечественный абсурд, и нам нравится, потому-то и Гоголя понимаем. Ведь не бичевание помещицкого слоя (как нам талдычили в школе) занимало гения, а купание в своевольной и непредсказуемой реке русского абсурда.

Спросят: а как же страдание, из которого одного только имеет право выходить ирония? Так ведь «Мертвые души» пронизаны авторским страданием. Может, и страдание усугубляется тем, что автор в себе чувствует нечто, отзывающееся на абсурд не жесткой издевкой, не презрительной миной, а дружелюбной родственною улыбкой.

Что за фигура — Свифт! С его-то прицельным сарказмом хорошо еще, что нашей жизни он не знал, не то досталось бы нам почище, чем европейцам... Но, впрочем, возможно, что на нашем абсурде и сам Свифт ногу бы сломал...

А у Гоголя вместо сарказма необъяснимо проступает сочувственная симпатия, род жалости. Удалось ли кому повторить это?

В умеренном абсурде гоголевских времен Чичиков все никак не мог развернуться; абсурд абсурдом, но было нечто в государственном устройстве, что всякий раз расстраивало планы авантюриста.

Но тут явились булгаковские «Похождения Чичикова», где тот нагрнул в совдепию, в советский абсурд, и где все само идет в руки, конторы пишут, нечитанные входящие подшиваются в исходящие, уже следом за Собакевичем разжился и Чичиков грузовиками с продуктами, получил огромную ссуду под какой-то Пампуш на Твербуле, про который никто не знает, что это такое, но бумага о наличии сего заведения пришла. Уже Чичиков сбывает дуре Коробочке Манеж, и пока она раскачалась, пока добралась до Манежа и выразила госслужащим желание открыть здесь булочную, уж Чичиков далеко, уж слух прошел, что меняет миллиарды на бриллианты, чтобы выехать за границу. Кинулись к Ноздреву... Успел ли Чичиков посвященнодействовать над сукнами в магазине тканей? Расскажут ли нам о том, какие продукты наполняли чичиковские грузовики?.. Да если б и написал М. Булгаков свою вещьцу размером с гоголевскую поэму, то и тогда не разглядели бы мы как следует ни Чичикова, ни Собакевича, ни сукон, ничего — такие водовороты абсурда крутили бы героев на глазах у ошалевшего читателя. Бюрократическая мельница машет отросшими при Советах крыльями, а чичиковский адвокат целой державе голову задурил и до 50 тысяч одних только замешанных припутал к делу. И все в цепи чичиковской авантюры заверчено вокруг памятника Пушкину на Тверском бульваре. У Гоголя, по легенде, все раскрутилось с живого Пушкина, Михаил Булгаков все завершает у Пушкина-памятника. Круг замкнулся. Третья часть «Мертвых душ» дописана, но не сожжена, а долго была под запретом.

Но что хотел сказать М. Булгаков всей этой суматохой? Да ничего, кроме того, что сказано: русский абсурд при Советах возрос многократно.

* * *

...от имени рабочих я бы предложил нашему союзному ЦИКу в ближайшее время заняться постройкой такого памятника, в котором смогли бы собираться представители труда... это здание должно являться эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе.

С. М. Киров, из выступления на I съезде Советов 30 декабря 1922 г.

...монументальность, простота, цельность и изящество архитектурного оформления Дворца Советов должны отражать величие нашей стройки...

Из постановления Совета строительства, 1931 г.

Хорошо, что Микеланджело жил не у нас, его отослали бы в небытие за одну только попытку иронизировать по поводу государственного заказа. Возможно, при Ленине и попытлся бы над фигурами для плана монументальной пропаганды. Но

при Сталине — шутишь, не зажился бы. Слишком бурно росли размеры знаков величия. Причем потребность в величии удовлетворялась всего лишь величиной истуканов.

5 декабря 1931 года был снесен храм Христа Спасителя. Уж его рвали-рвали, насили-то раскурочили. Это к вопросу о том, как трудно понизить возвышенное. А со стороны Музея архитектуры доходят глухие вести о том, что после взрыва в фундаментах, в некоем помещеньице обнаружили якобы фоллианты с чертежами сборки-разборки храма. Очевидно, на тот случай, если пловуны этого гиблого места не будут держать храм. Но пловуны-то держали!..

Кроме Дворца, задуман был колосс В. И. Ленина, «памятник на памятнике социализму», как это назвала Лидия Польская. Приведу весьма интересный фрагмент ее статьи «Дворец во имя...» («Литературная газета», 1940. № 35):

«О том, что Главным архитектором проекта был, по существу. Сталин, говорят... сами архитекторы. Вот мнение одного из авторов проекта... профессора В. Г. Гельфрейха: „Иосиф Виссарионович с изумительной ясностью и убедительностью говорил о силуэте сооружения, о скульптурных группах на пилонах... о том, что они должны выражать идею интернационализма. Говоря о фигуре В. И. Ленина, он обращал особое внимание на жест призыва, столь характерный для образа великого вождя... Непосредственное руководство т. Сталина проектированием Дворца Советов вселяет в нас уверенность в правильности наших исканий и вдохновений”»

О масштабе дворца: объем большого зала почти вдвое превышает объем Дома правительства у Каменного моста. Мечтателям виделось, что Дворец будет выше египетских пирамид, Эйфелевой башни и американских небоскребов. «Завершающее возглавление» (прозвище истукана) сначала замыслилось пятидесяти метров, потом восьмидесяти, а позже решили, что надо делать стометрового Ильича, чтоб его было видно за семьдесят километров от Москвы. «В указательном пальце вытянутой руки — шесть метров, в плечах — тридцать два метра, в ступне — четырнадцать метров. Голова по объему — немного меньше Колонного зала Дома союзов(!). Такую статую можно создать только по всем правилам мостостроительного искусства».

А теперь вспомним размер колосса папы Климента — сорок локтей, это без малого восемнадцать метров... Батюшки! Всего-навсего три пальца замышляемого Ильича! Да стоило ли так кипятиться Микеланджело Буонарроти? Стоило ли называть колоссом такого маленького папу, который весь, вместе со своими цирюльниками, голубятнями и колоколами, усядется на ладони «завершающего возглавления» и снизу его даже не будет видно?!

Впрочем, и самого вождя не всегда будет видно. Польская пишет: «Расчеты показали: металлическая статуя зимой будет покрыта льдом, восемьдесят дней в году ее не будет видно полностью из-за облаков. И все-таки — 100 метров! А вместе с Дворцом... 420 метров. И хоть на несколько метров, но перепрыгнем Эмпайр стейт билдинг».

Александрейский столп на Дворцовой площади Петербурга увенчан Ангелом — существом, которому небесные сферы не чужды по самой его природе. Вообразим, что на эту впечатляющую высоту взгромоздилась бы статуя императора в сапогах и регалиях...

Ведь если американцы и подали пример гигантомании, соорудив статую Свободы, то это все же фигура умозрительной идеи, а не конкретного человека с фамилией, именем, отчеством, ушедшего верхней половиною за облака, оставив для обозрения все, что ниже пояса...

Ну вот, опять этот пресловутый юмор «ниже пояса»! Родной! Штаны, свисающие из облачной дымки, называются «завершающим возглавлением».

Самое смешное в советском государстве — это серьезное.

Но все-таки жаль, что проект провалился. А то (не помешай только религиозная торжественность большевиков) открыли б в голове «завершающего возглавления» валютный ресторан со смотровой площадкой на козырьке кепки да назвали б тот ресторан «Ленин — это голова», а еще лучше — «Ума палата». Снуют же люди внутри статуи Свободы США.

Пришлось ограничиться более скромными памятниками. Может, и к лучшему? А то как бы мы сейчас его демонтировали?

В романе Анатолия Злобина «Демонтаж» описана разборка памятника другу пионеров в городе на Волге. С первых же страниц вспомнила я колосс папы Климента. Сторож истукана долго лезет внутри ноги, туловища — в голову, где приварена кованая шкатулка для сторожевых мемуаров, хранится ведро для протирки глаз, ноздрей и ушей отца народов, причем, чтобы не тащить лишнего груза, старик

заранее запасается гигиенической натуральной влагою, той самой, которую Гулливер тушил лилипутские пожары... Такова экспозиция романа, где ключевой эпизод — милый абсурд: мошка человек, глядя в дырку истуканова зрочка, воображает, будто сам вождь взирает строгим взором из тьмы своей светлой головы на темный спящий мир. Ужо вам!.. — будто грозитя сторож-вождь, последняя клетка вождёва мозга.

Ваятель, прибывший на демонтаж своего детища, мечтает спасти голову. Знакомый генерал обещает закопать ее у тетки в огороде. Но подумайте: какова эта тетка? Каков — огород? И что пожнем из «посаженного» на его грядках? Все тот же узнаем отечественный абсурд, сила которого в выполнимости.

В фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» один узник системы объясняет другому: мол, потому он называет сотни имен, что надеется: «Вот доведем все до абсурда, там поймут, разберутся». Бедный идеалист, он не знал, что абсурд — норма жизни этого общества, где, как говорит в фильме диктатор, черная кошка будет поймана в темной комнате, даже если ее там нет.

Экономистом Шаталиным сказано, что заниматься советской экономикой без чувства юмора — с ума сойдешь! Но то, что Шаталин назвал чувством юмора, скорее вечная наша замороженность родным абсурдом, который каждый раз заставляет нас ужасаться аж до восхищения и, таким образом, получать смягчающие ужас положения положительные эмоции. И действительно, нечто вроде юмора...

* * *

...да спасет меня Господь от шуток Свифта на мой счет. Положительный ум слишком тяжел, слишком сух, чтобы быть любезным и веселым... Шутка Свифта, в сущности, есть не что иное, как отрицание посредством вполне систематического абсурда.

Ипполит Тэн.

Персонажи «Ревизора»... реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. А Россия, страна прилежных учеников, стала сразу же старательно подражать его вымыслам, но это уже дело ее, а не Гоголя.

Вл. Набоков.

Гулливер — это что, вообще говоря, за фигура? В принципе она складывается, как матрешка: Гулливер в стране лилипутов, среди равновеликих и — в стране великанов.

Но как он возник, этот гениальный замысел?

Сначала Свифт окружил себя (Гулливера) маленькими человечками, что вполне отвечало особенностям его натуры. Потом единственно, может быть, из чувства симметрии он создал страну великанов. Все это пробудило в нем интерес к подобным играм, и он продолжил их во славу мировой литературы

Венец этих игр — страна разумных лошадей и еху (yahoo, *англ.*, — отвратительное существо, гадина). Что это? Демократия древних греков-рабовладельцев, воспоминание о которой выродилось в государство будущего? Нет. Свифт не утопист. А Свифт... свист с шипением; бич, свиваясь, сквозанувший по воздуху возле самого вашего лица (*swift, англ.*, — скорый, быстрый; переплетать, сматывать; брать рифы; каменный стриж).

Судьбы Джонатана Свифта и Н. В. Гоголя перекликаются: странности в детстве, загадки в отношениях с женщинами, гонимость, ощущаемая сильнее, чем она реально была, болезни, страшный конец.

Но у Свифта и Гоголя при схожей уникальности талантов есть существенное различие.

У Свифта (как у М. Булгакова в «Мастере и Маргарите») создан в «Путешествиях Гулливера» мир, в котором он мог бы быть вершителем судеб. Оба писателя в создаваемых ими мирах владычествовали и отдыхали, только М. Булгаков — с веселием сердца, радующегося устанавливаемой справедливости, а Джонатан Свифт — торжествующе-мстительно. Свифт — сатирик, использующий иронию наряду с фарсом, гротеском и сарказмом. Конек его — фантазмагорические видения.

Гоголь — чистый иронист, засобиравшийся было в сатирики, но вовремя распаливший печь...

Гулливвер может показаться символом иронии, неким даже эталоном вообще всех человеческих игр. Вот он в стране лилипутов. И конечно, понимает, что великими не становятся в силу физической величины. Но все же снисходительность его к ничтожным человечкам сродни снисходительности зоолога, рассматривающего жизнь муравьиной кучи. И лишь сам став лилипутом, Гулливвер смог полностью осознать плюсы и минусы разновеликости. Там, в опасной для него среде, смог он быть по-настоящему ироничным. Там его усмешка стоила гораздо дороже... Возможно даже, что именно в стране великанов он себя и ощутил бы великим. смеясь над людьми-горами, как Микеланджело смеялся над полым каменным колоссом с колоколом в пустой башке.

Свифт, увы, занят другим, он мастер политического памфлета с оттенком раблезианства. Гениальный по обилию возможностей замысел у Свифта, в сущности, полностью не реализован. Но человечество в лице Гулливера получило нечто не только эталонное. но и способное к развитию. Он рассеялся по мировой литературе — там и сям торчит Гулливвер.

Ирония Джонатана Свифта порой невыносима. Ошибается тот, кто думает, что это немцы при Гитлере придумали делать из кожи человека сумочки. Это выдумал Свифт в XVIII веке. Показывая человеческое общество, Свифт так переполнен презрением, что не вспоминает ни о культуре, ни об искусстве или религии. И. Тэн в одном случае назвал иронию Свифта каннибальской и с ужасом привел в своей «Истории английской литературы» памфлет «Скромное предложение, имеющее целью помешать детям ирландских нищих быть бременем для своих родителей и страны, а также указание, каким способом сделать их полезными для общества». Выделка из детской кожи «превосходных дамских перчаток и летних сапог для светских джентльменов» — пустяк перед гастрономическими рецептами этого опуса, написанного в 1729 году, за несколько лет до того, как Свифт лишился рассудка. В такие игры безнаказанно могут играть только здоровенькие господа луначарские.

Что же это за ирония, и вправду послужившая инструкцией для злодеев? Да это ирония Гулливера в стране лилипутов. Ирония художника, возвеличившего себя преуменьшением своих героев. Своего рода ирония культа личности.

Но там, где английский саркастический гений напридумывал будущих злодеяний, там наши писатели никогда ничего не придумывали да и придумать, по сути, не могли. Сам Гоголь за всю жизнь только одну штуку и выдумал невероятную: отдельно слоняющийся по городу Нос.

Скажут: М. Булгаков придумал, что в Москве объявился Сатана. Так и это не выдумки. У нас и сейчас половина страны «на рогах» стоит. головы чертями забиты; за домовыми с участковыми гоняются, в исполкомы на них жалуются. а уфологи грозятся вот-вот все разъяснить с «научной» точки зрения. Куда Булгакову...

Владимир Набоков в знаменитом своем эссе «Николай Гоголь» не согласен с теми, кто называет «Ревизора» и «Мертвые души» энциклопедией русской жизни, поскольку считает гоголевский фантазмагорический мир не существующим нигде кроме как в воображении гения. Но, может, слишком юным был увезен наш великий прозаик из России? В том возрасте, когда у ребенка еще нет чувства юмора? Потому ауру одного счастливого детства воспринял как ауру русской жизни. А издали постичь природу русского абсурда, даже и любя русскую литературу, вряд ли возможно. Просто Гоголь первый и лучше всех показал то, что до него никому не приходило в голову показывать. Ведь не Гоголем же выдуман зафиксированный еще летописцем Нестором парадокс: мол, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. С тех ведь пор пошло... О каком порядке изначально затосковал русский житель, если земля и так велика и обильна? И мало того что о порядке тосковали — еще, сидя на великой и обильной земле, напридумывали запредельных Райских Земель и Градов Китежей!

Да и какой еще народ так недоволен вечно собою и что это за порядок, которого он ждет?.. Какой еще народ, сравнивая себя с другими народами, находит, что он хуже других? Мол, у тех надо поучиться тому-то, у этих тому-то... И не от старательности вечных прилежных учеников (и учиться-то никому ни у кого не будут), а от зароненного спокон веку драгоценного зерна самоиронии. И не из тех ли несторианских времен проистекает это беспокойство о порядке, про который никто не знает, каким он должен быть, но всякий, в очередной раз устанавливаемый, вскорости признают не тем.

Кстати, порядок Грозного или Петра Первого изобилия не прерывал (моры и засухи не в счет). Но вот после 1917 года порядок пожрал изобилие. И не о таком тоже порядке мечтали наши предки!

Очевидно одно: абсурд и самоирония всегда шли рука об руку. Абсурд побуждал народ относиться к себе иронически... Так, может, нам и абсурд-то свыше ниспослан как некий тяжкий, но драгоценный дар, как в библейские времена бремя пророчеств — коленам Израилевым?

Но только не наш, не советский абсурд!.. Впрочем, отчего же-с и не советский? Может, он-то, усугубленный вдесятеро, воспетый трагическим талантом гоголевской мощи — Платоновым, он-то и окажется продуктивнее умеренного абсурда царских времен?

А что Александр Зиновьев? Это все тот же Гоголь, только математический, вернее, логический. Он не коллекционер, а систематизатор. Если Гоголь любовно коллекционировал свой паноптикум персонажей, то Александр Зиновьев систематизирует многоотраслевой советский абсурд с потрясающей точностью и любовью. Да с любовью! Как нежная душа Акакия Акакиевича замирала над божественными закружениями выписываемых букв, так замирает парадоксальная душа А. Зиновьева над накопленными им картотеками советского абсурда. И если Платонов передал безумие своего времени языком взрослых жертв ликбеза, то Александр Зиновьев воплотил заматеревший абсурд «развитого» социализма языком парадокса. Причем смысловой абсурд, содержащийся почти в каждой фразе, нами даже и не всегда замечаем из-за привычности, а иностранцам, конечно, бросается в глаза. Но нет в «Зияющих высотах» ни испепеляющей свифтовской ненависти к пороку, ни занудливого рассуждения о пользе добра и неприятии зла. Зиновьев принимает все, как Гоголь. — оно такое есть, я вам показываю. Просто то, что при Гоголе еще содержалось «ниже пояса» или называлось как-нибудь иначе, носом, например, то сейчас, старательно перетаскиваемое из области «ниже пояса» в область «культуры», иначе сказать, в голову, стало важнейшим элементом советского абсурда, уже даже как бы и не числясь раблезианством — настолько возвышено.

Можно бы, конечно, порассуждать о раблезианстве применительно к советской абсурдистской литературе нового толка... Но лучше просто взять и почитать роман Василия Аксенова «Ожог», и тогда становится понятно, что не только Свифта из русских писателей никогда не выйдет, но и Рабле, поскольку плоть в России никак не может быть отделена от чисто языковой стихии Духа. Никак у нас нельзя сосредоточиться на одной плоти, сам язык не дает, даже если он матерный, и, может быть, особенно если матерный.

* * *

«Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни... Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный! В нем такое сильное отвращение от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противуположно ничтожному.

Н. В. Гоголь.

Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги... И что же делать, если этот падающий может опереться только на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них?..

Н. Г. Чернышевский.

Серьезный урон русскому самоиронизму, истоки которого отчасти в сидении на крошечном пятачке огромной державы (игра на понижение), нанесен сталинским насильственным переселением народов, разгромом деревни, массовыми ссылками и репрессиями, поскольку все выжившие, сорванные с корней, для продолжения жизни и рода должны как бы заново укрепиться, пустить новые корни, пробиться, прибиться и так далее. Какая уж тут самоирония, когда на такой большой родине тебе твоего родного маленького пятачка не оставили.

Мы теперь все восклицаем: «Что с нами стало!» Способности к самоиронии лишились, а ведь это здоровье нации. Повылезали, повыпирали снизу примитивы,

развились в «завершающее возглавление», и пытались эти «штаны из облаков» руководить загнанной в подполье головою.

И нет, это не дураки. Дурак-то — понятие издревле двоякое, он себе на уме, цены своей не объявляет, потому всегда непредсказуем как в падении, так и во взлете. А вот примитив... Это страшнее дурака, потому что примитивный ум, зависив свою цену, всегда агрессивен, ибо шкурой чувствует, что всерьез это не проходит... Он узнаваем еще по отсутствию не то что иронии, а даже минимального чувства юмора, когда юмор касается его персоны. Однако охотно смеется над другими, может даже прослыть весельчаком. Особенно хорошо смеется над нижерасположенным.

Луначарский, как всякий, не видящий себя со стороны, не стеснялся пророчествовать. В статье «Новая Европа и СССР» он писал: «Мы можем с полной уверенностью сказать, что в близком будущем не останется почти никакого следа разногласия между трудовой интеллигенцией всех родов в России и Коммунистической партией... Когда-то христианские проповедники не без удивления утверждали, что всякая душа в глубине — христианка. С несомненно большим правом можем мы сказать: всякий человек в душе — коммунист, надо только высвободить его коренное человеческое от всякого рода классовых искажений».

Но Луначарский ошибся. То, что всякая душа — христианка, это не просто «когда-то проповедники утверждали», это наблюдение веков и веков. Коммунистов же прирожденных не бывает, и породы такой вывести не удалось, ибо прав был не Лысенко, а Николай Вавилов: увечья не наследуются, иначе все девушки давно бы рождались без признака девственности, а все собаки, которым режут хвосты и уши, без хвостов и ушей. И если для нормального разума эта гениальная шутка Вавилова совершенно уничтожает все убудочные теории Лысенко, то в первернутом абсурдном мире советикусов изгнан и убиен именно Вавилов, а Лысенко еще много лет процветал на оскорбляемой им земле, несмотря даже на то, что косвенно, житейски Сталин генетику признавал, маниакально преследуя «вражье» потомство.

Да сколько еще нужно примеров того, что только через самоиронию человек может возвыситься. Только самоироничный народ может противостоять зарождающемуся в нем фашизму. Теперь, когда мы все в рассекреченном дерьме, когда одни страдают и негодуют, а другие склеротично ничего не хотят знать, — одна надежда, что вырастут дети, у которых, дай-то Бог, не будет торжественно-отвратительного комплекса полноценности.

Самоирония — венец иронизма. Способность к самоиронии — одна из драгоценных черт, обретенных человечеством на долгом и тяжком пути роста, развития и самопознания. Самоиронии обязаны мы рождением шедевров русской литературы.

Говорят, что в Библии совсем нет юмора. Может быть. Но что такое «Будьте как дети», если не призыв к игре на понижение собственной величины и значимости, как не призыв к самоиронии.

И тогда все сходится...



ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ

*

ПОЭЗИЯ СОВЕТСКАЯ

Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого»

Петр Первый, как известно, брил бороды боярам, за что его до сих пор упрекают. Но Петр был великим русским царем и поступал правильно. Это был единственный путь европеизации России. Поэтому и удалась петровская Авантюра: нарядить русского в европейский кафтан, сбрить бороду и надеть парик. Сменить форму, и тогда изменится содержание. Гений русского народа — гений подражательный. Все же гений, ибо за сменой формы действительно часто происходит смена содержания: форма «растет внутрь» и создает новую сердцевину. Русский по Станиславскому «вживается в образ», становится тем, кого он имитировал. Или почти становится, но это «почти» не змеится по реальности трещиной пошлости, а придает русской реальности некоторую декоративность, зыбкость. Утрированную правдивость, то есть правдоподобие. В этом правдоподобии («реализме») и неправдоподобность русской истории — самой хаотичной и неухоженной истории, но в то же время и самой истории предумышленной, специальной.

Крушение коммунистических режимов в Европе сразу привело и к устранению с политической сцены коммунистических лидеров. У нас те же самые люди остались на поверхности и всем заправляют. Конечно, Ельцин, например, вовсе не притворяется демократом и «борцом с тоталитаризмом». Нет, он действительно демократ... точно так же, как раньше он действительно был секретарем обкома. Невероятно, а факт. Как сказал Андрей Платонов: «Русский человек сразу в обе стороны растет». Ельцин «вжился», «стал». Кто-то изменил правила игры, и хамелеон изменил окраску? Нет, он изменил свою сущность — отрастил крылья или там цупальца. Россия на глазах линяет. 70 лет она притворялась Востоком, теперь с огромным, нечеловеческим усердием русской балерины притворяется Западом. Этот процесс идет вширь, вглубь. В него вовлекаются миллионы. И вот уже всю страну трясет от ненависти к «совку», недавнее прошлое злобно отвергается и тем самым утверждается новая, западная, идентичность. Но это утверждение происходит по-азиатски грубо, на уровне плевков, в стиле «а вот я еще хуже, еще подлее сделаю». Стоит русский человек перед зеркалом и бьет себя кулаком по затылку: я белый, белый. Тот, кто успеет «побелеть», — выиграет. Тот, кто останется «красным», будет ходить чеховским Фирсом по пустому имению — «человека забыли». Ясно, что поколение шестидесятников, со всей своей нездоровой лихорадочной активностью, «не успеет», и будет забыто. Оно обречено. Собственно, этой человеческой ситуации и посвящена «Энциклопедия Высоцкого». Это энциклопедия шестидесятников и, следовательно, для шестидесятников (ибо шестидесятники никому больше не интересны). Тон «Энциклопедии...» имитирует тон злобного самоутверждения «новых белых людей», которые, конечно, никогда не станут вполне белыми, и сами это вполне понимают. Стать белым можно, только «забыв себя», разорвав связь времен. Все контакты с шестидесятниками, отцами-основателями перестройки, лишь разрушают последние остатки естественных связей, заменяют их фиктивным и равнодушным «регламентом» — слейными улыбками «коллег» у постели ракового больного. К которому, правда, однажды приходит хам-сосед и по-простому, по-слесарному говорит: «Ну, ты, это, в натуре... сдохнешь ведь, а?.. А что делать». Вот пародийный тон «Энциклопедии...» «Все, что можно», тот максимум «гуманизма», который можно отрезать несчастным от на глазах черствеющей новой реальности. Это усилие сказать «что-то» никому в хаосе событий не интересным и умирающим людям. Более того, это усилие сказать то, что ими ожидается. Ведь именно этого они ждали все время, вечные дети — ждали с тоской и ужасом тоголевского «что же вы стоите, ведь мы же вас не бьем?». Ждали неизбежной взрослости (смерти).

В самом движении «перестройки» был заложен изначальный идиотизм, обреченность на неудачу. Все помнят, как было сказано вначале:

— Вы спрашиваете, что мы будем делать после конца? Как что — читать журналы!

Какой бы вздох облегчения вызвало второе издание семидесятых годов. Все ясно. Все сохранено. Тип жизни, тип отношения к миру. Но «произошла победа», и мир рухнул. Шестидесятничество, совершенно лишенное идеи трагической ответственности, заняло трон. Настоящий политик понимает, что в любой момент выскунется рука из толпы и убьет. Этим звериным пониманием реальности, «жизни и смерти» шестидесятники совершенно не облада-

ют. Они, полезшие «поколением» в политику. Ясно, что шестидесятники кончат быстро и нехорошо. И заслужат за это даже не презрение.

Между тем оправдание уже в том, что шестидесятники — первые. Ведь не было «пятидесятников», например. Был Восток, где времени, в западном понимании этого слова, нет. Следовательно — нет поколений с их конфликтом отцов и детей; следовательно — нет самой проблемы преемственности и новаторства в культуре. Россия в известный момент «потеряла время», что однозначно свидетельствует о ее евразийском дуализме. Следует поэтому ценить уникальность момента «обретения времени»: в историческом масштабе почти мгновенного припоминания своей и европейской (словесной) сущности.

Как это происходило? Смешно и величественно, как смешон и одновременно величествен момент, когда потерявший разум и брошенный всеми король однажды ночью в грязной провинциальной гостинице вдруг вспоминает, что он — Король. Смешно и величественно русская литература, изговорившаяся, захлебнувшаяся, онемевшая на десятилетия, вдруг залаяла, завывала Высоцким. Просто так прощ. Ведь стихами легче говорить, чем прозой. Все литературы мира начинали с поэзии — и заика говорит хорошо и плавно, читая стихи. Особенно нараспев. Или просто запев песню. Высоцкий, продирая рот, расцепляя слипшиеся от молчания губы, скалясь и хрипя, пел что надо и как надо. Им пела Россия. Прочие («поэты-шестидесятники») выкаблучивались, и их забудут, уже забыли. Они пытались быть умнее и культурнее, чем были на самом деле. И поэтому они не были, а казались. А Высоцкий — был. Как и Театр на Таганке. Все упреки в его примитивизме — смешны. Что такое Большой театр в 60—70-е годы? «Фата-моргана». «Таганка» жила так, что за ушами хрустело. Упрек в ее неподлинности — это упрек эпохе, упрек рыбе в том, что у нее нет крыльев. Их и не может быть, потому что это рыба (хотя, заметим в сторону, рыба хитрая, «русская»). Упреки шестидесятникам нелепы, собственно, это упреки в том, что они выросли в 40-е годы XX века в России. К тому же, можно повторить, шестидесятничество было настолько пусто и бессодержательно, что это в конце концов даже талантливо. Как талантлив Тарковский, «за 15 копеек» снявший «Сталкер» — фильм ни о чем. О себе и своем никчемном поколении — поколении детей. Россия на двенадцатом веке своего существования, после Толстого и Достоевского, пускай после Набокова и Солженицына... Кто — Высоцкий? Это даже интересно. И это теперь вечно. Пушкин, Лермонтов, Блок, Цветаева. Ну, кто дальше — Бродский? Нет. — Высоцкий. Конечно, это бессмертие. И «последние советские люди», именно визжа от злобы, создавая «энциклопедию», его туда затолкают «заподлицо» — в русскую историю. И уже навсегда.

«Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт» — эта несчастная советская улыбка, сутулые плечи, взгляд в сторону. Вот чем кончилось «Я памятник себе воздвиг». Кончилось, и ладно. Как сказал Шкловский накануне своей и советской смерти: «Поживем — увидим».

Д. Г.

ПОЭЗИЯ СОВЕТСКАЯ. Поэзия есть вид искусства чрезвычайно частный, камерный. В эпоху эпическую, так сказать, «вокальную», значение поэзии огромно. Через ее мычание и рифмическое заикание прорезается голос нации. Но потом область поэтического творчества катастрофически сужается, дает относительно вялый «серебряный» всплеск при окончательном переходе к внутренней речи и чтению «про себя» (то есть переходе не просто к сознанию, а к самосознанию), и наконец превращается в своего рода филологические штудии, расходящиеся тиражом в 100—200 экземпляров. Классический период поэзии не меркнет никогда, но «вот-поэзия» превращается во вторичную порчу языка, гнилой пикантный сыр. Сказать «я было мыло забыл» — стилистическая ошибка, но наверное, рифмы при их немисливо извращенной концентрации иногда нужны, нежны, приятны. Плюс речитатив, чететка шлягеров, нечто слишком примитивное для прозы — речи плавной и культурной.

Здесь мы и подходим к феномену советской поэзии. Разгул поэзии в Советской России (а иначе не скажешь) — это прежде всего следствие поражения интеллектуального и духовного центра нации. От «советской поэзии», конечно, следует отличать «при(под)советскую» — осколки рационального и яркого серебряного века, кружащиеся и то затягиваемые вглубь, то отторгаемые месивом и крошевом нового стихотворчества. Ясно, что Гумилев, Блок, Бунин, Мандельштам, Ахматова, Цветаева к советской поэзии не имеют отношения никакого уже по той простой причине, что в ней напрочь отсутствует многочисленный слой, например, акмеистов второго порядка. Что касается таких людей, как Маяковский или Хармс, то их формалистические штудии как проявление примитивизма «удачно» совпали с примитивизацией лексической культуры, и в этом смысле выступили как новый авангард, что, конечно, является не их виной или заслугой, а просто «случайностью» (хотя, разумеется, и имеет свою метафизическую подоплеку). Громадный рой михалковых, долматовских и исаковских появился бы и без помощи Хармса, Заболоцкого и Маяковского.

Отсюда и неправильный принцип составлявшихся до сих пор антологий советской поэзии. Скорее их можно назвать антисоветскими. Подобные антологии

составлялись, во-первых, из обломков чужеродной культуры, всячески советским миром отвергаемой (начиная от принципиального замалчивания и просто неслышания и кончая прямым убийством поэтов). Во-вторых, туда включались более-менее талантливые подражания русской поэзии, которые можно найти почти у любого плодовитого советского поэта. С равным успехом можно было бы составлять антологию русской поэзии, целиком состоящую из стихотворных переводов Гёте, Байрона и Верлена. Вообще большая, «репрезентативная» антология должна состояться не столько из самых лучших, сколько из самых характерных стихов того или иного автора (что совпадает далеко не всегда). В конце концов, и слепой один раз попадает в цель, так что и в графоманских томах графа Хвостова можно набрать 5—10 вполне сносных стихов. Но будут ли они характерны и показательны именно для Хвостова? Можно ли будет по ним составить верное представление о том специфическом положении, которое занимал Хвостов среди своих современников? Тут важный и принципиальный момент наших рассуждений. Поскольку советская поэзия есть продукт распада культуры, то, соответственно, суть ее, ее острие будет проявлено в достижении максимальной степени деградации языка и мысли («логоса»). Эта «культура» и может вполне адекватно выражать себя только на уровне чудовищно бездарного, бесформенного стиха. Здесь проявляется ее суть. Центр русской советской культуры — это именно поэзия, квазиэпос разрушенной эпохи, когда вдруг от самых современных достижений индивидуалистической цивилизации Запада Россия снова перешла к нечленораздельному проговариванию туманных архетипов. Проговариванию тусклому, вторичному, немислимо деформированному и неестественному, но единственному и возможному на языке принципиально бездарных стихов. Вся советская культура уместается в нескольких десятках стихотворений, или, точнее, стихотворных тем, так как индивидуального творчества на таком уровне сознания уже почти не существует. Прочее: художественная проза, публицистика, «наука», «философия» — является чем-то вторичным, вымученно интеллектуализированным, а здесь, в поэзии, культура говорит сама. Слушайте и услышите. Через бля-мля, предблеботное лепетание отравленного мозга выражено железное кредо, гораздо более четкое, более ясное, чем самый толстый и самый серьезный советский учебник по истории, политэкономии или философии. Там абстрактные, невыносимо стертые штампы «внутреннего распорядка», здесь интимное ночное «бухтение» на парах через терпкую барачную вонь, через облака махры: смачное, матерое, матерное. Разумеется, «всему этому» присущ непередаваемый комизм. Имманентным свойством комизма является узнаваемость, поэтому в любой масштабной вторичности присутствует элемент пародии. Да, чрезвычайно смешон возникший в XX веке «как бы эпос» Миклулы Селяниновича или ранних христиан, и особенно смешон он своей серьезностью или почти серьезностью (что еще серьезней, так как свидетельствует о серьезности, угрожающей серьезности самой «среды обитания» — мира, продуцирующего о себе безумные в своей интимности фантазии). Но, осознавая этот комизм (а эмоциональным результатом сознания комизма является смех), следует все же учитывать, что смех этот есть прежде всего смех над самим собой, над собственной безнадежно испорченной судьбой.

Каковы же основные темы советской поэзии?

Во-первых, это прямое восхваление вождя мирового пролетариата Н. Ленина и его соратников и преемников. Эту тему № 1 советской поэзии можно условно назвать «Любовь к трем мандаринам».

Главным мандарином, конечно, является Сам. Чуть ли не четверть всего «вала» советской поэтической продукции составляют опусы примерно такого содержания:

Столетия над миром возвышающийся,
Зубчагостенный Кремль увидевши,
Остановись!
Шагая возле места Лобного,
Веками плач и стон народный слышавшего,
Остановись!
На Красной площади, гранитом облицованной,
Взгляни на звезды наши незакатные
И, вспомнив все пути, в борьбе пройденные,
Прекрасному созвездью Ленина —
Родимой партии —
С любовью поклонись!
Сияющему солнцем мрамору,
Гробнице-мавзолею,
Святые государства нашего,
Величественной, светлой усыпальнице,
С любовью поклонись!
Бессмертного отца народов Ленина,
Рабочих и крестьян водителя.

В борьбе приведшего
 К свободной жизни, к радости,
 Душой своей благодари!
 Всесильной мудростью своей вооружившего.
 Народы всей земли
 К борьбе поднявшего,
 Навски памятного миру
 Ленина лицо увидевши,
 Душой своей благодари!
 Предвозвестившего борьбы сиянье грозное,
 Вождя любимого,
 Бессмертного, как солнце. Ленина
 Благослови!
 Прославленное во вселенной имя светлое
 В сыновнем сердце повторяя с трепетом
 Отдай почет сияющему знамени,
 Великого вождя-учителя
 Благослови!
 Как теплый дождь по озимому семени
 Готовит всходы будущей весны,
 Так поднимают всех людей заветы Ленина
 Во имя человеческой весны.

(«У мавзолея Ленина», М. Тимофеев-Терешкин)

Или:

Я вижу вас, зеленые просторы,
 Где птичий хор и песенка ручья,
 Прославленные Ленинские горы,
 Знакомая застава Ильича.
 Уходит вдали история живая,
 Как в путь жорабль...
 Огни, огни горят.
 Ульяновском Симбирск мы называем,
 Зовем мы Ленинградом Петроград.

Всему, что дорого
 (Так повелось в народе),
 Даем мы имя светлое его,
 В честь Ильича,
 В честь Ленина
 Володей
 Мать называет сына своего.

.....
 Пять букв!
 Я встретил их огни живые,
 В далекий мир, как верный друг, войдя.
 Есть в Праге домик Ленина,
 В Софии
 Проспект назвали именем вождя.

 Назвать бы землю.
 Целую планету,
 Его прекрасным именем могли
 По праву мы...
 Со мной согласны в этом
 Трудящиеся люди всей земли.

(«Имени Ленина», М. Лисянский)

Вторым мандарином, после 1956 года несколько подгнившим, был Сталин:

Свети, наше солнце, дари нас лучами!
 В могучем сиянье мы зорче очами.
 Свети из Кремля нам, сияй-пламеней!
 Всех солнц во вселенной наш Сталин ясней!

Ты слово промолвишь — душой молодею.
 Лучом осенишь — и на сердце светлее,
 О, ясное солнце, в веках очаряй
 Цветущую землю — весенний наш край!

.....
 Ну, как не струиться потоку в долине?
 Ну, как не цвести-красоваться калине?
 Свети, наше солнце, сияй-пламеней!
 Всех солнц во вселенной наш Сталин ясней!

(«Свети, наше солнце», П. Тычина)

Наконец, на роль третьего мандарина по желанию можно выкатить любого второстепенного вождя или лучше всего «руководство в целом»:

Когда победа у станка,
 Когда успех в труде желанном,
 Рапортовать идешь в Цека,
 Идешь туда за новым планом.

Когда обида велика,
 Когда неправда жить мешает,

Идешь за помощью в Цека —
 И это сразу все решает.

Когда печаль, когда тоска,
 Когда гроза над головою —
 Поговорить идешь в Цека,
 Поговорить с душой живую.

Там могут сердце закалить
Покрепче всякого металла,
Там могут душу окрылить,
Чтобы она сильнее стала.

Получит добрая душа
Совет в Центральном Комитете
И в бой идет, врагов круша
И побеждая все на свете.

И знаешь ты наверняка:
В любом вопросе в том и в этом —
Всегда товарищи в Песка
Помогут делом и советом.

Научат видеть далеко,
Идти решительней, смелее.

Ты раньше думал: им легко.
А им, пожалуй, тяжелее.

Всегда — за новое борьба,
Пусть крепко старое держалось.
Решалась там твоя судьба,
Судьба Отечества решалась.

.....
И мировой авторитет
Среди живущих поколений
Обрел Центральный Комитет,
Чье вдохновение — мудрый Ленин.

(К. Мурзиди)

Второй важнейшей темой советской поэзии является любовь к великой русской литературе. Здесь роль Самого выполняет Пушкин, роль его свиты — прочие Лермонтовы и Тургеневы. Если «три мандарина» символизируют высокую духовность советского общества, то Пушкин и «пушкинцы» являются олицетворением его душевности. Кроме того, у этой темы важная дополнительная нагрузка — объяснение преемственности между советской властью и русской культурой.

Казалось, время мрамором одето,
Светилось все. Не знало небо тьмы.
Прозрачной ночью,
Белой ночью лета
На Черной речке побывали мы.
...Его убили на опушке леса.
Аэродром раскинул крылья тут.
В молочном небе,
В тишине белесой
Торжественно спускался парашют.

Здесь рухнул Пушкин от наемной пули,
Еще привстал,
Прищурив левый глаз..
К нему деревья ветками тянулись.
Он не успел позвать на помощь нас.

Матросы из Кронштадта
Шли, как волны,
На мир, который Пушкина убил.

Прошло столетие.
Наш товарищ вольный
С тунгусами теперь заговорил,
С вселенной,
С нами...
Этой ночью странной
Никто уйти от памяти не мог.
Мы вздрогнули,
Когда из рек туманных
С шоссе позвал задумчивый гудок.
И в город понеслись автомобили.
По Кировскому...

Вспомнилось тогда,
Что мы Татьяну Ларину любили,
Как девочку, в недавние года;
Что нас в боях овеяло стихами,
Огнем его бессмертья,
Потому
Встал Пушкин рядом с нашими вождями
И наше счастье — родина ему.
Он долго ждал, чтоб сделаться счастливым.
Теперь,
Сосредоточенны, тихи,
Районные партийные активы
До ночи слушают его стихи,
А после — прення.
На ЦАГИ или на ГАЗе

Встает парнишка.
 С яростью в крови
 Он говорит о бурных днях Кавказа,
 О Шиллере, о славе, о любви.
 С актива он приходит в полвторого,
 Чай кипятит. И пишет о себе,
 О времени.
 Его простое слово
 Уже готово к золотой судьбе.

Однажды утром
 Он встает устало
 И понимает, что к нему пришло
 Все то, что в горле многих клокотало,
 Но выбиться наружу не могло.
 И я хочу, как он своею песней,
 Поднять знамена дружбы и тревог.
 Ведь он мой друг, соперник и ровесник,
 Быть может, чем и я ему помог.

(«Современник», Е. Долматовский)

Или:

Уйдя — с испугу — в тихость быта,
 живя спокойно и тепло,
 Ты думала, что все забыто
 и все травую поросло.

Детей задумчиво лаская,
 старела как жена и мать...
 Напрасный труд, мадам Ланская,
 тебе от нас не убежать!

То племя честное и злое,
 тот русский нынешний народ,
 и под могильною землею
 тебя отыщет и найдет.

Еще живя в сыром подвале,
 где пахла плесенью углы,

мы их по пальцам сосчитали,
 твои дворцовые балы.

И не забыли тот, в который,
 раба страстищечек своих,
 толкалась ты на верхних хорах
 среди чиновниц и купчих.

И, замирая то и дело,
 боясь, чтоб Пушкин не узнал,
 с мольбою жадною глядела
 в ту бездну, где крутился бал.

Мы не забыли и сегодня,
 что для тебя, дитя балов,
 был мелкий шепот старой сводни
 важнее пушкинских стихов.

(«Натали», Я. Смеляков)

Вот стихотворение, посвященное одному из «пушкинцев»:

Был он высок, осанист и спокоен,
 Любил бродить с двустволкой по лесам,
 Вы знаете, как жил и кто такой он.
 Пусть лучше о себе расскажет сам:
 О юности своей, о Вешних Водах, —
 Куда ж они умчались?.. Знает Бог.
 О старости, которая не отдых
 Ни от одной из мыслимых тревог.
 Расскажет он, как праздничен и труден
 Путь человека сквозь ночной туман...
 В ночной туман уйдет бездомный Рудин,
 Начнет скитаться по свету роман.
 Смешаются в нем счастье и невзгода,
 Страсть девушки и старческий закат.
 И эмигрант сорок восьмого года
 Погибнет у парижских баррикад.

И книга, как живая, отстранится
 От пошлых рук. В том смысл ее и честь!
 Недаром в ней обуглены страницы:
 Герр оберст не хотел ее дочесть.

Швырнул он в печку — эту, и другую,
 И третью, испугавшись русских вьюг.
 Он у огня вымаливал, торгуясь,
 Шепотку жизни, — дальше хоть каюк.
 Он понимал, что никуда не выйдет

Из этой жаркой маленькой избы,
 Что вьюга насмерть немцев ненавидит,
 Что верстовые жуткие столбы
 Не считаны. И нет уже спасенья
 Ни у печи, ни в поле, ни в лесу...
 Рванув кольцо, шагнул с размаху в сени
 Тот великан с двустволкой на весу.
 Был он, как встарь, осанист и спокоен,
 Никем не остановлен и не зван.
 Нам лучше не спрашивать, какой он —
 Товарищ Т., по имени Иван.

Он усмехнулся в бороду, усталых
 Глаз не сводя с морозного стекла.
 А там, в слоистых ледяных кристаллах,
 Ракета красной каплею текла
 И расплывалась. Но едва погасла —
 В остывшей печке красный уголек
 Страницы книги тронул будто назло,
 И красный блеск на великана лег.

Завыла вьюга, бешено запенив
 Косматый снег. Услышав «Руки вверх!»,
 Герр оберст вздрогнул: «Кто это? Тургенев?»
 ...И партизан его не опроверг.

(«Памяти Тургенева», П. Антокольский)

Третья тема — это так называемая «советская романтика» — сознательный обман, при помощи которого, во-первых, скрываются преступления коммунистического режима, а во-вторых, советский человек провоцируется на заведомо для него невыгодные и даже вредные действия (бесплатная работа, переселение в необжитые районы, доносы на родственников).

Вот характерное стихотворение из романтического цикла, сравнивающее Советскую Россию с «большой, большой скамьей», на которой будут вскоре сидеть «далекие архипелаги»:

Далекие архипелаги!
 Я видел вас лишь на бумаге!
 На карте, на ученической парте!
 Между Таиландом, Австралией, Бирмой
 Сели в воде вы, как лебеди, мирно.
 Налево — Борнео, правее — Гвинея,
 Поблизости, рядом — Суматра и Ява.
 Я не был у вас, но если бы случай
 Принес меня семенем легким, летучим,
 Я сразу сдружился б со смуглым гвинейцем,
 И верю, что стал бы он искренним ленинцем.
 Я песни бы им по-загорски, по-вятски,
 А с песни пошел бы на оторопь пляски.
 Я им бы преподавал, что Русь — это сердце,
 Экватор, где можно душою погреться,
 Присесть на большую, большую скамью
 В единую, крепкую нашу семью!

(«Далекие архипелаги», В. Бокое)

Вот не менее «романтическое», но более конкретное и утилитарное произведение:

— Да, Сибирь далеко от столицы,
 Да, здесь вьюга неделями злится,
 Да, садами наш край еще беден,
 Да, в тайге есть, конечно, медведи.
 Но медвежьим одни лишь невежды
 Край сибирский считают, как прежде!

Им, видать, невдомек, что с годами
 Эти земли обжитыми стали,
 Что давно новостроек огнями
 Замерцали таежные дали,
 Что увидишь в суровом просторе
 Свет Норильска и Сталинска зори.

Солнце? Солнце у нас не скупится!
Соловьи? И такие есть птицы...

.....

А какие тут дивные весны!
А какие тут звонкие сосны!
Тихо кедры мохнатые дремлют,
Разбежались цветы по увалам.
Поглядишь — и поверишь: на землю
Словно радуга с неба упала.
А какая тайга вековая!
А какие тут горные цепи!
А какие — от края до края —
Медунницей пропахшие степи!
Воздух чище воды родниковой,
Только выйдешь в просторы — и сразу
Пьешь и пьешь его жадно, готовый
Пить еще и еще, до отказа.

Всем Сибирь и щедра и богата!
Здесь для юности край непочатый.
Впрочем, что убеждать вас стихами?
Приезжайте... Увидите сами!

(«Приезжайте... Увидите сами», К. Лисовский)

Главным объектом «советской романтики» является глупая молодежь. На нее, «страну комсомолию», большей частью и ориентированы подлые агитки:

Лобастый и плечистый,
от съезда к съезду шел
дорогой коммунистов
рабочий комсомол.

Он только правду резал,
одну ее он знал.
Ночной кулак обрезом
его не задержал.

.....

Ему бывало плохо,
но он, упрям и зол,
не ахал и не охал,
товарищ комсомол.

Ему бывало трудно.—
он воевал со злом

не тихо, не подспудно,
а именно трудом.

Тогда еще бездомный,
с потрескавшимся ртом —
сперва он ставил домны,
а домики — потом.

По правилам науки
крестьянско-заводской
его пропахли руки
железом и землей.

Веселый и безусый,
по самой сути свой,
пришелся он по вкусу
отчизне трудовой.

(«Товарищ комсомол», Я. Смеляков)

Подобным зловещим заключением можно завершить эту тему и перейти к следующей, а именно к «производству». Надо сказать, что «романтика» и «производство» тесно связаны и, например, мотив привлекательности бесплатного труда плавно переходит в апофеоз «простого рабочего человека»:

В могучих челюстях тисков
Железо твердолобое.
Парнишка, что из новичков,
На нем характер пробует.

Упрямо лязгают ключи,
Сжав гаек сталь граненую.
В зубило молоток стучит,
Визжит сверло каленое,
Сползает стружки вязь, шурша,
Напильник часто шаркает...
...Металл заставила дышать
Душа парнишки жаркая.

Он видит
Хлебных волн размет
Над степью покоренною,
А по волнам комбайн плывет
С деталью, смастеренной им.
Машины золото черна
Льют в закрома амбарные.
Видать, везде
В стране
Нужна
Профессия слесарная.

(«Новичок», К. Киселев)

Образ тупого настойчивого паренька → излюбленный образ советской поэзии, придающий ей домашность, патриархальный уют. Но вообще теме производства,

особенно промышленного, присущ садомазохизм («обработка», то есть подавление и подчинение материи). Этот тон производственной магии, вампиризма удачно передан в следующем стихотворении, возможно лучшем во всей советской поэзии. Здесь глупость и бездарность достигают масштабов символа:

Синия над городом дуга.
Ветерку поверим, как примете.
Облицовывают берега
Каменщики на рассвете.

Силуэты города. Покой.
Облачная зыбь. Небесный ветер.
Запевают над Москва-рекой
Каменщики на рассвете.

Только что окончилось Вчера.
Дремлет Зантра на моей планете.

Слушают, как ходят катера,
Каменщики на рассвете.

Говорят, что плитами могил
Были раньше злые камни эти.
Кто вас счастье строить научил,
Каменщики, на рассвете?

Если хорошо тебе. молчи...
Памятью о нашем первом лете
Будут птицы, облака, лучи,
Каменщики на рассвете.

(«Каменщики на рассвете», Е. Долматовский)

Частным ответвлением производственной темы является тема «колхоза». Советская власть традиционно считает крестьян грязными, тупыми животными, и уровень пропаганды здесь рассчитан уже совсем на дебилов:

Мне ли, комсомолочке, в конторе сидеть,
Счетами греметь да в окошко глядеть!

Всем работникам села
И почет и похвала —

Дояркам почет,
И свиаркам почет,
И телятницам почет,
И садовницам почет!

Только я одна-одинешенька,
От утра до темна, до темнешенька,

Не в почете, не в чести,
Пишу ведомости —

О доярках отчет,
О свиарках отчет,
О телятницах отчет,
О садовницах отчет.

Нету сердцу моему утешения,
А от милого Егора — уважения.

Не на речку, не в лес.
Я пойду в МТС.

Не вздыхать, не грустить.
А комбайн водить,
И трехтонку водить,

Пятитонку водить,
Семитонку водить.

И малютку «Москвича»
У Егора Кузьмича.

У меня такой характер: я — моторная,
Все постигну, все усвою проворно я.
Верьте слову моему —
Всю науку перейму:

У Сережки перейму,
У Алешки перейму,
У Ванюшки перейму,
У Павлушки перейму,
У Петрушки перейму.

А когда комбайн в поле жать поведу,
Комсомолок-девчат за собой позову.

Из конторы на простор
Позову я всех сестер —

Холмогорских позову,
И поморских позову,
И печорских позову,
Вычегодских позову,
Вологодских позову...

Так и ахнет весь народ:
На комбайне счетовод.

(«Я пойду на МТС», Г. Санников)

Важным элементом производственной темы является мотив покорения мира — бравадного хамства, столь удачно переданный Оруэллом в «Скотском хуторе»:

Зимы и зноя победители,
Живут земли моей строители.
Они, рукастые, лобастые,
Живут, заслугами не хвастая.
Добытки весны и руд,
За перевалами суровыми
Они орешками кедровыми
В лицо метелицы плюют.

(«Строители», Г. Флоров)

Зеленые деревца —
Мальчики тощие,
Их старые деды,
Бредущие оцупью?

Парни плечистые,
Парни здоровые,—
Песни поем мы
Звонкие, новые!

В грохот работы
Песня влетается.
Поем мы — татары,
Евреи, китайцы.

Веселый китаец,
Напарник мой,
Деталь проверяет
Умелой рукой.

К труду, словно к хлебу,
Он тянется смолоту —
Весь цену узнал он.
Нобоям и володу.

В грохот работы
Песня влетается.
Поем мы — татары,
Евреи, китайцы.

Вдали заиграли
Веселую «Русскую»...
Где эти слабые
Плечики узкие?

Парни плечистые,
Парни здоровые,—
Песни поем мы
Звонкие, новые!

(«На фабрике» М. Тейф)

Шестая тема советской поэзии — это «советская женщина». Как и всем тоталитарным режимам, советскому обществу присущ гомосексуализм. Женщина — существо презираемое и перевоспитываемое в мужчину. Одновременно уже реконструированная женщина (комбинезон, кувалда в мускулистых руках) производит на советского человека устрашающее впечатление и дополняет гомосексуальную тему темой мазохизма. Характерной особенностью советского гомосексуализма является именно его садистский неэстетизм. Это гомосексуализм рабской казармы (грязный ватник, расстеленный на нарах, пайка хлеба, пожираемая прямо под клиентом), а не, скажем, довольно тонкий и романтичный флер гомосексуальности нацистской Германии. Советский гомосексуализм варварски естествен, нерerefлектирован. Советскому человеку не нравятся женщины, а почему — он вроде бы не знает и знать не хочет. Поэтому гомосексуальные декларации делаются им просто, без стеснения и аллегорий. «По-родственному»:

Приподнимет
Гордо морду,
Гордо стянет
Профиль птгичий...
Сколько стоит
Ваша гордость?
Цену — Вашему величью?..

Как идет.
Ей очень грустно
(От утрат, видать, печали).
Не твоим ли пышным
Бюстом
Перекор мы защищали?..

Это — капли,
Это — крохи,
Если взять наш век премудрый,
Что же дали Вы эпохе,
Живописная лахудра?

Разве это
Ищут люди?
Разве это
Людам надо?
То кокетничает
Грудью,
То кокетничает
Задом.

Если Вам уж неизвестно,
Разрешите, я замечу,
Что совсем в другое место
Спятан вазум человеческий...

К нам всегда приходит мудрость
Через белые равнины.
Опадут,
Отплянут кудри
Зацветут седины.

И, как в бешеном стакане,
Память вздрогнет
И заплещет...
Чем же Вас тогда поманит
Дорогая прошлость Ваша?

Я не знаю лучше участь,
Голубей не вижу свода:
Умереть, борясь и мучась,
Умереть в такие годы.

И меня в суровой ломке
Лишь одно страшит немало,
Как бы гордой незнакомкой
Жизнь меня не миновала.

Все! —
И нежность песнопенья.
Все! —
И даже нежность тела —
Для железного цветенья,
Для единственного дела...

А тебе, как влага туче,
Красота дана природой.
На костер ее!
Чтоб лучше
Освещалась свобода!

Женской нежностью томима,
 Не богатых,
 Не красивых,
 Назови твоим любимым
 Воина трудолюбивых.

Не поймешь —
 И будет худо.
 Жизнь идет, а годы скачут,
 И смотри, тебя забудут,
 Как красивую собачку...

(«Стихи красивой женщине», И. Уткин)

Впрочем, как к полезному насекомому к женщине можно испытывать и положительные чувства:

Чугунная поковка,
 Твердая фреза,
 Синяя спецовка,
 Черные глаза.
 Четкие движенья
 Умелых рук,

В ящике деталей —
 Тысяча штук.
 ... Четкие движенья
 Любимых рук.

(«Фрезеровщица», Г. Сабуров)

Если уж говорить о любви, то советскому человеку дозволяется почтительно и благоговейно любить только особых, специальных женщин. Проверенных.

Притворяться мне не пристало,—
 Как я рад,
 Что увидел ту,
 У которой должны кристаллы
 Занимать свою чистоту!

Надо в дуло врага глядеть.
 Но в смертельном поединке
 С темной силою
 Всей земли
 Наши девушки,
 Как снежинки,
 Сохранить чистоту смогли.

С этим трудно не согласиться,
 Это в каждой
 Пряди волос,
 Это в каждой крапинке ситца
 Кофты, трогательной до слез.

Почему же,
 Как говорится,—
 Или молод я, или глуп,—
 Я боюсь перейти границы
 Этих радостно сжатых губ?

Почему,— он, наверно, спросит,
 Этот парень
 Со стороны,—
 Пробивается рано проседь
 У чекисток нашей страны?

И строку мою сразу сводит,
 И в словах моих
 Дрожь видна,
 Будто пью я сырую воду,
 А в стакане не вижу дна.

Тот, чьи губы молчанье лжжет,
 Держит сердце в руках тугих,—
 Те планеты,
 Что к солнцу ближе,
 Обгорают раньше других.

Что ж, наверно, нельзя иначе.
 Отвечаю я здесь тройне
 Потому что солгать ей — значит
 Все равно
 Что солгать стране.

И винить я ее не стану,—
 Никуда эту соль не деть,
 Потому что ей неустанно

(«Чекистка», Д. Алтаузен)

Следующую тему можно обобщенно назвать лирикой, или, пожалуй, «лырикой», потому что советская лирика так же напоминает лирику просто, как запорожский бритый наголо «лыцарь» в шароварах напоминает западноевропейского рыцаря. Само словосочетание «советская лирика» носит пародийный оттенок, ибо эквивалентно выражениям «круглый квадрат» или «коллективная индивидуальность». Лирике как субъективному, обособленному, индивидуальному, интимному нет места в советской культуре. В советской лирике явственно слышится не музыкальное «я» а азиатское «мы» — «лырика».

«Любовная лырика» настолько неинтересна и плоска, что это даже не смешно. Если здесь и стоит привести образчик, то только для полноты картины:

Рано в садике стало темно,
 Я давно тебя жду не дождусь.
 Обломали сирень. Под окном
 Поселилась вечерняя грусть.

.....

Обломали сирень. Скорей
Я бы руки им обломал!
Я впервые тебя под ней
Майским утром поцеловал.

(В. Осинин)

Примерно такие деревенские чувства живописуются на страницах советских поэтических сборников. И само чувство и его объект выглядят заданной абстракцией. (О некоторых причинах этого уже говорилось выше.) Зато пейзажная лирика несомненно заинтересует вдумчивого читателя. Декларируемая в ней любовь к индустриальному уродству по своей извращенной напряженности приближается к наиболее сильным проявлениям андеграунда:

Как даль гудронная ясна!
Как утром магией мороза
Градирен будничная проза
В поэзию обращена!

И радость жить в такое утро,
Когда столбами в небеса
Пар в переливах перламутра
Из трех градирен поднялся.

(«ТЭЦ зимним утром», О. Кольчев)

Я стою на мосту,
и смотрю я на линию,
Где платформы идут
вереницею длинною.
Вижу: сеялки синие
двигутся, движутся,
И так радостно дышится,
по-весеннему дышится.

(«Сеялки синие», О. Кольчев)

Новорожденная чушка
Лежит на моей руке...
И вспомнилась мне речушка,
Бегущая в тальнике.

Тихо звенящие сосны.
Посвист охотничьих пуль.
Бег молниеносный
Вспугнутых нами косуль.

Дорога. Рассказы дорожные
Совсем не седой старины,
Как хрюкали здесь тасжные
Чушки и кабаны.

Все это было, было
Недавно, невдалеке...
И потому-то мне мило
Чушку держать в руке.

...мастер по алюминию
Совсем молодой новожил,
Чушку
Горячую, синюю
На руку мне положил.

Не ту, не из дикого стада,
Что роет саянский лес,
А ту, которую надо
Нам позарез:

Для городов,
Для колхозных
Необозримых полей
И прямо сказать — для звездных
Космических кораблей!

(«Синяя чушка», И. Луговской)

Еще более интересна «философская лирика». Почти физически чувствуешь мучительную мыслительную работу, совершающуюся в теснейшей черепной коробке советского поэта:

Тяжело...

Не поплачут над ним здесь
ни мать,
ни отец,
ни жена.

Тяжело...

Лишь метель,
как гвоздем по стеклу,
пятерню скрежест по насту.

Тяжело...

И в потемках снегов
завывает, как зверь, тишина.

Тяжело...

По железу промерзлой земли
глухо стучает заступ.

Тяжело...

В первый раз
за баранку он сел,
чтоб доставить в совхоз
семена.

В первый раз...

И, летя
сквозь ослепший буран,
в поляньку угодила дорога.

Целина...

Он в глаза не видал целины,
потому что под снегом она,
целина.

Тяжело...

Душит думы тоска,
и сосет мое сердце тревога.

В черном небе холодном
солнце мутное,
словно дыра.
Необжитая дикая степь —
неразумная сила.

Трактора...

На усадьбе совхоза
еще ни кола ни двора.
И одною из первых построек
стала первая эта могила.

Тяжело...

Тяжело на душе...

(«Первая могила», В. Журавлев)

Действительно, тяжело. И страшно. Если вдруг начнешь думать, то ведь додумаешься черт знает до чего. Вот, например, какая страшная и отвратительная фантазия посетила возбужденный ум одной советской поэтессы:

Недавно я вообразить пыталась,
Хотя с трудом, по правде говоря,
Что если б все по-старому осталось
И не было б в России Октября?

И мне вообразилась вереница
Глухонемых, тягуче длинных лет,
Казалось, людям сон неясный снится,
Надежд померкших еле брезжит свет.

Не находилось никаких заметок
В душевной памяти полупустой —
Ни подвигив, ни грез, ни пятилеток
С их беспокойной строгою красой.

.....

Я видела сырых подвалов плесень,
Блистательную спесь особнячков,
Брезгливо замыкавших слух от песен,
Жестоких, горьких песен бедняков.

По радио звучал мотив старинный —
Торжественная, мудрая краса...
Но где же голоса с земли целинной,
Где стран чужих родные голоса?

На полках и в шкафах стояли книги.
Но где ж «Разгром», где «Теркин» среди них?
Где книги Закавказья, Минска, Риги?
Никто не написал их, этих книг.

Читаю жадно Пушкина, Толстого,
Со мной Некрасов гневно говорит.
Но где ж огонь сегодняшнего слова,
Существования иного ритм?!

Вот я смотрю на молодые лица...
Но чем их обладатели живут?
Вот сверстница моя идет молиться,
Ей невдомек, что бог живущих — труд.

Бредут все порознь, стары духом, телом.
Художники в бессолнечной глуши
Считают одиночество уделом
Своей особой избранной души.

...И отступается воображенье,
Нельзя такое и вообразить.
Октябрь, как жизнь, как времени движенье,
Был потому, что он не мог не быть!

(«Он не мог не быть!», В. Звягинцева)

Особенно интересны произведения философской лирики, написанные явно в состоянии экстатического подъема, вполпьяна, под утро:

Глухой?
Пьянчута?
С чуткой тростью
в зубах, а кончик на рояле?!
Всю эту ложь, наветы бросьте,
навек бросьте!
Вам наврали.
Бетховен?
...Кто-то постучал.
Он встал. Но никого за дверью.
Он сам пошел. Сквозь ночь бежал!
Он сам стучал! Он сам за дверью!!
Взвивайся, красный петушок!
Лезь в министерства, пастушок!

Как солнце, колокол гудит
и, воздуж комкая, горит.
И —
комиссары по коням:
«По морям, по волнам...»
В глазах — свобода, не корысть!
Свистят улыбистые сабли.
Колчак в медалях, как карась,
утрюмо утирает сопли!
Отныне
не бывать коронам.
За Октябрем —
лежит весна.
Земля, что сверху, — вся голодным.

Поглубже с метр — буржуям вся!
 Ты, обогрелая в крови,
 век, Революция, живи!
 ..Снимите шляпы. Сохнут слезы.

Ползут гадюки по плакату.
 «Ильич, родной, ты не проснешься? Играют
 «Аппассионату»...»

(«Бетховен», Р. Солнцева)

В таком стиле некоторые советские поэты (Евтушенко, Вознесенский) написали десятки томов. Но наиболее емким примером этой разновидности стихотворной продукции, по нашему мнению, является короткое двустихие, «танка», помещенная на большом белом листе советского поэтического сборника:

Зимою в степи
 далеко видать...

(«Степь зимою», В. Журавлев)

И мудро, и мило.

Следующая, восьмая тема — «Враги». Врагов у советской власти много. И каждого надо разоблачить, обезвредить и, по возможности, уничтожить. Поэтому после «Трех мандаринов» это самый большой раздел советской поэзии.

Для начала врага надо обнаружить, «засечь». Для этой цели в «совке» имеются особо отборные люди, лучшие из лучших: верные, чуткие, со стригущим вкусом. Таким людям советский поэт за особую честь почитает и сапоги почистить:

Посмотрите в минуту покоя
 На носок сапога-удальца.
 Есть у обуви что-то такое..
 Ну... почти выраженья лица.
 Прело мной элегантные туфли.
 Их потрепанный облик не врет:
 Порьжели они и пожухли,
 До упаду танцую фокстрот.
 Без желанья туфли такие
 Я беру, чтобы выправить ранг.
 Но вчера сапоги боевые
 Мне принес молодой лейтенант.
 Загорелые, смуглые лица,
 Голенища сверкают, как жезл.
 В них упругая стойкость границы
 И холодное мужество есть.
 На тропинке, от слякоти ржавой,
 Не они ль проверяли посты?

И шпион агрессивной державы
 Убирался обратно в кусты.
 Рвали их дождевые потоки,
 Обжигала шальная пальба,
 Но стояли они на Востоке,
 Будто два пограничных столба.
 Отдыхали в походном жилище,
 Где тревогой пропитана мгла.
 И не зря поперек голенища
 Многодумная складка легла.
 Добродушно, нахмурившись бровью,
 Лейтенант говорит:
 — Помоги! —
 И, конечно, с особой любовью
 Починю я его сапоги.

(«Сапоги», Б. Ковынев)

Что же это за нелюди, от которых надо охранять простых советских людей? Да конечно, западные толстосумы, дельцы Уолл-стрита, белые дьяволы — отвратительные, тупые европеоиды.

Есть человек.
 Есть человеко-волк.
 Двуногий зверь. Не из легенды греческой.
 Он наяву. Он в крови знает толк.
 Он виски пьет из крови человеческой.
 И в океане на материке
 Стоит не зря его «Свободы» статуя.
 Горящий факел у нее в руке.
 На океан ложится тень хвостатая.
 В ней, сам не зная, выразил творец,
 Как после слов «святейшества» любезного
 Вслед за крестом в вигвам входил свинец
 И обладатель панциря железного.
 Огонь и меч!
 Огонь войны и меч!
 Вот чем была их «миссия культурная».
 Да и сейчас, грозя весь мир поджечь,
 Стоит душа плантатора скульптурная.
 Вот почему, окончивший колледж,
 Знаю манер и прочее и прочее,
 Банкир рычит:
 — Кроши их и калечи! —
 Кого?
 Да нас, Отечество рабочих!

Банкиру снятся русские холмы.
 Он позабыл в фашистской озверелости.
 В какой «колледж» экзамен сдали мы
 На аттестат международной зрелости.
 Что дважды два — четыре, а не пять,
 Что ни к чему в парламенте истерики.
 Уж мы себя умели отстоять,
 Когда на карте не было Америки.
 Что и сейчас советский штык не ржав,
 Что наш народ не племя полудикое.
 Среди великих титулом держав
 Держава мы действительно великая!

(«Факел над миром», Б. Ковынев)

Владельцы нефти, разносчики ваксы,
 Британцы или янки — мы англосаксы!

Сидят за круглым столом джентльмены,
 Как смерть мертвы,
 Как боги надменны.

.....

Есть у них новинки вроде хлопушек,
 Есть хирургов и психиатров орда.
 Чтоб гноить детей, от страха распухших,
 Заражать любым столбняком города.

Есть у них про запас такие микробы,
 Есть такой рассадник кусачих блох,
 Что мерещится им — на могилах Европы
 Загумит некошанный чертополох.

Есть у них тренированные в массовых драках
 Циркачи и поэты в лакейских фраках.
 Есть у них философ, домашний дурак их,
 На труды которого студенты плюют.
 Наконец, в конурах, в лачугах, в бараках
 Есть у них безработный люд.

Как же им напоследок не учесть векселей!
 Как не исправить гибель свою веселей!

И когда буги-вуги идет на эстраде —
 Танки движутся по автостраде.

И когда для хозяев старается джаз —
 Загудел истребитель, кружась.

И когда саксофон задыхается, бляя, —
 Голосует за смерть Ассамблея.

А когда плясуны попадают в такт —
 Это их Атлантический пакт!

(«Гибель класса», П. Антокольский)

Однако белый дьявол хитер. Чтобы глумиться над советской властью, топтать ее поля, плевать в ее реки, он прикидывается лоботрясом-туристом. Но хулиганить и тут советская власть ему не позволяет. И здесь он получает укорот. Чуткие советские люди сдержанно, корректно, подавляя естественную брезгливость, объясняют. По-прежнему. Ставят на место заокеанского гулену. Да так, чтобы не только ему, твари, nepовадно было, но и его детям и внукам:

Это было на Камушке-Каме.
 Сквозь прищур созерца Урад,
 Рослый янки в туристской панаме
 С удовольствием в Каму плевал.

Он швырял ей в лицо папиросы
 Режким взмахом холеной руки.
 Возмущенно шептались матросы —

Сыновья этой доброй реки:
 — Чем река перед ним виновата?
 — Это к нам его лютая злость!
 Но сказал капитан им:
 — Ребята,
 Не забудьте, что янки —
 Наш гость.

Мы, советского судна команда,
Поступаем, как долг нам велит,—
А к туристу меж тем без доклада
Подошел пожилой инвалид.
Стукнув об пол ногой деревянной,
Пробасил он:
— Здорово живешь,
Ты пошто это, гость иностранный,
Нашей магушке в очи плюешь?!

В старину был хороший обычай:
Человек, осквернивший волну,
Хищных рыб становился добычей,

Не успев прилепиться ко дну.
Слышишь,
В борт ударяет с разгону
Ослепленная гневом волна?
Но не бойся, тебя не затрону,
Я не Стенька,
А ты — не княжна!
Только знай, что своими плевками
Ты себя выдаешь с головой...
Это было на Камушке-Каме,
На уральской реке голубой.

(«Янки на Каме», Л. Татьяничева)

В бессильной ярости нелюди пытаются, подобно персонажу шекспировской трагедии, влить яд в ухо советского человека. Но есть противоядие против радиояда — честь и совесть. Наконец, элементарное чувство гармонии, красоты.

...Тихонько, чтоб сынишку не будить,
Я наполняю дом гуденьем РЭТа.
Он хочет нашу юность оживить,
Весну и счастье. Полон песней этой
Наш старомодный РЭТ.

.....
Вот в песне вее «голубой платочек»,
Прощаясь, сына обнимает мать
И с фронта ждет таких родных ей строчек,
Вот «Три танкиста» — нам ли их не знать!
Ах, песни, песни!
Много их забылось,
Но все пережитое в них легло.
То — наши песни...
.....
Но слышишь?

Гнусной музыкою джаза
Эфир вдруг захлестнуло в мирный час.
И наши лица помрачнели сразу,
Как будто мрак обрушился на нас.
В каком-то кабаке, в дыму, в тумане
Визжит певица, скачет дикий джаз,
Ночной кутила — браунинг в кармане,
«Сверхчеловек» — уже пустился в пляс.
Смотри — их голоса в моих руках.
Настройку сдвину — и уж нет на свете
Той нечисти, что воеет в кабаках.
Вновь полон дом наш тишиной всегдашней,
А на душе вернувшийся покой.
Двенадцать бьют часы кремлевской башни,
И мощный гимн плывет над всей землей.

(«Ночные голоса», Р. Парвее)

На музыкальном фронте советский человек не ограничивается пассивной обороной, а смело переходит в контрнаступление:

— Ну-ка, Ванечка, нашу сыграй-ка,
Рок-н-роллам бесстыжим на страх! —
И запела в метро балалайка
У сержанта в шершавых руках.

Эта песня подсказана сердцем...
Кто, довольный, качнул головой,
Кто придвинулся ближе к армейцам:
Мол, в метро это слышу впервой!

Ну, а кто отвернулся с ухмылкой,
Ну, а кто не взглянул на солдат

И втянулся в себя, как в бутылку,
Неожиданным звукам не рад:

Дескать, мы не такое видали,
И кому по душе этот вздор?
Балалайка простая едва ли
Может вызвать безмерный восторг.

Но сияют бойцы молодые,
Не смущаясь насмешливых глаз.
Что ей, песенной нашей России,
До брезгливых гримас?!

(«Балалайка», А. Марков)

В то же время, как видно из приведенного выше стихотворения, есть еще в СССР люди, с ухмылкой отворачивающиеся в метро от балалайки. Таких надо уничтожать. Благо и паспорта американского у них нет. Тряпки на себя нацепили ихние, а документы-то наши. А раз наши, то и разговор другой... Домашний.

...Ты знаешь стилияг?
 Жилет «какаду»,
 и стильная обувь,
 и брючки,
 и юбочка клином «держи-упаду»
 у свежескрашенной сучки.
 Стилиаги! Их встретить сейчас не хитро
 на каждой рабочей неделе.
 Кругло креп-жоржетовое бедро
 от сытости и безделья.
 Вот он и она — жалка и смешна,
 жена, не знавшая мужа.
 Но он ведь мужчина,
 он — не она?
 А приглядишься — еще хуже!
 Такой не порвет, не растянет жил
 на поле или в штрэке.
 Он даже в пехотном полку служил,
 работая в библиотеке.
 Из истин известных одну уяснил
 с пеленок мамин сыночек —
 как можно поменьше растратил сил,
 урвать повкусней кусочек.
 Он логику знает,
 «смышленный» весьма:
 — Фома слабый ум имеет,
 значит, должен иметь Фома
 спину крепче и шею.
 Фома по пути к коммунизму идет,

а я, мол, пока, еду.
 Сейчас, мой друг, не семнадцатый год,
 митинги — после обеда.
 Ну, а не хочешь — давай митингуй,
 ведь я не изменник, знаешь,
 мол, я под кустом подождать могу,
 пока целину покоряешь...
 А помнишь тех, кто на фронте,
 там,
 нас больше боясь, чем плена,
 хитро прятался по кустам,—
 скажи, а то не измена?
 ...Солнце тонуло в черной пыли,
 дрожали у «умных» коленки.
 За то,
 что в одном ряду не шли,
 за то,
 что, отстав,
 под кустом легли,
 мы ставили их
 к стенке.
 Как можно, ребята,
 такое забыть,
 подчас распустивши вожжи?!
 Надо за стильные души бить
 сегодня,
 сейчас,
 не позже.

(«Дезертиры», И. Тихонов)

Беда только в том, что кроме ярких, как попугаи, стилиаг есть предатели скрытые.
 «Свой», а сволочь. И таких много!

Он замкнут, но если придется,
 забавней и ярче других
 умеет блеснуть анекдотцем
 о женах, о ревности их.
 Заставит смеяться до колик,
 а я и до слез хохочу,
 кричу одобрительно: — Комик! —
 И дружески бью по плечу.
 Как облаком, дымом окутан,
 он снова нисходит с высот
 и, тихую выждав минуту,
 еще анекдот «выдаст».
 И в шутке, отточенной в меру,
 он вдруг задевает всерьез,
 с чего сотворение веры

и правды моей началось,
 с чем я в повседневные споры
 врубаюсь, как будто в бою,
 что жарче, чем взрывчатый порох,
 всю кровь сотрясает мою.
 Теперь он особенно хлесток,
 но я багровою, кривяся,
 как будто сорвался с помоста
 в густую болотную грязь.
 И морщусь: зачем я смеялся?
 Да как он решился, пошлая?
 И с хрустом сплетаются пальцы
 в готовый к удару кулак.

(«Сосед по общежитию», В. Гордейчев)

Подобные циники всячески саботируют решения партии и правительства и, отказываясь строить собой социализм, постоянно норовят прошмыгнуть в уютную щель индивидуального существования. Такая позиция интеллигента естественна, так как сама по себе его социальная функция носит клеймо чего-то индивидуального, частного. Интеллигент — это тот же кулак, частник, бравирующий своим интеллектом и норовящий использовать его не на пользу обществу, а исключительно для собственной выгоды.

На стройке, в новом и прекрасном зданье
 Лежит еще не выметенный сор...
 Вот так же одинокие мешане
 У нас в домах ютятся до сих пор.

1

Краснорожий, жирный, крепкий —
 Кто он? Мир его каков?
 Он кроит в парадном кепки
 Из обрезков, из кусков,
 Из остатков юбки с ворсом
 (Это ж импортный отрез!)
 Кепки с искрой, кепки с форсом,

Кепки с пуговкой и без!..
 Участник, ныне редкий,
 В дверь вперив ленивый взгляд,
 Он сидит в стеклянной клетке,
 Как музейный экспонат.
 Что под лестницей в каморке
 Может вызвать интерес?
 Речь Вышинского в Нью-Йорке?
 ГЭС на Волге? Новый лес?
 Нет.
 Ему всего дороже
 В срок заказ и деньги в срок...
 Как тосклив и как ничтожен

Тот каморочный мирок!
 Ни новаторств, ни исканий,
 Ни друзей, ни славы нет!
 Ни веселых совещаний,
 Нет ни празднеств, ни побед!..

2

Живет он не в клетке в парадном,
 Отнюдь не под лестницей, нет!
 И выглядит даже нарядным
 Рабочий его кабинет.
 Очков равнодушные линзы
 И взгляд кислотоватый и злой.
 Как вырезанное из брынзы,
 Лицо с постоянной слезой.
 Поэт...

Он обиженный гений.
 Шумна, тороплива, слепа —
 Для тонких его сочинений
 Еще не созрела «толпа»
 Поэтому он их не пишет.
 Ему — «социальный заказ»?!
 Он тоньше!.. Он глубже!.. Он выше!..
 Снисходит он только до касс.
 Живет он за счет перевода
 Какой-нибудь там старины...

А наши труды и походы
 Скучны ему и не нужны.
 Высотные зданья в столице...
 В пустыне — канала родник...
 Не видит их брыззоволиций,
 Не слышит, не пишет о них.
 Так что ж за душой у поэта?
 Что скрыто на дне тайников?
 Неизданных три триолета
 Для избранных двух дураков?
 Как тесен мирок этих комнат!
 Как мертвенна эта строка —
 Ее даже те не запомнят
 Два избранных дурака...
 Гордясь поэтическим стажем,
 Он томно садится за стол.
 Как кепочник, горд он и важен,
 Как кепочник, пуст он и гол.
 Достаток приличный им нажит,
 Но дети, что мимо спуют,—
 Ни сказок его не расскажут,
 Ни песен его не споют!..

(«Бесплезные ископаемые», В. Дыховичный,
 М. Слободской)

Таких бесполезных людей надо постоянно выявлять, «брать на карандаш». Чего советскому поэту сиднем сидеть в тиши кабинета? Взять карандаш, блокнотик — и на улицу. Как идет кто в рабочее время по улице не торопясь, в дорогом пальто — пойти за ним, посмотреть, кто таков, что делает. В случае чего — сигнализировать компетентным органам.

Я стоял у дверей, недвижим,
 Я следил за обедом твоим.
 Этот счет за бифштекс и компот
 Записал я в походный блокнот,
 И швейцар, ливреей звеня,
 С подозреньем взглянул на меня.

А потом, когда стало темно,
 Мери Пикфорд зажгла полотно.
 Ты сидел недвижимо — и вдруг
 Обернулся, скрывая испуг,—
 Ты услышал, как рядом с тобой
 Я дожевывал хлеб с ветчиной...

Две кровати легли в полумгле,
 Два ликера стоят на столе,
 Пьяной женщины крашенный рот
 Твои мокрые губы зовет.
 Ты дрожащей рукою с нее
 Осторожно снимаешь белье.

Я спокойно смотрел... Все равно,
 Ты оплатишь мне счет за вино,
 И за женщину двадцать рублей
 Обозначено в книжке моей...
 Этот день, этот час недалек:
 Ты ответишь по счету, дружок!..

(«Нэпман», М. Светлов)

Да и дома расслабляться не следует. Вот, например, жена...

Потушена лампа.
 Свеча зажжена.
 И плачет дите,
 И скулит жена:
 «На рынке нет пшена».

Я утром встаю.
 И опять жена
 Одной катастрофой поражена:
 «На рынке нет пшена».
 Тогда на меня
 Из трех углов
 Нисходит триада голов.
 Мундиром сияя,
 Крестом звеня,
 Империя прет
 На меня.

Сначала
 Я чувствую
 Адскую боль —
 Мне Чичиков
 Жмет мозоль.

Потом,
 Гомерически скаля зуб,
 Спешивается Скалозуб.
 И третьим:
 Столыпинская труба
 Расхваливает отруба,
 И трое согнулись:
 «У нас
 Для вас
 Стоит православный квас».

И трое смеются:
 «Жена?
 Извольте мешок пшена».

Тогда я, срываясь,
 Ору в упор:
 «Жена, до каких это пор?
 Когда это кончится, жена,
 Проблема хлебопшена?»
 Ты думаешь, что же,—
 Я позабыл,
 Кем Чичиков этот был?

И как это
 Нижнему чину
 В зуб
 Въезжал полковой Скалозуб?
 А кем
 Этот самый
 Столыпин был,
 Ты думаешь,
 Я позабыл?
 Не будет Республика —
 Это чушь —
 Республикой мертвых душ!
 И к пуле Богрова
 В моей стране
 Прибавить нечего мне.
 «Страна не поднимет
 Трехцветный позор!» —
 Кричу я жене
 В упор.
 Мы хлопаем дверью.
 Разрешена
 Проблема хлебопшена.

...Товарищи, дома
 У всех жена,
 И каждому
 С нею жить,
 И каждому надо
 Проблему пшена,
 Товарищи, разрешить.
 Давайте же скажем жене и стране:
 «Домашности — в стороне.
 Пшеном мы питаем
 Плавильную печь.
 И если не хватит пшена,
 Мы сами готовы
 Горючим лечь
 В плавильную печь, жена!»
 А личность, домашности —
 В стороне —
 Давайте скажем стране.

(«Проблема хлебопшена», И. Уткин)

Если сам поэт готов лечь в печь, легко представить, что ожидает врагов:

...Как девственную степь,
 Рабочие свой мозг науке отдают,
 Чтоб вырезать на нем биномы, интегралы —
 Узоры знаний — животворною рукою.
 И эти новые владыки
 Мирами целыми уже готовы править.
 Они и радий в двигатели запрягут,
 Как нынче запрягают лошаков...
 А поразмякшие за сотни лет
 Мозги дворян, жрецов и торгашей
 На смазку пригодятся для машин
 Перед полетами за грани атмосферы.
 А нет — на сало перетопят
 И смажут сапожники.

(«Поступь», В. Полищук)

Идет окончательная мировая борьба. В таких условиях все средства хороши. Можно немножко и «национализму» подпустить.

Всего-то сорок лет в пути,
 А сколько свержено роготок,
 Врагам расквашено сапатов!
 Как ни старайся, ни крути —
 Победам счета не найти.

Сплотив в единый монолит
 Закал бойцов, поэтов вече,
 Шагает Русь, взвалив на плечи
 Не прах, не груз могильных плит,
 А солнца пламенного щит.

Сутулых, хилых нет в строю, —
 Кто прежде горбился под ношей,
 Тот стал Поповичем Алешей,

Силищей в Муромца Илью,
 Собратом, в песнях, соловью.

И рядовые и вожди
 Идут одним широким шагом.
 Грозою грохнув по корягам, —
 Чтоб не торчали впереди, —
 Поют о радугах дожди.

Всего-то сорок лет в пути,
 Но как Россия возмужала!
 Все вражи козни избежала.
 Как ни крути и ни верти —
 Прочней алмаза не найти.

(«Широким шагом», М. Праскунин)

И наконец последняя, девятая, тема советской поэзии — тема непосредственного «расквашивания сапатов». Трудно представить ту степень дикой злобы и ксенофобии, которой достигают советские «военно-патриотические» вирши. Это действительно уровень каннибализма — то есть подлинный уровень коммунистической власти. Вот советская мораль «в голом виде», один к одному:

Шагают и шагают,
 Тупорылы...
 Ни счета им, ни края вовсе нет.
 Какая тьма

Их орды породила?
 Какая грязь
 Их вывела на свет?
 Плевком судьбы текут они

Нелепо.
Зеленые,
Они ползут в снегах степей,
Чтоб отравить дыхание
И небу,
И всей земле,
И юности моей.
.....
Вон вражьих тел ворочается ворох,
Их пьяное сопение
Ползет.
Их всех на поlyingающих просторах
Расплата неминуемая ждет.

Или:

Красный конник Степанов,
Якут твердотельный,
Впереди эскадрона
Стрелял на скаку...
А когда, по кустам
В беспорядке
Рассыпав свой строй,
Побежали фашисты,
Он припомнил,
Как осенью в гольх полях
Якуты матерых лисиц загоняют...
...Повод в зубы,
В левой руке пистолет наготове,
А в правой —
Словно молния, брызжет
Блескучая шашка над крупом коня...
Так гоняют лисиц...

Лошадь мчится галопом,
И с галопа,
С разлета, —
Рука тяжела, как свинец, —
Богатырским ударом
По шее фашиста, нахлестом
— Раз! —
И падает мертвую тушей
Зарубленный враг.
Так гоняют лисиц...

Если враг от удара уходит,
Если он наклонился,
Готовится прыгнуть с седла,
Шашка бьет его колющим точным ударом

Стой, нетерпение!
Ты слышишь,
Выждать надо:
Враги идут, вытягиваясь в ряд.
Им:
— Нате!
— Нате!
— Нате! —
Три гранаты,
Последних три гранаты говорят...

(«Последнее видение», И. Келлер)

И дырявит хрипящую шею врага.
Так гоняют лисиц...

Если враг повернулся,
Скалит зубы
И выстрелить хочет в тебя,
Поднимай на дыбы свою лошадь
И, прежде чем двинутся кони,
Меткою пулей
Фашиста ударь между глаз.
Так гоняют лисиц...

Помни правило боя:
Кто смелей и проворней,
Тот всегда победит.
Помни дедов обычай:
Загоняй только насмерть.
Упустивший врага
Недостойн назваться советским бойцом.

Красный конник Степанов,
Конеvod из совхозов амгинских,
Оправдал свою шашку
И почетное званье бойца:
Восемнадцать вонючих лисиц уничтожил
в сраженьях,
Восемнадцать врагов зарубил богатырским клинком
И прославил себя, как герой, на великой охоте —
Против стаи проклятых и жадных фашистских лисиц!

(«Конный бой», М. Тимофеев-Терешкин)

В свое время в СССР была проведена международная конференция по контактам с внеземными цивилизациями. Об этих контактах советские поэты напряженно думали еще задолго до начала космической эры:

Пускай враги
Куют вокруг кольцо...
Ты должен встать
И полный вес болванки

Через вселенную
Им залепить
В лицо!..

(«Первое поколение», Д. Алтаузен)

Вот, собственно, и все.

Есть такая сторона —
русская поэзия:
дорогие имена,
редкая профессия.
Искры огонек живой —
дар так называемый,
вот и бродит сам не свой
автор уважаемый.

Пушкин, Маяковский, Блок,
Лермонтов с Некрасовым.
Раздувай свой уголек,
намечай, набрасывай!
Вот она, родная речь,
звуков равновесие.
Как тебя нам не беречь,
русская поэзия!

.....

Каземат да равелин...
 Что же вы, молоденький
 благородный господин,
 собрались в колодники?
 Но грозит сквоззя снегосей
 миру мракобесия
 рвущий цепи Енисей —
 русская поэзия.

Громоздит, ломает лед
 на волне взлетающей.
 Ленин берегом идет,
 с Лениным товарищи, —
 дорогие имена,
 славная профессия,
 поднятая целина —
 всей земли поэзия.

(«Есть такая сторона...», Н. Ушаков)

В каких взаимоотношениях находится с советской культурой творчество Высоцкого? Что это — ее органическая часть или, наоборот, нечто принципиально враждебное?

С одной стороны, Высоцкий «советский поэт» уже потому, что советские поэты были для него «авторитетами». «Истэблишментом», к мнению которого он прислушивался и перед мнением которого он немного заискивал. А Евтушенко или Рождественский с выражением мэтров снисходительно похлопывали «Володю» по плечу — «неплохо-неплохо».

Кроме того, темы советской поэзии, выделенные выше, для творчества Высоцкого вполне характерны (за исключением, пожалуй, прославления «человеческих человеков»)¹.

С другой стороны, он не вторичен: это выстраданное обретение новой подлинности, даже просто — подлинности. Поэзия Высоцкого, поставленная рядом с творчеством русских поэтов классического периода, смешна. Но — не совсем, с оговорами.

Да, его творчество уместается в узких рамках советской поэзии, ее образов, сравнений, ее лексики и эстетики, но... с пародийной ухмылкой, с непередаваемой «высоцкой» интонацией. Высоцкий «запел» советскую поэзию, которую только и можно «петь» («пою мое отечество»). И уже этим придал ей естественность, а следовательно, некоторую подлинность. Некоторое эстетическое качество.

Даже в написанных «высоким штилем» балладах слышен «плывущий звук», иронический подтекст. Это гиперреакция на фальшивую подлинность официального искусства, сделавшего саму подлинность и качественность фальшью. Здесь творчество Высоцкого удивительно точно передает тон и стиль эпохи шестидесятых — эпохи последнего советского и первого русского поколения. Эпохи разрушения советской стилистики (в том числе и иронией) и постепенного обретения подлинности, то есть и национальной идентичности.

¹ В статьях «Энциклопедии...», посвященных конкретным темам советской поэзии («Война», «Враги», «Советская женщина» и т. д.), по этому поводу проводятся прямые и красноречивые аналогии.

Читайте в 1992 году:

Н. КОРЖАВИН

В соблазнах кровавой эпохи

Автобиографические очерки и эссе

* * *

«Прежде всего о названии этой книги, которое может показаться слишком банальным и лубочным из-за слова «кровавой». Хотелось бы определить как-то более скромно — «жестокой». Но жестокость в истории, при всей ее отвратительности, не всегда бывает вакханалией и бессмыслицей. Сталинщина — была. И то, что к ней привело, в значительной степени тоже. Так что соблазны, о которых будет идти речь в этой книге, были соблазнами кровавого, а не просто жестокого времени...» (Н. Коржавин)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ДУХА

Книга Бориса Носика («Этот странный парижский процесс». М. «Московский рабочий». 1991. 256 стр.) посвящена состоявшемуся в начале 1949 года в Париже процессу советского перебежчика инженера Виктора Андреевича Кравченко против грубо, в тогдашней советской манере, оклеветавшей его газеты французских коммунистических интеллектуалов (в ту пору такие водились и даже господствовали) — «Леттр франсэз» и якобы автора статьи, содержавшей эту клевету, американца Сима Томаса, так и оставшегося фантомом. Сим Томас, в частности, утверждал, что вышедшая во Франции шесть месяцев назад (в США раньше) нашумевшая книга Кравченко «Я выбрал свободу» написана не им, а сфабрикована меньшевиками-эмигрантами по заданию американских спецслужб и содержит клевету. Как справедливо отмечает автор послесловия к этой книге, профессор А. Салмин, этот процесс на Западе давно забыт, а у нас о нем почти ничего не известно (да и были известны только сталинские пропагандистские лубки. — Н. К.). Книга эта не только квалифицированно восполняет пробел в представлениях отечественного читателя, но и вполне способна напомнить и даже восполнить представление об этом процессе читателя западного. Восполнить потому, что автор ее, писатель Борис Носик, оперирует не только впечатляющими стенограммами процесса, не только тем, что все это воспринимается как бы на фоне того, что открылось потом (все объявлявшееся обвиняемыми клеветой сегодня для всех уже не только непререкаемая правда, а и трюизм), но и собственным, то есть нашим опытом тех лет. Книга напоминает о невероятно душевной атмосфере нашей тогдашней жизни и о том, что она, как показал процесс, легко экспортируется в другие страны, — даже без завоевания власти. Последнее важно уже не только для нас.

Книга написана очень интересно. Стенограммы процесса перемежаются с позднейшими откровениями цитируемых ораторов, воспоминаниями, собственными и самых разных людей, высказываниями просто мыслящих современников процесса (для того, о чем я хочу говорить, крайне важны высказывания Г. Померанца), а также с собственными построениями и догадками автора.

Последние, на мой взгляд, вполне убедительны. Для меня, например, тоже несомненно, что «Сим Томас» был сфабрикован в Москве. И, возможно, именно потому, что французский издатель книги Кравченко из озорства послал некоторым тогдашним высокопоставленным лицам в Москву по экземпляру этой книги с соответствующей надписью. И кто-то из них, когда «служебный перевод» или резюме этой книги легли ему на стол, написал на уголке титульного листа какое-нибудь заклинание. Например: «Отреагировать». Конечно, попасть на этот стол она могла и другими путями, но в пользу версии Носика говорит то, что вышедшее раньше американское издание осталось без ответа. Примитивности этого объяснения не надо бояться. Многое, что тогда делалось, имеет примитивное объяснение, все искали более сложных и — обманывались. Похоже, именно поэтому книгу и «отцензуровали» только через шесть месяцев после ее выхода, чего обычно в Париже не бывает. В Париже не бывает, но что сталинскому аппаратчику Париж! У него свое начальство, свои показатели в работе и свой порядок. Пока текст создавался, утрясался и проходил через все положенные инстанции, и прошли эти шесть месяцев. Только потом его спустили «Леттр франсэз» и парижским интеллектуалам — почему-то через Америку. Правда, на суде выяснилось, что не особенно и трудились — оказалось, что за месяц до «Леттр франсэз» идентичная статья была напечатана в парижской просоветской русской газете — без всякого Сима Томаса. Но все равно утрясти надо было.

Но уверенности Б. Носика, что представить себе это может только наш читатель, я не разделяю. Выступавшие на процессе редакторы, адвокаты и некоторые свидетели «Леттр франсэз», как они потом признавались, даже не представляли, а знали это... Во всяком случае, знали главное — что никакого Сима Томаса нет в природе, что он сфабрикован в Москве.

Не убедительно для меня и заглавие книги — «Этот странный парижский процесс». Этот парижский процесс, по-моему, вовсе не выглядит странным — особенно из сегодняшнего дня. Такие же — по обоснованности обвинений —

процессы проходили в 30-е годы в Москве, и участники парижского процесса их приняли. Теперь они сами вели такой процесс. С той только разницей, что в Москве был один высокоинтеллектуальный Вышинский, а в Париже их оказалось — хоть пруд пруди. Правда, формально московский Вышинский выступал на стороне обвинения, а парижские — на стороне защиты. И если была странность в этом процессе, так только в этом. Обвиняемые обвиняли истца во всевозможных грехах, а обвинитель от этих обвинений защищался. Но такая «странность» всех процессов против клеветы. Но обвиняли, то есть клеветали, они в Париже в той же манере, что и в Москве. И на тех процессах, которые потом прошли во всех восточноевропейских столицах, кроме «изменившего» Белграда и упрямо тянувшей резину Варшавы¹. Что ж тут странного? Правда, в Париже этот процесс проходил в трудных для коммунистов условиях — без предварительного захвата власти, когда судья был не из своих, а оппоненты могли защищаться и даже нападать. В таких условиях выиграть процесс было невозможно, удалось только увернуться от наказания, — вместо оплаты всех, и немалых, издержек Кравченко, вызванных необходимостью вести процесс, к чему их сначала присудили, они по решению апелляционного суда уплатили только символический франк. По-видимому, коммунистам было на кого нажимать в судебных инстанциях, видимо, там тоже сидели прогрессивные интеллектуалы, которые не могли допустить такого разбазаривания средств пролетарской партии. Так что потери «Леттр франсэз» были только моральные, а буржуазная мораль в их среде давно лишилась ореола.

Нет, не странным, а страшным был этот процесс. Страшным тем, что на нем культура, интеллект, гуманность, служение добру компрометировали сами себя, превращались усилиями своих адептов в свою противоположность. И поразительно, что автор, правдиво и добросовестно показывая и даже обнажая эту сторону процесса, интеллектуально как бы нивелирует ее. Отсюда и странность того, что было вполне закономерно.

Именно в этом, в отношении к этой элите, основное мое несогласие и спор с Б. Носиком. Не с его книгой, а с ним самим. Причем не как с автором книги — в ней то, что вызывает мои возражения, занимает очень мало места, подмешано, так сказать, чисто физически и на атмосферу книги не воздействует, — а как с человеком и интеллектуалом. И даже не с ним одним — с целой тенденцией, точнее, умонастроением, для меня неприемлемым. И особенно потому, что они помещены в такой книге и проявляются по такому поводу. Так что спорить я буду не с этой очень хорошей и ценной книгой, а с тем, что ей, на мой взгляд, противоречит.

Выражено это умонастроение и в некоторых высказываниях Г. Померанца, которые автор то ли сочувственно, то ли нет, но не отметая приводит. Разумеется, для научного спора этого недостаточно, но, во-первых, то, что здесь говорит Померанц, вполне соответствует тому, что я у него читал до этого, а во-вторых, я и не собираюсь вести научный спор. Я просто хочу высказать свое отношение к проблеме интеллигенции — ее роли, самооценке, правах и провалах. Тема эта неприятна, ибо все мы понемногу (я, например) что-то здесь нарушали, все не без греха, хотя того, что французские интеллектуалы, мы не делали и к тому же жили всегда в плену и были жестко изолированы (а не сами себя изолировали, как они) от всякой информации.

А вела себя во время процесса культурная элита разнузданно. Перед ней проходили простые люди, жертвы террора, раскулачивания: крестьяне Ольга и Семен Марченко, которых арестовывали, грабили, просто лишали права жить на свете, или скромная заводская библиотекарша Корниенко, которую НКВД страшными и вполне, как она не могла не понимать, реальными угрозами ей и ее семье вынудил к осведомительству. Все они рассказывали людям о том нечеловеческом, что им пришлось пережить, что и сейчас переживают многие их соотечественники, делились с людьми своей болью, хотели быть услышанными цивилизованным миром, а с вершин цивилизации слышали только смех гуманистической элиты. Отчасти этот смех риторичен и вынужден, он заменяет аргументы. Он должен был сказать: «Кого вы слушаете! — ведь это коллаборационисты, они не вернулись в СССР, в страну, где решены все вопросы! А раз так — значит, они военные преступники. Разве можно им верить?» Это был потусторонний смех из глубины действительности, которой нет и быть не может. Но все-таки прежде всего он был демонстрацией бесчувственности. Для многих из них натужной, искусственной, но от этого не менее постыдной.

Особенно гадко издеваются они над несчастной осведомительницей, «стукачкой», как обзывает ее кто-то из них... Больше всех усердствует в этом «железный»

¹ Это должно быть поставлено в заслугу Болеславу Беруту. Тем, что он отказался «судить» В. Гомулку, он уберег страну от прострации. Независимо от того, что оба они были достойны суда.

Андре Вюрмсер, один из издателей газеты. «Это агент полиции...» — притворно удивляется он. Просто вопль оскорбленной порядочности!.. Оно, конечно, стукачество — дело отвратное. Но это по нашей, по человеческой, по «мелкобуржуазной» морали, а они куда со свиным рылом в калашный ряд? С каких это пор сотрудничество со славными органами пролетарской диктатуры стало в глазах коммуниста не доблестью, а позором? Этот «абстрактный гуманизм» противоречит не только Сталину, но и самому Ленину. Что ж, они нравственно прозрели? Да нет, просто им нечего сказать, — ни боевому коммунистическому адвокату Нордману, ни самому Андре Вюрмсеру, — и они крутятся, продолжая выполнять свой долг (перед сатаной). Сейчас они пытаются использовать в интересах «дела» те моральные «предрассудки», от которых сами отказались. Так же как всеобщую послевоенную ненависть к коллаборационизму.

Мне очень жаль, что Померанцу зачем-то понадобилось находить Андре Вюрмсеру психологические оправдания. Я утверждаю, что это был один из самых подлых людей нашего богатого подлцами времени. На том уровне извращения истины, на котором он работал, мог работать только Вышинский и один московский писатель-журналист, произнесший «прочувствованную» речь на Четвертом съезде писателей, которому адресовал свое знаменитое письмо А. И. Солженицын. Я не хочу называть его имя, поскольку он еще жив, но нет у меня и особого желания его скрыть — желающие догадаются. Правда, до таких «высот» изощренной подлости, как в этой речи, он больше никогда не поднимался. Вюрмсер с них не сходил никогда.

Я и увидел впервые его имя не в репортаже о процессе, а под очень грязными антиизраильскими очерками в «Литературной газете». Даже на тогдашнем фоне они отличались каким-то изысканным, сладострастным извращением истины. Работал, впрочем, он тем же грубым топором, что и его более простодушные коллеги (такие, как Софронов), но в отличие от них держал его в руках, как рапиру. Но топор оставался топором. Вопреки рассуждениям Померанца, никаким заблуждением ума, вызванным обстановкой, там и не пахло, была просто «литобработка» советского пропагандного лубка, придание ему интеллектуально-лирической интонации. Было это не очень действенно (антисемитизм² в лирике не нуждается), но выглядело очень гадко. Поэтому его поведение на процессе, которое было раньше, но с которым я ознакомился позже, не было для меня неожиданностью. И все-таки поражало. Не знаю, был ли он агентом ГБ. Может, и не был, но мера его подлости, проявляющаяся в поведении, была такова, что этот штрих ничего к ней добавит не может. Он ведь и умер нераскаянным, весьма гордясь своей былой ловкостью, об изяществе которой имел, правда, преувеличенное представление.

К сожалению, многие тогда оскандалились, многие вели себя как он, — и Пьер Дэкс, и Морган, и другие; но судя по тому, что с ними произошло потом, им это давалось нелегко. Лишь для одного Вюрмсера (да еще для Нордмана) диалектическая нравственность, которой от безвыходности и многие из нас тогда утешались, была естественная, как дыхание, «как на него пошита». Самые мрачные годы нашей жизни были его звездными часами. Плохо ему стало только после XX съезда КПСС. Но он и тут не дрогнул, не стал каяться, а стал доказывать, что все было правильно: и процесс, и XX съезд, но только не Кравченко.

Но вернемся к скромной библиотекарше. И Вюрмсер, и равнявшиеся на его естественную аморальность как на образец четкого классового сознания другие интеллектуалы, издеваясь над ней, ухитрились «не заметить», что к стукачеству ее бесчеловечно и жестоко вынудили их товарищи по партии (а она его, кстати, рискуя многим, старалась свести к безопасному для других минимуму — «я... не такая бессовестная»). Не замечали они этого и когда их тыкали этим в глаза. И не только никак при этом не осуждали этих «товарищей», но и вообще в течение всего процесса отрицали, что сталинский СССР — полицейское государство (о, если б оно было только полицейским!). Их уже не стесняла не только совесть, не только естественная человечность, но и логика. Они, как потом хвастал великий блудолов Сартр, были ани ажированы. Между тем упирая все время на коллаборационизм многих свидетелей Кравченко, они могли бы задуматься и над тем, почему так много коллаборационистов вдруг оказалось в стране победившего социализма, причем не в последнюю очередь среди крестьян и рабочих.

Но этого вопроса они себе не задавали.

² Б. Носик приводит слова П. Дэкса о том, что он с согласия Арагона кромсал статьи Вюрмсера, вычеркивая из них антисемитизм. Вероятно, только перлы, ибо они и сами к нему притерпелись — это стало партийной политикой. Это очень колоритно, особенно если учесть, что Вюрмсер и сам был евреем... Но он и не был антисемитом. Он был функционером и специалистом по извращению истины, любившим свою работу.

«Странность процесса. — говорит Борис Носик в начале своей книги, — состояла и в том, что цвет французской интеллигенции, выступавший от имени рабочего класса и крестьянства, не расслышал ни одного слова, произнесенного на суде настоящими рабочими и крестьянами, не ощутил к этим людям ничего, кроме отвращения»...

Слова эти очень точные за исключением слова «странность». Странности не было. Было кое-что похуже. Эти рабочие и крестьяне вызвали у «цветов французской интеллигенции» отвращение потому, что плохо обслуживали духовные потребности этой интеллигенции, не соглашаясь оставаться безмолвными жертвами прогрессивного исторического процесса, наполнявшего ее жизнь. При этом в глубине души не вся она идеализировала СССР, те, у кого все-таки сохранялась потребность сводить концы с концами (а это, как ни прискорбно, самые честные), утешали себя тем, что сталинщина — особая, необходимая для исторического развития форма свободы, которая неприемлема для Запада, но для России она — в самый раз. И уж конечно, они находили разумный смысл в коллективизации, индустриализации, чистках, хотя и сожалели о «перегибах», которые, впрочем, считали неизбежными. Короче — они отдавали нас на заклятие во имя своих духовных потребностей.

Б. Носик вполне допускает, что коммунисты были бы не прочь применить против Кравченко и более действенные средства, чем компрометация свидетелей. И, судя по всему, он прав. Вот что говорит один из самых «боевых» (значит самых бессовестных — равный в этом самому Вюрмсеру) адвокатов «Леттр франсэз» Жоэ Нордман 23 мая 1989 года у себя в офисе в Париже (привожу эти слова вместе с последующей реакцией самого Б. Носика):

«„Кравченко? Это был человек умный и очень нервный... Врач говорил мне, что, если процесс продлится, он не выдержит...“

Метр Нордман взглянул на меня. Может, мы подумали об одном и том же: они советовались с врачом. Может, тянули до бесконечности, ожидая, пока враг упадет на барьер» (отделяющий адвокатов защиты от дающего показания. — *Н. К.*)...

А по какому еще поводу они могли обсуждать с врачом здоровье Кравченко? Смерть Кравченко на процессе вполне бы их устроила — они ведь знали, что у них нет аргументов, что к тому же они защищают идиотскую статью. И на процессе они действительно, как могли, тянули время и действительно старались действовать на нервы Кравченко.

А возмущение коллаборационизмом только трюк. На другом процессе — процессе Давида Руссэ — свидетелей, которых хотя бы отдаленно можно было выдать за коллаборационистов, не было вообще — все они были левыми, узниками гитлеровских концлагерей. Но на отношении коммунистов к их свидетельствам это не отразилось. А ведь одним из свидетелей Руссэ был знаменитый герой гражданской войны в Испании, «испанский Чапаев», Кампесино, человек-легенда, известный всем левым во Франции. После гражданской войны он эмигрировал в СССР и, естественно, угодил там в концлагерь. Но об этом никто не знал. Просто о нем что-то очень долго ничего не было слышно. И вот легенда ожила — он стоял перед судом и свидетельствовал. Но не против Франко, а против Сталина. Оказалось, что он опять совершил нечто легендарное — убежал из советского лагеря и сумел, хоть не знал русского языка, нелегально пробраться за границу. Но коммунисты и тут не дрогнули. Этот процесс они даже выиграли. Хотя Руссэ говорил правду (о лагерях и прочем), а они ее отрицали. Видимо, лучше подготовились — то ли сильней нажали на свои тайные пружины³, то ли навешивали всем лапшу на уши более ловко и продуманно. Наверно, случилось и то, что Москва ими тут не руководила. Это был их собственный процесс. Они доказали, что самостоятельно воюют с истиной и работают на Сталина гораздо лучше, чем при его мелочной опеке...

На процессе Давида Руссэ массы этой интеллигенции уже были «ангажированы» настолько, что участвовавший в процессе доктор Ю. Марголин⁴, автор знаменитой

³ Тайные и даже не очень тайные пружины у коммунистов были всегда. Даже там, где они не пользовались общественной поддержкой, они пользовались влиянием среди элиты, претендующей на изыск или закомплексованной собственным благосостоянием. Коммунизм в этих кругах был тем же, что непонятные стихи у нас, — к нему полагалось относиться с пониманием. Это использовалось при вербовке влиятельных агентов. Андропов вообще требовал от них не столько секретных сведений, сколько влияния в высших сферах и в интеллигенции с целью создания обстановки и принятия иностранными правительствами и парламентами решений, выгодных для Политбюро.

⁴ Философ, доктор Ю. Марголин перед самой войной приехал из Палестины, где он жил, в Польшу, откуда был родом, навестить мать и оказался в занятой нами части страны. Тут он, естественно, был схвачен НКВД.

книги «Путешествие в страну Зе-Ка»⁵, в отчаянии объяснил это рвение якобы присущим человеку стремлением к злу — такое это производило впечатление.

Что их вело? Коммунистический фанатизм? Но откуда ему было взяться в 1949 году, через 11—16 лет после того, как на родине мировой революции были изъяты, арестованы и ошельмованы все (в том числе и иностранцы), кто имел хоть малейшее представление о коммунизме? Ведь все, кто хоть как-то умел мыслить, не оставался к этому времени в рядах проработанных партий, был предателем — если не коммунизма (ибо никто не знает, что это такое), то коммунистов, коммунистической партии. Хотя, в сущности, вера подлинного коммуниста, отличающая его от подлинного социал-демократа, — это прежде всего вера в свою партию. Это ее и погубило. Партия, созданная во имя идеи и высшей цели, сама превратилась в идею и высшую цель. А такая партия зиждется прежде всего на авторитете ее вождя. В силу сложившихся обстоятельств вожди советской партии были по иерархии и вождями мировой коммунистической партии, предметом ее поклонения. И вот в короткий период все эти вожди, все их окружение, в сущности, все, что было партией, было объявлено бандой изменников и шпионов, а вместо них выдвинуты никому не известные — с другими повадками, ценностями, эмоциональным строем — люди, а поклонение осталось, подчинение же даже увеличилось... Под руководством собственной партократии, выдвинутой Москвой и от нее зависящей, они стали повторять и разрабатывать все, что с этого условного верха на них капало, хотя капали иногда вещи прямо враждебные тому, ради чего они пошли в коммунисты... Обычно говорят о догматизме, но ведь и сами эти бесчеловечные догмы подменялись на ходу, превращая идеологию в бесформенную, но не менее бесчеловечную эклектику, которой что угодно в любой момент с одинаковым основанием могло быть объявлено и соответствующим, и враждебным. Практически это обеспечивало Сталину перманентное рабство всех адептов. К этим добровольным рабам, во время войны игрой случая оказавшимся вместе со Сталиным на стороне свободы, и к их рабству — да еще, по-видимому, на положении учеников, изживающих свою «мелкобуржуазность», — и примкнули французские интеллектуалы.

Вопрос для меня не в том, стала ли считавшая себя наиболее гуманной (а часто в личном плане и бывшая такой) часть мировой интеллигенции послушной игрушкой в руках грязного тифлисского абрека (тут вопроса нет — стала), а в том, не компрометирует ли это всю систему ценностей, которой она придерживалась задолго до этого и которая не смогла стать препятствием на ее пути к такому ее падению. А падение ведь было не только духовным, что очень прискорбно, но еще и интеллектуальным, что, если б не трагические обстоятельства, попахивало бы и юмором. Все-таки это поразительно, что интеллектуальная «Леттр франсэз» вслед за «Литературкой», но в отличие от нее вполне свободно и серьезно, восхитившись получившим Сталинскую премию романом Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». Что тогда случилось с прославленным французским эспри⁶, как можно было себе самим так заговорить зубы? Но так оно и было — люди, собравшиеся вокруг этой газеты, сами себя лишили свободы слова, да и мысли — хоть это вещь более интимная. На процессе Кравченко они попытались проделать это над всей Францией. Не получилось.

Но обстановка была такой, что некоммунистами это воспринималось как победа. Победой выглядело и присуждение книге Кравченко премии Сент-Бёва 1947 года за лучшее эссе, победой даже пирровой — комитет Сент-Бёва почти сразу после этого был распущен. Один из тех, кто боролся за это присуждение, издатель Морис Надо, говорит о царившем тогда «интеллектуальном терроре», в том, что на стороне Кравченко выступить было нельзя.

Тогда все были на одной стороне. Даже Лига прав человека. Хотя понимали уже многие.. Понимали, понимали... Уже столько книг вышло, столько надежных свидетельств. Однако выступить считалось постыдным...

Так вот и жили многие свободные мыслители в свободной стране — понимали, но помалкивали, а то еще и осанну пели. Не то чтоб Борис Носик этого не видел, он это видит и обнажает в книге достаточно остро, но мысленно пытается уравни-весить это, выдать это поведение за нечто печальное, но извинительное.

Помогает ему в этом то, что он знаком не только с советской, но и с западной жизнью, с которой у него свои счеты и которую он тоже не склонен идеализировать. Тут у меня расхождений с ним нет. Но вот как он использует свой западный опыт в Коктебеле. Разговор идет об искренности одного из свидетелей «Леттр франсэз», а именно — «рабочего-булочника», а на самом деле профессионального политика, партийного функционера, депутата парламента Фернана Гренье. Тот много раз бывал

⁵ Кстати, эта книга — сама по себе обвинение «Леттр франсэз» и иже с ними. Это была информация о лагерях. А было и множество других.

⁶ Дух, рассудок, сознание (франц.).

в СССР и на основании этого утверждает, что ничего из описанного Кравченко там нет: ни таких концлагерей, ни боязни людей высказываться... По-русски, правда, он не говорит, но уверен, что все с ним говорили открыто и свободно. Собеседник автора, неназванный молодой писатель, в искренность французского функционера не верит. И вот какую отповедь он вызывает: «Вот и напрасно. Он искренне верит в то, во что ему хочется верить. А того, во что ему не хочется верить, организм его не принимает».

Так ли это? В свете того, о чем мы говорили, не совсем так... Но даже если б это было так, это никак не извинение, а свидетельство неискренности гораздо более глубокой, чем прямая ложь, неискренности перед самим собой... Для мыслителя, да и для политика это приговор. Но меня больше поразило развитие этой мысли: «Ты же не веришь, когда я говорю, что во Франции нелегко найти работу гуманитария. Ты не веришь жалобам их писателей. Ты говоришь: «Мне бы их заботы». Каждый считает, что ему хуже всех».

Итак, симметрия: ты не веришь в одно, они — в другое. Везде одно и то же. И вроде все правда. Запад, безусловно, не рай. Во Франции, да и в других странах гуманитария действительно нелегко найти работу, да и писатели жалуются. И все же все во мне протестует против этой симметрии, которая открывается Б. Носику в Коктебеле, дома, во время бесед со своими. У нас, дескать, вызывает протест своя несправедливость, у американских интеллигентов — своя... В подтверждение такого отношения к делу он даже ссылается на то место из книги самого Кравченко, где речь идет об американских левых, которые после войны воспринимали миф о чужой стране как замену реальности. Б. Носик не исключает, что эти строки написаны не Кравченко, а переводчиком, приспособившим текст к американскому восприятию.

Кстати говоря, этот переводчик (заодно литобработчик, автор литературной записи) очень помог французскому писателю-коммунисту русского происхождения, бывшему «серапионовцу», Владимиру Познеру чисто по-советски одновременно выполнить долг перед партией и увернуться от прямой подлости. Познер выступал на суде с литературной экспертизой, в которой очень квалифицированно доказывал, что многие места этой книги выглядят написанными не русским, а американским автором. Но, во-первых, и это шло вразрез со статьей Сима Томаса — в ней утверждалось, что книгу писали русские, но только не Кравченко, а меньшевики. А во-вторых, никого не волновало и никто не отрицал, что имела место литературная запись, вопрос шел о том, стоит ли вообще за этой книгой автор и верны ли факты, которые он сообщал. Но это литературной экспертизы не касалось. Уловка для советского гражданина тех лет вполне разумная, но зачем было свободному гражданину Французской республики состоять в партии, где надо было к таким уловкам прибегать? Тем более что в рукописной «Чукоккале» (я листал ее на даче у К. И. Чуковского) мне попалось относящееся к годам гражданской войны вполне антибольшевистское стихотворение Володи Познера. По-видимому, Познер потом переродился — стал одним из тех российских интеллигентов, кому нравились идеи в России, а питание на Западе.

Но это к слову. Мне сейчас важен не Познер, не авторство, а сами строки из книги Кравченко, на которые ссылается Б. Носик, ибо ссылается он на них в подтверждение своих мыслей... Вот эти строки (привожу их вместе с реакцией на них): «„Они были удручены несправедливостями, царящими в их собственной стране, и нуждались в утешении... они не столько обманывали других, сколько обманывали себя... Если б только эти люди могли подняться до интеллектуальной ясности и моральной уравновешенности и понять, что несправедливость, царящая в Америке, не должна служить извинением для поддержки несправедливости, царящей в других странах! Когда они кричат «ура», приветствуя кровавые расстрелы в России, это может дать им временное моральное облегчение, но вряд ли может способствовать благородным целям установления справедливости во всем мире, в том числе и в Америке“».

— Так где же лучше? — спросил молодой писатель.

— В лучшем мире, — сказал я не слишком милосердно.

И не слишком умно — добавлю я от себя. Ибо людей, которые, будучи удручены несправедливостью, царящей в их стране, рукоплещут расстрелам в другой стране, никак нельзя ставить на одну доску с людьми, удрученными тем, что в их стране расстреливают и не дают слова сказать... Однако эти строки не столь однозначны, как контекст, в который их ставит Б. Носик. Слова о том, что этим левым не хватало интеллектуальной ясности и моральной уравновешенности — это как раз и есть то, что я стремлюсь доказать. Это относится ко всем просоветским интеллектуалам. Констатация отсутствия — не извинение, а обвинение. Плохо, когда люди, которым не хватает этих качеств, становятся активистами, претендуют на влияние или пользуются им. Это грозит несчастьем, и не только им самим... Конечно, с людей, которые подобно встреченному мной в Италии солдату-коммунисту (на «гражданке» парикмахеру) убеждены, что в советской армии служить легко, а в итальянской ох

как трудно,— спросу нет. Но если они интеллектуалы, то спросить с них может каждый. Даже если это было аурой эпохи. Те, кто поддался этой ауре, а потом прозрел, обычно стыдятся своего прошлого — сужу по себе...

И дело тут не в политике. На этом процессе у сегодняшнего меня не было политических единомышленников. Не только среди представителей, защитников и свидетелей «Леттр франсэз», которые все были коммунистами или сочувствующими коммунистам, но и с противоположной стороны. Я не говорю о простых людях, рассказывавших о пережитом — они вызывали сочувствие, но об их политических взглядах судить трудно. Однако сам Кравченко был хоть и на свой салтык, но тоже коммунистом, а все его адвокаты — социалистами⁷. Но всем им я горячо сочувствую и их поведением на суде, в том числе и самого судьи, восхищаюсь — просто потому, что они остались людьми, не поддались внушению, сохранили способность отличать черное от белого и не принимать одно за другое, верить очевидности, когда почти все вокруг демонстрировали противоположное, внушенное «знание», защитили достоинство разума и здравого смысла, выстояли в борьбе за сохранение культуры и духа. Я знаю, как это трудно. Для меня это важней любых политических взглядов.

И я действительно считаю, что несправедливость, царившая в Америке (если она там действительно «царила»), ничто по сравнению с тотальной машиной физического, духовного и материального подавления человека, действительно «царившая» у нас и загнавшая страну на край пропасти. Только это ведь и несправедливостью не назовешь. Несправедливость — то есть попрание справедливости — была от нас бесконечно далека. Почти как справедливость. Это коллизия нормального общества. То, что было у нас, было просто нежитью, службой нежити.

Я ни о ком не говорю «мне бы их заботы», потому что каждого человека в повседневной жизни его заботы занимают и волнуют больше всего. Но если люди Запада не будут понимать несравнимости забот тех, кто стремится избежать расстрела, и тех, кому мешают спать расстрельные выстрелы (а это тоже мучительно, даже если не знаешь, в чем дело), им придется убедиться в этой несравнимости на собственном опыте. Тоталитарным тенденциям надо противостоять. А зачем это делать, если лучше только «в лучшем мире»?

Нет, «лучше» и «хуже» в сравнении нашей и западной жизни существуют, и они очевидны: я говорю не о том, что мы больше любим и какая страна нам наиболее дорога, — только об условиях бытия большинства людей. На Западе у каждого есть право защищать себя — даже от государства, нет лагерей и нет обязанности повторять с выражением мнение правительства — у нас обо всем этом недавно и мечтать нельзя было, да и теперь еще приходится это отстаивать. А уж в те времена, о каких свидетельствовал Фернан Гренье, и говорить нечего. Это — хуже. Кроме того, на Западе есть и «мещанские» преимущества — обилие товаров в магазинах и вообще благоустройство жизни... Или мы «выше» всего этого? Что ж, можно и отказываться от таких благ. Монахи, например, отказываются. Но только за самих себя, а не за всех других... А для других это различие важно. Почему же вдруг лучше только в лучшем мире? Может быть, на этих словах сказалось раздражение по поводу распространенной в обществе легкомысленной идеализации Запада, но и сами они не менее легкомысленны.

Я вообще не очень понимаю, чем Б. Носик колет глаза Западу. Тем, что и там, безусловно, не рай и жить отнюдь не легко? Что ж, это правда. Работать там приходится с полной отдачей, да и работа есть не всегда. К тому же люди и в свободных обществах не становятся ангелами.

На Западе действительно трудно найти работу гуманитария, но это ничего у нас не уравнивает. Ибо у нас во имя гармонии насильно отняли слишком много — жизни, здоровья, веры, доверия, нам зашоривали глаза, заглушали слух, разрушили жизнь. И наши люди формально вправе (хоть это неразумно, и я к этому отнюдь не призываю) быть в претензии, натываясь на дисгармонию... И есть инстанции, которым можно их предъявлять. На Западе тоже не рай, но там рая никто не обещал и требовать его не с кого. Однако там правительства, так или иначе зависящие от народа, стараются смягчать естественную дисгармонию бытия, и часто это им удается. Но жизнь остается жизнью, и ни один вопрос не решается раз и навсегда.

На процессе о гуманитариях речи не было, но о писателях зашла, и вполне конкретно. Коммунистические литераторы сетовали на то, что для французских писателей во Франции бумаги нет, а для книги Кравченко нашлась (имелась в виду козьи империализма)... Но адвокаты Кравченко возразили на это, что это не совсем так: на тех, кого читают, бумага находится, хоть и по более дорогой цене на черном рынке, а писателей-коммунистов просто не читают, на что как раз и жалуется в

⁷ Правда, социалистами адвокаты Кравченко были в старом, солидном, а не в нынешнем неопределенном значении этого слова. Сегодня ведь любой террорист называет себя социалистом, а они были демократами. Но и в старом значении этого слова я теперь социализм отрицаю.

каком-то своем выступлении г-жа Эльза Триоле. Контрудар был сильным, но дело вообще не в этом. Бывает, что не читают и писателей-некоммунистов, даже очень ценных. Тем более если книги дороги. В истории литературы все бывало, и всем это известно. На кого жаловаться?

Впрочем, равнодушие читателя можно при желании рассматривать как дурной вкус, а этот вкус согласно мировоззрению как непосредственную вину и очердную несправедливость эксплуататорского строя. Тем более что этот строй и без того был ими осужден на уничтожение и замену. Тогда в общем благообразии воздух помимо всего прочего будут созданы инстанции, которые устранят и эту несправедливость, как это уже сделано в стране, которую «оболгал» Кравченко. Некоторые из «героев» процесса изо всех сил тогда продолжали еще так думать. Но зачем сегодня Борису Носику им сочувствовать?

Однако знакомое слово «бумага» прозвучало для него как звук трубы для отставной полковой лошади и повлекло за собой знакомые ассоциации. На этих не хватало бумаги во Франции, на Носика иногда — в Москве. Торжество симметрии. С тем только различием, что в Москве бумагой ведали (и манипулировали) государственные инстанции. По их адресу можно было выражать любые претензии, ибо государственные инстанции теоретически обязаны быть справедливыми. А во Франции?.. Действительно, кто распределял бумагу во Франции? Люди, которые вкладывали в это деньги. Их вкусы могли быть хорошими и плохими, расчеты точными и глупыми, их можно было уважать или не уважать, но кто вправе предъявлять им претензии, тем более обобщенные и пафосные? Их деньги, их риск. Но Б. Носик этого различия не замечает. Он просто говорит, что вполне понимает Клода Моргана. И вот как он его понимает: «Мне его жаль. Я понимаю, что значит, когда тебе годами говорят, что для тебя нет бумаги. Я это переживаю... Им было обидно — они были настоящие писатели. Хоть и плохие. Но плохие-то как раз и процветают во всем мире. А Кравченко помогли писать, переписывали рукопись на американский манер, это очевидно — и вдруг такой бешеный успех»⁸.

Понимание, прямо скажем, странное. Называя Моргана и К^о писателями хоть и настоящими, но плохими (?!), Б. Носик тем не менее воспринимает их амбиции как смягчающие вину обстоятельства. Это само по себе удивляет — вряд ли он распространяет такую толерантность на писателей отечественных. А вот насчет обиды это уж совсем напраслина. Прежде всего это противоречит сюжету. Уж больно странно получается: шесть месяцев они этой обиды не замечали, потом отомстили «Симом Томасом» и опять больше года, пока их не притянули к суду, о ней не вспоминали. Обиды здесь быть и не могло. Ибо все они считали себя писателями, а успех книги Кравченко никем не воспринимался как писательский и не выдавался за таковой. Это был успех неожиданного свидетельства о том, что все подозревали. Со свидетельством и боролись любыми средствами. Упоминание о бумаге было одним из них... Но отвлекаясь от конкретной ситуации — если бы и впрямь плохие писатели действовали из обиды или зависти, почему бы их надо было жалеть и «понимать».

Не слишком ли многое измеряет Б. Носик тем, что обычно называется «положение писателя»? Что это вообще за ценность? Может, тут уместней была бы другая — «положение литературы», например? А то ведь писатели разные бывают. В принципе в СССР положение писателя, то есть человека, зарабатывающего литературой, до недавнего времени всегда было одним из лучших в мире (слыхал, что в Швеции еще лучше). Самым хорошим, самым независимым (от «анархии читательского произвола») было положение писателей-секретарей. Издавай сколько хочешь, не взирая на читателя, от которого даже размер гонораров не зависел, — какого еще положения надо «настоящему, но плохому» писателю? Но и на оппозиционных членов СП распространялись некоторые привилегии: Литфонд, дома творчества, возможность приобретения дефицитных книг и вообще принадлежность к некоему полувысшему сословию... Этому положению многие зарубежные писатели завидуют. Но это, как известно, никак не было хорошим положением литературы.

Да и «положение литературы» в юридическом смысле понятия неопределенное. Что одни считают литературой, другие называют макулатурой. Так что лучше государству — какими бы высокими ни были представления его руководителей — в эти дразни не вмешиваться, за литературу оно отвечает не в состоянии. Отвечает оно только за свободу слова. Слово должно быть свободным и у писателя и у слесаря — это общее достояние. И только отсутствие свободы слова может поставить в вину государству или обществу писателя, если сетует на что-то, мешающее его творчеству.

⁸ Опять поразительно. Коммунизм владеет умами и салонами, а на душе скребет от ощущения недоверности — особенно у загнанного и не перечастого «молчаливого большинства». Ощущение недоверности — это неотвязный запах, присущий всем проявлениям сталинщины... Читали Кравченко, как у нас Солженицына и «самиздат» — для внутреннего освобождения. Вот и успех.

И если собеседник Носика действительно подлинный писатель и писать начал до гласности, то его фраза о том, кому бы какие заботы, мне кажется естественной. Водораздел тут прост. Если по идеологическим причинам за написанное или высказанное писателя сажают в психушку или в лагерь, если его книги по этим же причинам запрещают или их не издают государственные издательства, а другие не допускаются, если его заставляют «добровольно» что-то из них вычеркивать или в них вписывать, писатель вправе роптать и жаловаться, — тут виновато государство или общество...

Но любовь читателя или зрителя, вкус и догадливость свободных издателей, выбор печатаемого и представляемого на подмостках — вне его компетенции... Свои отношения с читателем и издателем писатель должен улаживать сам. Я вовсе не утверждаю, что эти отношения и при наличии любых свобод обязательно складываются наилучшим образом. Иногда мудрости или вкуса не хватает писателю, а иногда и читателю. Иногда читатель топчет потом то, от чего недавно приходил в восторг, и наоборот. Все равно, читатель — это та инстанция, которую не обойдешь. Даже если он порой (я вовсе не думаю, что всегда) несправедлив. Что делать? — жизнь вообще не слишком справедлива.

Все это для нас очень важно. Сегодня наша страна стремится не к раю, в том числе и не к раю для художников, а только к нормальной жизни. К такой жизни, где художник может добиваться победы, но где она ему никак заранее не обеспечена, где можно противостоять злу, но где оно вовсе не будет искоренено и где никогда не будет полной гармонии. Но где безусловно должно быть лучше, чем сейчас. А если опять требовать рая, то... надежды нет ни на что. Б. Носик как будто рая не требует. Но требования, предъявляемые им Западу, исходят из представления о необходимости рая.

Например, говорить молодому писателю, что искренность Фернана Гренье в чем-то проявляется «так же, как у тебя», у него не было никаких оснований... Молодой писатель, возможно, несколько идеализирует чужую действительность, но никаких фактов не игнорирует. Он просто мало знает о западной жизни, поскольку информацию о ней ему много лет подменяли злостной дезинформацией... Наконец, он не свидетельствует о жизни, которую не знает, а Фернан Гренье именно в этом качестве — в качестве свидетеля о том, чего не знает, — и предстает перед нами. Говорить о его искренности вообще нелепо, поскольку он партийный функционер партии нового, и даже более чем нового типа и проводит на этом политическом суде линию своей партии... И если он искренен, то в верности линии, для проведения которой надо говорить те или иные слова, а не в самих словах... Его партии и ему самому совершенно безразлично, правда или ложь заключена в этих словах, — они должны работать на нас — оправдание им в далеком будущем. Здесь «рабочий-булочник» ничем не отличался от многих философов и эссеистов, от всех «ангажированных». Я намеренно выбираю наиболее бескорыстный вариант их психологии, до которого многие не достигали, но и он страшен.

Г. Померанц в приведенном в книге разговоре с Б. Носиком сводит поведение Вюрмсера и К^о к простому человеческому нежеланию признавать факты, которые противоречат избранной дороге и концепции, самоуважению. Он говорит еще об исторической ситуации, о выборе между Сталиным и Гитлером, о непрекращаемом авторитете Сталина как символа победы над нацизмом.

Все так, можно даже больше добавить. Но он забывает одну мелочь — что для интеллектуала все это не извинение. На то он и интеллектуал, чтоб мыслить. А если он не может противостоять простому человеческому нежеланию видеть неприятные для себя факты, то он просто не интеллектуал... Я часто бывал не согласен с Померанцем в прошлом и сейчас не согласен, но помню, что никакая война, никакая ненависть к нацизму не помешала ему самому подумать и сказать нечто такое, что привело его в Бутырки. А там, в Бутырках, отнестись с пониманием к человеку, который объяснил свое более чем косвенное «сотрудничество с врагом» (попытался возобновить занятия в деревенской школе при немцах) тем, что помнит коллективизацию и никогда ее не простит. Вюрмсера и Жوليو-Кюри на это не хватило. Хотя информации у них было немного больше, чем у Померанца в эти годы. Короче, нежелание видеть неприятные факты само по себе не извиняет, а компрометирует интеллектуала.

Впрочем, не слишком ли много объясняется их конкретными искренними заблуждениями? Ну хорошо — Вюрмсер и его товарищи не понимали украинских крестьян. К тому же те ушли с немцами и отказались вернуться. По мнению Померанца, это тоже действовало. Но ведь был, как мы уже знаем, еще и процесс Давида Русса. А если не выходить за рамки процесса Кравченко, то и на нем была одна неопровержимая и для них свидетельница, показаниями которой все равно пренебрегли. Звали ее Маргарет Бубер-Нойман. Тут уж не понимать было нельзя: человек их крута. Первым ее мужем был сын философа Мартина Бубера, вторым — вождь Германской компартии Хайнц Нойман. Правда, провинившийся вождь. Но провинность его была такого рода, что о ней лучше было не говорить. Во всяком случае, тем, кто все время все поминал свои заслуги в борьбе с нацизмом, а противников объявлял его пособниками. Дело в том, что

в начале 30-х Хайнц Нойман в отличие от Сталина считал, что бить надо не только социал-демократов, но и нацистов. Собственно, судя по показаниям Бубер-Нойман, Сталин в 1931 году вообще не имел ничего против победы Гитлера в Германии. Главный мастер диалектики сказал тогда ее мужу: «Не думаете ли вы, товарищ Нойман, что если фашисты возьмут власть в Германии, они будут так заняты Западом, что мы сможем спокойно строить социализм в России?» О том, что он понимал под спокойным строительством социализма в России, подробно рассказывали свидетели со стороны Кравченко. Не знаю, беспокоило ли это тогда товарища Ноймана, но насчет нацистов в Германии он согласиться с товарищем Сталиным не мог. Результаты сказались тут же. Ноймана отозвали с его поста для работы в Коминтерне, а вместо него компетентные органы (говоря нашим языком, тут более уместным) подобрали на руководство Германской компартией более подходящего, то есть покладистого товарища — Тельмана. После этого мнение Сталина о фашизме (то есть нацизме. — *Н. К.*) стало генеральной линией КПГ и последовало все, что последовало. Так что, может, Гитлер так долго, почти до конца войны, не убивал Тельмана не просто так, а из благодарности — все-таки помог в трудную минуту. Что же касается Ноймана, то в Коминтерне он проработал недолго и был послан в испанскую газету. В конце концов в 1936 году он опять оказался в Москве, и, естественно, его вскоре в общем порядке посадили и кончили. Вслед за ним посадили и жену Ноймана, чтоб зря не болталась. Все это довольно типично, и оппонентов больше, чем это, не устраивало то, что Главный победитель фашизма оказывался сторонником прихода Гитлера к власти, над чем они пытались иронизировать...

Но дальше было хуже. Ибо в СССР она сидела только до 1940 года. А в 1940-м ее вместе с тридцатью девятью другими немецкими, австрийскими и т. п. коммунистами (а всего таких было около четырех тысяч) отвезли в Брест и вместе с их личными делами в порядке обмена передали родственной организации — гестапо. Среди переданных были и евреи, на них тут же набросились эсэсовцы. А остальных отвезли сначала в Берлин, а потом по лагерям. Бубер-Нойман — в Равенсбрюк. Перед приходом Советской Армии она бежала в американский сектор, ибо сидевшие с ней немецкие и чешские коммунисты обещали ее выдать как пособницу Гитлера — они ненавидели ее за то, что она рассказывала о своей судьбе и советских лагерях. Скольким из них пришлось потом лично убедиться в правдивости ее слов?..

Показания Бубер-Нойман заставили дрогнуть почти всех оппонентов Кравченко. Адвокат «Леттр франсэз» Матарассо до сих пор гордится, что не задал ей ни одного вопроса, то есть не пытался ее запутать, как других. Видимо, это потребовало от него немало мужества — такие были порядки. Впрочем, никто из представителей «партии расстрелянных» (так себя очень долго еще именовали коммунисты, все время спекулировавшие на своем участии в Соппротивлении) ни из этого процесса, ни из этой партии не вышел. Я уже знал и не ставил под сомнение этот факт, который потряс и меня, когда я узнал о нем в эмиграции. А мне ведь многое к тому времени было известно и никакой общности со Сталиным я не чувствовал.

Впрочем, коммунисты устояли — дрогнули, но устояли. Из партии тогда никто не вышел, врать никто не перестал. До самого XX съезда. Почему на этих людей так действовал XX съезд? Конечно, и информацией. Многого они все же не знали. Но не думаю, что именно ею. Ибо многое они и знали и о многом, сами того не желая, догадывались. Действовал сам факт того, что об этом вынуждены были заговорить, следовательно, что цель оказалась не в состоянии оправдать средства, что то, что их мучило, на самом деле было страшным и отвратительным. И тогда Клод Морган заметил, что советские танки на улицах Будапешта — картина вовсе не прекрасная. А когда в 1948 году Сталин подменял коммунистами правительства восточноевропейских стран — он этого не замечал. И когда после этого (на процессах Райка, Сланского, Костова) подменяли самих подменявших, его товарищей, то это, вероятно, его беспокоило больше, но только в глубине души. Утешался диалектикой. Так же как и печатая «Сима Томаса». XX съезд освободил его от диалектики. Он, правда, не считает, что отказался от Ленина — только от лжи и насилия, но и это немало. В конце концов и блистательный защитник Кравченко — метр Изар — был социалистом.

Ибо дело вообще не в политике. Сталинщина — не политика, а уголовщина.

«— Нас спросили: «Вы идиоты или мерзавцы?» — говорит Пьер Дэкс. — Я ответил: «Мы и идиоты, и мерзавцы...» Я чувствую свою ответственность за преступление против духа, которые совершала эта газета...»

Б. Носик говорит: «Это еще не настоящее покаяние» (хоть и отмечает, что это «уже так много»). Мне лично большего покаяния ни от кого не надо. Преступлением против духа был весь коммунистический заговор во имя, а на самом деле против человечества. И этим он отличался от обыкновенных человеческих, очень несовершенных, очень негармонических установлений.

Человек не вправе пренебрегать тем, что он только человек. Жизни других людей не могут быть объектом социальной инженерии. Эта инженерия — отношение к

людям как к инертному материалу для построения их счастья, для чьего-то личного творчества. Благодаря ей смертные люди самовольно наделяют себя божественными полномочиями по отношению к другим — таким же, как они, — смертным. Это один из самых коварных и опасных соблазнов. Стать Богом человек все равно не может, но на этом пути и при этой психологии (которая обязательно приводит к той или иной форме инфантильности) он, как видели люди моего поколения, может не только служить дьяволу, но и легко его перерасти. Это результат преступления против духа.

Да и во имя ли блага все совершалось? Кончивший самоубийством друг Троцкого, А. А. Иоффе, в своем предсмертном письме говорит об этом иначе. Он вспоминает, как они с Троцким говорили не раз, что жизнь человека должна быть духовно наполнена, иначе она бессмысленна. И в их с Троцким случае это наполнение — борьба за освобождение рабочего класса. Так все-таки что раньше — наполнение собственной жизни или рабочий класс (народ, нация и пр. и пр.)? И ради чего расстреливали, лгали, травили; что спасали — рабочий класс или торжество идеи, наполняющей жизнь?

Конечно, коммунизм (и нацизм) — крайние проявления этой тенденции, но вся мировая интеллигенция лет уже сто пятьдесят тяготеет к такому наполнению жизни. И хотя много болезней было у дореволюционного российского государства, но те самоубийственные «военные» (выражение кадетского лидера В. А. Маклакова) отношения, в которых находилась с ними российская интеллигенция, особенно после Пятого года, — отношения, когда важно не чего-нибудь добиться, а нанести наибольший урон «противнику», объяснялись и этим. Это было интересно, весело и наполняло жизнь смыслом.

Конечно, процессов, подобных делу Кравченко, она не устраивала, но все четыре дела о высокопоставленном шпионаже во время войны, начиная с мясоедовского, были не менее липовые, чем сварганенное правыми «дело Бейлиса». Она не устраивала эти «дела», но давление прессы и общественного мнения затрудняло объективное судопроизводство. Интеллигентная публика жаждала доказательств, что «у нас все прогнило» — тезис, игнорирование которого приводит в доказательство всеобщей необъективности Г. Померанц. Такое впечатление, что ему изо всех сил надо защитить интеллигенцию и ее право на традиционные увлечения. А уж если, увлекшись, ошиблись, так кого винить?.. Ничуть не отрицая интеллигенции, особенно нашей, грешной, ничуть не отделяя себя от нее (и от ее грехов), могу ответить: себя и винить. И что-то в себе пересмотреть. Не только поведение, но и его мотивы.

В связи с этим я вспоминаю Испанию, которая была последней романтикой моего детства и которую мне удалось посетить несколько лет назад.

Честно говоря, я так и не смог выяснить, из-за чего, собственно, начался мятеж, чем и кого не устраивало правительство Народного фронта. Дело в том, что Франко вовсе не был нацистом или фашистом (нацисты не сдают власть демократически настроенному королю), а был, как говорит мой испанский друг Альберто, обычным правым диктатором (который контролирует только политическую сторону жизни), а правительство Народного фронта вовсе не было коммунистическим. Знаю я (сегодня!) только одно — после того, как сопротивлением мятежу овладели коммунисты, вскоре начавшие коллективизацию, борьбу с «троцкистами» и прочие свои игры, Франко, по-видимому, превратился в спасителя отечества. Мне совсем не просто это написать. Испания — часть моей юности. Но приходится в этом сознаться.

Доказательства? Очень простые. Альберто привел меня к своим родителям. Отец — приблизительно мой ровесник, врач, он был тогда уже на пенсии, мать — чуть моложе, она содержала небольшой кондитерский магазин. Разговор идет по-английски. Мать и сестры владеют им прекрасно, отец приблизительно как я, то есть еле-еле, а сам Альберто прекрасно говорит и по-английски, и по-русски. Я, естественно, завожу разговор о гражданской войне. Мать объясняет, что она тогда была слишком молода и ничего не понимала, а вот ее муж сначала сочувствовал националистам (так они называют франкистов), а после войны, когда они поженились, сочувствовать им перестал, разочаровался во Франко.

— Почему? — спрашиваю я.

— Он был очень жесток, — отвечает мать. — Он казнил очень много людей.

— Сколько? — спрашиваю с чувством превосходства, как человек, знающий, какой может быть мера жестокости. — Тысяч десять, наверно?

Честно говоря, я думал, что, наверно, больше. Не в наших масштабах, но все же больше. После такой войны, при таком взаимном ожесточении.

Но глаза моих собеседников округлились от ужаса.

— Что вы, что вы, — они даже замахали руками. — Нет, не в таких масштабах... Ну, триста человек... Ну, четыреста...

Это была аполитичная семья, точных цифр они не знали, возможно, они их преуменьшали. Но все же я думаю, что если эти люди после всего пережитого (вспомним сцену убийства «фашистов» у Хемингуэя) настолько сохранили нормальное мировосприятие, что триста или четыреста казненных для них — громадная

цифра, достаточная для того, чтоб разочароваться во Франко, а десять тысяч — цифра вообще непредставимая (а это действительно громадные цифры!), то... земля ему пухом! Кстати, во время войны, даже отправив добровольческую «Голубую дивизию» в Россию, испанцы тем не менее укрывали у себя английских и американских летчиков, бежавших из оккупированной Франции, а часто партизан, евреев и т. д. ...Нет, «фашистом» Франко не был.

Видел я и противника режима, философа, ученика Ортеги-и-Гасета. Его притесняли, лишали права преподавать в испанских университетах. Конечно, нашего брата тянет тут сказать: «Мне бы его заботы». Тем более если он узнает, что профессор Маринас имел возможность по полгода проводить в США и преподавать в американских университетах. Но не стоит. Как всякому подлинному интеллектуалу, ему хотелось прежде всего преподавать «своим» студентам, и невозможность этого была для него немалой потерей. И он прав, что не прощает этого. Но если бы победила Долорес Ибаррури, с которой он тоже вряд ли бы сошелся во взглядах, все это показало бы ему райской жизнью. Уж если бы ему запретили преподавать в Испании, то в Америку он тем более не мог бы ездить. Или если б его в «хорошие» времена однажды «выпустили», то назад бы уже не «впустили» — разве что после ее смерти... Эта Пасионария долгое время, даже при Хрущеве, ухитрялась лишать возможности прочесть «По ком звонит колокол» Хемингуэя нас, людей другой страны. А что бы она вытворяла у себя?

И вот — последнее о памяти детства. В Толедо мне показали музей-крепость Алькасар. Я помню с детства эти слова — Толедо и Алькасар. Когда начался мятеж, франкисты в Толедо потерпели поражение и заперлись в Алькасаре. Республиканская милиция очень долго и безуспешно осаждала Алькасар, пока городом с ходу не овладели подошедшие основные силы Франко. Помню, как я переживал это поражение, как ждал, что Толедо отобьют у фашистов. Шутка ли — ведь от Толедо до Мадрида всего сто километров прямо на север. Но, наоборот. Франко быстро осадил Мадрид, а потом ни одна республиканская контратака и задач таких грандиозных перед собой не ставила.

Алькасар, выражаясь по-нашему, музей боевой славы франкистов. Конечно, Брестская крепость продержалась дольше, и не против неорганизованной милиции, а против частей вермахта и СС, но в 1936-м Алькасар своим упорством поразил воображение мира.

В музее на стенде на многих языках, включая русский, представлен и такой потрясающий факт. В первый, кажется, день осады, когда телефонная связь между городом и крепостью еще не была прервана, в кабинете коменданта крепости зазвонил телефон. Командующий рабочей милицией предложил осажденным сдаться и, получив отказ, передал трубку спешно доставленному в штаб милиции пятнадцатилетнему сыну коменданта крепости.

— Папа, — сказал мальчик, — они говорят, что если вы не сдадитесь, они меня сейчас расстреляют.

— Ну что ж, мой мальчик, — ответил отец. — Значит, тебе остается вручить свою душу Богу...

И ведь, судя по всему, расстреляли — во имя высшей справедливости.

Я долго ходил по музею, рассматривал фотографии защитников крепости. В основном простые крестьянские лица солдат, порой вполне унтерские, какие-то, если так можно выразиться, провинциально-дворянские лица офицеров, иногда очень картинно-воинственные... И я поймал себя на мысли, что если не среди толедских «милиционеров», то среди деятелей другой стороны, в Мадриде, среди бойцов интербригад, было больше людей, чьи лица показались бы мне более близкими, с которыми — во всяком случае много лет назад — мне было бы гораздо легче себя идентифицировать. И тогда я подумал и сказал, что везде, где такие, как я (каким я хотел когда-то быть) победили, жить не может никто, в том числе и они сами. А везде, где они проиграли, жить лучше или хуже могут все, в том числе и они сами. Как это ни смешно, даже верующим коммунистом, а не заводной попкой, можно было оставаться только под защитой пушек НАТО. По-видимому, левая интеллигенция в целом, включая многих чистых и благородных людей, участвовала в большом преступлении против Духа. Это не значит, что все ее враги были прекрасны и вызывают восхищение, но это значит, что она неправильно поняла свою миссию.

И именно поэтому я хорошо понимаю Пьера Дэкса и гораздо меньше Бориса Носика с его поисками симметрии и Г. Померанца, который старается находить ей оправдания в исторических обстоятельствах.

Н. КОРЖАВИН.

Бостон, США.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Сегодня обсуждается проблема 60-х годов как закончившейся эпохи, эпохи, которая ушла и подлежит суду истории. Речь идет не о суде над людьми этого поколения — они очень разные, и каждый из них в итоге несет ответственность лишь за то, как он распорядился своей судьбой. Речь идет об общих чертах эпохи, о ее идеалах и предрассудках, в разной степени разделявшихся поколением, но определивших духовную атмосферу времени.

То была эпоха припоминания погранных ценностей, начиная с ценности отдельного человека. Власти ясно сознавали, что это угрожает самим основам тоталитарной системы. Недаром был запрещен (а не просто усечен цензурой, как знаменитая «Застава Ильича») фильм Калика «Любить», в котором блистательные новеллы о любви перемежаются с богословскими рассуждениями молодого и еще мало известного тогда священника Александра Меня и цитатами из «Песни песней». Можно смело сказать, что, не будь освобождения 60-х, не было бы ни перестройки, ни последовавшего затем конца коммунизма как тотальной идеологической структуры.

Изнутри эпоха плохо видна. Для меня лично 60-е годы были периодом открывшихся после «оттепели» возможностей, хотя я не считаю себя в полной мере шестидесятником. Какие-то вещи меня отталкивали, какие-то увлечения и предрассудки эпохи я не разделял, но в целом я обязан ей очень многим.

Те, кто жил в 60-е годы, переживали эпоху как бы в некоторой ориентации на ее яркие точки, на то, что привлекало внимание, что ее воодушевляло и символизировало. Но сегодня авторы многих публикаций (в том числе талантливого и острого выступления Галковского в «Независимой газете») видят эту эпоху как многосложное целое. И тогда становится ясно, что она определялась не только диссидентами, не только теми, кого называют либеральной интеллигенцией, или, с другой стороны, людьми, восстанавливавшими какие-то истоки российской традиции (впрочем, оба эти направления в 60-е годы не столько противостояли, сколько дополняли одно другое). Но шестидесятники — это и тот обынтеллигентившийся состав «почтовых ящиков» и вообще предприятий военно-промышленного комплекса, куда попали выпускники привилегированных вузов, обладавшие уже несколько большей культурой, чем их непосредственные предшественники; это и какая-то часть аппарата, и просто чиновники и служащие. Потому что все они читали те же «толстые» журналы, слушали тех же бардов, смотрели те же фильмы и спектакли. Словом, воспринимали те же самые веяния, одни с меньшей степенью ангажированности, другие с большей, одни более сочувственно, другие не без отталкивания. С удалением во времени различия становятся менее заметными, а общие черты выступают все отчетливей. Поэтому теперь имеет смысл поискать какие-то инварианты эпохи.

Галковский в своей статье несколько преувеличивает коллективизм того времени. Действительно, эпоха впервые восстановила то, чего не было в предыдущие советские годы, — некое общественное мнение в интеллигентской среде. Возникновение этого феномена, как почти все, что происходило тогда, можно расценивать как амбивалентное приобретение. С одной стороны, наличие общественного мнения, не организованного государством, — это своего рода противостояние государству. С другой стороны, не испарилась чисто советская уверенность в том, что общественное мнение вправе судить любую личность и при этом ждать от нее подчинения такому суду. На деле — подчинения своих интересов той группировке, которая выступает от имени общества.

Но эта же эпоха дала чуть ли не первые ростки сознательного индивидуализма, личной свободы — как независимости от государственной идеологии. Наличие «секуляризованного» общественного мнения помогло развиваться этим росткам независимости.

Это было очень длинное десятилетие: оно началось, в сущности, в середине 50-х годов, а закончилось где-то на исходе 70-х. Я, например, немного старше типичного шестидесятника. Для меня некоторое освобождение и определенная перспектива активной деятельности начинались в 50-е годы. Оттепель стала для меня решающим событием, открывшим какие-то реальные возможности социального бытия. Я никогда не увлекался тремя поэтами-шестидесятниками, которых превратили в символ эпохи. Наоборот, в 60-е годы я открывал для себя Мандельштама, Ахматову и даже Пушкина. Пастернак был открыт мною еще в 1946 году, когда я зачитывался его стихами и даже был на его последнем вечере в Политехническом музее. Он и оставался моей главной любовью в поэзии вплоть до середины 60-х. Так что и в этом смысле я не совсем типичный... Для меня существеннее было тогда влияние людей старшего поколения: больше всех — Надежды Яковлевны Мандельштам, а еще — Варлама Тихоновича Шаламова и Александра Александровича Любищева, с которы-

ми я познакомился через нее. Так что я ориентировался отнюдь не на маяки 60-х, оценивая кумиров эпохи в соотношении с более старой традицией. И тем не менее я чувствую себя принадлежащим именно к этому поколению.

Культурная жизнь, как я уже говорил, была во многом общей для всех; на выступления Евтушенко, Вознесенского, Рождественского ходили и люди из «системы», и сотрудники «почтовых ящиков», и просто интеллигенция. Я тоже был однажды на вечере Андрея Вознесенского в зале Чайковского. Чувствовал себя как бы незаконно присутствующим, поскольку билет получил от своей приятельницы, которая была приятельницей человека, который приятельствовал, по-видимому, с близкой приятельницей самого поэта. Выступление это произвело на меня довольно удручающее впечатление — некоего действия, по ходу которого поэт как бы нарушал те или иные неписаные законы, но точно знал, до каких пределов их можно нарушать. Вот такая виртуозность балансирования на грани дозволенного и шекотала нервы публике, у меня же она вызвала неприятное ощущение. Но это искусство балансирования было характерно для 60-х годов, и должен сказать, что я сам отчасти прибегаю к нему, когда публиковался в философской прессе или печатал публицистические статьи, рассчитанные на умение аудитории читать между строк. И опять же это была амбивалентная стратегия. С одной стороны, так надо было поступать во имя обновления, возвращения к забытым истинам и преодоления господствующих стереотипов. И когда я сейчас перечитываю большую часть того, что писал и публиковал тогда (в советской прессе — с 1969 года, то есть уже на закате эпохи), мне не стыдно за эти вещи. Ну, может быть, стыдно за то, что ты чего-то еще не понимал, хотя это как раз и не так уж стыдно.

Но есть тут и другое обстоятельство — подобные публикации создавали перед остальным миром имидж большей цивилизованности нашего общества, чем это было на самом деле. Эти публикации как бы оправдывали чудовищно гнусный контекст, в котором они находились, хотя мы этот контекст привычно не замечали. Было великое событие — публикация романа «Мастер и Маргарита», а что еще печаталось в этом журнале, я не помню вовсе, это было просто неинтересно, хотя я даже просматривал его. Тем не менее вот такая публикация и создавала имидж цивилизованности. Да и мне после моих публикаций с удивлением писали из-за рубежа: видно, что-то у вас происходит, раз печатают такое.

В общем, власти старались использовать интеллигенцию (или образованщину?) как витрину режима. В ноябре 1968 года мое начальство вынудило меня поехать в командировку в Чехословакию, хотя я никогда прежде не был «выездным». Но тут надо было продемонстрировать «человеческое лицо» — и посылали реальных специалистов, а не функционеров. Под угрозой увольнения я отправился в Прагу. Чехи проявили своеобразную корректность: поодиночке отзывали членов делегации в коридор и спрашивали, что мы думаем о вторжении. После такого разговора отношения у нас сложились дружелюбные, и никто из чехов на меня потом не наступал. Мне, однако, стыдно, что я не заявил о своем мнении публично. За 20 лет до этого я оказался в сходной ситуации, когда в феврале 1948 года попал со студенческой делегацией в Литву. Мы были молодые и веселые. Я чувствовал себя счастливым оттого, что был принят в аспирантуру, несмотря на арестованного и расстрелянного отца. Литовцы поили нас водкой в огромных количествах. На банкете какая-то студентка сказала мне, что они не ожидали увидеть нормальных людей. Стало быть, и тогда я был рекламой режима. Увы, тогда я не осознавал своей истинной роли так, как уже понимал это в 68-м. Вспоминая состав той студенческой делегации, в которую вошел лишь один комсомольский функционер («первого ранга» — но и тот был совсем не держимордой, а скорее приятным исключением из этой категории), я вижу, что она формировалась не без расчета выглядеть прилично в глазах свежеприсоединенных к нам литовцев...

В свое время я был счастлив, когда о моей статье в «Новом мире» («Наука — источник знаний и суеверий») одобительно отозвался по «Голосу Америки» архиепископ Иоанн Сан-Францисский. И опять же стыдно и жаль, что мне не хватило тогда смелости написать ему благодарственное письмо. Немножко тут было от скромности, но больше — от трусости. Ну, это тоже характерное для той жизни опасение: не перейти какой-то грани, делать что-то, но «по возможности». Кстати, сама эта возможность соразмерять свои поступки с предполагаемым риском появилась только в 60-е годы (в сталинские времена тебя могли посадить независимо ни от какой твоей осторожности и благонамеренности). Я помню, как советовал человеку, опубликовавшемуся за границей, не получать гонорара (тот хотел отдать его своему зарубежному другу), потому что так, дескать, безопасней. В определенном смысле этот совет был правильным и этически, и практически. Безопасность автора для меня была важнее, чем интересы его друга. И все же этот совет осторожничать

соответствовал ментальности того времени. Кстати, В. Шаламов тоже отказывался от контактов со своими зарубежными издателями.

Сегодня о периоде 60-х высказываются мнения, которые могут быть неприятны людям, связывающим самые эффективные свои годы с этим временем. Но вряд ли плодотворно заниматься апологетикой ушедшей эпохи. Столь же непродуктивны огульные обвинения. Шестидесятничество, на мой взгляд, стало единственно возможным путем преодоления коммунистической ментальности, которой все были так или иначе заражены, — или, если угодно, коммунистического отсутствия ментальности.

Снова повторю очевидное: это были годы как бы открывания заново этики, эстетики, науки, вообще бытия. Словно первобытный человек вдруг узнал, что есть какие-то заповеди, что нравственность — это что-то не зависящее от воли партии и правительства или даже интересов рабочего класса. Что пример Павлика Морозова отнюдь не героичен, а мерзок, и от него надо бежать. Что искусство имеет право на собственную жизнь вопреки задаче обслуживать идеологическую пропаганду. Что и наука имеет ценность сама по себе. Что существуют другие страны, где жизнь устроена нормальнее.

Эти открытия на пустом месте, с одной стороны, были неизбежны и полезны, с другой же — приобщение к банальным истинам, известным всему цивилизованному миру, превращалось в некий подвиг, интеллектуальный или духовный. И человек как бы обретал право на награду, ожидал для себя такую вот доморощенную Нобелевскую премию за то, что он понял: красть нехорошо, доносить не очень красиво и вообще не надо соглашаться, когда тебя вербуют сексотом в КГБ. Это все как-то перестраивалось.

Точка отсчета была очень занижена, и в этом, в частности, слабость эпохи. Простое чтение самиздата казалось героизмом, равно как и слушание пленок Галича и Высоцкого. Потом уже без этого не принято было обходиться: это стало нормой — но позже, в 70-е.

Среди прочих элементарных истин была открыта и та, что человек обладает достоинством, не сводимым к предназначенной ему роли производственного агрегата. Галковский в упомянутой выше статье признается, что ему глубоко противен фильм «Застава Ильича». Я тоже не считаю, что фильм обладает большими художественными достоинствами, но он был понят тогда как некоторая освободительная новость, как утверждение права человека на собственную судьбу. Человека, который ищет, что ему делать в этом мире, который находится в трудных отношениях с любимой женщиной, который вдруг понял, что опыт отца, вообще опыт отцов, ничего не проясняет — отцы умерли молодыми. Банальные истины освобождали от еще более банальной лжи. И вот это открытие человека как такового было очень важно, хотя и совершалось оно еще в контексте этакой «революционной романтики». (Замечу: не дошедший до зрителя даже в урезанном виде фильм Калика обошелся без нее.) Фильм не случайно имел название «Застава Ильича», которое начальство сочло крамольным. Апелляцией к Ленину создавалась иллюзия, что тот осудил бы происходящее после его смерти, что некую глубинную мудрость можно обрести где-то в истоках революции. Конечно, это было наивно и глупо (преодолеть эту иллюзию мне помогло общение с Надеждой Яковлевной Мандельштам). Но тогда эта апелляция к Ленину тоже была каким-то отправным пунктом, каким-то упором для современников. Во что-то надо упереть рычаг, чтобы попытаться хотя бы сдвинуть с мертвой точки этот мир. И несмотря на наивность, ложность и даже опасность такой предпосылки наверное, сегодня следует понять ее тогдашнюю неизбежность.

Важную роль здесь играла задача просветительства, идея улучшения постепенного, как бы безболезненного, без слишком больших разломов, без разрушения советского контекста. Предполагалось внесение каких-то прогрессивных моментов в то, что нам досталось. В этом смысле и перестройка начиналась как обращение к наследству 60-х годов. Это, кстати, не всегда означало признание правоты революции, часто — лишь признание ее как совершившегося факта, признание того, что данный строй уже существует. Прошла целая жизнь, моя, например, прежде чем оказалось возможным, чтобы сломался хребет коммунистической идеологии, сломалась коммунистическая уверенность в праве делать из нас все, что считают нужным. И если бы мы тогда не верили в задачу улучшать жизненную атмосферу в пределах существующего строя, то, наверное, эта, прожитая теперь жизнь протекала бы в абсолютной безнадежности. Ну, а у тех, кто разуверился, было только два выхода: уехать, если не спиться, то есть выйти из игры, десоциализироваться, — или стать оголтелыми карьеристами.

Можно, конечно, оспорить этот вывод примером Солженицына, написавшего «Архипелаг ГУЛАГ» — книгу, взрывающую самые основы системы. Но ведь начал этот писатель с публикаций вполне, казалось, вписывающихся в ментальность

«оттепели» и либерализма 60-х годов. А главное — Солженицын не столько формировался в эту эпоху, сколько формировал ее своим влиянием. Эпоха лишь дала ему передышку, позволившую осуществить свои замыслы и относительно легко переправить рукописи на Запад.

Но даже понимание преступности самой системы еще не уничтожало надежды на возможность ее либерализации и постепенного смягчения.

Повторяю, строй этот казался незыблемым, не просматривалось никаких радикальных изменений в будущем. И поэтому думалось, что не следует торопиться, надо ждать, пока придет новое поколение, пока придут на руководящие посты цивилизовавшиеся дети безбожных комиссаров, кончившие институты, притом привилегированные институты, прослушавшие лекции грамотных профессоров, сами не чуждые науке. И все это было еще связано с верой в науку, в ее способность разрешить главные проблемы.

Надежды на совершенствование правящей верхушки оказались не вполне ложными, но сильно преувеличенными. Кажется, В. Чапайтису принадлежало выражение, что нами правят уже не носороги, а бегемоты. Наверху и впрямь почувствовали облегчение от снятия угрозы репрессий и начали жить в свое удовольствие: крали, пропихивали сынков и зятьев на престижные и влиятельные посты... Расцветала коррупция, погоня за привилегиями, заграничными и т. п. Впрочем, воры все же предпочтительнее убийц. Беда только, что идеологическое давление и репрессии в том или ином масштабе нужны и одним и другим.

Как это ни дико, мы не понимали, что на самом деле времени отпущено мало, что уже подпирает экология, что гибнет экономика и происходит неуклонное разрушение исходных человеческих структур. Мы-то, наше поколение (особенно мое, чуть постарше прямых шестидесятников), еще знали если не старую интеллигенцию, то людей, непосредственно с этой интеллигенцией соприкасавшихся. И казалось, что люди такого типа останутся навсегда, что подобные культурные микроструктуры не исчезнут, а наоборот — будут укрепляться. На самом деле они размывались и вымирали. Рушились не только экология и экономика, исчерпывались и людские ресурсы, вообще исчезали люди, способные что-то делать. Но это тогда не замечалось. Что и было грандиозной ошибкой эпохи 60-х и ее грехом. Так ошибалось, боюсь, подавляющее большинство поколения, в том числе даже те, кто был положительно активен.

Все это оставляло почву для стремления сохранить и как бы очистить веру в исходные коммунистические ценности. Несправедливость и порочность системы не акцентировались, а сталинизму противопоставлялось некое идеальное коллективистское общество. Этим питался романтизм эпохи, романтизм туристского, геологического и прочего коллективизма. Отсюда же романтика таких, например, рассказов об ученых, как «За проходной» И. Грековой (Елены Сергеевны Вентцель), по которому они с Галичем потом сделали пьесу «Будни и праздники». Ученый несет свет знания, самоотверженно добывает его, отдавая этому жизнь. И люди считали достойным делом заниматься наукой, которая служила укреплению обороны (то есть фактически гонке вооружений). Всем памятен такого рода пример из биографий Андрея Дмитриевича Сахарова, не мне в него кидать за это камень. Название выпусков сборника, в котором я печатался, не считая это зазорным, звучало так: «Кибернетика — на службу коммунизму», — и это не шокировало, хотя стояло в одном ряду с лозунгом «Наша цель — коммунизм» или другой казенщиной. «Кибернетика» как бы оправдывала остальное.

Казалось, что «работа на оборону» была необходимой гарантией мирной жизни (тут многое объясняется ужасом минувшей войны, в которую наша страна вступила неподготовленной). Я сам участвовал пять лет в разработке ракетной системы ПВО, считая это хорошим делом. Правда, в 1961 году я сбежал из «почтового ящика», но не потому, что это занятие вызывало у меня нравственное отталкивание, — просто не выдержал бессмыслицы этой работы. Недавно один очень типичный шестидесятник признался мне, что и сейчас не считает такую деятельность дурной. Я знал много интеллигентных военных инженеров, честно отдававших себя работе на оборону и бывших вместе с тем типичными либералами 60-х. Я и сейчас считаю, что Россия должна иметь достойную современную армию, но та гонка вооружений, в которую нас вовлекли военные и гражданские руководители времен Хрущева и Брежнева, была безнравственна и бессмысленна. Ее результатом стали угроза всему цивилизованному миру и развал нашей экономики. Безнравственным и губительным для науки было то, что она практически вся кормилась от военных заказов, это повлекло ее одностороннее развитие и поставило на грань катастрофы. Но в 60-е годы все это опять-таки плохо осознавалось.

С другой стороны, было немало ученых, борющихся за сохранение подлинной науки, а общество приписывало науке роль спасительницы, способной и экономику укрепить, и систему цивилизовать.

Эта вера в науку выражена в известном романе братьев Стругацких «Трудно быть богом», который одни любили, другие резко критиковали; в нем некий «прогрессор», отправленный на какую-то гнусную планету с диктаторским строем, оберегает там культурные и научные кадры. А фигурирующая в романе страна Соан — ведь это аббревиатура Сибирского отделения Академии наук. Тогда верилось, что обществу и науке поможет создание таких колоний ученых, что, собрав их вместе, собрав грамотную публику, служащую науке, можно будет улучшить нашу общественную жизнь. На самом деле из этого ничего не получилось, и новосибирский Академгородок как раз продемонстрировал иллюзорность таких надежд.

Надо сказать, что от этой веры в спасительность науки я-то как раз освободился довольно рано. Моя статья 1969 года «Наука — источник знаний и суеверий» была поддержана какой-то частью интеллигенции, не знаю, сколь многочисленной, и вызвала резкое недовольство внутри ЦК (на нее очень рассердился тогдашний глава отдела науки Трапезников). Против меня выступили два академика. Математик Александр Данилович Александров в первоначальном варианте предназначавшейся для «Нового мира» статьи, который хранится в моем архиве, писал: «...дальше в поправлении марксизма и истины идти некуда, но Ю. Шрейдер идет дальше». Такой припев повторялся в тексте несколько раз. И тот же академик буквально кричал на улицах Академгородка, что «Шрейдер — враг науки». Но я не был врагом науки. Я был и остаюсь врагом неоправданных надежд на спасительную роль науки.

Другую статью против меня написал Бонифатий Михайлович Кедров, но, Боже мой, как мягко по сравнению с Александровым! Он принял все меры, чтобы его выступление не повредило мне лично. И вообще он рассчитывал защитить меня и редакцию «Нового мира» от взрыва негодования в ЦК. Наивное намерение, но не лишенное благородства. Нужно сказать, что Б. М. Кедров, убежденный марксист-диалектик и прочая, был очень порядочным человеком и всерьез заботился об окультуривании нашего общества, об ограждении робких ростков мысли и философии. Здесь он, человек другого поколения, был больше шестидесятником, чем собственно шестидесятником. Он был честен в этой своей вере, и ее тоже не худо бы уважить.

С верой в науку очень хорошо сочеталось приятие советского контекста, готовность писать для советских журналов и действовать, пусть и дерзко, но считаясь с советскими нормами. В карикатурном виде я это наблюдал на одной интеллигентской пьянке. Хозяин всерьез интересовался религиозными проблемами, занимая при этом сугубо идеологическую должность. На свой лад он был хорошим человеком и считал, даже не совсем безосновательно, что исполняет некую культурную роль. Около часу ночи, после изрядной уже выпивки, он с горячностью сказал, что ему бы схиму принять, но вот беда, партия не велит. То есть он готов был пойти в монахи, принести тяжкую, по складу характера, жертву, но лишь в порядке партийного поручения. Думаю, что это не было шуткой. Христианский подвиг в его сознании вполне корреспондировал с партийной дисциплиной. Амбивалентность 60-х проявлялась и здесь: тяга того человека к христианству была неподдельной, и многих он поддержал на этом, тогда еще не модном пути.

В 60-е годы в среде интеллигенции возникла, как известно, такая тяга к христианству, к религиозным ценностям. Само по себе это было важно, ибо Русская Православная Церковь существовала к тому времени почти без притока интеллектуальных сил, превращаясь в церковь старухек. Беда, однако, была в том, что интерес шестидесятников к религии слишком часто выражался в открытии для себя не духовных, но скорее эстетических ценностей. Доминировал интерес к иконописи, церковной архитектуре, в лучшем случае — к религиозно-философской литературе. Религию слишком часто превращали в источник эстетического и интеллектуального наслаждения наряду с поэзией «серебряного века», с модернистской литературой и живописью. Я говорю, конечно, не о всех кряту, но о господствующей тенденции, о некой культурной установке тех лет. Правда, в 60-е годы уже началась деятельность о. Александра Меня, о. Сергия Желудкова, о. Дмитрия Дудко и других священников и проповедников христианства. Но вот характерная деталь — при Твардовском в редакции «Нового мира», этого символа 60-х, был, насколько мне известно, только один человек, серьезно относившийся к духовной проблематике христианства, — это Ефим Яковлевич Дорош (Гольберг). Кстати, он был, кажется, единственный, кто возражал против публикации печально известной статьи А. Г. Деметьева.

Есть еще черта, которую не преминул отметить Галковский. Это общее ощущение права на хорошую жизнь, на удовольствие, на выпивку, на романы с девочками. И в этом смысле какой-нибудь начальник, который сходил со своей секретаршей

в служебном кабинете, и интеллигент, который завлекал студентку разговорами о сборнике «Вехи» или о христианской церкви и на большом подъеме романтических чувств склонял ее к близости, — явления одного порядка. Все чувствовали себя униженными, забытыми предыдущей эпохой и желали как бы законной компенсации. Вот это и было плохо. Не столько в сибаритстве или распушенности был главный грех, сколько в том, что предавались им в сознании заслуженного права. Конечно, антиаскетизм шестидесятников, как и стилинг 50-х годов, — это реакция на сталинский пресс и на принудительный аскетизм, который на самом деле нисколько не предотвращал распутства, пьянства и тому подобного. Но разрешали себе это тайно, только избранные, только в каких-то недоступных прочим местах. А вот готовность открыто демонстрировать такое высвобождение, такое осуществление личной свободы — это было характерно именно для 60-х годов. По тем меркам это не выглядело зорным. Ведь свобода сначала реализуется в очень простых вещах — в непослушании деспотическому давлению государства, в готовности выскользнуть из-под идеологического прессы. И поэтому она, свобода, может осуществляться в самых что ни есть непривлекательных формах. Но и в таком виде она приближает к восстановлению простейших человеческих ценностей. Оказывается, что можно любить жизнь, а не власть.

...Я помню, как с товарищем случайно зашел в гости к человеку, который перед этим опубликовал взрывоопасную книжку за границей, имевшую большой резонанс и, скорей всего, важную и нужную. Меня поразило, что мы встретили не подвижника, не человека, которому идти на смерть, на крестные муки за правду, а очень веселого, очень довольного жизнью человека в сверхмодном костюме, с яркой красивой женой. И все это было окутано аффектированной атмосферой заслуги, права на «красивую жизнь». Тут тоже ощущался вызов официальным предписаниям. Точно так же люди «системы», люди, работавшие в «ящиках» и получавшие большую по тем временам зарплату, чувствовали себя вправе жить хорошо, в свое удовольствие. Это сознание давала им не текущая работа, скорее они вознаграждали себя за изгаженное детство, за страхи юности, за всю тяжесть, которая еще недавно пригибала нас, а теперь, казалось, была снята.

Житейские удовольствия становились как бы платой за страх, перенесенный ранее.

Для одних такой компенсацией были поездки за границу, привилегия для узкого круга, для других — поездки по стране, куда более доступные, или возможность собираться на вечеринки, пить и гулять. Не очень роскошно по мировым стандартам, но все-таки широко по нашим меркам. Веселиться в компаниях, откладывать кое-что на машину, кооперативную квартиру, дачу — все это было не так уж недостижимо. И вот что примечательно: эти блага не связывались с реальными усилиями на службе. Одни работали серьезно, другие просто бездельничали, а получали более или менее одинаково все. Поэтому ни у кого не было сознания, что он своим трудом зарабатывает на жизнь, своим трудом делает карьеру. Деньги получали. У меня лично всегда было ощущение, что я получаю деньги за одно, а вкладываю силы совсем в другое; причем за то, что я действительно делаю, мне не платят ни гроша. Зарплата выдавалась просто потому, что тебя зачислили на работу. Даже если тебя взяли на работу из-за твоего научного реноме, заниматься наукой от тебя, в сущности, не требовалось. И если ты ею все же занимаешься, то оттого, что тебе это было интересно, что тебе этого хотелось. Правда, у меня и тогда было ощущение неправомерности такого положения вещей. Это помогло мне в ситуации, когда начальство решило покарать меня за религиозные убеждения, ухудшив мое положение на службе, и мне пришлось выполнять работу довольно неприятную, занимавшую к тому же много времени. Я, однако, счел, что теперь действительно отработываю свою зарплату, а не получаю привычную подачку, и от этого почувствовал себя свободнее.

Опять же Галковский глубоко прав в том, что Владимир Высоцкий был во всех смыслах символом эпохи. Он был популярен всюду, и его приглашали выступать в «почтовые ящики», что с Окуджавой и тем более с Галичем случалось редко. А вот Высоцкого звали даже, как он сам пишет, в кабинеты к высокому начальству. Со всех подоконников магнитофоны орали голосом Высоцкого, а не кого-нибудь другого. Он в чем-то очень остро выражал дух того времени, и мне кажется, что такой же символичной была его влюбленность в Марину Влади...

60-е годы выработали своеобразную адаптацию к условиям жизни — умение жить в обществе, относясь к нему крайне критично, хотя все-таки принимая его правила. Люди 60-х уже не давали втянуть себя в «пятиминутки ненависти», не ломали себя так, как интеллигенты 30-х; но кесарю они отдавали не только кесарево.

При таком приспособлении что-то нарабатывалось, в тех же кухонных разговорах, в чтении «толстых» журналов, просмотре кинофильмов. Был круг людей, для которых важнейшей привилегией, вытекающей из их положения, стала возможность смотреть зарубежные фильмы, «быть в курсе» современного кино (тогда в кино

действительно была масса интересного). Но наряду с культурными приобретениями тут накапливалась и зависимость от системы. Она приобретала дополнительную устойчивость, как бы ассимилировала культуру, превосходно используя ее в своих целях. Иногда для демонстрации своего «человеческого лица», иногда даже для укрепления собственных основ.

Повторяю: все черты этой эпохи так или иначе амбивалентны. Но без нее были бы невозможны дальнейшие шаги. Мы не могли что-то получить непосредственно из рук тех, кто уже умер. Мы не могли получить духовную помощь из-за рубежа, потому что сама граница была своеобразным мифом. Бытовала даже шутка, что никакой границы нет. Что люди, которых посылают за границу, на самом деле отстаиваются где-то в Бресте и потом возвращаются обратно, проинструктированные, как следует рассказывать про эту самую границу. А заграничные вещи делаются на спецзаводах и вручаются на брестском вокзале командировочным, чтобы они имели вещественные доказательства того, что граница существует. Этот канал был фактически перекрыт, серьезные контакты завязались только в 70-е годы, начался приток тамиздатской литературы, несмотря на огромный риск ее переправки. Тогда-то, в 70-е, и стала возможна ориентация на ту часть русской культуры, которая оказалась на Западе и сохранила там некую духовную преемственность со старой Россией. Возникли и другие каналы преемственности, другие точки отсчета, но это уже выходит за рамки разговора о 60-х годах.

Одним из характерных симптомов шестидесятничества был гипертрофированный интерес к психологии вождей большевизма — к их мотивациям, симпатиям и антипатиям, к их нравственности и т. п. Этот интерес можно проследить от пьес Шатрова до Ленинианы Венедикта Ерофеева и «Ленина в Цюрихе» Александра Солженицына, хотя последние два автора по существу уже «антишестидесятники». Тут сказывалось типичное для 60-х представление, что история решает свои задачи внутри именно этого лагеря и через его посредство. В этом смысле лебединой песней шестидесятничества стала не случайно нашумевшая книга «Дети Арбата». Судьба ее оказалась на редкость счастливой — ее разрешили тогда, когда уже подготовленный, но еще не удовлетворенный интерес массового читателя к выяснению реальной роли «вождей» достиг пика и еще не успел переключиться на что-то более глубокое. Редкий случай появления книги как раз в тот момент, когда ее шансы на успех наиболее высоки.

Синдром шестидесятничества в значительной мере определялся общей уверенностью, что судьбы наши всегда, практически вечно будут решаться в кабинетах на Старой площади, будут зависеть от интриг в этих кабинетах и прихотей их хозяев.

Такая пожизненная приговоренность к пребыванию в системе не могла стимулировать мысль о том, что система дурна в самом основании. Додумывать все до конца можно в двух случаях: когда предвидишь шансы на коренную перемену — или когда истина важнее надежды, и это дает мужество следовать лагерным заповедям Варлама Шаламова. И то и другое доступно лишь ничтожному меньшинству. Поколению же суждено было стать тем, чем оно стало, дать то, что оно в силах было дать.

Сегодня хребет системы сломан, партийные структуры власти демонтированы... Конечно, есть опасность попыток реставрации, но это лишь одна среди многих опасностей, которые нам грозят. Улучшать и приспособливать более не существующую систему вряд ли кто-нибудь возьмется, жизнь безотлагательно требует нового устройства, лишая пришедшие поколения не только ощущения своих прав на компенсацию за лишения, но и возможности такую компенсацию получить. Формальное пребывание на службе перестало гарантировать безбедное существование. Приходится всерьез зарабатывать на жизнь. А в духовной жизни кончилась эпоха наивного первооткрывательства и былой изоляции. Приходится возвращаться к абсолютным меркам, абсолютным точкам отсчета, без всякой скидки. Все это означает, что не только ментальность, но и сам образ жизни 60-х годов стал уже историей, которую можно изучать, осмыслять, судить, но безнадежно пытаться вернуть. Хотя для проживших эти годы какая-то дань ностальгии вполне естественна.

Но так же, как на самосознании 60-х годов сказались прошедшая война — не только с ее ужасом, но и с инспирированным ею началом духовного освобождения, так и сегодняшняя эпоха живет еще наследием 60-х, даже когда оспаривает это наследие.

Ю. А. ШРЕЙДЕР.

СОВЕТСКИЙ ЖИТЕЛЬ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП

Слово «совок» родилось как бранное. Должно быть, именно это слово обижает нас больше любых неологизмов последнего времени. Так, наверное, оскорбляли еретиков клички «монархиане» или «стригольники» — прозвища, которые кажутся красивыми и благородно-звучными теперь, когда те ереси отшумели. Бог даст, и слово «совок» будет когда-нибудь звучать нейтрально, никого не задевая. Главное же — чтобы это уродливое и гадкое в час своего возникновения слово не повторило судьбу слова «большевик», столь презренного на заре и на закате нашего века, но долгие десятилетия в середине его столь торжественного... Все это между тем не означает, что стоящее за пресловутым «совком» содержание заслуживает только брани. Что бы ни скрывалось за ним, это было нечто очень живое. Пока не существовало ничего, кроме совка, он был страшен; его ненавидели и ему сопротивлялись, как ненавидят и сопротивляются родителям — не врагам, а предкам. Но проходит время, совок слабеет, теряет зубы, и, как во всяком слабом старике, будь то даже отставной палач, в нем обнаруживаются какие-то очень человеческие, милые, привлекательные своей подлинностью и достоверностью черты.

Сегодня «совок» имеет самое меньшее три значения. Во-первых, это страна, в одночасье потонувшая, подобно Атлантиде, угроза миру и обитель зла. Подобные мифические царства не слишком интересны тем, кто населял их в реальности, хотя вызывают жгучее любопытство у посторонних. Во-вторых, «совок» — это порок или набор пороков, заслуживающих всяческого осуждения: от инфантилизма до патернализма, от клептомании до ксенофобии. Но порок или даже набор пороков тоже интересны не более чем заноза. Изучать совка как вместилище этих пороков так же бессмысленно, как изучать людей с занозами отдельно от всех прочих.

Однако «совок» кроме того — это еще и живые люди, это самостоятельный душевный, психологический и даже духовный тип. Над таким смеяться не пристало, а вот изучать его очень даже интересно. Совок жил и жив, и, как все живое, он достаточно таинствен и ускользает от определения. Время изучения совка — сегодня. Вчера «отсутствовала дистанция между объектом изучения и исследователем». Каждый из нас — вне зависимости от социального положения, рода занятий, уровня ума — был совком. Завтра изучать совка будет поздно — он умрет столь же внезапно и молниеносно, как умер большой Совок, и останутся там и сям фельетонные клочки.

Размышления о совке как именно религиозном типе не случайны. Всякий человеческий тип жив, поскольку религиозен, — это убеждение автора. Он сам, несомненно, был классическим совком много лет — до своего обращения в христианскую веру, а после крещения — совком по инерции. Сограждане — советские люди — кажутся удивительным явлением именно с религиозной точки зрения. Совок поддается христианизации хуже, чем любой другой религиозный тип, с которым сталкивалась Церковь на протяжении своей истории. На первый, и очень поверхностный, взгляд совков производит впечатление религиозной дыры, или тумана, или болота. Кажется, что эта субстанция наглухо гасит всякое духовное движение и усилие. Но ведь не такая уж это стопроцентная глухота, как явствует из несомненного религиозного возрождения в России наших дней (не столь глубокого, как хочется христианам, но и не столь хилого, как изображают атеисты).

Личность совка, конечно, несла на себе отпечаток Совка как системы, идеологии, страны. Но лишь до определенной степени! И то, что хуже всего в советскости, что плавает на поверхности и само напрашивается на разнос, принадлежит более всего Совку в целом, а не людям, его населявшим. В своих «Заметках историка религии» отец Александр Мень определил это худшее просто и трезво: «Один из секретов успеха сталинщины состоит именно в том, что, создав религиозный вакуум, она соединила в общее русло атавистические и духовные стремления людей. Сумела слить в сознании народа верховный идеал, «меру всех вещей», с мифологизированной фигурой Вождя и тем самым наделила его атрибутами божественности и безграничной власти¹. Совковая религиозность — это «рецидив языческого человекобожия», канализирование его в новые формы.

Это безусловно верно. Борьба с совком в себе как с ложным религиозным сознанием должна начинаться именно с этого уровня. Но такая религиозность еще не представляет собой чего-то нового: сам о. Александр Мень прослеживает ее на протяжении по крайней мере трех тысячелетий. Собственно, это господствующий тип религиозности со времен грехопадения: пожелание Адама с Евой («Будем как боги») и есть момент ее возникновения. Всякая гордыня человеческая есть именно извращение истинной религиозности в сторону такой, когда человеческая личность становится мерой всех вещей и объектом поклонения.

При всей банальности этот аспект совка крайне опасен. Подобная религиозность способна оставаться верна себе, не смущаясь сменой конкретного объекта поклоне-

¹ «На пути к свободе совести». М. «Прогресс». 1989, стр. 91.

ния. Сталин может быть заменен хоть бы и Христом, портреты основоположников опять сменены на иконы, «Капитал» — на Евангелие, «Советы постороннего» замещены «Откровенными рассказами странника». Но в типе религиозности не изменился ничего. Уста будут исповедовать веру в Богочеловека, а душа останется привержена религии человекобожия.

Но не приверженность человекобожию делает совка совком. Строго говоря, весь современный европейский мир потому не может быть назван христианским, что он, какие бы принципы ни декларировались политиками и какие бы девизы ни печатались на деньгах, привержен этой именно религии. Демократы как поборники идеалов индивидуализма и гуманизма были и остаются в большинстве своем носителями того же культа. Гитлер и Сталин, фашизм и коммунизм представляли угрозу цивилизации, религия которой может быть названа американизмом, но это была внутренняя, а не внешняя угроза. Речь шла не о борьбе двух совершенно разнородных начал, а о борьбе двух подвидов религиозности одного типа — человекобожнической. Боролись между собой гордыня личности и гордыня коллективистическая. Победила, к счастью, первая — если бы победил «коллектив», человек исчез бы с лица земли и разговаривать было бы вообще не о чем.

Другая составляющая современной религиозности, российским вариантом которой стал советский социализм, была определена еще в начале столетия. Это вера в прогресс, в возможность осуществления царства Божия в пределах мира сего, имеющая огромное количество оттенков — от жаркого хилиазма таборитов до холодной расчетливости просветителей. Эта вера двигала отцами-основателями Новой Англии и она же одушевляла последователей Маркса. В XIX веке дух прогресса считали явлением антирелигиозным. Между тем во всех своих разновидностях он родился из библейского эсхатологизма и сохранил чисто религиозные качества.

Вера в прогресс — мироощущение исключительно светозарное, иногда кажущееся прямо идиотическим в своем оптимизме. Хотя, логически говоря, прямолинейность не есть заведомое качество прогресса, верующий в прогресс верует именно в его прямолинейность, расценивая все завихрения и отступления как происки темных сил. На то она и вера. Сошли с исторической сцены те подвиды этой веры, которые не сумели соблюсти должного баланса между личностью и общностью, — фашизм и коммунизм. Но сама атмосфера бодрости, свежести, творческой уверенности и энергичности, пронизывающая советские фильмы 30-х годов, поразительно схожа не только с духом фашизма, но и с духом американизма, и многие американцы отмечали это сходство.

Однако вера в идола и надежда на прогресс не могут составить полноценного, живого религиозного явления. Должна быть третья составляющая: любовь. Советский Союз не был религиозным образованием, но религиозным типом был его житель. А живой, живущий человек ежеминутно и ежесекундно нуждается в тепле и доброте. Эти тепло и доброта, составляющие самое важное в религии, делающие всякую религию не идеологией, а действительно задушевным человеческим проявлением, были — подлинно были! — и в советских людях. Вот почему всевозможные антиутопии, от Замятина до Оруэлла, при всей точности разоблачений системы неубедительны, когда речь заходит о людях, живущих в этой системе. На самом деле эти люди не были измученными, опустошенными шизофрениками — они были полнокровны, они умели удовлетворять, не бунтуя против идеологии, оставаясь в ее пределах, те религиозные потребности, на которые идеология ответа не давала.

Советский человек нуждался в таком религиозном феномене, который бы не был известен историкам религий, а также компетентным органам, в таком обряде, который спокойно существовал бы в пределах официальной ледяной религиозности. Надо было встать в непосредственное отношение с высшим, воздать мистику не только идеологическую, но повседневную. Коммунизм как идеология потому и может считаться лишь пародией на религию, что был слишком холоден и уплощен, хорош для красных дней календаря, но не для будней, не давал религиозного осмысления быта, совершенно не решал проблему смерти или хотя бы старости.

Нет ничего не возможного человеку — и советские люди знали живую духовность, не создавшую, быть может, вечных культурных ценностей, но безусловно удовлетворявшую религиозный голод по крайней мере трех поколений. Описать объект этой религии невероятно трудно — если он ускользал от идеологического надзора большевиков, от контроля со стороны сознания самого советского человека, то, конечно, исследователь может его обнаружить только благодаря определенной дистанцированности.

Советский человек обожил очень неожиданный аспект тварного мира, ближайший аналог чего можно усмотреть в пантеизме. Религиозность, выдающая Бога в природе, существует издревле, но совковая религиозность увидела Бога не в природе, окружающей человека, а в природе самих межчеловеческих отношений. Общение из вторичного

по отношению к человеку и к природе феномена было превращено в первичный, было представлено как своеобразная природа и даже более, чем природа, — как Бог.

Это было грандиозное достижение, столь же религиозное, сколь философское и естествоведческое, подобное — и современное — открытию Вернадским ноосферы. На протяжении веков люди стремились к общению с Богом — и вот они устремились к общению как к Богу. Общение было усмотрено как бытие единственно сущее, единственно ценное, определяющее все прочие существование и смыслы. Пространство общения сделалось материальной любого физического пространства. Поэтому «сферу человеческих отношений» можно назвать элегантно: «пространство коммунитарности» или даже «коммунитарная природа», «коммунитарная натура» — для краткости просто «коммунатура».

Теоретически возможность такой религиозной структуры просматривалась и ранее — у Фейербаха. Его человекобожничество оперировало понятием общения как ключевой религиозной данности, нацеливалось на любовь к человечеству. Но, во-первых, Фейербах все-таки лишь сконструировал нечто, а воплотили утопию мы. Во-вторых — это существенное, — первичными для Фейербаха были классические объемы европейского философствования: человек, род, диалог, любовь. Совок же осуществил творческий акт в самом глубоком смысле слова, создал нечто новое: общение как самодовлеющую ценность. Человек же — и род человеческий — выступает тут чем-то, можно сказать, вторичным, служебным. Коммунатура оказалась поразительно антиперсоналистична, аннулируя человека, легко заменяя или перестраивая ту или иную личность. Онтологичность, первоосновность коммунатуры резко отличает ее от привычного для Европы понимания общения как некоего положительного действия, творимого личностями. В Совке общение творило людей: но ведь люди, производные от общения, — это, в сущности, антигуманно! К сожалению, такая антигуманность проявлялась параллельно антигуманности большевизма, что помогло палаческой идеологии внедриться в жизнь, но, с другой стороны, хотя отчасти смягчило удар ее.

Преданность общению была глубоко эмоциональна и в этом отношении заполняла пустующее в коммунистической квазирелигии место любви. Но именно невинное, казалось бы, поклонение коммунатуре выявляет, насколько поклонение чему угодно, кроме Творца, убийственно. Даже общение, любовь, в роли божества оказалось достаточно жестоким. Впрочем, прежде чем говорить об изъянах коммунатурной религиозности, надо внимательно оглядеть достоинства этого духовного уникама.

Религия коммунатуры была единственно возможной в советских условиях. Ей не требовалось даже того минимума обрядности, который существует при обожествлении природы или при поклонении духу предков. Исповедующих эту религию было невозможно застать с поличным, они не нуждались в жрецах и священных текстах, могли быть совершенно искренними коммунистами или диссидентами, пьяницами и трезвенниками, образованными и бескультурными. Не все верили в коммунизм, были и еретики; но не было еретиков, выступавших против общения. Коммунизм господствовал как религия, но религиозность удовлетворялась в поклонении не коммуне, а коммунатуре.

Это была очень личная, очень теплая и одухотворенная, очень трогательная и лиричная религиозность! В ней в отличие от коммунизма было то, что не дает умереть душе человеческой, — порыв к другому, выход за свои пределы. Не создав своего культа, встроившись в официальный коммунистический культ, совок — отвратительный как тип политический и экономический — в качестве религиозного типа создал свою, достаточно уютную и интимную, субкультуру². У нее сильный привкус романтизма — и действительно романтизм типологически очень близок к пантеизму, к обожествлению природы. Но вместо пейзажей романтиков в советской культуре излюбленным и самым полноценным жанром стал не производственный или социальный роман, как хотелось бы официальное коммунистическое исповедание, а лирические зарисовки межличностного мира. «Жди меня» Константина Симонова — это ведь не художественный шедевр, а шедевр религиозной поэзии, это гимн не любимой и не любви (там и слов таких нет), а ожиданию — эсхатологически напряженному ожиданию зона, когда станет полной реальностью общение двоих.

Религиозным по-советски подвигом был перевод шекспировских сонетов Маршакom. Не случайно в качестве питательной почвы были взяты эти сонеты, многие из которых вообще неизвестно кому адресованы — мужчине или женщине. Для коммунатуры любовь есть нечто чужеродное, даже еретическое (любовь — дар Бога или природы, но с общением как таковым она не тождественна, она, пожалуй, даже преодолевает общение, сливая любящих буквально воедино), с точки зрения тради-

² Эта субкультура была внутри официальной культуры Совка, но паразитом в данном случае выступала именно большая культура, черпавшая энергию из коммунатуры.

ционной религиозности или романтического культа любви, шекспировские сонеты Маршака поразительно теплохладны, очищены от главного в Шекспире (и в любви) — страстной энергии. Зато в них появилось главное для совковой религиозности — умильная грусть: умиление — от веры в общение как источник жизни и творчества, и грусть — от сознания пропасти между человеком и этим идеалом. И таких лирических шедевров много у тех третьеразрядных с традиционной точки зрения поэтов, которые на протяжении десятилетий были средоточием совковой духовности и которым позднее стали противопоставляться ортодоксальные (под углом мировой культурной традиции) Пастернак, Мандельштам, Ахматова.

Шедевром, выразившим религиозный идеал коммунатуры в прозе, можно назвать роман «Мастер и Маргарита». Роман написан был на заре совковой религиозности; цензура сделала роман мучеником, но символом политического противостояния он был лишь для меньшинства читателей — и правильно. Ибо в основе своей роман не противостоит коммунизму — он живет в параллельном мире. Можно быть его почитателем, ни на йоту не изменяя заветам Маркса—Ленина—Сталина. Главное в романе не обличение репрессий; да и апологии христианства там нет ни грама. И не о любви этот роман, во всяком случае отношения Мастера и Маргариты, выписанные в лучших романтических традициях, безжизненны, условны и нереальны. А реальны и надрывны муки Пилата, реальны и религиозно напряжены мечты о беседах с друзьями, реально и глубоко отвращение к миру революции за то именно (а не за его политические или социальные принципы), что он пытается уничтожить самое святое: общение между людьми, каждого посадив (необязательно буквально) в одиночку духа.

Кажется, что нечто уже достаточно «угадано», как выразился бы тот же Мастер, и не стану до бесконечности плодить примеры исповедания коммунатуры в искусстве советского периода — в произведениях разного качества, стиля, разных родов и жанров. Однако нельзя не упомянуть такое мощное явление, как Бахтин, который, как теперь говорится уже походя, не был литературоведом, но который, однако, не был и философом, — он был именно религиозным мыслителем наподобие Бердяева, только не свобода была для него высшей религиозной ценностью, отблески которой он видел повсюду, а общение.

Настоящий расцвет совка как религиозного типа пришелся, конечно, на после-сталинскую эпоху, когда официальная религия стала поистине королевой — правила, но не управляла. Главное содержание и итог оттепели были в духовном торжестве общения, в экстазе прорыва через возможно большее число барьеров. И именно с этим, а не с политической оппозицией стал бороться агонизирующий большевизм. Подозрительны были религиозные идеалы коммунатуры, а не демократии (вещи совершенно разные и не всегда совместимые, поскольку демократия может повлечь за собой социум, аннулирующий межчеловеческие связи почище большевизма). То, что с политической точки зрения представляется хаотичным и бессмысленным преследованием совершенно не повинных в политической оппозиции людей, искренних коммунистов или, по крайней мере, совершенно не политизированных писателей, кинорежиссеров, верующих, было преследованием совка как религиозного типа. Преследования эти нельзя рассматривать как простое проявление тоталитаризма, ибо очень много — и вполне откровенно вольнодумное — не преследовалось. (Так, Церковь была терпима, поскольку соглашалась ограничиться поклонением Богу без установления межчеловеческих связей.) Религиозным диссидентом был всякий, кто собирал кружок хотя бы просто для молитвы и чтения Писания. В искусстве диссидентом был Тарковский, но все, что есть в его фильмах крамольного, вообще главное и единственное содержание его фильмов, это чисто религиозное воспевание не человека, не родины, не духовных ценностей, а — общения, дара и традиции общения: тоска по нему и молитва общению.

Конечно, Тарковский, Булгаков, да даже и Симонов — все это интеллектуалы Совка, о которых большинство жителей Страны Советов даже не слышали. В быту религия коммунатуры воплотилась в многочисленные застолья, посиделки, трепы, выпивоны (о, Веничка — пророк коммунатуры!), всевозможные праздники и дни рождения, отмечаемые на работе и дома. Для рядового совка — впрочем, и для интеллектуала — одним из высших отправлений культа общения стал «Голубой огонек» (отчасти и КВН и «Кабачок „13 стульев“»). На заре нашего телевидения официальная идеология это не раскусила, зато потом усердно истребляла всякие попытки общения в эфире, так что и «Голубой огонек» превратился в концертную программу. А был — «пир духа», в своем роде аналогичный «трапезам любви» первых христиан.

Чтобы понять всю оригинальность совка как религиозного явления, надо осознать его качественную несводимость ни к общинному началу в русской исторической традиции, ни к началу соборному, ни к марксистскому социоцентризму, хотя совок использовал все это как материал для строительства своей религиозности. Совок как личность не был ориентирован ни на общину, ни на приход, ни на тем

более общество. Не был он ориентирован и на отдельного соседа — ближнего или дальнего, друга или врага. Высшей ценностью и ядром реальности были для него именно отношения. Они были источником всего, мерилом всего, хорошие отношения оживотворяли жизнь, плохие омертвляли ее.

Разумеется, как и всякое живое явление, совковая религиозность была неоднозначна. Она была живой, и это, может быть, ее единственное достоинство. Пороков у нее было хоть отбавляй, причем таких, которые и сделали термин «совок» ругательным. Вот несколько примеров.

Пантеист не может судить природу с точки зрения нравственности; не может судить Бога с этой точки зрения Иов. Так и для совка неподсудна сфера межчеловеческих отношений, которая представляется ему самоценной и обожженной природой. Для пантеиста нет добра и зла в природе, они появляются с отходом человека от «естественного», «природного» состояния. Для верующего в Бога нет добра и зла в Боге, они появляются во внебожественной жизни, после изгнания из рая. Но если Бог — это общение, то добро и зло начинаются там, где обрываются отношения между людьми. Однако практически это ведь нелегко: человек всегда встроен в структуру общения, он как бы постоянно находится внутри собственного божества — то, что для христианина только предел стремлений. В итоге совок неморален, убежден, что «никому никогда не делал зла». Понятие греха ему неведомо. Поэтому, а вовсе не от культурной незрелости хамство стало неотъемлемой чертой именно совкового общения. Так, верующий в секс позволяет себе куда больше, чем те, кто верует в Творца, сотворившего в том числе и секс. Совок хамит не по злему умыслу, а от чистого сердца, демонстрируя духовное единение с тем, кому он хамит. Если нахамил совку, он изредка и не очень искренне возмущается, но не бойкотирует хама — это было бы уже не ответным хамством, а святотатством.

Грех для совка один — очутиться вне сферы межчеловеческих отношений. Настоящее грехопадение — это отверженность. Здесь-то и выявляется, насколько коммуналтура не похожа на «общество». Как раз общество в отличие от общения в пространстве Совка фактически разрушилось, стало аморфным, утратило стратификацию. Интеллектуал, чиновник, крестьянин с равной охотой пользовались блатным жаргоном, а эски слишком часто оказывались не преступниками, а ни в чем не повинными интеллектуалами, чиновниками, крестьянами, сохранявшими все свои социальные замашки. Сливки общества становились его изгоями, а последние — первыми (и генеральными). Правительство не только с точки зрения закона, но и с точки зрения психологии было преступной бандой. Академики — как единая среда — своими манерами и мировоззрением немногим отличались от сборища пьяниц у пивного ларька. Так было в обществе. Но в сфере общения царил своя иерархия. Того, кто готов был поболтать, раздавить бутылочку, не могли считать преступным и злым, как бы его ни расценивало общество. Подозрительным, злобным, чуть ли не иудой выглядел всякий — правый или левый, диссидент или гебист, — кто был чересчур замкнут, «слишком много понимал о себе», кто уклонялся от общения. Сколько абсолютно аморальных, с христианской точки зрения, поступков было совершено за годы советской власти из боязни оказаться отверженными, и необязательно от общества, именно от общения — все равно, в семье ли, в бригаде, в лагерном бараке. Но одновременно скольким культ общения помог остаться людьми в совершенно античеловеческих ситуациях!

Конечно, в любом обществе не жалуют слишком скрытных людей, подозревая, что замкнутый образ жизни они ведут, чтобы утаить безнравственные поступки. Но здесь скрытность — вольная или невольная, действительная или кажущаяся — сама по себе и была безнравственностью. Обожествленная коммуналтура знала один грех — отпадение.

Конечно, советский человек все-таки создал своеобразный тип положительного религиозного поведения, пригодный на каждый день, способный переварить все, что только может случиться на человеческом веку. В то время как официальная идеология постоянно звала вперед, к созиданию, к активности, совок утвердил как высший тип поведения не деловитость и не творчество, а поддержание межчеловеческого пространства, приверженность доброте и открытости. (Это поразительным образом, заметим еще раз, уживается с практической невоспитанностью, злобой, хамством у самых рафинированных, благонравных и интеллектуальных представителей данной породы.) Традиции задушевного гостеприимства получили здесь качественно новое развитие, место, какого они ни в каком патриархальном обществе не имеют.

Культ общения в качестве религии мотивировал недостижимость и неосуществимость некоего абсолютного идеала общительности. Это приводило к оригинальному последствию — ностальгизации жизни. Официальная религия коммунизма требовала жить будущим — но совок жил прошлым. Совок не ждал от будущего ничего хорошего, зато обладал всеми мыслимыми святынями в прошлом. В этом отношении и самый юный совок был наделен, на взгляд «нормального» европейца, глубоко старческой душой. Совок был паразитически неспособен к общению как

открытому в будущее процессу, поскольку общение было высшей святыней, трансцендентной этому миру. Только вместо неба пространство идеального, совершенного общения размещалось в прошлом. Самое лучшее, драгоценное и святое было в воспоминаниях, там свершения, достигнутые на пути к общению, очищались от побочных обстоятельств и грехов, и прошлое вспоминалось как идеальное общение. «Хорошо посидели» — вот религиозный максимум совка. Он был способен целый вечер общаться, имея единственной темой общения сегодняшнего общения вчерашнее, предаваясь совместному ностальгическому воспоминанию о том, как хорошо пообщались раньше. А через неделю уже и этот вечер вновь собравшимися совками вспоминался как пир духа и религиозное свершение. Религиозный идеал оказывается осуществим лишь в прошлом — и религиозное усилие совка есть усилие по максимальному сокращению зазора между прошлым и настоящим.

Исследователи совка, не жившие в Совке, должны будут учитывать, что совок как достигшая своего максимума реальность весьма отличалась от совка как реальности вырождающейся и тем более как реальности фельетонной. Совок, которого так презирает современная Россия, — не подлинный совок, а промежуточное звено, переходный тип от совка к люмпену. Совок, конечно, никогда не был так бездарно оптимистичен, как герои сталинских фильмов, но и человек, зло и безнадежно смотрящий в будущее, тоже уже не совок. Совка можно было морить голодом, пытаться, лишать всего — он никогда бы не ругался и не хныкал так, как хнычут и ругаются нынешние жители России.

Совок все воспринимал спокойно. Спокойствие это объяснялось не марксистской философией и не верой в светлые идеалы, а религиозностью, которая имела свою аскезу и предпочитала переносить какие угодно лишения, чем брызжанием и бурчанием отсечь себя от своей святыни — общения. Совок, когда позволяли ресурсы, строил такую систему распределения, при которой все доставалось не покупателю, а тому, кто умел общаться по-совковому: искренне, щедро, без задних мыслей. Бескорыстие это и вознаграждалось включением в систему распределения. Корысть несовместима с совковой религиозностью, подрывает ее, открывая дорогу хорошо знакомой и многократно описанной буржуазности духа.

Совок способен привести в отчаяние христианина-миссионера. Этот религиозный тип не испытывает того беспокойства, не задается теми вопросами, которые на протяжении тысячелетий считались определяющими для религиозной жизни человека. Как бороться с грехом? Как противостоять смерти? Как обрести себя? Как спастись? Как возник мир? Все это не волнует совка — для него это ложные вопросы, в его горизонте они не встают. Тут совок как раз не очень оригинален: обожествление коммуны приносит такие же плоды, как и обожествление просто природы. Для пантеиста нет проблемы спасения, греха, свободы; на все он отвечает словами «такова жизнь», а на вопрос о смерти — «жизнь продолжается». Точно так же совок на вопрос о смерти отвечает: «Общение продолжается». Память о мертвых (не культ предков, не почитание предков, а просто воспоминание об умерших) — важнейшая часть совковой религиозности; это распространение сферы общения вширь без всякого помышления о таинственной и непостижимой глубине того, с кем общаешься.

Нечего и говорить, что это ложная религия. Общение действительно есть вторая природа, но вторая природа, как и первая, не Бог, а тварь. И все же совок вполне доступен проповеди Евангелия. Поклоняющийся натуре поклонится Богу, если разглядит, что натура лишь Духом Божиим обретает полную свою цену. Поклоняющийся коммунатуре, общению, поклонится Богу, если разглядит, что лишь перед лицом Божиим общение из идола превращается в живую духовную ценность, что заповедь «возлюби ближнего» означает и «общайся с ближним». Как и всякий религиозный тип, совок имеет свое место в божественном замысле о мире, имеет свое место в Церкви и свое служение. И в тех приходах и общинах, которым суждено принять в себя «советских жителей», народ церковный, может быть, не станет любвеобильней, но, несомненно, станет открытой и общительней.

Яков КРОТОВ.

Читайте в 1992 году:

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

О католицизме

Перевел с польского Вл. Британишский

КОРОТКО О КНИГАХ



1. СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. Стихи. В сборнике стихов «Понедельник. Семь поэтов самиздата». Составитель Д. А. Пригов. М. «Прометей». 1990.

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. Стихи. В литературно-художественном альманахе «Личное дело №». Составитель Л. Рубинштейн. М. В/О «Союзтеатр». 1991.

Странно выглядит, когда Сергея Гандлевского объединяют (в сборниках ли, в обзорах) с поэтами авангарда. Это самый настоящий арьергард в чистом смысле слова. Он весь там, в 70-х годах с их атрибутикой, языком, гудящим напевом строки, паролем и отзывом. И его лирический герой — добровольный аутсайдер, меланхолик, неприкаянный умник, понимающий все на свете, — оттуда. Это общий герой для целой плеяды поэтов, которую условно назову поэтами «Юности» — не потому, что в этом журнале их много печатали, а потому, что там их хотели бы печатать, да не смели. А в основном печатали «что-то в этом духе» — рыхлую, налдонную часть айсберга, то, что послабее, повневнятнее.

С точки зрения социального статуса, я бы всех не печатавшихся поэтов миновавшей подцензурной эпохи разделил на два типа — «кроликов домашних» и «кроликов диких». Первые находили себе норку внутри истэблишмента, даже как бы внутри литературы, ближе к ее периферии, занимая позицию литературоведа, переводчика зарубежной поэзии, рецензента или литконсультанта. Вторые шли в дворники, в истопники, в калымычки или в безработные дервиши. Их стихи отличаются на слух: если это верлибр, то он позакovyристей, если рифмованный стих, то он поразгyльней и больше в нем внутреннего рыдания. С. Гандлевский из этих, из «диких кроликов».

Пишу об этом без малейшей иронии (да и как может «домашний кролик» иронизировать над «диким»?), а просто чтобы определить с координатами, зафиксировать время и место. И о плеяде моя речь не в укор; нет ничего плохого в том, что, скажем, поэты пушкинской поры влияли друг на друга, и стилистическое родство их очевидно — не будучи знатоком, можно и не угадать, кому принадлежит стихотворение.

В стихах С. Гандлевского чувствуется влияние разных поэтов, вплоть до прямых отзвуков, как в стихах, посвященных А. Магарике: «Расстояния свищут в кулак» («Одиночество свищет в кулак» у О. Чухонцева). Однако дело не в этом. Дело в гармонизи-

рующей, певческой силе. Из каких элементов составляется эта поэзия, известно — из клочка неба и взгляда несчастной старухи, помоечного пейзажа и прогромыхавшего поезда; но как сделать из этого стихи, пробирающие до озноба? — вот в чем штука. И кто бы еще мог поставить рядом в одном стихотворении, почти подряд, все три «высочайше одобряемых» слова — «отчизна», «родина» и «отечество», — не сорвавшись вместе с ними в тартарары лакейства и безвкусицы? —

Выйди осенью в чистое поле,
Ветром родины лоб остуди.
Жаркой розой глоток алкоголя
Разворачивается в груди.
Кружит ночь из семейства вороньих,
Расстояния свищут в кулак.
Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут — и дышится так,

Будто пасмурным утром проснулся —
Загremели, баланду внесли, —
От дурацких надежд отмахнуясь,
И в исподнем ведут, а вали —
Пруд, покрытый гусиною кожей,
Семафор через силу горит,
Сеет дождь, и небритый прохожий
Сам с собой на ходу говорит.

Эта «гусяная кожа» и «небритый прохожий» вдруг напомнили мне то потрясающее место у Платона, где говорится, как окрыляется, одевается перьями влюбленная душа — и как она потом сохнет в тоске и в разлуке: «...отверстия проходов, по которым пробиваются перья, ссыхаются, закрываются, и ростки перьев оказываются заперты. Они, ища себе выхода, бьются напоподобие пульса, трут и колотут, так как каждый росток стремится наружу, — и от этого вся душа, исколотая изнутри, раздражается и мучится, но все же, храня память о прекрасном, радуется».

Есть поэты, которые от строки к строке разгоняются, как самолет, и громко гудят, но взлететь никак не могут. Стихи С. Гандлевского, наоборот, уже со второй строфы дают ощущение полета. Они вырастили себе крылья.

Локтевым электричеством мебель ужалит
— и вновь
Говори, как под пыткой, вне школы и
без манифеста,
Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь
Это гиблое время и Богом забытое место.

II. НАТАЛЬЯ ВАНХАНЕН. Дневной месяц. Стихотворения. М. «Художественная литература». 1991. 208 стр.

Почти неожиданно — без предварительных журнальных публикаций, без обычного в наше время «пролета» по альманахам и сборникам — вышли в свет стихи Нат. Ванханен. Лишь та часть публики, что читает оглавления сборников зарубежной поэзии (немногочисленный, но едва ли не самый квалифицированный слой читателей), знает это имя по переводам с испанского.

Сказать о стихах Ванханен «это поэзия» легко, доказать — невозможно. Мы читаем их — и соглашаемся; но по неискоренимой человеческой привычке все-таки ищем еще доводы и резоны. Куда верней простодушие Чарльза Лэма, выписывающего в коротком эссе — подряд! — 12 сонетов Филипа Сидни, чтобы они сказали сами за себя. В глубине души каждый из нас понимает, что это и есть настоящий метод. Тогда я смог бы выписать хотя бы часть своих любимых стихов, например вот эти, исполненные горестной простоты и счастливой безнадёжности:

И я разумною была,
и наши жизни берегла,
и в зеркало смотрела:
а вдруг я постарела?

Но час настал, и в тишине,
как в царскосельской стороне,
ко мне явилась муза.
Она спросила, вся в слезах:
«Скажи за совесть, не за страх —
ведь я тебе обуза?»

И с плачем я шагнула к ней,
и не было ее родней
среди всего, что было.
И я разбила жизнь свою,
и я разбила жизнь твою
и зеркало разбила.

Сколько в этой простоте смешано и уравновешено: самоотстраненности («как души смотрят с высоты...») и нестерпимого ожога; смелости и скрытности; и того, «что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания», — как еще можно было сказать в девятнадцатом веке. «Сконфузимся», — говорит Ванханен, что и значит «стыдливость» на прежнем языке стыдливости.

В Германии — замок на горке,
в Британии — город и сад,
в России прекрасны задворки
и вечно неблажен фасад.

И краска с него облетает,
чуть зной или дождик полил:
то сурику в ней не хватает,
а то не хватает белил.

Зато за уборной и грядкой,
пролитый с небес невзначай,
настой до забвения сладкий —
ромашка, лопух, иван-чай.

Лишь этот любовный напиток
нас накрепко держит всерьез,
как держит сияющий слиток
реликтовых странных стрекоз.

Сияющий слиток янтара, думаю, не случайно появляется у Ванханен. Это дань ее финским предкам — сдержанный колорит, спокойный тон. Нет, не излишек благодарности — ибо пронзительная, бессмысленная жалость живет в этом голосе, — но врожденное неприятие крикливых интонаций.

В этих стихах много утешения сердцу. В мутном снеге за окнами, в папоротниках и пальмах заросшего стекла, в февральских «человечках на крыше», сбивающих лед, в серебристо-сером куполе дождя, в листьях прекрасного клена, в безотказности примет, что кот намывает гостей, в дремучем, как имя Дебора, сумраке, спускающемся на лес... В редкостном благозвучии языка, его чистоте и свежести.

Это стихи классической традиции, но не засушенной, а живущей здесь и сейчас — на этом одном из последних в мире, по нашей отсталости, островке гармонии, где сумасшедшие Архимеды, не поднимая головы, еще самозабвенно чертят на песке свои поэтические круги и стрелы.

III. АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ. К верховьям. Публикация В. Перельмутера. В сборнике «Возвращение». М. «Советский писатель». 1991.

Вот нам и вернули еще одну украденную у читателя вещь — поэму А. Штейнберга, написанную в 60-х годах, которую «Советский писатель» упорно не желал печатать вплоть до смерти поэта в 1984 году, а он не соглашался выпускать свой сборник без этой центральной для себя вещи — пусть уж лучше ничего не будет.

А до того была лишь большая подборка в знаменитом альманахе «Тарусские страницы» да, если отступить еще дальше назад, через долгие годы сталинских лагерей, несколько отличных стихотворений, опубликованных в молодости, в конце 20-х годов. Вот фактически и вся прижизненная библиография стихов (кроме переводов).

«К верховьям» — поэма бессюжетная, в ней почти ничего не происходит. Катер тащит баржу вверх по течению ночной реки, моторист смолит папиросу за папиросой, спят случайные пассажиры на палубе, да матрос на барже вглядывается в темноту. Я бы сказал, что это поэма аллегорическая (жизнь — плавание), когда бы не рассудочный оттенок этого слова. А здесь все идет не от логики, от какого-то мощного поэтического озарения. Мир предстает окутанным покровом тайны, на фоне которой и трагическое и будничное обретает смысл. Принятие жизни совершается на иррациональном уровне, до всякого знания — вернее, оно побеждает любое скорбное знание.

Обычная метафора времени — река, впадающая в океан смерти. У Штейнберга

наоборот — это движение к верховьям, к чистым и вечным началам бытия. Море превращается в реку, несущую свои воды к истокам; об этом он уже писал в одном из прежних стихотворений:

Я видел море Черное во сне,
Как сирота под старость видит маму.
Оно большой рекой приснилось мне,
Похожей на Печору или Каму.

Бывает музыка эпохи — та самая, в которую вслушивался А. Блок. Но здесь уловлена другая, вневременная музыка. Она заключена не только в вечных стихиях, но и в грешных людских душах. И в их несовершенных телах. Среди инструментов оркестра — 1-я девушка, 2-я девушка, заря (струнные); моторист, матрос, сорокалетний «дядька», старик (низкие деревянные)... Поэма построена как fuga, заключающая в себе разные голоса. Есть и лейтмотивы — реки, буксира, махорочных искр. Они возвращаются вновь и вновь, создавая особую музыкальную волну, несущую поэму вперед. (Вот почему цитировать что-либо в данном случае трудно: длина волны значительно превосходит длину строфы.)

Впрочем, поэма не столько движется вперед, сколько кружится на месте и пульсирует, как Гераклитова галактика, — странно и зыбко. Ощущение ирреальности усиливается присутствием таежного путника, движущегося во тьме параллельным курсом, рассказ о котором начинается с гадательных слов: «Как знать, авось...» Есть он или нет, этот призрачный странник, который сползает впотьмах с обрыва, чтобы хлебнуть воды из реки, вслушивается и вглядывается, а потом сворачивает сигарку, пуская в расход клочки завалывшегося письма:

Берег его, таскал в кармане,
И наконец пора пришла,
Здесь, над водой, средь глухомани,
Избавиться от барахла.

Мы никогда не узнаем, отрывок какого эпоса сторел с этим письмом. Как не узнаем ничего и о тех еще более смутных силуэтах, которые откликаются из темноты на четырехпалый разбойничий свист своего собрата, «заправив призрачные пальцы в несуществующие рты».

А между тем на плывущей барже дремлют и маются подспудной памятью души, «раскрепощенные сном». Среди них — укрывшийся от ветра за рядом селедочных бочек «дядька», похожий на молдаванина, прошедший войну и лагерь, все потерявший в прежней жизни и все обретший заново, как Иов.

Завел семью, ничуть не хуже,
Чем в Измаиле, до войны:

Жена души не чаёт в муже,
И девочки с отцом нежны.

Но снятся, снятся прежние дочь и жена — и каждый день продолжается ветхозаветный спор. (Вообще библейские отзвуки заметны в этой вещи при всей простоте и реалистичности ее фактуры. Образы девушек, едущих на чужую сторону, обрисованы с проникновенностью, приводящей на память «Книгу Руфь».)

Есть среди попутчиков деревенский старик, «дедуган», который, как наперед известно автору, не проживет и дня — «сойдет на пристани к обеду и разочтется за проезд». С детства хромой заморыш, увильнувший от фронта и от колхоза, знахарь и мажак себе на уме, к тому же бездетный, холостой и одинокий, он оправдан автором, как оправдана и мнимая несправедливость судьбы.

Но эта жизнь была не хуже
Любой другой; она была
Мелькнувшей в темноте и стуже
Частицей света и тепла.
Чего же требовать иного
В последний из прощальных дней?
Какая, в сущности, основа
Упреков, обращенных к ней?

Это оправдание не логикой — и не верой; оно более сокровенное и интуитивное. К сожалению, последняя часть поэмы (приблизно четверть из тысячи строк) слабее начала. Тема поэта — Вечного Жиды — не «мантировалась с суровой нитью предыдущего рассказа, оказалась лишней. Какая-то неуверенность исподволь вкрадывается в текст. Не вполне ясно, в чем причина изгойства Ивана Гуревича — в голосе крови или в поэтическом призвании. Еще более расплывчата фигура другого Ивана — «ретивого передовика» и «факультетского воротилы», неожиданно ломающего карьеру то ли ради романтики, то ли из-за несчастной любви. Незаметно меняется стиль, плотность стиха. Необъяснимая мистика жизни и уступает место почти публицистике. Еще один пример того, как поэт зависит от своей эпохи, от ее литературных вкусов. Говорить обо всем этом не совсем ловко, потому что именно «интернациональная» тема «двух Иванов» и стала причиной «непроходимости» поэмы; но не сказать нельзя.

При всем при том вещь действительно выдающаяся — одна из лучших поэм, написанных в 60-е годы. Будем ждать и отдельного сборника Аркадия Штейнберга, глубокого и сильного поэта, переводчика мильтоновского «Потерянного рая».

Григорий Кружков.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



Г. ВИНС. Тропюю верности. Изд. автора. Elkhart. 1990. 155 стр.

Г. ВИНС. Евангелие в узах. Изд. автора. Elkhart. 1991. 253 стр.

Мемуарная диалогия Г. Винса посвящена трагедии русских баптистов, подвергавшихся преследованиям за веру и до и после октябрьского переворота. В центре первой книги — необыкновенная судьба отца автора, П. Я. Винса, приехавшего в 1925 г. из Америки в Россию «проповедовать Евангелие и нести свет Христовой любви погибающим во тьме греха и неверия». В 1929 г. под угрозой высылки из СССР П. Я. Винс, повинаясь высокому долгу, принял советское гражданство. Через два года он был арестован и отправлен в лагерь, где и скончался в декабре 1943 г. «Евангелие в узах» описывает тюремную эпопею самого автора, активного деятеля Совета Церквей евангельских христиан-баптистов. Взамен темы противостояния власти и инакомыслия, неизменно доминирующей в воспоминаниях диссидентов, на первый план у Г. Винса выходит идея духовного возрождения заблудших — в числе тех, кому Евангелие помогает переоценить свою жизнь, оказываются и жертвы и палачи.

ЗАУМНЫЙ ФУТУРИЗМ И ДАДАИЗМ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ. Под ред. Л. Маргаротто, М. Марцадури, Д. Рицци. Bern—Berlin—Frankfurt a. M.—New-York—Paris—Wien. «Lang». 1991. 448 стр.

Итальянская школа изучения русского футуризма пользуется всемирной известностью. Главным вдохновителем этих исследований был выдающийся итальянский славист М. Марцадури (1930—1990). Одним из последних начинаний Марцадури явилась конференция, состоявшаяся в Италии в ноябре 1990 г., труды которой составили содержание книги. «Итак, когда его не стало, мы можем сказать, что этот симпозиум прежде всего явился идеальным заключением и увенчанием его многолетней и плодотворной деятельности в области изучения русского авангарда, признанием его творческого вклада и научных заслуг», — пишет Л. Маргаротто в предисловии к книге.

Первый раздел сборника целиком посвящен творчеству В. В. Хлебникова. Общие характеристики хлебниковской заумы, неожиданно выводящие к современности, рассматриваются в сообщениях В. П. Григорьева. Остальные материалы данной руб-

рики обращены либо к анализу отдельных текстов (Г. Баран, Г. Импости, И. Верч), либо, напротив, к общим закономерностям поэтики Хлебникова (Ж.-К. Ланн, Д. О. Толлич, Н. О. Нильсон, К. Соливетти). Затем следуют материалы, посвященные жизни и творчеству И. М. Зданевича (М. Марцадури, М. Иванович, С. Сигов, Р. Гейро, Е. Зданевич). Третий и четвертый разделы книги (статьи Б. Янгфельдта, Дж. Боулга, Л. Силард, Т. Терентьевой, М. Мейлаха, Ю. Молока, Т. Никольской и других) посвящены творчеству других известных фигур, практиковавших заумь, — Р. О. Якобсона, Б. Энгера, К. Малевича, И. Терентьева. Завершается сборник стихотворными миниатюрами Г. Айги, посвященными М. Марцадури.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ. Кн. 182. Гл. ред. Ю. Кашкаров. Нью-Йорк. 1991. 400 стр.

В нынешнем году журнал, основанный М. Алдановым и М. Цеглиным, отмечает свое пятидесятилетие. Более половины этого срока его бессменным редактором был Р. Гуль, сформировавший облик журнала. Несмотря на то, что журнальную площадь подчас занимают преимущественно исторические и философские публикации, «Новый журнал» весьма далек от педантичного академизма. Нестрогая мозаичность, однако, не беспорядок, а прихотливая композиция, накрепко связывающая многообразие тем и мнений.

Первый раздел книжки, отданный изящной словесности, разнообразен и по содержанию, и по статусу публикуемых произведений. В поток современной русской литературы (стихи В. Урина, В. Лазарева, С. Божкова, В. Толмачева, Э. Пустынина, А. Апуша, проза С. Каледина) неожиданно вкраплена хрестоматийно известная «Моя маленькая Лениниана» Вен. Ерофеева. Кроме того, раздел содержит воспоминания об А. С. Грине (Ю. С. Первова) и литературоведческую статью, посвященную религиозным исканиям А. С. Пушкина (В. Лепахин).

Центральным материалом рубрики «Воспоминания и документы» являются письма А. А. Кондратьева А. В. и И. В. Амфитеатровым, подготовленные к печати В. Крейдом. Письма отчетливо передают трагически тщетные попытки преодолеть разреженность русской эмигрантской культуры 30-х годов. Кроме того, в разделе печатаются отрывки из «Воспоминаний» кн. П. В. Пол-

горукова в переводе Д. Скалона; им же публикуются мемуары княжны Е. Багратион, соединяющие летопись событий гражданской войны с генеалогическими изысканиями. «Воспоминания и документы» завершаются дневниковыми свидетельствами В. Чеботаревой о первой мировой войне.

Рубрика «Философия и культура» не менее разнообразна и пестра, нежели предыдущие. Наряду с продолжением публикации «Диалектики мифа» А. Ф. Лосева в нее включены историко-социологический очерк М. Шатца «Ян Вацлав Махайский и русская интеллигенция» и искусствоведческий этюд Р. Б. Климова «Не только о натюрморте». Завершает номер раздел «Библиография».

ЖИТИЕ ЕПИСКОПА СЕРАФИМА (ЗВЕЗДИНСКОГО). Письма и проповеди. Paris. YMCA-PRESS. 1991. 201 стр.

«Епископ Дмитровский Серафим Звездинский (1883—1937) разделил участь боль-

шинства русских иерархов — исповедников веры и мучеников. Все пришлось испытать архиерею на его апостольском пути: неоднократные аресты, ссылки, гонения, бессмысленные «перебрасывания» из одного края необъятной страны в другой: из Москвы на Север, в Визингу, затем в Казахстан, сначала в Алма-Ату, потом в Гурьев, из Гурьева в Уральск, в Омск и, наконец, к месту последнего пристанища — в Ишим. А здесь, в далеком сибирском городе, заодно со всем духовенством его арестовывают в последний раз и выносят приговор: «10 лет без права переписки». Это, как мы знаем теперь, означало — расстрел...» — сообщается в предисловии к книге. «Житие епископа Серафима», составленное по многочисленным (в том числе устным) воспоминаниям его паствы, включает в себя письма Серафима Звездинского из заточения, полные веры и бодрости. В книгу также вошли избранные проповеди епископа.

Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.

Читайте в следующем номере:

«Диктатура партии погубит дело»

Из писем В. И. Ленину

1918—1921 гг.

Публикация И. БРАЙНИНА.

29 мая 1921 г.

Владимиру Ильичу Ленину-Ульянову.

По подписи Ты увидишь, что я имею некоторое право Тебя утрудить. 5 минут чтения заставят Тебя убедиться, что я не зря тревожу Тебя.

События, ареной которых с 1917 года стала наша Родина, разрывают мое сердце; я бы отдал всю жизнь, чтобы помочь ей, но не могу вступить в правительственную партию и не могу притворяться и изнываю в бессильной муке...

Вся эта холощенная печать — это типичные болтуны за деньги; она больше пропагандирует против, чем за. Единственный критерий — мой разум, и он мне ясно говорит: небывалое расстройство промышленности, транспорта и товарообмена; истощение движущих сил и плачевное состояние народа; упадок нравственности ввиду повального хищничества («Надо же как-нибудь жить!»). И, вероятно, скоро скажется деморализация всей молодой части государства, привыкшей за годы событий легко добывать себе необходимое. К греху именно большевиков нужно отнести из всего этого: 1) изгнание умных людей и 2) неумелое бесконтрольно-безответственное пользование сокровищами государства (тягчайшее — вывоз золота).

Все Твои реформы свелись, в сущности, к следующему: 1) Всеобщие каторжные работы с типичными признаками такого режима; уничтожение права свободного переезда, система пропусков... 2) Усовершенствование до возможных границ Охранного отделения (ЧК) и его распространение на всех граждан, система повальных обысков и отсутствие суда. Ты знаешь, как упала Твоя популярность среди питерского населения...

Я наговорил Тебе много и лишнего и горькой истины, но я хочу наконец отыскать истину, которая мне все-таки не очевидна, и я протягиваю Тебе руку и не боюсь Тебя; моя фамилия и адрес в конце — из этого Ты можешь понять мое душевное состояние...

Николай Воронов,
инженер-технолог срочного выпуска 1921 года.

Петроград, Коломенская ул., 1, кв. 96.

(РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 960, лл. 30—33)

SUMMARY

The main publication of this issue is «Our Garden Is Deserted», a novella by Ivan Oganov, a writer not previously well-known to a wide readership. Though written in Russian, the novella describes in a colourful, somewhat exotic manner, the life of Georgians in post-War Tbilisi, and their inexhaustible love for life.

Three stories by Bella Ulanovskaya and a story by Valery Zalotukha titled «In the Evening After Work (Masculine Happiness)», explore the characters and mores of urban and rural contemporary Russia.

The poetry section presents poems by the poets Viacheslav Bashirov and Mikhail Probatov, whose work has not been widely published. «New Translations» offers Mikhail Sinelnikov's translations of a selection of poems by Georgian symbolist poets from the «Blue Drinking Horns» group.

«Publications and Communications» contains a series of rural notes by the classic 19th-century poet Afanasy Fet, who described the life of Russian peasants and the problems of agriculture from the point of view of a gentleman farmer. Though at one time these essays provoked the indignation of the entire «liberal» camp, which condemned them for being «conservative» and «reactionary», they are almost unknown to the contemporary reader. The essays are introduced by Sergei Zalygin; the text was edited and annotated by G. Aslanova, who has written an afterward.

This issue concludes publication (the first installment was in No. 4) of a work by the internationally known sociologist Pitirim Sorokin, titled «The Contemporary State of Russia» (1922), in which the author examines the terrible damage done to Russia and the Russian people by the First World War, the October coup, the Civil War and Communist eco-

nom experiments. The text was edited by V. Sapov, who has written an afterward.

In the «Literary Criticism» section, we are publishing an article by Dmitry Galkovsky entitled «Soviet Poetry». This is an excerpt from the as yet unpublished «Vysotsky Encyclopaedia», compiled and written largely by Galkovsky himself. (Vladimir Vysotsky (1938—1980), was an actor, poet and song-writer, whose renditions of his own songs made him a virtual cult figure of oppositional Soviet culture in the 1960s—1980s.) The article, like the entire «Encyclopaedia», is written in a harsh, satirical, deliberately provocative manner. The author believes the «the binge of poetry in Soviet Russia» can be explained only by the destruction of the nation's intellectual and spiritual center. It is not the most talented, but the most mediocre poets, he claims, who best illustrate the phenomenon of «Soviet poetry».

This section also contains Alexandra Spal's «Geniuses and Gullivers», an essay on the nature of humor in the context of Soviet reality.

In the section «Editorial Mail», the poet Naum Korzhavin, who lives in the United States, responds emotionally to B. Nosik's recently published book on the Paris trial of Kravchenko. In his comments on this book, Korzhavin has much to say on totalitarianism, democracy and the contemporary world.

In the same section we publish a letter from Professor Yury Shreider titled «The Duplicity of the Sixties», which is an answer to Dmitry Galkovsky's harsh invectives (published in «Nezavisimaya Gazeta») against the generation of the 1960s.

In the regular column «Russian Books Abroad», K. U. Postoutenko offers short notes on new publications of overseas Russian literature.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер. д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Сдано в набор 29.01.92 г. Подписано к печати 06.03.92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир» Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 800 экз. Зак. 1522. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
БУКЕРА В РОССИИ

ПРЕМИЯ БУКЕРА ЗА ЛУЧШИЙ РОМАН ГОДА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Популярная в Великобритании литературная премия Букера в 1992 году впервые будет присуждена автору романа на русском языке.

Премии будет удостоен роман, написанный по-русски гражданином любой страны и опубликованный в период с 1 января 1991 по 31 марта 1992 года или существующий в рукописи.

40 представителей русского литературного мира выдвигают по 3 романа на рассмотрение международного жюри в составе — Андрей Битов, Джон Бейли, Алла Латынина (председатель), Эллендеа Проффер, Андрей Синявский. Результаты конкурса будут объявлены на презентации в Москве в конце 1992 года.

Размер премии — 10 000 фунтов стерлингов.



Спонсоры премии — компании «Букер», «Тетра Пак Интернэйшнл СА» и Британский Совет; администраторы — компания «Букер» и Британский Совет в Москве.



«Премия Букера за лучший роман года на русском языке учреждена с целью поощрить современных авторов, пишущих по-русски, стимулировать интерес западного мира к современной русской литературе, способствовать увеличению числа переводов с русского языка и расширению книготорговли.

Мы уважаем великие традиции русской литературы и с радостью отмечаем, что теперь у современных писателей России появилась возможность свободно публиковать свои работы и знакомить с ними мировую общественность».

Michael Cairn

Сэр Майкл Кейн,
председатель Совета компании «Букер».